# Маяковский

## БЕЗ ГЛЯНЦА

ПРОЕКТ ПАВЛА ФОКИНА

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Маяковский – исполин, трибун – по воле эпохи и властей давно обронзовел и окаменел. Но за монументальностью скрывалась противоречивая, страстная натура бунтаря и низвержителя. Книга открывает читателю всю сложность его биографии, где нет места ни глянцу, ни лакировке.


- Маяковский без глянца
  - 
  - «Строящая и бунтующая сила»
  - Личность
    - Облик
    - Во весь голос
    - Характер
    - Творчество
    - Декламатор
    - В мире искусства
    - Круг интересов
    - Свойства ума и мышления
    - Полемист
    - Острослов
    - Особенности поведения, манеры, привычки
    - Любимые вина, закуски и десерты
    - Игрок
    - Озорник
    - Хорошее отношение к лошадям
    - Жилище
    - Сын
    - Брат
    - «Муж»
    - Отец
  - Семейная лодка
    - 
    - Отец
    - Мать
    - Сестры Людмила и Ольга
    - Лили Юрьевна Брик
    - Осип Максимович Брик
    - В семье Бриков
    - Дочь Патриция Джей Томпсон
  - Про это
    - Поэт и женщины

        - 1913–1914.
        - 1914.
        - 1915. Эльза Каган (Триоле)
        - 1915–1930. Л. Ю. Б.
        - 1926–1927.
        - 1926, 1928.
        - 1928–1929. Татьяна Яковлева
        - 1929–1930.
    - Страницы биографии
        - Детство
        - Гимназия
        - Смерть отца.
        - Первый опыт политической деятельности
        - В поисках своего пути
        - Маяковский начинается
        - Желтая кофта
        - Апостолы футуризма
        - Трагедия
        - Веселый год
        - Знакомство с Бриками
        - «Кафе поэтов»
        - Революцией мобилизованный…
        - …и призванный
        - За новое искусство
        - За границей
        - Авто
        - «Клоп»
        - «Баня»
        - «20 лет работы»
        - Последнее
    - Слава
    - Краткая летопись жизни и творчества В. В. Маяковского
    - Библиографическая справка
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9

○ 10

# Маяковский без глянца
## *Сост. Павел Фокин*

*Защиту интеллектуальной собственности и прав издательской группы «Амфора» осуществляет юридическая компания «Усков и Партнеры»*

© Фокин П., составление, вступительная статья, 2008
© Тимофеев Д., составление, 2008
© Оформление. ЗАО ТИД «Амфора», 2008

* * *

# «Строящая и бунтующая сила»

*…Он все еще никем не заменен и, как был, так и остался крупнейшим поэтом нашей революции.*

*Лили Брик. Из письма И. В. Сталину*

Маяковский так много и так громко пел гимны Революции, ее вождям и идеологам, так искусно высмеивал и изобличал ее врагов, внешних и внутренних, так истово и целенаправленно, порой «становясь на горло собственной песне», нес в массы лозунги партийного руководства, планы социалистического строительства, идеи коммунистического будущего, что в конце концов все – и современники, и «товарищи потомки», и лично товарищ Сталин – признали его первым поэтом Революции. Он и сам так думал:

Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный,
ушел на фронт
из барских садоводств
поэзии –
бабы капризной.

Социальная буря, всколыхнувшая Россию в 1917-м, пришлась по душе двадцатичетырехлетнему поэту-бунтарю. Взволнованный, бежал он в сторону каждой перестрелки, буйствовал стихом и словом на всяком собрании и митинге, кровь гудела в жилах, заставляя сердце биться в лихорадке почище любовной.

Революция ему давно нравилась, еще в гимназические годы. Он мечтал о ней, как о первой женщине. С романтическим пылом готов был пойти на все. Ради нее трижды сидел в тюрьме. Ради нее разоделся в желтую кофту, вышел с пылающим взором на улицу, «мир огрумив мощью голоса», залепил «Пощечину общественному вкусу»: «Нате!». Ради нее мотался по городам и весям чеховской России, засеивая «самовитым словом» умы и воображение, раздражая и будоража горьковскую Русь.

Большой, сильный, шумный, он, как ему казалось, рожден

был быть поэтом Революции. Рожден рушить старое и строить новое. *Разрушать, созидая*. Творить наперекор традиции, новыми ритмами и смыслами сбрасывать классиков с «корабля современности».

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
Ставлю «nihil».

Ощущение собственной творческой силы – силищи! – было небывалым. И оно передавалось всем, притягивая и угрожая. Он должен был быть поэтом Революции.

Но стал ее *слугой*: хроникером и летописцем, публицистом и агитатором, иллюстратором и пропагандистом. Служителем ее культа и мифотворцем. Сегодня, зная о тех годах даже толику правды, читать Маяковского больно. Зная, чем стал для России, для всего ее «150-миллионного» населения тот кровавый передел мира, который возглавили большевики, читать Маяковского стыдно. Ибо впервые в истории русской поэзии поэт встал на сторону победителей, забыв о «милости к падшим» и великодушии.

Я
всю свою
звонкую силу поэта
тебе отдаю,
атакующий класс!

Так родилась советская поэзия – поэзия безжалостных победителей. Во время одной из своих поездок по Советскому Союзу Маяковский побывал на могиле Николая II. О своих впечатлениях и чувствах он позже рассказывал так: «Конечно, как будто ничего особенного – посмотреть могилу царя. Да и, собственно говоря, ничего там не видно. Ее даже трудно найти, находят по приметам, причем этот секрет знаком лишь определенной группе лиц. Но мне важно дать ощущение того, что ушла от нас вот здесь лежащая последняя гадина последней династии, столько крови выпившей в течение столетий»[1].

Маяковский был влюблен в Революцию. Был ею опьянен. И – не видел ее. Не слышал. Не понимал. А то, что видел и слышал – от природы наделен был острым глазом и чутким ухом, – понимал по-своему.

Я вижу –
где сор сегодня гниет,
где только земля простая –
на сажень вижу,
из-под нее
коммуны
дома
прорастают.

Так Дон Кихот в простушке Дульсинее признавал Прекрасную Даму.

Есть такое понятие – «бумажная архитектура». Так называют проекты, которые по каким-либо причинам (чаще всего экономическим, реже – эстетическим или идейным) остались лишь в чертежах и прорисовках. Исключительный интерес представляют собой творческие поиски советских архитекторов довоенных лет. Это грандиозные, величественные сооружения из новейших для того времени строительных материалов, причудливых конфигураций и форм, сочетающие в себе элементы здорового прагматизма и какой-то немыслимой агитационно-пропагандистской декоративности. От них невозможно оторвать глаз, но стоит на минуту представить, что они могли бы быть реализованы, – душа холодеет.

Поэзия Маяковского – чистый образец «бумажной архитектуры» в стихах. То, чему посвятил свою лиру Маяковский (и до 1917 года, и в особенности – после), была не сама Революция, а – Мечта о ней. Эрос Революции. Ее вечное обещание и надежда. То, что приводит в восторг сердце, заставляет захлебываться адреналином.

Я с теми,
кто вышел
строить
и месть
в сплошной
лихорадке
буден.
Отечество
славлю
которое есть,
но трижды –
которое будет.

«Ему до всего есть дело, – восхищенно пишет о Маяковском его младший современник. – Все трогает его, все волнует, все его касается. Моя революция. Моя Москва. Моя милиция. Мой Моссовет.

Новый дом строится за сквером, где играют дети. Рабфаковцы, вотяки и черкесы, сидят возле университетской решетки под чугунными глобусами. Ломоносов смотрит на них с пьедестала.

– Что делается! – бормочет Маяковский про себя. – Что делается! Это уже социализм!

Молодежь толчется у витрин книжного магазина. Книги Маяковского выставлены среди других.

„Моя фамилия в поэтической рубрике. Радуюсь я. Это мой труд вливается в труд моей республики“.

Огромные „крикогубые“ буквы афиш извещают о предстоящем вечере поэта в Политехническом. „Хорошо!“ – орут афиши»[2].

Маяковский любил Революцию.

Любовь слепа. Любовь зла. Он ли не знал об этом, моливший некогда Бога:

> Делай, что хочешь.
> Хочешь, четвертуй.
> Я сам тебе, праведный, руки вымою.
> Только –
> слышишь! –
> убери проклятую ту,
> которую сделал моей любимою!

А еще он любил Лилю.

Он встретил ее в 1915-м. С ходу, в присутствии озадаченного и ошарашенного мужа посвятил ей свою первую лирическую поэму (написанную не о ней!), и с тех пор каждую стихотворную строку отдавал ей. С того часа его лира зазвенела для Лили. И ни для кого больше. Ни для чего. Он стал добровольно, всецело, безоговорочно ее собственным, личным, персональным поэтом. Даже когда в 1920-м он *анонимно* печатал революционную поэму «150 000 000», потребовал в типографии, чтобы специально были оттиснуты три экземпляра с посвящением любимой, и непременно, чтобы это были *три первых экземпляра* в тираже, а когда оказалось, что технически это невозможно осуществить, потребовал от метранпажа объяснительную, которую и представил Лиле!

Она распоряжалась им вполне.

Взяла,
отобрала сердце
и просто
пошла играть –
как девочка мячиком.

По воле ее он мог уничтожить не понравившееся ей стихотворение и, напротив, отказаться от сожжения творческих рукописей. В голодный год мог отыскать в пустой и холодной Москве две бесценные морковины, необходимые для поддержания ее больного и истощенного организма. А позже исхаживал часы по парижским магазинам, выполняя ее заказы – от изысканного белья до модного автомобиля.

Она была маленькой, изящной и едва ли красивой. Но для него стала *всем*. Навсегда.

Не смоют любовь
ни ссоры,
ни версты.
Продумана,
выверена,
проверена.

Надо помнить, что когда пришла Революция, его сердце уже было занято Лилей.

Революция была Мечтой, Лиля – Жизнью.

Мечта была простой, ясной и цельной, диалектически обоснованной: через тернии – к звездам! Она была катастрофически далека о реальности, от правды будней и исторической перспективы.

Жизнь – сложной, капризной, противоречивой, подвластной обстоятельствам и прихоти, чтобы и журавль в небе, и – синица в руках. Она открывала подлинность настоящего, обличала действительность, настораживала перед будущим.

Маяковский попытался жить, не расставаясь с Мечтой. Мечтать, не отказываясь от Жизни.

Быть одновременно поэтом Лили и поэтом Революции. «Строящей и бунтующей силой».

Не получилось.

«Единица – ноль, единица – вздор», – написал поэт, чья первая книга стихов называлась «Я!». «Голос единицы – тоньше писка!» – сказал тот, кто своим басом-профундо накрывал любые аудитории. «Кто его услышит?» – спрашивал участник альманаха

«Рыкающий Парнас». И, точно опомнившись, попытался вновь заявить о себе – «Во весь голос». Но было уже поздно.

История Маяковского объясняет нам, как и кем могла осуществиться в России Революция и почему через десять лет она выродилась в чудовище тоталитарного государства. Делалась она от избытка любви к Мечте. Погибла от избытка любви к Жизни.

*Павел Фокин*

# Личность

# Облик

**Лили Юрьевна (Урьевна) Брик** *(урожд. Каган; 1891–1978), жена О. М. Брика, возлюбленная и гражданская жена Маяковского, адресат его лирики:*

Когда представляю себе Володика по фотографиям, получается крошечная модель Володи. Нужен гигантский портретище, чтобы была хоть тень иллюзии.

**Александра Алексеевна Маяковская** *(урожд. Павленко; 1867–1954), мать Маяковского:*

(В 1908 г. – Сост.) Володя не носил гимназической формы, а ходил в длинном пальто и папахе, которые дал ему товарищ.

**Давид Давидович Бурлюк** *(1882–1967), поэт, художник. В 1911–1913 гг. член художественных объединений «Der Blaue Reiter», «Бубновый валет», «Союз молодежи». Организатор и участник футуристических сборников «Садок судей», «Пощечина общественному вкусу», «Дохлая луна» и др. Друг молодости и соратник В. Маяковского:*

Уже в юности была у Маяковского какая-то мужественная суровость, от которой при первой встрече становилось даже больно. Как бархат вечера, как суровость осенней тучи.

**Описание примет Московского охранного отделения:**

Возраст по наружному виду – 17–19 лет. Год и месяц рождения – 7 июля 1893.

Полнота – средняя. Телосложение – среднее.

1) Волосы: Цвет – русые. Волнистость – гладкие. Густота – густые.

2) Борода и усы: Цвет. Форма. Густота. Особенности – маленький пушок.

3) Лицо: Цвет – желтое. Полнокровие – среднее. Выражение – серьезное.

4) Лоб: Высота – средняя. Наклон – немного назад. Форма головы – овальная.

5) Брови: Цвет – русые. Форма – овальная. Густота – густые. Расположение – среднее.

6) Глазные впадины (орбиты): Величина – средняя. Глубина – средняя.

7) Глаза: Цвет райка – коричневый. Расстояние между глаз – среднее.

8) Нос: Спинка – немного вогнутая. Основание – прямое. Высота – средняя. Длина – средняя. Ширина – средняя.

9) Ухо: Форма – овальная. Оттопыренность – большая. Величина – средняя.

10–13) (Вопросы, касающиеся детального строения уха, не заполнены.)

14) Губы: Форма – прямая. Высота – высокие. Толщина – средняя. Выступание – ровное.

15) Подбородок: Длина – средняя. Наклон – вперед. Форма – круглая. Полнота – средняя.

16) Плечи: Ширина – узкие. Наклон – прямые. Шея – тонкая, длинная.

17) Руки: Величина – средняя. Привычка держать – свободная.

18) Ступни ног: Длина (№ обуви) 10–11.

19) Осанка (выправка корпуса, манера держаться): свободно.

20) Походка: ровная, большой шаг.

<Рост одетого Маяковского, в шапке – 1 м 85 см.>

**Николай Николаевич (до 1911 г. Ассеев) Асеев** *(1889–1963), поэт. Член группы «Центрифуга». Друг В. Маяковского.*

Я узнал его, идущего по Тверскому бульвару, именно по непохожести на окружающее. Высокий детина двигался мне навстречу, издали приметный в толпе ростом, сиянием глаз, широким шагом, черной, расстегнутой на горле блузой.

**Алексей Елисеевич Крученых** *(псевд. Александр Крученых; 1886–1968), поэт, прозаик, теоретик футуризма, художник, мемуарист, коллекционер. Друг молодости и соратник В. Маяковского:*

Маяковский того времени – еще не знаменитый поэт, а просто необычайно остроумный, здоровенный парень лет 18–19, учившийся живописи, носил длинные до плеч черные космы, грозно улыбался. Рот у него был слегка завалившийся, почти беззубый, так что многие знакомые уже тогда звали его в шутку «стариком».

Ходил он постоянно в одной и той же бархатной черной рубахе, имел вид анархиста-нигилиста.

**Лев Федорович Жегин** *(наст фам. Шехтель; 1892–1969), художник, теоретик искусства, член общества «Маковец»; учился вместе с В. Маяковским в Училище живописи, ваяния и зодчества:*

Тогда Маяковский немного придерживался стиля «vagabond». Байроновский поэт-корсар, сдвинутая на брови широкополая черная шляпа, черная рубашка (вскоре смененная на ярко-желтую), черный галстук и вообще все черное, – таков был внешний облик поэта в период, когда в нем шла большая

внутренняя работа, когда намечались основные линии его творческой индивидуальности.

**Бенедикт Константинович (Наумович) Лившиц** *(1886–1938), поэт, переводчик, мемуарист, член группы «Гилея». Друг молодости и соратник В. Маяковского:*

Одетый не по сезону легко в черную морскую пелерину со львиной застежкой на груди, в широкополой черной шляпе, надвинутой на самые брови, он казался членом сицилианской мафии, игрою случая заброшенным на Петербургскую сторону.

Его размашистые, аффектированно резкие движения, традиционный для всех оперных злодеев басовый регистр и прогнатическая нижняя челюсть, волевого выражения которой не ослабляло даже отсутствие передних зубов, сообщающее вялость всякому рту, – еще усугубляли сходство двадцатилетнего Маяковского с участником разбойничьей шайки или с анархистом-бомбометателем, каким он рисовался в ту пору напуганным богровским выстрелом салопницам.

**Давид Давидович Бурлюк:**

Маяковский тех, уже далеких лет был очень живописен. Он был одет в бархатную черную куртку с откладным воротником. Шея была повязана черным фуляровым галстуком; косматился помятый бант; карманы Володи Маяковского были всегда оттопыренными от коробок с папиросами и спичками.

**Виктор Борисович Шкловский** *(1893–1984), литературовед, писатель, критик, мемуарист. Друг молодости и соратник В. Маяковского:*

В карманах в черной бархатной блузе спички, дешевые папиросы. Блокнот. Книга. Карманы оттопырены. Шея сильная, не тонкая. Волосы откинуты назад, каштановые, для невнимательных людей черные. Руки красные от мороза, брюки узкие, черные, запыленные. Зубов шестнадцать разрушено. Хорошие зубы там же, где бутерброд с колбасой, – они стоят денег на починку.

Губы тяжелые, уже привыкшие отчетливо артикулировать.

**Давид Давидович Бурлюк:**

Маяковский был высокого роста, со слегка впалой грудью, с длинными руками и большими кистями, красными от холода; голова юноши была увенчана густыми темными волосами, стричь которые он начал много позже; с желтыми щеками лицо его смягчено крупным, жадным к поцелуям, варенью и табаку ртом, прикрытым большими губами; нижняя во время разговора

кривилась на левую сторону. Это придавало его речи, внешне, характер издевки и наглости. Губы Маяковского всегда были плотно сжаты.

**Ольга Владимировна Гзовская** *(1883–1962), актриса театра и кино, сценарист, мемуаристка. На сцене с 1905 г. В 1905–1910 и 1917–1919 гг. – на сцене Малого театра в Москве:*

Сверкающие темные глаза, вихрастые волосы, озорной взгляд, всегда энергичный, с быстрой сменой мимики очень красивого лица.

**Софья Сергеевна Шамардина** *(1894–1980) в 1913 г. приехала из Минска в Петербург учиться на Бестужевских курсах. Возлюбленная В. Маяковского в 1913–1914 гг.:*

Высокий, сильный, уверенный, красивый. Еще по-юношески немного угловатые плечи, а в плечах косая сажень. Характерное движение плеч с перекосом – одно плечо вдруг подымется выше и тогда, правда, – косая сажень.

Большой, мужественный рот с почти постоянной папиросой, передвигаемой то в один, то в другой уголок рта. Редко – короткий смешок его.

Мне не мешали в его облике гнилые зубы. Наоборот – казалось, что это особенно подчеркивает его внутренний образ, его «свою» красоту.

Особенно когда он – чуть нагловатый, со спокойным презрением к ждущей скандалов уличной буржуазной аудитории – читал свои стихи: «А все-таки», «А вы могли бы?», «Любовь», «Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего»…

**Лев Федорович Жегин:**

Маяковский не шел, а маячил. Его можно было узнать за версту не только благодаря его росту, но, главным образом, по размашистости его движений и немного корявой и тяжелой походке.

**Бенедикт Константинович Лившиц:**

В одно из <…> октябрьских утр <…> на пороге показался приехавший прямо с вокзала Маяковский.

Я не сразу узнал его. Слишком уж был он непохож на прежнего, на всегдашнего Володю Маяковского.

Гороховое в искру пальто, очевидно купленное лишь накануне, и сверкающий цилиндр резко изменили его привычный облик. Особенно странное впечатление производили в сочетании

с этим щегольским нарядом – голая шея и светло-оранжевая блуза, смахивавшая на кофты кормилицы.

Маяковский был детски горд переменой в своей внешности, но явно еще не освоился ни с новыми вещами, ни с новой ролью, к которой обязывали его эти вещи.

В сущности, все это было более чем скромно: и дешевый, со слишком длинным ворсом цилиндр, и устарелого покроя, не в мерку узкое пальто, вероятно приобретенное в третьеразрядном магазине готового платья, и жиденькая трость, и перчатки факельщика; но Володе его наряд казался верхом дендизма – главным образом оранжевая кофта, которой он подчеркивал свою независимость от вульгарной моды.

Эта пресловутая кофта, напяленная им якобы с целью «укутать душу от осмотров», имела своей подоплекой не что иное, как бедность: она приходилась родной сестрою турецким шальварам, которые носил Пушкин в свой кишиневский период.

**Лили Юрьевна Брик:**

Маяковский в то время был франтом – визитка, цилиндр. Правда, все это со Сретенки, из магазинов дешевого готового платья.

**Бенедикт Константинович Лившиц:**

Решив, что его наряд уже примелькался, он потащил меня по мануфактурным магазинам, в которых изумленные приказчики вываливали нам на прилавок все самое яркое из лежавшего на полках.

Маяковского ничто не удовлетворяло.

После долгих поисков он набрел у Цинделя на черно-желтую полосатую ткань неизвестного назначения и на ней остановил свой выбор.

Угомонившись наконец, он великодушно предложил и мне «освежить хотя бы пятном» мой костюм. Я ограничился полуаршином чудовищно-пестрой набойки, из которой, по моим соображениям, можно было выкроить достаточно кричащие галстук и носовой платок. На большее у меня не хватило размаха.

Сшила полосатую кофту Володина мать.

**Софья Сергеевна Шамардина:**

Его желтая, такого теплого цвета кофта. И другая – черные и желтые полосы. Блестящие сзади брюки, с бахромой. Цилиндр. Руки в карманах.

«Я в этой кофте похож на зебру» – это про полосатую кофту – перед зеркалом.

**Эльза Триоле** (**Triolet**, *урожд. Каган Элиза Юрьевна (Урьевна); 1896–1970), французская писательница, сестра Л. Ю. Брик, жена Луи Арагона:*

Первое появление Маяковского в цилиндре и черном пальто, а под ним – желтой кофте-распашонке привело открывшую ему горничную в такое смятение, что она шарахнулась от него в комнаты за помощью.

**Василий Васильевич Каменский** *(1884–1961), поэт, прозаик, драматург, актер (в труппе Вс. Мейерхольда), художник. Один из первых русских авиаторов. Публиковался в футуристических сборниках «Молоко кобылиц», «Рыкающий Парнас», «Первый журнал русских футуристов», «Дохлая луна» и др. Друг молодости и соратник В. Маяковского:*

О Маяковском в связи с первым выступлением харьковская газета «Утро» в статье «У московских футуристов» писала:

«Привлекла внимание публики и знаменитая „желтая кофта“ Маяковского.

„Желтая кофта“ оказалась обыкновенной блузой без пояса, типа парижских рабочих блуз, с отложным воротником и галстуком, ничуть не более шокирующая, чем наши косоворотки. Необычным оказался только ее цвет. Блуза оказалась в широких черных и оранжево-желтых полосах. На красивом, смуглом и высоком юноше блуза производила очень приятное впечатление».

**Алексей Елисеевич Крученых:**

Маяковский в блестящей, как панцирь, золотисто-желтой кофте с широкими черными вертикальными полосами, косая сажень в плечах, грозный и уверенный, был изваянием раздраженного гладиатора.

**Василий Васильевич Каменский:**

«Саратовский вестник» от 21 марта 1914 года рассказывал следующее:

«…Первым говорил Маяковский.

На эстраду вышел очень молодой человек в красном пиджаке, с бутоньеркой. Походка несколько развинченная, манера говорить намеренно небрежная, хотя, впрочем, только вначале…»

**Софья Сергеевна Шамардина:**

А летом 1914 года мы встретились в Москве. <…>

В Москве в это лето он не ходил в своих желтых кофтах, помнится рубаха-ковбойка. Пиджачок какой-то.

**Павел Григорьевич Антокольский** *(1896–1978), поэт, актер и режиссер студии, а затем театра Е. Вахтангова, драматург, мемуарист:*

За пять лет он разительно изменился: подтянулся и внешне и внутренне, похудел, стал стройнее, остриг и причесал когда-то непослушные патлы. Что-то было в нем от интеллигентного рабочего высокой квалификации – не то монтер-электрик, не то железнодорожник, ненароком забредший в особняк инженера из «красных»: ситуация, близкая к драматургии Горького. От него шла сдержанная, знающая себе цену сила.

**Софья Сергеевна Шамардина:**

Однажды сказал, что вот зубы гнилые, надо вставить, я запротестовала – не надо!

И когда позднее, уже в 1915 или 1916 году, я встретила его с ровными, белыми зубами – мне стало жалко. Помню, что я даже с досадой обвинила в замене его зубов Лилю Брик. Это она сделала.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Л. Брик Маяковского остригла, переодела. Он начал носить тяжелую палку.

**Галина Дмитриевна Катанян** *(1904–1991) в молодости занималась журналистикой, потом была эстрадной певицей. Вместе с мужем В. А. Катаняном дружили с В. Маяковским, были знакомы домами:*

Маяковский был крупный, высокий, красивый человек. Он был красив мужественной красотой – скорее напоминал лесоруба, охотника, чем писателя. Был сложен пропорционально, но немножко медвежковат благодаря своим крупным размерам. Несмотря на это он двигался легко и танцевал превосходно. Я не видела человека более впечатляющей и запоминающейся внешности.

**Из газеты «Красная Татария»:**

Такой же большой и мощный, как его образы. Над переносицей вертикальная морщина. Тяжелый, слегка выдающийся подбородок. Фигура волжского грузчика. Голос – трибуна. <…> Одет в обыкновенный совработничий пиджак, лежащий на нем мешком.

**Юрий Карлович Олеша** *(1899–1960), писатель, драматург, мемуарист. Автор романов «Три толстяка» (1924), «Зависть»*

*(1927). Знакомый В. Маяковского:*

Маяковский был высокий, вернее – большой, потому что не астеничен, как большинство высоких, а, наоборот, сильного телосложения. У него была крупная голова, гармонически подходившая к большой фигуре, твердый нос, тоже не маленький, который часто свистел насморком, – Маяковский говорил, что как южанин он то и дело простуживается в Москве, – выдающийся вперед подбородок.

**Наталья Александровна Луначарская-Розенель** *(1902–1962), драматическая актриса, жена наркома просвещения А. В. Луначарского:*

Большого роста и при этом очень складный, с широкими, уверенными движениями, хорошо посаженной круглой головой и внимательным взглядом золотисто-карих глаз, он вдруг улыбался как-то очень молодо и по-мальчишески застенчиво, и от этой улыбки у его собеседника сразу исчезала всякая скованность при общении с ним.

**Юрий Карлович Олеша:**

Глаза у него были несравненные – большие, черные, с таким взглядом, который, когда мы встречались с ним, казалось, только и составляет единственное, что есть в данную минуту в мире. Ничего, казалось, нет сейчас вокруг нас, только этот взгляд существует.

**Корнелий Люцианович Зелинский** *(1896–1970), критик, литературовед, мемуарист, входил в группу конструктивистов. Знакомый В. Маяковского:*

Все в нем большое: рост, ручищи, ножищи. Голова, остриженная под машинку, и глаза – такие выпуклые и пристальные, словно он вбирает в себя, когда вглядывается. <…> И лицо бугристое, брови, нос, подбородок.

**Владимир Николаевич Яхонтов** *(1899–1945), российский артист эстрады. Мастер художественного слова. Выступал с 1922 г.:*

Я заметил, что у него перегоревший от курения рот. Я встретился с глазами, способными смотреть длинно, с бескрайним глубоким горизонтом, обещающим новые, неоткрытые земли.

**Иван Васильевич Грузинов** *(1893–1942), поэт, мемуарист. Член «Ордена имажинистов»:*

В его пронизывающих карих глазах, смотревших почти всегда чуть-чуть исподлобья, чувствовалась большая внутренняя сила.

Его глаза отличались вот какой особенностью: каждый раз, когда их обладатель бросал на вас свой взор, вы ощущали удар, похожий на чисто физическое прикосновение. Поэт отводил от вас взгляд, снова устремлял его на вас – и вы снова получали удар почти такой же силы. И так без конца.

**Василий Абгарович Катанян** *(1902–1980), приятель и биограф В. Маяковского, с 1937 г. – гражданский муж Л. Ю. Брик:*

Бритая голова, очень внимательные умные глаза. Галстук бабочкой. Общее впечатление от всего облика – величественное ощущение силы и чистоты. <…>

Худые скулы, красивый сухой лоб, серьезно выраженные надбровья, неразглаживаемая складка между бровями, – худая вся верхняя половина лица и большие щеки и челюсть, которая неожиданно из доброй и мягкой умела становиться сильной и тяжелой.

**Петр Васильевич Незнамов** *(1889–1941), поэт. В 1920–1921 гг. в Чите принимал участие в организации и проведении вечеров и диспутов, посвященных творчеству Маяковского. После переезда в Москву вошел в литературную группу ЛЕФ, был секретарем редактируемого В. Маяковским журнала «ЛЕФ»:*

Маяковский тогда ходил остриженный под машинку – высокий, складный человек, хорошо оборудованный для ходьбы, красивый и прочный, выносливый, как думалось мне, на много десятилетий вперед. В каком он был костюме – не помню, но казался вросшим в него, и костюм был рад служить этому органически опрятному человеку. <…>

Ничего от «тигра», на чем настаивал Бурлюк, в нем не было, скорей что-то «медвежатное», если принять в расчет всем известную элегантную «неуклюжесть» его.

Тем не менее жест его был свободен и размашист, движение не связано; большие руки всегда находили работу; «снарядами», на которых он упражнял свою силу и гибкость своих пальцев, были: то стакан с чаем, то папироса, то длинная металлическая цепочка, наматываемая и разматываемая, то карты.

**Иван Васильевич Грузинов:**

У Маяковского скромный, но чистый костюм. Полное отсутствие суетливости. Размеренный и спокойный ритм движений.

**Елена Владимировна Семенова** *(1898–1983), художник-конструктор, входила в ЛЕФ:*

Ни Маяковский, ни Брик никогда не носили «прозодежды». Предпочитали добротные костюмы, вязаные джемперы спортивного типа, рубашки с очередными модными галстуками. Думается, что здесь было влияние Лили Юрьевны, предпочитавшей обычную современную одежду.

**Галина Дмитриевна Катанян:**

Одевался он элегантно. Все вещи его – начиная с костюма и кончая паркеровской ручкой и бумагой для писем – были дорогими и добротными.

**Лев Осипович Равич** *(1909–1957), поэт и очеркист:*

В верхнем кармане пиджака вдета часовая цепочка из витой кожи.

**Валентин Петрович Катаев** *(1897–1986), писатель, драматург, мемуарист. Знакомый В. Маяковского:*

Взвинченный, веселый, изысканно вежливый, сверкающий всеми красками своего неповторимого юмора, Маяковский в парижском пуловере, с узким ремешком карманных часов на лацкане пиджака – было сверхмодно носить часы в нагрудном карманчике пиджака, – с наголо остриженной головой – гигиенично, современно, конструктивно, а также потому, что: «Причесываться? На время не стоит труда, а вечно причесанным быть невозможно!»

**Лев Александрович Гринкруг** *(1889–1987), кинематографист, близкий друг В. Маяковского, Бриков и Эльзы Триоле:*

Всегда аккуратно, чисто одетый, всегда в безукоризненно «свежевымытой» сорочке, выутюженном костюме, всегда чисто выбритый, Маяковский никогда ни при каких обстоятельствах, ни дома, ни тем более вне дома, не распускался и не позволял себе никакой вольности в своем внешнем виде.

**Александр Вильямович Февральский** *(1901–1984), театровед, мемуарист:*

Живя на Мясницкой, рядом с главным почтамтом, я часто встречал на этой улице Маяковского: летом – в пиджаке и кепке, зимой – в короткой куртке и плоской шапке. Сосредоточенный, размахивая палкой, он мерил улицу большими шагами.

**Юрий Карлович Олеша:**

У него трость в руке. Он не столько ударяет ею по земле, сколько размахивает в воздухе.

**Лев Абрамович Кассиль** *(1905–1970), писатель, участник группы ЛЕФ, приятель Бриков и В. Маяковского:*

Грохая тростью в асфальт, легко обгоняя попутных, круто обходя встречных, неся широкие плечи над головами прохожих, шагает Маяковский по Москве – твердо и размашисто. За ним в толпе завиваются воронки, как в воде за пароходом. Все оборачиваются, смотрят ему вслед. Одни узнают: «Маяковский прошел», взоры других увлекает за собой необыкновенность, широта и прямизна этой поступи.

Он шагает по Москве. Он уже стал частью Москвы. Его голос уже влит в грохот столицы. Его походка стала чертой уличного движения. Нельзя, кажется, представить себе Москву без него. Стук его трости, шаг его, пологий покат плеч, плывущих над головами, навсегда запомнит Москва.

Он идет, не поворачивая головы, но из-под тяжелых бровей глаз пронзительно и цепко, как гарпун, вонзается и в поваленную урну на заплеванном тротуаре, и в самолет, плывущий по небу.

**Василий Абгарович Катанян:**

Поспевать за ним, если он не прогуливается, а держит путь в определенное место, не так уж просто.

**Лев Вениаминович Никулин** *(1891–1967), писатель, мемуарист. Знакомый В. Маяковского:*

Он был неотделим от московского пейзажа, летнего пыльного полдня и московской сумеречной белой ночи. <…> Здесь он необходим, нужен, естественен, именно здесь, на улицах, он был более к месту, чем в тесном человеческом жилье. Только на улице и на эстраде Политехнического музея или Дома союзов он был пропорционален масштабам зданий.

**Наталья Александровна Брюханенко** *(1905–1984), издательский работник, входила в группу ЛЕФ, в 1926–1927 гг. – возлюбленная Маяковского:*

Вечер состоялся в клубе Центрального телеграфа на Тверской. Пришли мы слишком рано, и не хотелось ждать в помещении. Была чудесная весенняя погода. Мы вышли на улицу, и Маяковский сел на ступеньки телеграфа, расставив ноги, держа между ними трость и положив на нее скрещенные руки. Мне запомнился он таким. Уж очень это было

здорово, как он расположился в центре Москвы, на улице, как у себя дома. Очень солидно и по-хозяйски сидел он тогда на ступеньках здания телеграфа.

**Лев Вениаминович Никулин:**

Но это не была типично русская фигура былинного богатыря, которая идет только русскому фону. И Бруклинскому мосту в Нью-Йорке, и пальмам мексиканских городов подходил интернациональный облик поэта.

**Из репортажа газеты «Эль универсаль иллюстрадо» (Гавана):**

Это – сильный молодой человек высокого роста, чья мощь проявляется совершенно одинаково как в улыбке и взорах, так и в движениях, всегда очень ловких, несмотря на его корпуленцию. <…> Меня поразила какая-то необыкновенная гармония между его физическими и духовными данными; он как бы олицетворяет собой известную пословицу: «здоровый дух – в здоровом теле».

**Из репортажа газеты «Фрайгайт» (Нью-Йорк):**

Маяковский бросает выкуренную русскую папиросу, закуривает другую и начинает ходить из угла в угол большой меблированной комнаты на Пятой авеню. Его высокая сильная фигура с энергичными обветренными чертами лица и крепкими мускулами стройна, как на марше… В нем совершенно нельзя признать русского. Он больше напоминает мексиканского ковбоя. Вот он остановился, бросил через окно взгляд на Пятую авеню – и своим глубоким, громовым, заполняющим всю комнату голосом сказал:

– Эх, скучно тут у вас! <…>

Вот он – Маяковский! Так же прост и велик, как и сама Советская Россия. Гигантский рост, крепкие плечи, простенький пиджачок, коротко остриженная большая голова и широкая русская ноздря.

С виду – ничего величественного, отличительного: просто русский парень, здоровенный, угловатый, размашистый.

**Лев Вениаминович Никулин:**

1929 год.

Из гостиницы «Истриа» на Монпарнасе выходит человек тридцати шести лет. Он высок ростом, широкоплеч и сложен пропорционально и складно. На нем скромная добротная одежда – так может одеваться пароходный механик, рабочий в праздничный день. Он волочит за собой тяжелую трость, а иногда ставит ее вертикально перед собой. Нельзя угадать

национальность человека, – у него глаза южанина, широкий подбородок англосаксонца и цвет кожи американца, у которого есть примесь индейской крови. У него большой рот. Он кажется большим оттого, что у этого человека привычка растягивать губы, когда он говорит и хочет, чтобы его правильно поняли.

**Иван Васильевич Грузинов:**

У Маяковского почти всегда крепко сжатые челюсти. Его лицо почти всегда выражает сильное нервное напряжение.

**Вероника Витольдовна Полонская** *(1908–1994), актриса МХАТа, мемуаристка. Жена артиста М. М. Яншина. Последняя возлюбленная В. Маяковского:*

Осип Максимович сказал:

– Обратите внимание, какое несоответствие фигуры у Володи: он такой большой – на коротких ногах.

Действительно, при первом знакомстве Маяковский мне показался каким-то большим и нелепым в белом плаще, в шляпе, нахлобученной на лоб, с палкой, которой он очень энергично управлял.

**Алексей Алексеевич Боровой** *(1875–1935), теоретик «эстетического анархизма», в 1914–1915 гг. заведовал литературным отделом газеты «Новь», где печатался В. Маяковский:*

Физически, несмотря на его грубо эффектную наружность, он был мне противен. Мне омерзителен был его готтентотский зад, которым он вилял на ходу.

**Юрий Карлович Олеша:**

Иногда он появлялся на веранде ресторана «Дома Герцена»…

Когда он появлялся на веранде, все шепталось, переглядывалось и, как всегда перед началом зрелища, откидывалось к спинкам стульев. Некоторые, знакомые, здоровались. Он замедлял ход, ища взглядом незанятый столик. Все смотрели на его пиджак – синий, на его штаны – серые, на его трость – в руке, на его лицо – длинное – и в его глаза – невыносимые!

**Валентин Петрович Катаев:**

В углу его крупного, хорошо разработанного рта опытного оратора, эстрадного чтеца с прекрасной артикуляцией и доходчивой дикцией, как всегда, торчал окурок толстой папиросы высшего сорта, и он жевал его, точнее сказать,

перетирал синеватыми искусственными зубами, причем механически двигались туда и сюда энергичные губы и мощный подбородок боксера.

В его темных бровях, в меру густых, таких, которые, как я заметил, чаще всего встречаются у очень способных, одаренных юношей, было тоже нечто женское, а лоб, мощно собранный над широкой переносицей, был как бы рассечен короткой вертикальной морщиной, глубоко черневшей треугольной зарубкой.

С недавнего времени он почему-то отрастил волосы, и они разваливались посередине лба на стороны, придавая несвойственный ему вид семинариста, никак не соответствующий тому образу Маяковского – футуриста, новатора, главаря, который сложился у меня с первых дней нашего восьмилетнего знакомства, то есть с самого начала 20-х годов.

Теперь, когда он стал памятником, очень трудно представить его себе не таким, как на площади Маяковского, на невысоком цоколе, с семинарскими волосами. Между тем почти все время, за исключением самого начала и самого конца своей писательской жизни, он коротко стригся, иногда наголо, машинкой под нуль, и его голова – по-моему, иногда даже просто начисто выбритая – определенностью своей формы напоминала яйцо.

**Ольга Дмитриевна Форш** *(урожд. Комарова 1873–1961), писательница, художница:*

Маяковский, по своему большому росту, был сразу отличен от всех. Он стоял, прислонившись к деревянной колонне, и хотя отвечал говорившему с ним, но думал о чем-то своем и грозно смотрел перед собой.

– Ангел… – начал мосье Франсуа.

– Которая? – оживилась Алиса.

– Я не про даму, я про поэта. Это его написал художник на стене киевского собора. Ангел страшного суда, он держит в руках весы правосудия. То же самое грозное лицо.

# Во весь голос

**Алексей Елисеевич Крученых:**

Голос, этот самый совершенный инструмент, математически точно воспроизводящий мысль и образ, краски и звуки, и все многообразие бытия, – полонил Маяковского и был покорен им. Поэт подчеркивал это даже в названиях своих книг: «Маяковский для голоса», «Во весь голос». Все вещи Маяковского написаны для громкого чтения, для эстрады, для площади. Маяковский весь в голосе, и даже собственные живопись и рисунок он поставил на службу своей поэзии.

**Софья Сергеевна Шамардина:**

Он любил свой голос, и часто, когда читал для себя, чувствовалось, что слушает себя и доволен: «Правда, голос хороший?.. Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего…» Льется глубокий, выразительный, его особого, маяковского тембра голос.

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Голос <…> не был богат интонациями, но достаточно выразительный. Говорил размеренно, со средней быстротой, с большой напористостью и убедительностью, скандировал слова. Подобно остальным движениям, речь не была плавной, но часто имела резкий, обрывистый, «глыбистый» характер, слова произносились звучно, внушительно, как бы «падали».

Любил напевать, но чрезвычайно при этом фальшивил, вследствие полного отсутствия музыкального слуха.

**Галина Дмитриевна Катанян:**

У него глубокий бархатный бас, поражающий богатством оттенков и сдержанной мощью. Его артикуляция, его дикция безукоризненны, не пропадает ни одна буква, ни один звук.

**Василий Абгарович Катанян:**

Надо было увидеть его после «квартирного тихо» на эстраде, чтобы понять, что этот голос, хотя и по росту, но совсем не резкий, густой и приятный, имеет свойство разрастаться, заполняя тысячные залы без остатка, что есть в нем, когда нужно, рявкающая сила, сотрясающая стекла и колонны.

**Иван Васильевич Грузинов:**

Сильное впечатление на слушателей производил огромный голос поэта, которым он в совершенстве владел. Это металлический бас, изредка переходящий на высоких нотах в фальцет: обыкновенно высокие ноты произносились фальцетом при длительном чтении стихов. По-видимому, от переутомления.

**Алексей Елисеевич Крученых:**

Можно сказать, что голос Маяковского был лучшим показателем его поэтического здоровья.

Трудно указать в мировой литературе поэта, стиховая техника которого была бы так тесно связана с его голосовым аппаратом, как это было у Маяковского. Грубые, грузные слова, например, несомненно были обусловлены могучим нижним регистром баса Маяковского. Правда, в его диапазоне были и звенящие верхние ноты. Но именно они часто переходили в фальцет, в визг, ими прорывалась стихия скулящей лирики, всяческого упадка и сомнения в себе.

Полное владение Маяковского своим голосом совпадало с наиболее благотворными периодами его деятельности. Именно в это время он особенно охотно и блестяще выступал перед аудиторией. В эти моменты поэт был убежден, что каждое его слово –

душу новородит,
именинит тело.

<…> Помню, в двадцатые годы меня поразило следующее: кроме главной, основной волны голоса, слышались и еще какие-то дополнительные голоса, как будто я слушал орган.

**Григорий Филиппович Котляров** *(1890 – около 1970), художник, соученик В. Маяковского по Школе живописи, ваяния и зодчества в Москве:*

Трудно передать очарование этого неторопливого, отяжеленного выразительной уверенностью голоса. Вначале он мог бы показаться несколько назойливым и однообразным, но, по мере того как развертывались стиховые ритмы, этот голос креп, поднимался, падал, сплетался в узор гибких, увлекающих за собой интонаций. Порою звенел он торжественно и глухо, порою сверкало в нем острие колкой насмешки. Широкое, неудержимое течение речи влекло за собой весь зал. Так идет река после ледохода, налитая до краев, тяжелая, уверенная, спокойная и властная, каждой каплей чувствующая близость необъятного моря.

**Из репортажа газеты «Эль универсаль иллюстрадо» (Гавана):**

Без всякой позы, исключительно благодаря своим природным данным – дыханию, которое чудодейственно ритмизирует и делает необыкновенно яркими все оттенки голоса, – подчиняет себе Маяковский слово настолько, что оно способно увлечь массу даже тогда, когда бывает предназначено для несравненно более узкого круга.

**Иван Васильевич Грузинов:**

Однажды в полдень я увидел Маяковского шагающим с двумя неизвестными мне людьми по Советской площади. Это было в начале двадцатых годов, в момент обострения отношений между Советским Союзом и Англией.

Маяковский и его спутники быстро взобрались по внутренней лестнице на верхнюю площадку обелиска Свободы.

Маяковский начал читать стихи, проникнутые чувством страстной любви к родине.

Голос его был отчетливо слышен. Пространство Советской площади было для его голоса таким же, каким для голоса многих других людей является пространство обыкновенной комнаты.

**Павел Ильич Лавут** *(1898–1979), организатор выступлений В. Маяковского, автор книги воспоминаний «Маяковский едет по Союзу»:*

Суета путешествий, «скачки с препятствиями» нравились Владимиру Владимировичу. Он любил и остро ощущал насыщенность дня.

В седьмом часу утра (январь – темно!) в Сызрани узнаю, что нас обгоняет ташкентский скорый. Маяковский, слыша мой разговор с проводником, просыпается.

Спрашиваю:

– Как быть? Не пересесть ли?

Маяковский, еще в полусне, бросает:

– О чем речь? Конечно. Разделение труда: вы бегите оформлять билеты, а я соберу вещи.

Лишь выйдя из вагона, я понял абсурдность затеи: ветер, мороз, гололед. На перроне ни души. Поезда стоят далеко друг от друга (метров 300), в разных концах перрона. Бегать невозможно, можно только семенить ногами. Носильщика не нашел.

Я возвращался из кассы, держа в руке билеты и сдачу, когда увидел Маяковского с носильщиком. Но тут, на радостях, должно быть, я поскользнулся, упал и выронил билеты. Быстро подобрав

их, я кинулся догонять Маяковского. В эту минуту поезд тронулся, и я услышал крик:

– О-с-т-а-н-о-в-и-т-е!!!

И поезд… остановился.

В это трудно сейчас поверить.

Сознаюсь, что ни до, ни после этого я не ощущал такой силы голоса Маяковского.

**Алексей Елисеевич Крученых:**

Он сам как-то сказал:

– Моим голосом хорошо бы гвозди в стенку вколачивать!

У него был трубный голос трибуна и агитатора.

# Характер

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Смесь сильной задиристости и в то же время «нервной трусости»: влезал во все уличные скандалы.

**Вадим Габриэлевич Шершеневич** *(1893–1942), поэт, один из главных теоретиков имажинизма, переводчик, мемуарист. Член объединения «Гилея». Лидер московской группы футуристов «Мезонин поэзии». Член «Ордена имажинистов»:*

С первых дней своей поэтической деятельности он усвоил себе тон бретерства и напускного грубого нахальства. И, сделав этот тон своей маской, он сумел прожить так, что только хорошо знавшие его видели под этой маской неутомимого труженика с очень часто смущавшейся душой.

«Развязные люди всегда застенчивы», – писал Анатоль Франс. Это применимо к Маяковскому больше, чем к кому-либо.

Маяковский блестяще использовал свои внешние данные: басовый тембр голоса, крупный рост, широкие плечи, чтоб создать легенду о сильном, волевом человеке. Он сам нарисовал себе портрет, каким он, Маяковский, должен казаться миру.

И эта поза заменила ему скоро брошенную желтую кофту.

**Василий Васильевич Каменский:**

В <…> домашние часы, наблюдая за Володей-сыном, таким совсем иным, неузнаваемым, и в то же время зная Володю-поэта, Володю-бунтаря в желтой кофте, я много думал о том, что в Володе живут два Маяковских, два разных существа и при этом таких, которые меж собой находятся в состоянии борьбы.

**Николай Корнеевич Чуковский** *(1904–1965), писатель, мемуарист:*

Впоследствии я много раз слышал, будто бы Маяковский был человек грубый. Это глубочайшее заблуждение. В молодости он был человек в высшей степени застенчивый, постоянно преодолевавший свою внутреннюю робость. <…> Часто резкость того, что он говорил, зависела именно от этой насильственно преодоленной робости. К тому же от природы был он наделен прелестнейшим даром насмешливости и безошибочным чутьем на всякую пошлость. Никогда не бывал он резок с теми, кто был слабее его.

**Виктор Андроникович Мануйлов** *(1903–1987), литературовед, мемуарист:*

В нем самом, как и в его творчестве, равно сочетались лирическое и сатирическое начала.

**Корнелий Люцианович Зелинский:**

Джентльмен-задира, как его назвали на одном диспуте. Хотя нередко Маяковский и грубил с публикой, но по своей природе он был необыкновенно благородным человеком и все человеческое воспринимал очень чутко.

**Гуго Гупперт (Huppert)** *(1902–1982), австрийский поэт и переводчик:*

Если меня спросят, какая черта всего сильней, всего выразительней определяла облик Маяковского, я безоговорочно буду утверждать: безраздельная цельность и чистота. Когда, вы пожимали его большую, сухую, но совсем не жесткую руку, когда его взгляд становился внимательным и зрачки чуть расширялись, когда после первых, как бы прощупывающих, интонаций он находил самые прямые слова, словно геометрически кратчайший подход к собеседнику, – вокруг чувствовалась та свежесть и чистоплотность, та атмосфера искренности и доверия, в которой раскрываются сердца.

**Лев Абрамович Кассиль.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Никогда не был похабен или циничен.

**Николай Николаевич Асеев.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Необыкновенная естественность в обращении, огромная напористость и самоуверенность, входил в кабинет как хозяин.

**Галина Дмитриевна Катанян:**

Он был ревнив и очень нетерпелив. Если ему захотелось чего-нибудь, так вот сейчас, сию же минуту, вынь да положь, все силы пустит в ход, чтоб как можно скорее достичь желаемого.

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Был очень настойчив и напорист в своих влечениях и желаниях, был при этом очень самоуверен, решителен и нестеснителен, вынуждая своей напористостью к исполнению своих желаний. Для достижения цели был способен к наскоку, штурму, но не к планомерным, длительно подготовленным

маневрам («позиционной войне»).

**Лев Абрамович Кассиль.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

М. был не в состоянии волевыми усилиями заставить себя заниматься чем-либо, что его не интересует, или подавлять свои чувства (желание, хотение превалирует над долженствованием). М. всегда находится во власти своих чувств и влечений. Вследствие слабости и недостаточности сознательно-волевого контроля и задержки, проявления его эмоционально-аффективной сферы принимают несдержанный, необузданный характер. М. способен давать очень бурные проявления своих переживаний, например, плакать, рыдать. Помимо сильно выраженного полового влечения, две черты характера М., резко выявившиеся уже с его детских лет, особенно демонстративны в этом отношении: это его нетерпеливость и азартность. М. был настолько нетерпелив, что, по словам сестры Л<юдмилы> В<ладимировны>, не ел костистой рыбы (!). У него не хватало терпения, чтобы дочитать до конца какой-нибудь роман (Брик, Каменский).

**Вадим Габриэлевич Шершеневич:**

Эмоция в нем была всегда сильнее разума.

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Очень большая непосредственность, примитивность, превалирование эмоционально-эффектных сторон личности над сознательно-волевыми; отсутствие условностей, «культуры», «цивилизации».

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Помню, как в один из вечеров он провожал меня домой по Лубянской площади и вдруг, к удивлению прохожих, пустился на площади танцевать мазурку, один, такой большой и неуклюжий, а танцевал очень легко и комично в то же время.

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Был склонен к импульсивным поступкам.

**Галина Дмитриевна Катанян:**

В нем было то мальчишество, которое так пленяет во взрослом мужчине.

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Обладал очень богатым воображением и необузданной фантазией, была склонность все доводить до крайних предельных степеней, до гротеска. Любое обстоятельство могло разрастись до фантастических размеров, например какой-нибудь мелкий факт в быту и т. д. Был очень мнительный. Гиперболизм очень ярко сказывался в его действиях и поступках. Например, вместо букета дарил охапку букетов, вместо коробки конфет – 10 коробок и т. д.

**Галина Дмитриевна Катанян:**

В каком-то магазине мне понравились вышитые носовые платочки.

– Будьте так добры, – говорит Маяковский продавщице, – дайте сюда все носиковые платочки, какие есть в вашем магазине.

Гора коробок вырастает на прилавке.

Вероятно, я была бы обеспечена носовыми платками до конца своих дней, если бы не вспомнила, что дарить носовые платки плохая примета. Я отчаянно протестую и привожу этот довод.

– Мы поссоримся, – говорю я.

– А если вы мне дадите двадцать копеек?

– Против такой-то уймы платков?

Маяковский с видимым сожалением отказывается от возможности завалить меня «носиковыми» платочками.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

26 августа были мои именины. С утра я получила от Маяковского такой огромный букет роз, что он смог поместиться только в ведро. Но это было не все. Когда мы вышли компанией на набережную, Маяковский стал заходить во все магазинчики и покупать мне одеколон самый дорогой и красивый, в больших витых флаконах. Когда у всех нас руки оказались уже заняты, я взмолилась – хватит! Подошли к киоску с цветами. Маяковский стал скупать и цветы. Я запротестовала – ведь уже целое ведро роз стоит у меня в номере!

– Один букет – это мелочь, – сказал Маяковский. – Мне хочется, чтоб вы вспоминали, как вам подарили не *один букет*, а *один киоск* роз и *весь* одеколон города Ялты!

И это было еще не все. Оказывается, накануне он заказал какому-то повару огромный именинный торт, и вечером были приглашены гости.

**Татьяна Алексеевна Яковлева** *(в первом замужестве дю Плесси, во втором Либерман; 1906–1991), модельер женской одежды, художник-дизайнер. Возлюбленная Маяковского в Париже в 1928–1929 гг.:*

Он был абсолютно щедрый.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

К друзьям Маяковский был трогательно внимателен и заботлив.

Я жила тогда на Каляевской улице и как-то захворала. Он пришел навестить меня и привез огромную корзину апельсинов и десять плиток моего любимого шоколада. Не помню, как он назывался, помню только, что он был в ярко-красных обертках.

Когда Маяковский уезжал за границу, он и там не забывал никого из друзей, всем привозились подарки. Даже зубному врачу Ципкиной, у которой он лечил зубы, какие-то медикаменты. Мне он привез как-то теплый оранжевый джемпер и металлическое карманное зеркальце…

**Юрий Карлович Олеша:**

Он очень любовно, очень по-товарищески относился к тем, кто был с ним заодно в литературных взглядах, вкусах. Свирепо нападавший на противников, он был прямо-таки нежен с единомышленниками, участлив к ним, внимателен, как врач. Неожиданность такого превращения – из яростного гладиатора на трибуне в ласкового друга среди близких ему по духу людей – чрезвычайно украшала его образ.

**Николай Николаевич Асеев:**

Очень он был предан друзьям. Но настоящим друзьям, без лигатуры. Самый милый человек ему был тот, кто умел дружить без расчета, без оглядки. Он не раз говорил, что друг тот, кто ни в чем не изменит, далее в таких обстоятельствах, когда это не измена даже, а просто несогласие во взглядах. В дружбе не может быть несогласия. Даже тогда, когда один говорит то, что не нравится другому. Только чтобы не хвалить врагов. Враг чем талантливей, тем опасней. Но враг не может быть талантливей друга.

**Виктор Андроникович Мануйлов:**

Как и многие встречавшиеся с Маяковским, я знаю, что Владимир Владимирович был не только сильным, мужественным человеком, который не страшился никаких трудностей и не терялся ни в какой аудитории, но и добрым, ласковым,

нежным к тем, кого любил, кому симпатизировал. Особенно внимательно относился к детям, и в его непосредственности и душевной чистоте было много детского.

**Николай Корнеевич Чуковский:**

С детьми он всегда был нежен и деликатен.

**Елизавета Александровна Лавинская** *(1901–1950), художница, входила в ЛЕФ:*

Он разговаривал с ребенком, как с равным, очень серьезно, внимательно выслушивал его, и в этом не было никакой нарочитости, «приспособляемости», он скорей походил не на дядю Володю, а на старшего товарища, хотя бы младшему было всего три года.

**Иван Васильевич Грузинов:**

В сердце Маяковского жила большая и трогательная любовь к людям.

Он не мог относиться равнодушно к бедным и обездоленным.

Особенно трогательным было его отношение к неимущим старухам и старикам.

Старость, да еще не обеспеченная, – с таким проклятым фактом Маяковский не мог примириться. Он не мог видеть старого человека, у которого нет каких-то несчастных копеек, чтобы купить кусок хлеба.

Как только у поэта появлялись деньги, он спешил раздать их нищим старухам и старикам.

Об этих чудесных поступках Маяковского знают очень немногие из тех людей, которые были близки с поэтом при его жизни: Маяковский тайно отыскивал бедных старух и стариков и помогал им.

**Людмила Семеновна Татарийская** *(1907–?), машинистка Маяковского, сестра его соседки по коммунальной квартире в Лубянском проезде, д. 12 М. С. Татарийской:*

Случалось, Владимир Владимирович узнавал, что у кого-либо из соседей по квартире произошла неприятность, слышал, что кто-нибудь плачет; он старался выяснить, в чем дело, и успокоить человека или чем-нибудь помочь ему. В таких случаях лицо его становилось каким-то растерянным, растроганным.

**Левкий Иванович Жевержеев** *(1881–1942), художник, искусствовед, председатель общества «Союз молодежи»:*

Неизменный здоровый оптимизм Маяковского прекрасно действовал на всех окружающих. Я не помню случая, чтобы в его

присутствии бывало скучно. Еще меньше можно было в его присутствии хандрить. Маяковский всегда чувствовал, если кому-либо из окружающих его в данный момент грустно или тяжело. Он с необычайным тактом умел когда шуткой, когда ловкой переменой темы разговора рассеять и развеселить. И всегда это делалось как бы само собой. Лишь через некоторое время осознавалось, что переменой настроения к лучшему ты обязан именно необычайной чуткости и находчивости этого глубокого знатока человеческой души. И при всем том никогда не приходила в голову мысль, что Маяковский «шутник», несмотря на то, что он любил веселую, жизнерадостную шутку.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Владимир Владимирович с большой чуткостью и вниманием относился к каждому человеку. <…> Он любил людей и был к ним внимателен, его интересовало все в человеке. Владимир Владимирович с настоящим, хорошим любопытством говорил, глядел, общался с людьми.

**Николай Николаевич Асеев.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Обращался с незнакомыми, как будто был со всеми знаком (нестеснительность).

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Не мог входить в гармонический, тесный, цельный контакт с людьми, несмотря на то что чувствовал большую потребность в том и сильное влечение к людям; болезненно ощущал свою неспособность входить в такой контакт с ними. В его выступлениях или при появлении в новом обществе перед незнакомыми людьми была некоторая театрализация, «ломание», было стремление поразить собой людей. Не мог знакомиться с людьми просто. Поддавался влиянию некоторых наиболее близких ему по духу людей, однако если это влияние шло вразрез с его внутренними влечениями и интересами, то оно продолжалось недолго и последние одерживали верх, так как сознательная воля была слабо развита и не в состоянии была эти влечения подавлять и обуздывать.

**Лев Абрамович Кассиль.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Была «сумасшедшая, дикая впечатлительность», был чрезвычайно чувствителен «к спичке», был очень чувствителен к похвале, мог при этом смутиться. <…> Все окончания нервов

были как бы «выведены наружу». Чрезвычайно сильно затрагивал любой мелкий факт и сейчас же действовал очень сильно на его настроение соответственным образом. <…> Очень живо переносил общественное в личное.

**Корнелий Люцианович Зелинский:**

Я никогда не видел Маяковского плачущим или вконец расстроившимся. Но две женщины, которых он знал, рассказывали мне, что они видели, как он рыдал. Горький (в своих воспоминаниях о том, как Маяковский читал «Облако в штанах») тоже пишет: «разрыдался». А без этого нельзя понять Маяковского. Нельзя понять его сдержанности, его уважения к людям, не позволявшим ему распускаться. Но Маяковский мог и оглушить басом аудиторию и разрыдаться.

Его эмоциональный диапазон был громаден. И вряд ли кто мог понять этот диапазон. «Хотите – буду от мяса бешеный, – и, как небо, меняя тона – хотите – буду безукоризненно нежный, не мужчина, а – облако в штанах».

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Вообще у него всегда были крайности. Я не помню Маяковского ровным, спокойным: или он искрящийся, шумный, веселый, удивительно обаятельный, все время повторяющий отдельные строки стихов, поющий эти стихи на сочиненные им же своеобразные мотивы, – или мрачный и тогда молчащий подряд несколько часов. Раздражается по самым пустым поводам. Сразу делается трудным и злым.

**Эльза Триоле:**

Мне бывало с ним трудно. Трудно каждый вечер где-нибудь сидеть и выдерживать всю тяжесть молчания или такого разговора, что уж лучше бы молчал! А когда мы встречались с людьми, то это бывало еще мучительней, чем вдвоем. Маяковский вдруг начинал демонстративно, так сказать – шумно молчать. Или же неожиданно посылал взрослого почтенного человека за папиросами, и удивительнее всего было то, что человек обычно за папиросами шел! Почему-то запомнился один вечер, в танцульке, на втором этаже кафе «Ротонда». За нашим столиком было много народа <…>. Володя сидел мрачный, отодвинув стул, а ведь он любил ходить по танцулькам, хотя сам и не танцевал. Я же была молода и танцевать любила. В тот вечер, когда я вернулась к столику после танца, Володя как бы невзначай смахнул на пол мою перчатку. Я ему сказала: «Володя, подними…» Он смахнул и вторую на грязный, заплеванный пол. Не помня себя, я вскочила, выбежала из зала, вниз по лестнице,

на улицу. Кто-то бежал за мной, пытался меня догнать, вернуть. Ни за что! С Володей мы встретились на следующий день, оба хмурые, но об инциденте не заговаривали. А когда мы опять попали в дансинг, я назло ему пошла танцевать с профессиональным танцором, приставленным к учреждению. Танцору за это следовало заплатить, и Володя, миролюбиво отпустивший меня с ним, только недоуменно спросил, как же это сделать, как ему заплатить?.. «Дай, и все!» И Володя действительно протянул танцору руку с зажатыми в кулак деньгами и потом успокоенно сказал: «Ничего, выскреб…»

Рассказываю об этих незначительных случаях оттого, что характерна именно их незначительность, способность Маяковского в тяжелом настроении натягивать свои и чужие нервы до крайнего предела. Его напористость, энергия, сила, с которой он настаивал на своем, замечательные, когда дело шло о большом и важном, в обыкновенной жизни были невыносимы. Маяковский не был ни самодуром, ни скандалистом из-за пересоленного супа, он был в общежитии человеком необычайно деликатным, вежливым и ласковым, – и его требовательность к близким носила совсем другой характер: ему необходимо было властвовать над их сердцем и душой. У него было в превосходной степени то, что французы называют le sense de l'absolu – потребность абсолютного, максимального чувства и в дружбе, и в любви, чувства, никогда не ослабевающего, апогейного, бескомпромиссного, без сучка и задоринки, без уступок, без скидки на что бы то ни было…

**Осип Максимович Брик** *(1888–1945), литератор, издатель, теоретик и один из организаторов группы ЛЕФ. Муж Л. Ю. Брик. Друг В. Маяковского:*

Маяковский понимал любовь так: если ты меня любишь, значит, ты мой, со мной, за меня, всегда, везде и при всяких обстоятельствах. Не может быть такого положения, что ты был бы против меня – как бы я ни был неправ, или несправедлив, или жесток. Ты всегда голосуешь за меня. Малейшее отклонение, малейшее колебание – уже измена. Любовь должна быть неизменна, как закон природы, не знающий исключений. Не может быть, чтобы я ждал солнца, а оно не взойдет. Не может быть, чтобы я наклонился к цветку, а он убежит. Не может быть, чтобы я обнял березу, а она скажет «не надо». По Маяковскому, любовь не акт волевой, а состояние организма, как тяжесть, как тяготение.

Были ли женщины, которые его так любили? Были. Любил ли он их? Нет! Он их принимал к сведению. Любил ли он сам так?

Да, но он был гениален. Его гениальность была сильней любой силы тяготения. Когда он читал стихи, земля приподымалась, чтобы лучше слышать. Конечно, если бы нашлась планета, неуязвимая для стихов… но такой не оказалось! <…> Маяковский был одинок не оттого, что он был не любим, не признан, что у него не было друга. Его печатали, читали, слушали так, что залы ломились. Не счесть людей, преданных ему, любивших его. Но все это капля в море для человека, у которого «ненастный вор в душе», которому нужно, чтобы читали те, кто не читает, чтобы пришел тот, кто не пришел, чтобы любила та, которая, казалось ему, не любит.

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Был очень чувствителен к малейшей обиде, фальши, лицемерию и проявлениям других чувств к нему со стороны окружающих. Была как бы обнаженность чувств и впечатлений.

**Виктор Андроникович Мануйлов:**

Был очень раним, но сдержан и никогда не показывал своей боли.

**Николай Николаевич Асеев.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Мог быть внешне совершенно спокоен при бурности переживаний внутри себя.

**Лили Юрьевна Брик:**

Маяковский знал себе как поэту цену, но все-таки всегда в нем оставалась неуверенность. Он как никто нуждался в поощрении, похвале, признании и напряженно и подозрительно всматривался в слушателя, когда читал новые стихи.

Он был счастлив, когда я говорила, что ничего в искусстве не может быть лучше, что это гениально, бессмертно и что такого поэта мир не знал.

**Лила Герреро** *(Лиля Андреева; 1906–1986), аргентинская поэтесса российского происхождения, переводчица поэзии В. Маяковского на испанский язык:*

Его взгляд, как мне показалось, загорался, когда он чувствовал тепло восхищения или любви, но потухал, когда его не поддерживал этот огонь, в котором он так нуждался.

**Лев Абрамович Кассиль:**

В киосках продают журнал. В нем ругательные статьи,

карикатура: большеротый верзила, нахально прущий поперек литературы, Маяковский комкает журнал, запихивает его на ходу в карман просторного пальто. Потом останавливается на бульваре, опирается сзади на трость, скрестив ноги; вынимает журнал, читает брезгливо:

– Хамская статья! Опять надо объяснять все сначала. Ни черта не поняли!

Разом помрачневший, судорожно зажав уголком рта потухшую папиросу, волочит он по бульвару тяжелую обиду.

Не многие знают, как мало надо, чтобы обидеть его. «Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется».

Только друзья знают, сколько ласки и тепла в этом большом человеке, который скрывает за сверкающими доспехами остроумия очень легко ранимое сердце и мрачнеет от каждого примеченного им свинства, а от похвалы и внимания мякнет, конфузится.

**Виктор Андроникович Мануйлов:**

Он был организован, точен, пунктуален не только в работе, но и в повседневном быту, требователен к себе и к другим, влиятельным и невлиятельным лицам.

**Рита Райт** *(Раиса Яковлевна Райт-Ковалева; 1898–1989), литератор, переводчик; писала тексты для «Окон РОСТА», перевела на немецкий язык пьесу Маяковского «Мистерия-буфф»:*

Я не знала человека более точного, более верного своему слову, назначенному часу, назначенному делу, чем Маяковский. Не было случая, чтобы он «подвел», опоздал, не пришел. И ведь никто не регламентировал его время, его работу.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Был он очень аккуратен. Вещи находились всегда в порядке, у каждого предмета – определенное, свое место. И убирал он все с какой-то даже педантичностью, злился, если что-нибудь было не в порядке.

**Валентин Петрович Катаев:**

Он вошел в комнату, уже еле-еле тронутую приближающимися сумерками, поставил палку в угол, а шляпу повесил на пуговку самой верхней полки шведского книжного шкафа, предварительно попробовав пальцами, крепко ли она держится <…>

С некоторым беспокойством следил я за всеми его передвижениями, так как обычно, входя в мою комнату, он учинял небольшой шуточный дебош, безвредный, но пугающий

своей стремительностью. Одним движением смахивал он с письменного стола рукописи, засовывал под диван книги, ставил на подоконник, за портьеры, как за кулисы, письменные принадлежности, бутылочки с чернилами, коробку канцелярских скрепок.

– Запомните, – приговаривал он ворчливо, – у писателя на столе должно быть абсолютно пусто. Шурум-бурум к черту! Это отвлекает.

В особенности его раздражал небольшой матово-серебряный юбилейный прибор в стиле модерн, доставшийся мне в наследство от моего полтавского дяди, известного в свое время земского деятеля. Я держал прибор исключительно из уважения к памяти дяди.

С непостижимым проворством фокусника Маяковский рассовывал все составные части этого юбилейного прибора – подсвечники без свечей, ножик для разрезания, пресс-папье без промокашки, две пустые чернильницы с серебряными колокольчиками крышечек, спичечницу – с глаз долой, куда попало: в книжный шкаф, под кресла, даже в устье голландской печки, если дело было летом.

Совершая все эти забавные безобразия, он рычал из Хлебникова: «И тополь земец, и вечер темец, и моря речи, и ты – далече».

Этим он как бы отдавал долг вежливости моему дяде, который был земец.

**Сергей Дмитриевич Спасский** *(1898–1956), поэт, мемуарист:*

Он был весь переполнен движением. Веселая жизненная сила переливалась в его высоком и тонком теле. Угловатые жесты были выразительны и рельефны. Он не примерялся к собеседникам и к обстановке, оставаясь самим собой до конца.

**Вадим Габриэлович Шершеневич:**

Азарт ему был необходим во всем. И в работе, и в жизни.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Маяковский со страшным азартом мог, как ребенок, увлекаться самыми неожиданными пустяками.

Например, я помню, как он увлекался отклеиванием этикеток от винных бутылок. Когда этикетки плохо слезали, он злился, а потом нашел способ смачивать их водой, и они слезали легко, без следа. Этому он радовался, как мальчишка. <…>

У Владимира Владимировича были часы, и он хвастался, что

стекло на них небьющееся. А в Сочи я увидела, что стекло разбито. Спросила, каким образом это произошло. Владимир Владимирович сказал, что поспорил с одной знакомой. Она тоже говорила, что у нее стекло на часах не бьется. Вот они и шваркали своими часами стекло о стекло. И вот у нее стекло уцелело, и Владимир Владимирович очень расстроен, что на его часах треснуло.

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Был очень подвижен, особенно любит ходить. Не мог продолжительное время сидеть спокойно, «ерзал» на стуле, часто вскакивал.

**Николай Семенович Тихонов** *(1896–1979), поэт:*

Он не любил сидеть на месте. Он был великий странник, он все время кочевал по стране, он признавался даже, что «бреется километрами» в поезде, переносясь из конца в конец по большой нашей родине, или пересекая Европу, или переплывая моря и океаны.

Эти поездки и путешествия, массы новых людей, приветствовавших его, смена пейзажей, особенно городских, – он был любитель города, – постоянные новые встречи, тысячи записок и посещений – все это радовало его, все являлось новым стимулом для новых стихов…

**Лев Вениаминович Никулин:**

Он не был ни ласковым теленком, ни кокеткой-фрондером, и ни в коем случае бездушной схемой, конструкцией, плакатом, вроде фанерного человека в кепке. Такой запас сил был у Маяковского, такая непотухающая энергия, что ее хватало на нечеловеческую работу, на литературные споры и драки, и оставалось еще столько, что некуда было девать этот неисчерпаемый темперамент, и тогда мотор продолжал работать на холостом ходу, за карточным и биллиардным столом и даже у стола монакской рулетки. Ханжи фыркали, негодовали, упрекали, не понимая, что это была не игрецкая страсть, не корысть, а просто необходимость израсходовать избыток энергии.

**Валентин Петрович Катаев:**

В сущности, он был человеком из другой страны, южанин. Приезжий. И до сих пор никак не мог акклиматизироваться. Заморский страус. Во всяком случае, именно так назвал он себя в стихотворении «России».

**Лили Юрьевна Брик:**

Часто думают, что в поведении Маяковского было много «игры». Это неверно. Он без всякой игры был необычен.

# Творчество

**Давид Давидович Бурлюк:**

Его биографам не надо будет ждать его автобиографии: Маяковский писал себя и окружающее, – он брал жизнь, – но наводил на нее такие магические стекла, что испепелялись «будни с их шелухою», в простейшем он умел найти грани вечного алмаза искусства.

Надо указать, что Маяковский в своей поэзии ничего не выдумывал. Его стихи – лог его жизни. Судовой журнал. События, факты, однако, записаны нестираемыми знаками. Отшлифовано. Найдена окончательная форма выражения. Не переделать, не забыть, не отбросить. Все в его стихах списано с натуры.

**Василий Абгарович Катанян:**

Творческая реакция Маяковского была всегда очень быстрой и непосредственной. Стихов-воспоминаний у него почти нет. Поэтому очень легко датировать его стихи по фактам, о которых в них говорится, и такая датировка никогда не оказывалась грубо неточной.

**Лили Юрьевна Брик:**

Темой его стихов почти всегда были собственные ощущения. Это относится и к «Нигде кроме как в Моссельпроме». Он не только других агитировал, но и сам не покупал у частников.

**Давид Давидович Бурлюк:**

Первые свои стихи Владимир Маяковский составлял исключительно для декламации, для чтения с эстрады, для рева в курилке в Училище живописи, ваяния и зодчества. В этих многочисленных стихах (чеканных и острых) женщины изображены декоративно. Владимир Маяковский стеснялся на эстраде быть «бесстыдным» перед незнакомыми ему людьми. Его интересовали городские натюрморты. Железные вывески с «копчеными сигами», «трубы», по которым водопадами струится сырость. Весь первый период стихотворчества прошел на бульварах, на улицах. У поэта не было бумаги, не было чернил. У него была безмерная память и сквозь дым папирос вырывались первые огненные языки, куски его будущих потрясающих поэм.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из книги «Как делать стихи», 1926 г.:*

Говорю честно. Я не знаю ни ямбов, ни хореев, никогда не различал их и различать не буду. Не потому, что это трудное дело, а потому, что мне в моей поэтической работе никогда с этими штуками не приходилось иметь дело. А если отрывки таковых метров и встречались, то это просто записанное по слуху, так как эти надоевшие мотивы чересчур часто встречаются – вроде: «Вниз по матушке по Волге».

Я много раз брался за это изучение, понимал эту механику, а потом забывал опять. Эти вещи, занимающие в поэтических учебниках 90 %, в практической работе моей не встречаются и в трех.

**Лев Федорович Жегин:**

В Школе живописи можно было видеть, как Маяковский «выколачивает» ритмы своих кованых строк. Забравшись в какой-нибудь отдаленный угол мастерской, Маяковский, сидя на табуретке и обняв обеими руками голову, раскачивался вперед и назад, что-то бормоча себе под нос. Точно так же (по крайней мере в ту пору), путем бесконечных повторений и изменений создавал Маяковский и свои графические образы.

**Сергей Сергеевич Медведев** *(1891–1970), товарищ В. Маяковского в его гимназические годы в Москве, впоследствии действительный член Академии наук СССР (1958), химик:*

Усиленно обсуждался, помню, такой вопрос: чтобы создать что-нибудь в искусстве, нужен ли только талант или талант плюс работа? Нередкая в таких юношеских спорах переоценка значения таланта была Володе абсолютно не свойственна. Он считал, что решающим, определяющим условием развития художника является упорный труд и систематическая работа над собой.

**Владимир Владимирович Маяковский:**

Поэзия
та же добыча радия.
В грамм добыча –
в год труды.
Изводишь
единого слова ради
тысячи тонн
словесной руды.

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Творил всегда на память, записывал обычно уже готовое произведение, причем предварительно чрезвычайно тщательно отделывал и отшлифовывал его в уме (например, мог до 50 раз подбирать различные варианты рифмы).

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Со слов Э. Джонс:*

Знаешь, когда я закончу, отполирую, напишу две строчки за день, – значит, я хорошо в этот день поработал.

**Василий Васильевич Каменский:**

Работать он мог в любой обстановке: у Бурлюка, в гостях, в театре, на улице.

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Писать не любил, писал мало и, скорее, медленно. По сравнению с устной письменная речь отступала на задний план. Так же как и остальные движения, письмо было отрывистое, лаконичное.

**Василий Васильевич Каменский:**

(Маяковский – Сост.), собственно, не писал, как обыкновенно пишут за письменным столом (у него и стола не было), а работал своим оригинальным способом.

Метод его работы заключался в том, что задуманную тему он разрабатывал до точности в голове и строил строки мысленно почти вслух, воображая себя читающим, исполняющим.

При этом он не нуждался в уединении, а, напротив – непременно работал при нас и новые сделанные строки сейчас же переводил на голос, как бы проверяя их значимость.

И даже справлялся:

– Интересно?

И получал неизменный ответ:

– Гениально!

В кафэ: шум, люди, музыка, а Маяковский глядит поверх всего и делает свою работу, иногда цитируя отдельные новые строки.

**Софья Сергеевна Шамардина:**

Вот он ходит из угла в угол и уже не старые свои строчки читает, а наговаривает в своих, таких особенных интонациях – новое. И уже не голос свой слушает, а смысл и строй стиха.

Вот сказал так – прошел по комнате, повторил. Вот переставил слово. Вот заменил другим. И долго выхаживает каждую строчку. <…> Вдруг остановится, спросит: «Нравится?»

**Людмила Семеновна Татарийская:**

Если Владимир Владимирович продумывал и сочинял свои произведения, он открывал дверь из комнаты в переднюю, из передней в коридор и шагал туда и обратно.

А когда ему нужно было свои мысли и слова переносить на бумагу, он подходил к бюро, становился одной ногой на стул и записывал.

**Александр Михайлович Родченко** *(1891–1956), художник, график, фотограф, входил в группу ЛЕФ, работал вместе с В. Маяковским:*

Обдумывая строку, он ходил по комнате, бубня про себя фразы и отбивая такт рукой. Потом быстро записывал на клочках бумаги сложившийся текст.

**Иван Васильевич Грузинов:**

Маяковский – весь в движении. И стихи свои он любил слагать, находясь в движении – особенно под ритмические взмахи своих шагов, бесчисленное множество раз пересекая площади и меряя улицы городов. <…>

Почти каждый раз, когда я встречал его, я слышал: он басом бормочет стихи. Ясно: он на ходу слагал свои новые стихи или исправлял старые.

Каждый раз, когда я видел Маяковского сочиняющим на ходу стихи, я старался сделать вид, что не замечаю его работы. Но обмануть Маяковского было невозможно. Он смущался. Как будто его застигли на месте преступления.

Однажды я встретил Маяковского на отдаленной улице Москвы, встретил в необычный час. Это было ранним осенним утром. По всей вероятности, это было в 1920 году.

Он шел, размахивая огромным пустым мешком, и слагал вслух стихи.

Пройдя несколько шагов, я оглянулся.

Гигант продолжал ритмически размахивать огромным мешком. Развевающийся в воздухе мешок казался парусом, трепещущим на ветру.

**Из репортажа газеты «Фрайгайт» (Нью-Йорк):**

Мы так увлеклись разговором, что совершенно не заметили как дошли до Сентрал-парка. Уселись на скамье в аллее, выходящей прямо на Пятую авеню. Сумерки. Какой-то сумасшедший водоворот автомобилей, автобусов, трамваев, все более увеличивающихся масс людей. Нет ему ни конца,

ни начала. Все стучит и гремит, звенит и грохочет. Маяковский весь погружен в себя. Я вижу, как подействовал на него своеобразный говор улицы. Он словно впитывает в себя все эти звуки. Вот он вынул из кармана свой блокнот в черной кожаной обложке и что-то быстро-быстро вписывает в него, как бы в такт окружающего шума. Его фигура постепенно начинает привлекать всеобщее внимание. Кой-кто удивленно оглядывается на него. Сам он, однако, не замечает никого, даже меня, сидящего рядом с ним.

Вдруг Маяковский поднялся и отрывисто бросил:

– Пошли!

Когда мы вернулись к нему в комнату, Маяковский сказал:

– Уловил темп Нью-Йорка, глухой темп, приглушенный… Это будет новое стихотворение: «Маяковский на Пятой авеню».

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из книги «Как делать стихи», 1926 г.:*

Я хожу, размахивая руками и мыча еще почти без слов, то укорачивая шаг, чтоб не мешать мычанию, то помычиваю быстрее в такт шагам.

Так обстругивается и оформляется ритм – основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытаскивать отдельные слова.

Некоторые слова просто отскакивают и не возвращаются никогда, другие задерживаются, переворачиваются и выворачиваются по нескольку десятков раз, пока не чувствуешь, что слово стало на место (это чувство, развиваемое вместе с опытом, и называется талантом). Первым чаще всего выявляется главное слово – главное слово, характеризующее смысл стиха, или слово, подлежащее рифмовке. Остальные слова приходят и вставляются в зависимости от главного. Когда уже основное готово, вдруг выступает ощущение, что ритм рвется – не хватает какого-то сложка, звучика. Начинаешь снова перекраивать все слова, и работа доводит до исступления. Как будто сто раз примеряется на зуб не садящаяся коронка, и наконец, после сотни примерок, ее нажали, и она села. Сходство для меня усугубляется еще и тем, что когда, наконец, эта коронка «села», у меня аж слезы из глаз (буквально) от боли и от облегчения.

Откуда приходит этот основной гул-ритм – неизвестно. Для меня это всякое повторение во мне звука, шума, покачивания или даже вообще повторение каждого явления, которое я выделяю звуком. Ритм может принести и шум повторяющегося моря, и прислуга, которая ежеутренне хлопает дверью и, повторяясь, плетется, шлепая в моем сознании, и даже вращение земли, которое у меня, как в магазине наглядных пособий, карикатурно

чередуется и связывается обязательно с посвистыванием раздуваемого ветра.

Старание организовать движение, организовать звуки вокруг себя, находя ихний характер, ихние особенности, это одна из главных постоянных поэтических работ – ритмические заготовки. Я не знаю, существует ли ритм вне меня или только во мне, скорей всего – во мне. Но для его пробуждения должен быть толчок, – так от неизвестно какого скрипа начинает гудеть в брюхе у рояля, так, грозя обвалиться, раскачивается мост от одновременного муравьиного шага.

Ритм – это основная сила, основная энергия стиха. Объяснить его нельзя, про него можно сказать только так, как говорится про магнетизм или электричество. Магнетизм и электричество – это виды энергии. Ритм может быть один во многих стихах, даже во всей работе поэта, и это не делает работу однообразной, так как ритм может быть до того сложен и трудно оформляем, что до него не доберешься и несколькими большими поэмами.

Поэт должен развивать в себе именно это чувство ритма и не заучивать чужие размерчики; ямб, хорей, даже канонизированный свободный стих – это ритм, приспособленный для какого-нибудь конкретного случая и именно только для этого конкретного случая годящийся. Так, например, магнитная энергия, отпущенная на подковку, будет притягивать стальные перышки, и ни к какому другому делу ее не приспособишь.

Из размеров я не знаю ни одного. Я просто убежден для себя, что для героических или величественных передач надо брать длинные размеры с большим количеством слогов, а для веселых – короткие. Почему-то с детства (лет с девяти) вся первая группа ассоциируется у меня с

Вы жертвою пали в борьбе роковой… –

а вторая – с

Отречемся от старого мира…

Курьезно. Но, честное слово, это так.

Размер получается у меня в результате покрытия этого ритмического гула словами, словами, выдвигаемыми целевой установкой (все время спрашиваешь себя: а то ли это слово? А кому я его буду читать? А так ли оно поймется? И т. д.), словами, контролируемыми высшим тактом, способностями, талантом.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Однажды он сказал мне:

– На столе у меня на клочках бумаги и на папиросных коробках записаны слова и строчки стихов, которые мне нужны, – не убирайте и не выбрасывайте их.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из выступлений, 1929 г.:*

Я хожу по улицам и собираю всякую словесную дрянь, авось через семь лет пригодится! Эту работу по заготовке сырья надо проделывать постоянно, по принципу восьмичасового рабочего дня, а не в минуты отдыха.

**Петр Васильевич Незнамов:**

Однажды, играя в городки в Пушкино, он успел сделать запись даже между двумя ударами палкой. Пиджак его остался в комнате, блокнота с ним не было, и он нацарапал эту заготовку углем на папиросной коробке.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из книги «Как делать стихи», 1926 г.:*

Хорошую поэтическую вещь можно сделать к сроку, только имея большой запас предварительных поэтических заготовок. <…>

Все эти заготовки сложены в голове, особенно трудные – записаны.

Способ грядущего их применения мне неведом, но я знаю, что применено будет все.

На эти заготовки у меня уходит все мое время. Я трачу на них от 10 до 18 часов в сутки и почти всегда что-нибудь бормочу. Сосредоточением на этом объясняется пресловутая поэтическая рассеянность.

Работа над этими заготовками проходит у меня с таким напряжением, что я в девяноста из ста случаев знаю даже место, где на протяжении моей пятнадцатилетней работы пришли и получили окончательное оформление те или иные рифмы, аллитерации, образы и т. д. <…>

Эта «записная книжка» – одно из главных условий для делания *настоящей* вещи.

Об этой книжке пишут обычно только после писательской смерти, она годами валяется в мусоре, она печатается посмертно и после «законченных вещей», но для писателя эта книга – все.

Только присутствие тщательно обдуманных заготовок дает

мне возможность поспевать с вещью, так как норма моей выработки при настоящей работе это – 8–10 строк в день.

Поэт каждую встречу, каждую вывеску, каждое событие при всех условиях расценивает только как материал для словесного оформления.

Раньше я так влезал в эту работу, что даже боялся высказывать слова и выражения, казавшиеся мне нужными для будущих стихов, – становился мрачным, скучным и неразговорчивым.

Году в тринадцатом, возвращаясь из Саратова в Москву, я, в целях доказательства какой-то вагонной спутнице своей полной лояльности, сказал ей, что я «не мужчина, а облако в штанах». Сказав, я сейчас же сообразил, что это может пригодиться для стиха, а вдруг это разойдется изустно и будет разбазарено зря? Страшно обеспокоенный, я с полчаса допрашивал девушку наводящими вопросами и успокоился, только убедившись, что мои слова уже вылетели у нее из следующего уха.

Через два года «облако в штанах» понадобилось мне для названия целой поэмы. <…>

Улавливаемая, но еще не уловленная за хвост рифма отравляет существование: разговариваешь, не понимая, ешь, не разбирая, и не будешь спать, почти видя летающую перед глазами рифму.

**Юрий Карлович Олеша:**

Я как-то предложил Маяковскому купить у меня рифму.

– Пожалуйста, – сказал он с серьезной деловитостью. – Какую?

– Медикамент и медяками.

– Рубль.

– Почему же так мало? – удивился я.

– Потому что говорится «медикаме́нт», с ударением на последнем слоге.

– Тогда зачем вы вообще покупаете?

– На всякий случай.

**Николай Николаевич Асеев:**

– Асейчиков! Продайте мне строчку!

– Ну, вот еще, торговлю затеяли!

– Ну, подарите, если забогатели; мне очень нужна!

– Какая же строчка?

– А вот у вас там в беспризорном стихе: «от этой грязи избавишься разве».

– А куда вам ее?

– Да я еще не знаю, но очень куда-то нужна!

– Ладно, берите, пользуйтесь.

Строчка, чуть варьированная, вошла в одно из стихотворений об Америке, гораздо позже написанных.

**Лев Осипович Равич:**

Помню, как он очень ясно говорил о том, что, читая, надо всматриваться в отдельные слова, сортировать и запоминать их.

**Алексей Елисеевич Крученых:**

У него есть такие странные слова, что мы даже не знаем, откуда они. Например, у него в одном журнале («Бой» или «Крысодав», не помню) были к рисункам четверостишия. Вся страница была его, и они были даже без подписи. Там есть такая строка: «Успокойтесь жизнь малина лампопо». Что такое «лампопо»? Есть «Лимпопо» у Чуковского, это река в Африке, а «лампопо», оказывается, есть в словаре Даля. Я как-то разговаривал с Л. А. Кассилем. Он сказал, что написал вещь, где одна лисица говорила, что растерзала дичь «по-по-лам, по-по-лам, лам-по-по, лам-по-по». «Я думал, – сказал Кассиль, – что это я сочинил, а оказывается, это есть у Маяковского и в словаре Даля…» У Даля сказано, что это перестановка слова по-по-лам, лам-по-по. При игре в карты оно означает, что взятки взяли пополам, или оно означает легкий напиток: пополам лимонад и еще какая-нибудь вода. «Из малины – лампопо». С Маяковским осторожно надо быть. У него можно встретить такое слово, что на первый взгляд оно покажется диким, а оказывается, он взял это слово у какого-нибудь писателя или из словаря.

**Давид Давидович Бурлюк:**

Любил разговаривать, расспрашивать. Позже, много позже, у него стали появляться и записные книжечки; туда Владимир Владимирович заносил карандашиком или же «фаунтен-пеном» рождавшееся в нем. Любил задавать вопросы «ученым» людям.

**Лев Абрамович Кассиль.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Носил с собой две-три записные книжки.

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Писал с орфографическими ошибками, что зависело от того, что мало учился в средней школе, мало читал, часто писал фонетически, например, рифма «узнаф» вместо «узнав» к слову «жираф».

**Владимир Владимирович Тренин** *(1904–1941), сотрудничал как критик с журналом «Новый ЛЕФ», литературовед, знакомый В. Маяковского:*

В заготовках и черновиках Маяковского можно найти множество таких записей рифм: нево – Невой; плеска – железка; как те – кагтей; самак – дама; апарат – пара. И т. д. и т. д.

Подобного рода записи мне не приходилось встречать ни у одного поэта, кроме Маяковского.

Характерная их особенность в том, что Маяковский решительно отбрасывает традиционную орфографическую форму слова и пытается зафиксировать его приблизительно так, как оно произносится (то есть создает некое подобие научной фонетической транскрипции).

**Лили Юрьевна Брик:**

Маяковский любил играть и жонглировать словами, он подбрасывал их, и буквы и слоги возвращались к нему в самых разнообразных сочетаниях:

Зигзаги
Загзиги.
Кипарисы
рикаписы
сикарипы
писарики
Лозунги
Лозгуны, –

без конца…

**Петр Васильевич Незнамов:**

Все его бутады, шутливые зарифмовывания, игра словом, как мячиком, перестановка слогов были не чем иным, как ежедневной поэтической деятельностью. Его слово было его дело. Поэзия была делом его жизни, и он, в сущности, всегда пребывал в состоянии рабочей готовности и внутренней мобилизации. < … >

Когда он слышал слово «боржом», он начинал его спрягать:

– Мы боржом, вы боржете, они оборжут.

Или вдруг начинал «стукать лбами» стоящие по своей звуковой основе рядом прилагательные:

– Восточный – водосточный – водочный.

Он брал слово в раскаленном докрасна состоянии и, не дав ему застыть, тут же делал из него поэтическую заготовку. Он

всегда в этой области что-нибудь планировал, накапливал, распределял. Для постороннего все это казалось, может быть, и ненужным, но человек, понимающий, что к чему, сближал эту его работу с ежедневными упражнениями пианиста в своем ремесле.

**Сергей Дмитриевич Спасский:**

Слова, проходившие над столом, будили в нем особые представления.

– Надо послать заказной бандеролью, – по какому-то поводу сказал Брик.

Маяковский вцепился в слово и медленно разжевывал его:

– Бандероль, – бормотал он, повторяя за слогом слог. – Артистов банде дали роль. Дали банде роль, – гудел его голос, ни к кому не обращаясь, извлекая из попавшихся по дороге созвучий новые возможные содержания.

**Ольга Константиновна Матюшина** *(1885–1975), вторая жена художника М. В. Матюшина:*

Я молча допечатала Хлебникова и обернулась к Маяковскому.

– Не дуйтесь! – весело сказал он, подавая листки. Я начала печатать, перекидываясь с ним вопросами и замечаниями.

– Готово! – сказала я, вытаскивая страницу и проглядывая ее. – Ой! Что я написала!

– Что?

– Я сейчас сотру. Написала – музчина.

– Как?

– Музчина.

– Не стирайте! Не стирайте! Это очень интересно! Муз-чина… И он, забрав рукопись, побежал в типографию.

**Юрий Карлович Олеша:**

Это был король метафор. Однажды играли на бильярде – Маяковский и поэт Иосиф Уткин, которого тоже нет в живых. При ударе одного из них что-то случилось с шарами, в результате чего они, загремев, подскочили…

– Кони фортуны, – сказал я.

– Слепые кони фортуны, – поправил Маяковский, легши на кий.

**Левкий Иванович Жевержеев:**

С течением времени я привык к тому, что очень часто и во время бесед, и во время споров (а спорил Маяковский всегда с большой страстью), и во время «свободных часов» он вдруг

соскакивал с места, шел к письменному столу и что-то записывал. Работа над стихом, по-видимому, не оставляла его ни на минуту. Что бы он ни делал, а поэтическое творчество являлось для него постоянным.

**Василий Абгарович Катанян:**

Люди, близко знавшие Маяковского, помнят, как часто за разговором или на прогулке глаза его вдруг переставали замечать окружающее, он задумчиво шевелил губами, и короткие движения сжатой руки как бы подчеркивали ритм складывающихся строк. Или, бывало, за игрой он вдруг протягивал руку к пиджаку, висящему на стуле, за записной книжкой или за клочком бумаги – записать несколько слов. Казалось, голова его работает в этом направлении круглые сутки.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *В записи Льва Абрамовича Кассиля:*

Я напрягаюсь над строкой до слез, ночью просыпаюсь и ищу нужное слово. Плачу от удовольствия, когда строка наконец сомкнута. Когда нужное слово найдешь, словно коронка на зуб села – аж искры из глаз.

**Петр Васильевич Незнамов:**

Это был круглосуточный писатель, который даже в полудремотном состоянии, уже засыпая, мог… писать. Это невероятно, но факт.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из выступлений, 1929 г.:*

Дело не во вдохновении, а в организации вдохновения.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Я пошел с Маяковским на работу. Сперва говорили, потом остановились. Он сказал:

– Мне нужно придумать до того дома четыре строчки.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из книги «Как делать стихи», 1926 г.:*

Первое четверостишие определяет весь дальнейший стих. Имея в руках такое четверостишие, я уже прикидываю, сколько таких нужно по данной теме и как их распределить для наилучшего эффекта (архитектоника стиха). <…>

Имея основные глыбы четверостиший и составив общий архитектурный план, можно считать основную творческую работу

выполненной.

Далее идет сравнительно легкая техническая обработка поэтической вещи.

Надо довести до предела выразительность стиха. Одно из больших средств выразительности – образ. Не основной образ-видение, который возникает в начале работы как первый туманный еще ответ на социальный заказ. Нет, я говорю о вспомогательных образах, помогающих вырастать этому главному. Этот образ – одно из всегдашних средств поэзии, и течения, как, например, имажинизм, делавшие его целью, обрекали себя по существу на разработку только одной из технических сторон поэзии.

Способы выделки образа бесконечны.

Один из примитивных способов делания образа – это сравнения. Первые мои вещи, например, «Облако в штанах», были целиком построены на сравнениях – все «как, как и как». <…>

Распространеннейшим способом делания образа является также метафоризирование, т. е. перенос определений, являвшихся до сего времени принадлежностью только некоторых вещей, и на другие слова, вещи, явления, понятия.

<…> Один из способов делания образа, наиболее применяемый мною в последнее время, это – создание самых фантастических событий – фактов, подчеркнутых гиперболой. <…>

К технической обработке относится и звуковое качество поэтической вещи – сочетание слова со словом. Эта «магия слов», это – «быть может, все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов», эта звуковая сторона кажется также многим самоцелью поэзии, это опять-таки низведение поэзии до технической работы. Переборщенность созвучий, аллитераций и т. п. через минуту чтения создает впечатление пресыщенности. <…>

Я прибегаю к аллитерации для обрамления, для еще большей подчеркнутости важного для меня слова. Можно прибегать к аллитерации для простой игры словами, для поэтической забавы; старые (для нас старые) поэты пользовались аллитерацией главным образом для мелодичности, для музыкальности слова и поэтому применяли часто наиболее для меня ненавистную аллитерацию – звукоподражательную. <…>

Конечно, не обязательно уснащать стих вычурными аллитерациями и сплошь его небывало зарифмовывать. Помните всегда, что режим экономии в искусстве – всегдашнее важнейшее правило каждого производства эстетических ценностей. Поэтому, сделав основную работу, о которой я говорил вначале, многие

эстетические места и вычурности надо сознательно притушевывать для выигрыша блеска другими местами.

Можно, например, полурифмовать строки, связать не лезущий в ухо глагол с другим глаголом, чтобы подвести к блестящей громкогромыхающей рифме.

Этим лишний раз подчеркивается относительность всех правил писания стихов.

К технической работе относится и интонационная сторона поэтической работы. <…>

Одним из серьезных моментов стиха, особенно тенденциозного, декламационного, является концовка. В эту концовку обычно ставятся удачнейшие строки стиха.

Иногда весь стих переделываешь, чтобы только была оправдана такая перестановка. <…>

Бесконечно разнообразны способы технической обработки слова, говорить о них бесполезно, так как основа поэтической работы, как я неоднократно здесь упоминал, именно в изобретении способов этой обработки, и именно эти способы делают писателя профессионалом.

**Лили Юрьевна Брик:**

В молодости он писал, говорят, сложно. С годами стал писать, говорят, «проще». Но он знал, что элементарная простота – не достижение, а пошлость. Пошлости же больше всего боялся Маяковский. С пошляками-упрощенцами и пошляками, симулирующими сложность, он воевал всю жизнь.

Молодой поэт прочел свои новые хорошие стихи Маяковскому. Поэта этого он любил. Но, выслушав его, сказал раздраженно: «До чего же надоели эти трючки. Так писать уже нельзя, вот возьму и напишу небывало, совершенно по-новому».

**Лев Абрамович Кассиль.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Одновременно работал над несколькими темами: одна ведущая, большая – поэма; другая злободневная.

**Лев Абрамович Кассиль:**

Только что повешена трубка, и снова звонок. Звонят из «Комсомольской правды». Теперь он ходит весело, размахивая свободной рукой. Азартная улыбка сдвинула папиросу далеко вбок. Уже не кажется привязью телефонный шнур, по которому прошел силовой ток, приведший в движение этого только что угрюмого, осевшего человека.

– Очень здорово, что позвонили! – радушно говорит он,

скосив в трубку свой большой горячий глаз. – Просто спасибо, что позвонили. А я только что со всем миром переругался. Завалились хламьем и ушей не продуют. Ничего, я еще им перепонки поскребу! А стих дам завтра же. Тема вполне роскошная, сама в строку лезет.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из книги «Как делать стихи», 1926 г.:*

Все стихи, которые я писал на немедленную тему при самом большом душевном подъеме, нравившиеся самому при выполнении, все же через день казались мне мелкими, несделанными, однобокими. Всегда что-нибудь ужасно хочется переделать.

Поэтому, закончив какую-нибудь вещь, я запираю ее в стол на несколько дней, через несколько вынимаю и сразу вижу раньше исчезавшие недостатки.

**Василий Абгарович Катанян:**

В практике поэтической работы Маяковского, когда между написанием вещи и ее опубликованием проходило больше времени, чем ему хотелось, когда он видел, что вещь доставляется читателю далеко не «на аэроплане» и по дороге «стареет», он продолжал работать над нею, осовременивая и дополняя текст новыми подробностями, фактами самых последних дней.

Об этом говорят черновики и печатные варианты многих его произведений.

Так он работал, например, над политическими памфлетами «Маяковская галерея», вплоть до последней корректуры, дополняя портреты политических деятелей новыми и новыми подробностями по последним телеграммам.

Так он работал над своими пьесами в процессе их постановки, пока артисты разучивали роли и репетировали.

**Лили Юрьевна Брик:**

Просто поговорить, откликнуться, даже стихом, Маяковскому было мало. Он хотел убедить слушателя. Когда ему казалось что это не удалось, он надолго мрачнел. Если после чтения его новых стихов, поговорив о них, шли ужинать или принимались за чаепитие, он становился чернее тучи.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из книги «Как делать стихи», 1926 г.:*

Нельзя работать вещь для функционирования в безвоздушном пространстве или, как это часто бывает с поэзией, в чересчур

воздушном.

Надо всегда иметь перед глазами аудиторию, к которой этот стих обращен. В особенности важно это сейчас, когда главный способ общения с массой – это эстрада, голос, непосредственная речь.

Надо в зависимости от аудитории брать интонацию убеждающую или просительную, приказывающую или вопрошающую.

Большинство моих вещей построено на разговорной интонации. Но, несмотря на обдуманность, и эти интонации не строго-настрого установленная вещь, а обращения сплошь да рядом меняются мной при чтении в зависимости от состава аудитории.

**Василий Васильевич Каменский:**

Мы с большой компанией молодежи поднялись по фуникулеру на гору Давида.

Маяковский, озирая с высоты горы, с уважением говорил:

– Вот это – аудитория! С эстрады этой горы можно разговаривать с миром. Так, мол, и так, – решили тебя, старик, переделать.

# Декламатор

**Эльза Триоле:**

Кто-то необычайно большой, в черной бархатной блузе, размашисто ходил взад и вперед, смотрел мимо всех невидящими глазами и что-то бормотал про себя. Потом, как мне сейчас кажется – внезапно, он также мимо всех загремел огромным голосом. И в этот первый раз на меня произвели впечатление не стихи, не человек, который их читал, а все это вместе взятое, как явление природы, как гроза…

**Симон Иванович Чиковани** *(1902/03–1966), грузинский поэт:*

Маяковский большое значение придавал авторскому чтению произведений, порой определял этим качество самого стихотворения. Утверждал, что если поэт плохо читает свои стихи, то это свидетельствует о несовершенстве самого произведения, что поэт обязан не только хорошо писать, но и хорошо читать написанное. Каждая поэтическая строка, утверждал он, основана на возможностях собственного голоса, исходит из самой природы поэтического выражения, произнесения… И возможно ли, чтобы не было соответствия между голосом и мыслью, которую хочешь выразить?!

**Алексей Елисеевич Крученых:**

Уже после 12 часов ночи конферансье объявил: «Сейчас будет читать стихи поэт-футурист Маяковский». Не помню, как он был одет, знаю, что он был очень бледен, жевал папиросу и сейчас же зажег другую, затянулся, хмуро ждал, чтобы публика успокоилась, и вдруг начал, как-то рявкнул с места: «Вам, проживающим за оргией оргию…» Некоторые чтецы, подражая Маяковскому, начинают так же громко и потом дальше все усиливают, усиливают голос, а сам Маяковский в некоторых местах говорил совершенно тихо, и только к концу он опять так же повысил голос, обращаясь к публике, опять дошел до предела, до крепких слов, до ругани и этим закончил.

**Елена Владимировна Семенова:**

В старом дневнике я написала: «Впервые слышала Маяковского, он играет свои стихи».

**Лили Юрьевна Брик:**

Между двумя комнатами для экономии места была вынута дверь. Маяковский стоял, прислонившись спиной к дверной раме.

Из внутреннего кармана пиджака он извлек небольшую тетрадку, заглянул в нее и сунул в тот же карман. Он задумался. Потом обвел глазами комнату, как огромную аудиторию, прочел пролог и спросил – не стихами, прозой – негромким, с тех пор незабываемым голосом:

– Вы думаете, это бредит малярия? Это было. Было в Одессе.

Мы подняли головы и до конца не спускали глаз с невиданного чуда.

Маяковский ни разу не переменил позы. Ни на кого не взглянул. Он жаловался, негодовал, издевался, требовал, впадал в истерику, делал паузы между частями.

**Ольга Дмитриевна Форш:**

Маяковский долго гремел и ласкал своим единственным по могуществу голосом. То он жарким словом трибуна валил с ног врага, то пробуждал своим волнением лирика чувства.

**Алексей Елисеевич Крученых:**

Надо здесь же заметить: в потрясающем чтении Маяковского всегда была одна «уязвимая пята» – когда он вдруг «пускал слезу», скулил. Прорывался какой-то неуместный фальцет, как будто бас сфальшивил.

**Петр Васильевич Незнамов:**

Маяковский появлялся на эстраде во всеоружии из ряда вон выходящей манеры. Это был не лектор, а поэт-разговорщик. Даже более того, это был поэт-театр. И все его снимания пиджака, вешания его на спинку стула, закладывания пальцев за проймы жилета или рук в карманы, наконец ходьба по сцене и выпады у самой рампы – были средствами поэта-театра. Это был инструмент сценического воздействия.

**Павел Ильич Лавут:**

Те из чтецов, которые, «играя» чуть не каждую строку, ссылаются на авторскую манеру исполнения, неверно осведомлены. Игровой прием для Маяковского был лишь одним из многих, и поэт им не злоупотреблял.

**А. Мочкин**, *слушатель на выступлении В. Маяковского во Владимире в 1927 г.:*

Он не просто читал, – он действовал, или, как любил выражаться, «работал». Его голос, интонация, выражение лица, жестикуляция, движения – все было теснейше связано, гармонировало с идеей и содержанием рассказываемого, как бы подчеркивало и выпячивало главные мысли. И это захватывало

и вело слушателей, сливало их и поэта в единый коллектив единомышленников. Без такой «работы» на сцене и такого слияния с массами слушателей невозможно представить себе Владимира Владимировича Маяковского.

**Елизавета Николаевна Ратманова-Кольцова** *(1901–1964), жена журналиста М. Е. Кольцова:*

Маяковский во время чтения стихов не любил никаких световых эффектов, предпочитая, чтобы в зрительном зале было светло, и очень любил выступать днем перед народом на заводах, на площадях, в парках.

**Георгий Владимирович Артоболевский** *(1898–1943), чтец-декламатор:*

Было буднично и жарко. Маяковский пил воду алюминиевым стаканчиком из боржомной бутылки.

И вдруг я слышу в одной из записок упоминание моего имени. Кто-то из публики спрашивает у поэта, огулом упрекавшего в своем выступлении актеров за неумение читать новые стихи, как тот относится к моему чтению.

– Как отношусь? Да никак! – роняет Маяковский. – Я его не знаю. <…>

Вихрь противоречивых мыслей проносится в голове. Но желание узнать мнение поэта – сильнее всего. Пусть я устал от проведенного концерта, пусть Маяковский публично раскритикует мое исполнение, – я поднимаюсь на сцену.

Не помню: не то называлось в записке, не то выкрики из публики заказали мне задорное «Солнце в гостях у Маяковского».

– А вы не слышали, как я его читаю? – спрашивает автор.

– Нет, исполнения этого стихотворения не слыхал.

– А вы не обидитесь, если после вас я сделаю свои замечания и прочту его по-своему? – продолжает он.

– Нет, я не обижусь. Но вы разрешите и мне сделать свои замечания с точки зрения читателя, – перехожу я в наступление.

Маяковский косится:

– Пожалуйста.

Публика в восторге: аттракцион готов. Состязание на эстраде! Бойцы салютовали друг другу и стали в позицию!..

Итак, я исполняю заказанное стихотворение, кончая его бравурно «под занавес»:

…светить –
и никаких гвоздей!

Вот лозунг мой –
и солнца!

Публика аплодирует.

По совести говоря, читал я в тот раз неважно. Как всякий понимает, впервые читая перед автором, я волновался. От волнения был каким-то растрепанным, несобранным. Маяковский, при желании, мог обойтись со мной достаточно сурово. На эстраде, в полемике, он часто бывал и резким и беспощадным. Но он был принципиален. Он знал, кого бить и за что бить. О моем чтении он высказался по-деловому.

Отметил, что «у артиста красивый голос», касательно же исполнения сказал, что «оно все-таки актерское» (он, видимо, считал актерством мою передачу диалога с солнцем). Попутно попрекнул он и Ильинского за то, что тот «свистит солнцу». Пожелал большей ритмической заостренности (сам он читал в «железном ритме»).

В связи с этим любопытно одно наблюдение. Как известно, исполнявшееся мною стихотворение Маяковского написано ямбом, в котором последовательно чередуются стихи четырехстопные и трехстопные. В литературе отмечалось, что здесь дважды мы находим ритмические перебои: так, стих – медленно и верно вследствие отсутствия анакрузы (начального неударного слога) имеет вид хореического стиха. Чтение Маяковского выправляло этот мнимый «перебой» ритма. Маяковский изобразительно растягивал произнесение первого слова (чтобы в самой интонации отразить «поступь событий» – медлительность описываемого акта), тогда как второе слово произносил твердо и четко. Таким образом, этот в начертании хореический стих в произнесении поэта уподоблялся прочим ямбическим стихам:

ме-эдленно и верно.

Слово жило для Маяковского не только логической, но и «изобразительной» стороной. «Перебой ритма» был знаком смыслового оттенка, ощущавшегося поэтом. Я запомнил это потому, что Маяковский именно этот стих обособленно показал мне на эстраде: «А это так надо читать».

Затем он упрекнул меня за то, что я не сказал заглавия: «У меня заглавие всегда входит конструктивной частью произносимого стихотворения». Это надо учесть исполнителям.

Вспомним, как Маяковский при исполнении «Нашего марша»

начинал маршеобразное движение ритма с произнесения самого заглавия «на два удара»:

На́ш – ма́рш.

Тогда, в Евпатории, он произнес заглавие повторенного им после меня стихотворения, зычно возгласив первые слоги (выделив их как бы «жирным шрифтом» голоса):

НЕОБЫ

И после чуточной паузки рассыпался петитом:

чайное приключение…

Помнится, Маяковский сказал, что соответственно располагались шрифты при первой публикации вещи. Если это так, приходится пожалеть, что в дальнейших перепечатках это графическое своеобразие пропало. И в данном случае, как и всегда, графика Маяковского отражала интонационные пожелания автора, помогая исполнителю. Вопрос о «букве» Маяковского – это вопрос о мысли Маяковского. За всякой «буквой» у него живые звуки, интонация, мысль.

Читал Маяковский превосходно. При этом он отнюдь не «играл» образов. Он с рельефностью скульптуры передавал смысл произведения в четком каркасе ритма. Бросающейся в слух особенностью было неподражаемое переслаивание повышенного (патетического) тона – тоном разговорным, «низким».

Запомнился смелый оборот, когда после слов «в упор я крикнул солнцу», вместо естественно ожидаемого громкого обращения, поэт говорил «слазь!» простецким и потому уничижительным для солнца тоном. Подобным образом строилась и концовка. После высокопафосного подъема к словам «вот лозунг мой», мощно провозглашаемым, – поэт делал маленькую остановочку и добавлял, как нечто незначительное, – «и солнца», низводя этим светило до роли «энного спутника» к необъятному жизнеутверждающему «я».

Когда поэт кончил, я посетовал, что автор, считая, по-видимому, свою интерпретацию канонической, дает так мало знаков для исполнителя. Кто прибегнет к только что показанному поэтом «речевому оксюморону» без особого авторского указания? Кто решится сказать «слазь» противоположно прямому смыслу

глагола «крикнул»?

Маяковский ответил, что он не считает такое чтение общеобязательным. Видимо, слегка задетый моим замечанием, он добавил примерно так: «Действительно, это прием довольно грубый. Это в балагане, намереваясь посмешить, актер зовет, обращаясь в кулису: цып-цып, а оттуда, вместо ожидаемой крошки, является нарочитый верзила. Но я не всегда читаю одинаково, – смотря по аудитории». И подкрепил это, показав, как то же заглавие он читает по-иному. Став у кулисы, он прошелся затем вдоль рампы маленькими шажками, ритмично при этом отбарабанивая: не-о-бы-чай-но-е-при-клю-че-ни-е…

Этим и закончилось наше «состязание на эстраде».

**Александр Вильямович Февральский:**

Маяковский не читал свои произведения всегда одинаково. Сохраняя основную трактовку и манеру исполнения, он порой вводил в свое чтение новые интонации, новую окраску отдельных мест. Очень часто различия в чтении определялись тем, перед какой аудиторией, в каких условиях выступал поэт.

<…> Одна из характерных особенностей чтения Маяковского заключалась в том, что он очень четко произносил каждое слово. Уже после его смерти, работая над новой постановкой «Клопа» (она не была завершена), В. Э. Мейерхольд на репетиции 9 февраля 1936 года говорил артистам: «Все слова Маяковского должны подаваться как на блюдечке, курсивом, он это любит». Это было очень меткое определение. Подавая слова «как на блюдечке», Маяковский усиливал ударность, впечатляемость своего чтения. Как правило, Маяковский не тянул звуки (только изредка он растягивал ударные гласные в концах слов, чтобы подчеркнуть значительность того или другого места), и в то же время повышения голоса не переходили у него в выкрики. Он делал ударения на основных словах фразы, но это не мешало ему очень ясно произносить окончания всех слов. Вообще он не «глотал» буквы: каждая гласная и каждая согласная жила своей жизнью и вместе с тем выполняла свое определенное назначение, как частица мастерски инструментованного целого. <…>

В исполнении Маяковского не было ни малейшего признака натуралистического подражательства, бытовщины, мелкотравчатого жанризма, – недаром он начисто отбрасывал «бытовой разговорный тончик» в театре. И он выступал против «старых традиций в области декламации», осуждал чтецов, которые, как он писал, «или классически подвывают, или делают бытовые ударения, совершенно искажая стихотворный ритм».

Читая «Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума», Маяковский не пытался изображать, играть действующих лиц – бабу, волшебника, хозяина ресторана, околоточного. И если он все же по-разному оттенял голосом их реплики, – это были лишь намеки на индивидуальные характеристики, такие намеки, которые не превращали стихотворение в инсценировку и ничуть не нарушали его ритмической структуры. <…>

Нередко в чтении того или иного произведения ироническая интонация чередовалась с патетической, и из столкновения контрастных элементов возникало интонационное разнообразие, которое делало прочитанное особенно впечатляющим.

В патетике Маяковского не было выспренности, нарочитого, наигранного» пафоса, искусственной приподнятости, ложной значительности. Для Маяковского патетика означала подлинный поэтический подъем, выраставший из глубокой и страстной убежденности борца. Сила мысли объединялась с правдой чувства. Поэтому чтение Маяковского было ярко эмоциональным, захватывало своей искренностью.

В его исполнении, как и в самом тексте его стихотворений, поэм и пьес, слово становилось именно действием.

Жестом Маяковский пользовался умеренно. Он, бывало, читая, ходил по эстраде, но никогда не размахивал руками. Четкий и в то же время свободный и плавный жест, размеренное движение помогали оттенять ту или иную мысль, усиливали выразительность слов.

**Василий Васильевич Каменский:**

Маяковский читал изумительно, с широкими проворными жестами, будто по воде плавал, и голос его звучал как у парохода. И слова он складывал, как тюки в порту.

## В мире искусства

**Алексей Елисеевич Крученых:**

Маяковский <…> начинал как подающий блестящие надежды рисовальщик. Еще профессора Школы живописи отметили его как старательного и способного.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Ему хорошо удавались портреты и карикатуры.

***Давид Давидович Бурлюк:***

У него были способности к рисунку: он схватывал характер, делал шаржи, сотрудничая ими в юмористических журналах. Но живопись требует постоянного физического труда, методичной работы – красок, холста и массы затраченных часов, недель, лет… Ко всему этому у Маяковского не было склонности. Поэтому В. В. Маяковский на всю жизнь сохранил несерьезное отношение к изобразительным искусствам, этим и объясняется мальчишеская позиция, занятая позже Лефом (т. е. Маяковским), пошедшим на полное отрицание живописи «как рукомесла».

**Григорий Филиппович Котляров** (1890 – около 1970), *художник, соученик В. Маяковского по Школе живописи, ваяния и зодчества в Москве:*

«Натура» проводилась для всех классов одновременно. Рисуем около часа. Рядом – Маяковский. Сосредоточен. Краешком глаза пытаюсь рассмотреть, что у него на мольберте. Знаю ведь, он отлично владеет кистью. Заглядываю и ужасаюсь. Сплошь рубленые линии. В них и не угадать то милое создание, что позирует перед нами. А цвета выбрал!.. Сплошь зелено-коричневые оттенки.

**Лев Федорович Жегин:**

Маяковский сам, вероятно, сознавал, что живопись – не его призвание. Он писал маслом, ярко расцвечивая холст, достигая внешнего весьма дешевого эффекта. <…>

Маяковский как живописец проявился позднее в другой смежной области: он стал ярким плакатистом, создав свой собственный, вполне самостоятельный стиль политической карикатуры для «Окон Роста». Впрочем, дарование Маяковского как карикатуриста стало проявляться еще в школе живописи.

**Лев Абрамович Кассиль.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Делал из спичек портрет Максима Горького.

**Василий Васильевич Каменский:**

Однажды на эстраду поднялся молодой композитор Сергей Прокофьев и сыграл свою новую вещь «Наваждение». <…> Пока Прокофьев играл, Володя набросал в альбоме превосходный портрет композитора за роялем и надписал:

«Сергей Сергеевич играет на самых нежных нервах Владимира Владимировича».

**Мария Никифоровна Бурлюк** *(урожд. Еленевская; 1894–1967), жена Д. Д. Бурлюка:*

С Маяковским мы ходили вдвоем весной 1912 года в консерваторию слушать концерт Собинова, который пел ученикам романсы Чайковского, нюансируя их по всем правилам высшей школы классического искусства. В антрактах костлявая, худая фигура Маяковского, слегка сутулившего плечи, спешила в курительную комнату. Музыку Маяковский любил.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из очерков, 1923 г.:*

Между мной и музыкой древние контры. Бурлюк и я стали футуристами от отчаянья: просидели весь вечер на концерте Рахманинова в «Благородном собрании» и бежали после «Острова мертвых», негодуя на всю классическую мертвечину.

**Николай Иванович Хлестов** *(1888–?), оперный певец и педагог, друг семьи Маяковских:*

Многие слышали, как читал Маяковский стихи, свои и чужие, но вот как Маяковский пел, мало кто слышал, а он любил петь. Кстати сказать, мне приходилось слышать, будто он не имел музыкального слуха. Это неверно. Музыкальный слух у него, безусловно, был. Он запоминал музыкальные произведения и при повторении их точно называл пьесу и автора. Голос – бас – у него тяжелый, большой, ему было трудно с ним справиться. Он мог петь только в низких регистрах. Тембр его голоса, густой, басовитый, немного напоминает голос известного негритянского певца Поля Робсона. Но к голосу Маяковского надо было подладиться. Я умел это делать, и у нас получалось неплохо.

**Мария Никифоровна Бурлюк:**

Бурлюк, как украинец, любил пение, и я начала учить его по методе профессора Александровой-Кочетовой.

Увидя успехи Давида Давидовича, Маяковский скоро и сам басом изъявил желание пройти со мной несколько романсов, но у моего нового ученика абсолютно не было музыкального

слуха, а одолеть ритмическую работу упорным трудом у Владимира Владимировича не было охоты. Все же оказалось, что он знает несколько тактов песни Варяжского гостя из оперы «Садко», начинающейся словами «О скалы грозные дробятся с ревом волны». Теперь каждый вечер я с Владимиром Владимировичем разучивала эту арию и в конце концов добилась того, что он был в состоянии ее исполнить, не диссонируя, не расходясь с аккомпанементом.

Маяковский пел с увлечением, не утомляясь мелодией. У него было что-то вроде бас-профундо, и в арии этой он выдерживать умел все паузы, показывая красоту и силу звука, рожденные молодым богатырством.

**Николай Иванович Хлестов:**

Маяковский больше всего любил народные песни. Любил он романс Шуберта на стихи Гейне «В движеньи мельник жизнь ведет». Отправляясь на прогулку, он его всегда напевал. И в Москве и в Саратове я много пел ему романсов и арий, так что с вокальной классической литературой Маяковский был хорошо знаком. Но ему не все нравилось, что мы пели. Его любимыми вещами были: «Дай мне под камнем могильным…» Бетховена, романсы Римского-Корсакова «Гонец», «Пророк», Шумана «Я не сержусь», Шуберта «Двойник», «Шарманщик» и особенно баллада Мусоргского «Забытый». <…>

Из оперных арий Маяковский любил больше всего арию князя Игоря. Терпеть не мог и прямо-таки ненавидел модные в то время слезливые романсы с надрывом: «У камина», «Хризантемы», «Гай да тройка» и т. п. Инструментальную музыку мы слушали значительно реже. Я хотя и аккомпанировал, но не настолько владел инструментом, чтобы познакомить Маяковского с классической музыкой. Приходилось приглашать пианиста, а это не всегда удавалось. Помню, ко мне в Саратове приходил мой товарищ, пианист, и играл нам Шопена. Вальсы Володя похвалил, но как-то равнодушно, зато «Революционный этюд» Шопена произвел на него очень сильное впечатление, и он восхищенно сказал:

– Вот это музыка!

Слушали мы вместе с ним сонаты Бетховена: Восьмую, Четырнадцатую, «Аппассионату» – и «Прелюдии» Рахманинова. Эти пьесы ему также нравились. Особенно сонаты Бетховена.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Любил также романс Шумана на слова Гейне «Я не сержусь», «Гонец» Римского-Корсакова и особенно – русские частушки

и песни.

**Ольга Владимировна Гзовская:**

Помню, из комнаты брата, когда приходил к нему Маяковский, не раз доносились тюремные частушки, сочиненные студентами и дошедшие до гимназистов. Громкими молодыми голосами они распевали их.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

В вагоне было темно, и в этом пустом, темном вагоне почти всю дорогу Маяковский и нарядная, в эффектных серьгах Ирина пели, устроив нечто вроде конкурса на пошлый романс.

Вот вспыхнуло утро, румянятся воды,
Над озером быстрая чайка летит… –

пели они, стоя у раскрытого окна. За окном была степь и красивая южная ночь. Это было очень ново для меня и интересно. Что только они не вспомнили: «Отцвели уж давно хризантемы в саду…», «Гай да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом…», «Белой акации гроздья душистые вновь аромата полны…».

**Сергей Сергеевич Медведев:**

Володя охотно посещал кино и очень им интересовался. Наоборот, к театру он был довольно равнодушен.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Театра Владимир Владимирович вообще, по-моему, не любил. Помню, он говорил, что самое сильное впечатление на него произвела постановка Художественного театра «У жизни в лапах», которую он смотрел когда-то давно. Но сейчас же издевательски добавил, что больше всего ему запомнился огромный диван с подушками в этом спектакле. Он будто бы потом мечтал, что у него будет квартира с таким диваном.

Меня в театре он так и не видел, все собирался пойти. Вообще он не любил актеров, и особенно актрис, и говорил, что любит меня за то, что я – «не ломучая» и что про меня никак нельзя подумать, что я – актриса.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из статей, 1913 г.:*

Театр сам привел себя к гибели и должен передать свое наследие кинематографу. А кинематограф, сделав отраслью промышленности наивный реализм и художественность

с Чеховым и Горьким, откроет дорогу к театру будущего, нескованному искусству актера.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из статей, 1922 г.:*

Для вас кино – зрелище.

Для меня – почти миросозерцание.

Кино – проводник движения.

Кино – новатор литератур.

Кино – разрушитель эстетики.

Кино – бесстрашность.

Кино – спортсмен.

Кино – рассеиватель идей.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Кино Маяковский любил хроникальное, но организованно-хроникальное, и сюжетное.

С сюжетом ему было трудно, он лирический поэт, и у него лирический сюжет, он сам герой своих вещей.

Его тема – поэт, идущий через горы времени.

В кино он любил самую специфику кино.

Он не собирался играть с киноаппаратом. Но театр, как и слово, дает художнику какие-то ограничения, и, переходя в новое искусство, надо стараться освободиться от ограничений, а не тащить их с собой. <…>

Кино нравилось Маяковскому и тем, что киноработу не надо было переводить. Он любил американскую ленту.

**Лев Александрович Гринкруг:**

Уже через несколько месяцев после Октябрьской революции Маяковский снова возвращается к мыслям о кинематографии.

По свойственной ему жадности к работе, заинтересованности и желанию во что бы ни стало сделать все по-новому, он, никому не доверяя, все хочет делать сам – писать сценарий, быть режиссером, играть главную роль, делать рекламные плакаты и т. д. и т. д.

Однако в тот период это было не так просто. <…>

Прежде всего нужно было решить организационные вопросы и в первую очередь найти фирму, которая согласилась бы предоставить павильоны и финансировать картину с участием Маяковского: он был хорошо известен как новатор, имеющий на все свои собственные взгляды, человек глубоко принципиальный, не терпящий в искусстве никаких компромиссов.

А поскольку Маяковский выступал в кинематографии впервые, нужно было ему поверить на слово. Дело было

рискованное!

Бродя по улицам Москвы, мы много говорили на эти темы, обсуждали все возможности и думали, как бы все-таки это осуществить. Наконец мы вспомнили. У нас были знакомые, муж и жена Антик, владельцы кинофирмы «Нептун». Они хорошо относились к Маяковскому, верили в его талант и, когда он рассказал им о своем желании принять участие в съемках картины, заинтересовались этим, предложили ему написать сценарий и сыграть главную роль, обещая поставить его сценарий в своем павильоне в Самарском переулке.

Они поверили ему на слово, понимая, конечно, что одно имя Маяковского – лучшая реклама для фильма и что затраченные деньги вернутся с лихвой. Он был для них той «звездой», о которой мечтали тогда все кинопроизводственники и на которых строилась в те времена кинематография. <…>

Для первой картины Маяковский выбрал роман Джека Лондона «Мартин Иден». Ему нравился этот роман, ему казалось, что в герое этого романа есть что-то общее с ним самим.

Выходец из бедной семьи, молодой человек с огромной силой воли и верой в жизнь, талантом и упорством добился вершины славы, сделавшись знаменитым писателем.

Маяковский взял в основу этот роман, перенес его на русскую почву, многое в нем переделал, особенно в финале, и сделал сценарий о русском поэте, который, преодолевая препятствия и борясь с рутиной, приходит к славе и богатству. Но, достигнув славы, он разочаровывается во всем, что его окружает. Он ищет правды и не находит ее, он стремится к истинной, идеальной любви, но эта любовь оказывается мелкой, недостойной его. Все это приводит его к мысли о самоубийстве, но вера в жизнь спасает его, он симулирует самоубийство, сжигает свою богатую одежду, снова одевает рабочий костюм и уходит в неизвестность.

Мартин Иден превращается в Ивана Нова, а фильм получает название «Не для денег родившийся». <…>

Начали мы сниматься в марте 1918 года, а в конце апреля картина уже была закончена. Картины тогда делались быстро. Почти все сцены снимались с одной точки, общими планами. О предварительных репетициях в те времена и не думали. Актерам сценария до съемок не показывали, и, таким образом, они, в сущности, понятия не имели о фильме, в котором снимались.

Эта картина представляла счастливое исключение для исполнителя главной роли, так как он же был и автором сценария. Сценарий знал еще я, все же остальные актеры знакомились только с той сценой, в которой они были заняты,

не имея понятия о том, что было раньше и что последует за этим.

Перед самой съемкой режиссер коротко объяснял, что надо делать, где встать, как двигаться, какое принять выражение лица. Тут-то и начинались споры с Маяковским, который всегда предлагал внести какие-нибудь изменения, какие-нибудь новшества, нарушающие установленные шаблоны. Но когда начиналась съемка, Маяковский становился дисциплинированным, заботясь только о выразительности своей актерской игры.

В редких случаях сцена повторялась.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Иван Нов спасал брата прекрасной женщины.

Потом начиналась любовь к женщине. А женщина не любила бродягу. Тогда бродяга становился великим поэтом, он приходил в кафе футуристов. <…>

Света было мало, поэтому в кафе футуристов задник был почти на самом экране. Задник небольшой, на нем изображена какая-то десятиногая лошадь, в кафе Бурлюк с разрисованной щекой и Василий Каменский.

Иван Нов читает стихи Бурлюку…

И, как тогда, на бульваре, Маяковскому, Бурлюк говорил Ивану Нову:

– Да вы же гениальный поэт!

**Виктор Андроникович Мануйлов:**

Запомнился эпизод в кафе футуристов: Иван Нов (Маяковский), Василий Каменский, Давид Бурлюк читают свои стихи. Здесь очень недоставало живого, звучащего слова, но кино было тогда немым, и только по жестам, по отчетливой ритмической артикуляции можно было догадаться, что поэты выступают со стихами. На эстраде стояла обыкновенная школьная черная доска, поэты писали на ней мелом строки из своих стихотворений, а Каменский просто во всю доску расписался: «Василий Каменский».

Едва ли не самое сильное впечатление на долгие годы оставил эпизод какого-то академического собрания пушкинистов. Выступает Иван Нов. В такт взмахов его рук покачивается на подставке гипсовый бюст Пушкина. Наконец бюст падает и рассыпается в мелкие куски. Иван Нов удаляется. Пушкинисты бросаются в погоню за бунтовщиком-оратором.

**Виктор Борисович Шкловский:**

И начиналась слава, и женщина приходила к поэту. Поэт в накидке и цилиндре. Он надевал цилиндр на скелет, покрывал

скелет накидкой и ставил это все рядом с открытым несгораемым шкафом.

Шкаф был набит гонорарным золотом до отвращения. Женщина подходила к скелету, говорила:

«Какая глупая шутка!»

А поэт уходил. Он уходил на крышу и хотел броситься вниз.

Потом поэт играл револьвером, маленьким испанским браунингом, не тем, которым поставил точкой пулю.

Потом Иван Нов уходил по дороге.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, апрель 1918 г.*[3]*:*

Кинематографщики говорят что я для них небывалый артист. Соблазняет речами славой и деньгами.

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Был хороший объект для кино. Актерской одаренности, однако, сам при этом не обнаружил. Никакой роли сыграть не мог. Мог изобразить только себя. Абсолютно во всем мог быть только собой, не мог быть ничем иным.

# Круг интересов

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Володя усиленно читал политическую и научную литературу, которую доставал у товарищей и в библиотеках. Постоянно читал газеты.

Утром, когда просыпался, он первым делом спрашивал:

– Газета есть?

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

ЧТЕНИЕ

Беллетристики не признавал совершенно. Философия. Гегель. Естествознание. Но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекся более, чем «Предисловием» Маркса. Из комнат студентов шла нелегальщина. «Тактика уличного боя» и т. д. Помню отчетливо синенькую ленинскую «Две тактики». Нравилось, что книга срезана до букв. Для нелегального просовывания. Эстетика максимальной экономии.

**Людмила Владимировна Маяковская** *(1884–1972), сестра В. Маяковского, художник по ткани:*

У нас сохранилась переплетенная Володей книга Токвиля «Старый порядок и революция» и два сборника брошюр. В одном из них объединены: Ф. Энгельс «Крестьянский вопрос во Франции и Германии»; М. Шиппель «Профессиональные союзы рабочих»; З. Ф. Зейдель «Нормальный рабочий день»; К. Каутский «Воспоминания (Автобиография)»; Ф. Лассаль «Гласный ответ Центральному Комитету, учрежденному для созвания общего германского конгресса в Лейпциге.

**Николай Иванович Хлестов:**

Когда я поселился у Маяковских, Володе было шестнадцать лет. Это был не по годам развитый, начитанный, одаренный юноша. В его библиотеке я нашел сочинения Некрасова, Толстого, Гоголя, Горького, Достоевского, Чехова, Ибсена и других классиков литературы; книги по философии и политической экономии – сочинения Фейербаха, Дицгена и других авторов, а также учебники по алгебре, геометрии, физике, литературе, латыни, по немецкому языку.

**Давид Давидович Бурлюк:**

Маяковский с жадностью, как сухая земля во время ливня, временами, периодами набрасывался на книгу. Читал запоем.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Анкета «Писатель и книга», 1926 г.:*

1. Имеется ли у Вас личная библиотека. Если да, то сообщите количество томов.

*Библиотека общая с О. М. Бриком. 1000–1200 книг.*

2. Какой состав Вашей библиотеки? В чем особенность личной Вашей библиотеки? Что в ней преобладает (беллетристика, история, социология и т. д.)?

*Теория литературы и социология.*

3. Давно ли Вы собираете свою библиотеку?

*Всегда имели книгу.* <…>

6. Ваше отношение к собирательству книг?

*Хорошо, если нужны для работы. Коллекция неразрезанных книг отвратительна.*

7. Книги и Ваша литературная работа?

*Иногда книга помогает мне, иногда я – книге.*

**Василий Абгарович Катанян:**

Удивительный книговорот <…> представляла собой эта библиотека. Книги появлялись, разрезались, читались, перекочевывали с ночного столика на полки, уступали свое место другим, меняли соседей, снова возникали на столе, дарились тем, кому они были нужны, некоторые уходили к букинистам, но вместо них каждый день появлялись новые и новые и начинали свою беспокойную жизнь в этом доме. Их было все больше и больше, они уже выпирали из тесных комнатушек, где мебель нужно было заказывать по мерке, потому что ничего не влезало. В конце концов они распространились и на холодную лестницу. Зимой Осип Максимович надевал шубу, снимал большой висячий замок, запиравший скрипучий шкаф, и устраивал на поселение новых жильцов, а кое-какие старые въезжали обратно в теплую квартиру.

**Николай Павлович Смирнов-Сокольский** *(1898–1962), актер, библиофил и библиограф:*

Мне в те дни посчастливилось, и я приобрел у одного старого библиографа его довольно значительную коллекцию альманахов и сборников XVIII и XIX столетий… За столом разговор некоторое время вертелся вокруг этой моей находки. Единомышленников по книжному собирательству не было, ни одного, и все «испытанные остряки», во главе с самим Владимиром

Владимировичем, подтрунивали над моей «страстишкой», называли меня «старьевщиком», «шурум-бурумщиком» и так далее. Поэт громогласно процитировал самого себя:

Ненавижу всяческую мертвечину –
Обожаю всяческую жизнь!..

Мне с Маяковским было по дороге, но в пути он предупредил меня, что идет прямо ко мне.

– Зачем, Владимир Владимирович? Четвертый час ночи!

– А вот посмотрю, что за дрянь вы там накупили…

Зашли в номер. Альманахи и сборники были разложены у меня корешками вверх на огромном диване, на креслах, на полу. <…> Удивленный до крайности, я подсел к Владимиру Владимировичу и в ту же минуту имел удовольствие убедиться, что его знаменитое «Ненавижу всяческую мертвечину» – к старой русской книге, к ее творцам и создателям никакого отношения не имеет. Он не только уважал и любил старую книгу, но, что гораздо важнее, хорошо ее знал.

Об имеющихся у меня альманахах и сборниках, об участвовавших в них поэтах и писателях он рассказал мне больше, чем знали многие специалисты.

**Николай Николаевич Асеев.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Ранее читал очень много, после того как началась творческая деятельность, кроме текущей литературы читал только то, что было необходимо для его творческой деятельности. Из современной литературы только поэзию.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из интервью газете «Прагер Пресс»:*

А проза? Ну, по нашему мнению, все жанры прозы могут быть заменены мемуарной литературой. Возврат к Толстому – вещь невозможная. Наш сегодняшний Толстой – это газета.

**Лили Юрьевна Брик:**

Трудно сказать, какой прозой увлекался Маяковский. Он любил Достоевского. Часами мог слушать Чехова, Гоголя. Одной из самых близких ему книг была «Что делать?» Чернышевского. Он постоянно возвращался к ней. Жизнь, описанная в ней, перекликалась с нашей. Маяковский как бы советовался с Чернышевским о своих личных делах, находил в нем поддержку.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Каждый день с утра Маяковский прочитывал все газеты, просматривал последние журналы.

**Корнелий Люцианович Зелинский:**

Один предмет поглощал его в жизни всего целиком. О нем он думал беспрерывно. Он вспоминал о нем всегда, точно очнувшись, когда молчал на каком-нибудь собрании или грохотал на своих вечерах, острил или грустил. Этот предмет вряд ли можно назвать одним словом «политика». Это подобно расширяющейся вселенной. За политикой следовала мысль о человеке; за человеком – мысль о человечестве; за человечеством – мысль о добре и красоте бытия. Но первое острие, которое направлял он на все: на стихотворение, на человека, на событие, – это было политическое острие. С политической точки зрения Маяковский оценивал все.

И здесь никаких компромиссов. Никаких!

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Интересы М., как художественные, так и личные, шли в основном по линии социальной. М. интересовали только люди и установление связи между собой и людьми. Этим объясняется его равнодушие к природе, при очень большом интересе к жизни города, к населяющим его людям и учреждениям.

**Лев Абрамович Кассиль.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Саму по себе природу, по-видимому, не любил. Любил походить по лесочку, пострелять.

**Сергей Сергеевич Медведев:**

Помню, как-то мы провели с ним двое суток в Подсолнечном, на озере Синеже. Это было летом 1909 года, должно быть в июне, уже после окончания занятий. С нами был еще один мой приятель, как и я, страстный любитель природы и озера.

Володя нас все время старался уверить, что терпеть не может природы, и приводил нас этими разговорами в совершенный ужас. Он был мрачен, у него болели зубы, он поминутно набирал в рот воды и выплевывал ее в озеро. Нас с приятелем это ужасно злило. Зашел разговор о Тургеневе. Володя высказался о нем очень иронически и подчеркнуто резко заявил, что тургеневская любовь к природе его не только не устраивает, но он готов плевать на нее.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Володя особенно много читал и увлекался астрономией – приложением к журналу «Вокруг света» была дана карта звездного неба. По вечерам Володя любил ложиться на спину и наблюдать небо, густо усеянное яркими, крупными звездами.

**Николай Иванович Хлестов:**

Володя любил глядеть на звезды. Он хорошо знал астрономию, называл мне отдельные звезды и созвездия.

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Гимнастикой, спортом, а также какой-либо тонкой ручной работой не занимался.

# Свойства ума и мышления

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Ни в творчестве, ни в характере не был склонен к деталям, к подробностям. Был совершенно немелочный (ненавидел сплетни), во всем широта и размашистость, цельность, «глыбистость».

**Корнелий Люцианович Зелинский:**

Внешнее могущество маскировало могущество духа, скрывало нежность, необыкновенную впечатлительность. И, прежде всего обращая внимание на физические данные, скрывало ум. Ум громадный, казалось, обнимавший жизни миллионов людей. Ум, уходивший за горизонт. Уж лучше бы Маяковский был небольшого роста и с бровями, как у Вия или у Толстого. Заставлял бы дорисовывать, догадываться, а так он удивлял наружностью. А это было меньше и второстепеннее того, чем обладал Маяковский…

**Василий Абгарович Катанян:**

Маяковский не был разговорчив; скорее наоборот, он больше любил слушать, как разговаривают. Но если он не мог понимать, что говорят, и молчание становилось вынужденным, тогда, конечно, особенно хотелось поговорить.

**Александр Вильямович Февральский:**

Маяковский умел слушать собеседника. Поэтому он схватывал его мысль не приблизительно, а по существу, и отвечал ему точно. И в личной беседе с Маяковским, и в его выступлениях с эстрады ощущалось, как сильная воля поэта управляет его темпераментом.

**Гуго Гупперт:**

Но тот, кто ожидал, что и в личном общении сила Маяковского выльется в такое же громыхание, тот плохо представлял себе сущность этой силы. Меня поразила и очаровала неописуемая предупредительность, теплота, почти «уютность» Маяковского в частной жизни, сердечная простота и глубокая чуткость в обращении с собеседником. Он покорял этим редчайшим качеством – ласковостью сильного человека. Тут сказались его человечность, его ум. Тонкой, смягчающей иронией одевал он свои излюбленные веселые гиперболы, охотно прибегая к ним и в разговоре. Никогда раньше мне не приходилось

встречаться с человеком, который мог так заразительно действовать на окружающих. Его манера говорить, его пытливый взгляд, его умная улыбка – все вызывало у собеседника тысячи выдумок, мыслей. Я чувствовал, что нахожусь в магнитном поле его ощутимой мозговой работы. Меня не покидало впечатление, что он, поэт с неожиданно разветвляющимися образными ассоциациями, опирается на реальные знания, которые никогда не выставляет самодовольно напоказ. Он не был «цитатчиком», редко ссылался на прочитанные книги или на известные авторитеты в искусстве и в науке. Но при этом чувствовалась его осведомленность в этих вопросах. Во всем его существе, если можно так сказать, светился его тонкий и точный, насыщенный знаниями ум. И какая необычайная изобретательность была в нем! Как он умел подойти к каждому явлению, открыть в нем новые, неожиданные стороны – и все это без насилия, без коверкания реальных представлений, без умничанья. По всей Москве ходили фразы и остроты, настоящие словесные жемчужины, подхваченные кем-нибудь у Маяковского.

**Вадим Габриэлевич Шершеневич:**

Маяковский любил острить. Вне острот его не существовало. Он мог прервать самый серьезный спор и беседу для остроты. Острил он плакатно и подчас грубовато.

**Лили Юрьевна Брик:**

Маяковский был остроумен и блестящ, как никто, но никогда не был «собеседником» и на улице или природе, идя рядом с вами, молчал иногда часами.

**Василий Васильевич Каменский:**

Нас долго забавляло то, что Маяковский, не рисуя, как-то не умел слушать ни чтецов, ни певцов, ни музыкантов.

Если даже его заставали врасплох и у него в этот момент не оказывалось альбома или листка бумаги, он вынимал из кармана носовой платок, клал на колено и рисовал.

И тогда внимательно слушал, все время шевеля губами.

И сам же говорил:

– Не могу я просто сидеть да слушать, обязательно рисовать хочется, а то как-то стыдно, что ли… Люди читают, поют, играют, а я ничего не делаю.

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Очень большая субъективность в подходе и оценке

окружающего. В людях замечал только то, что его так или иначе поражало или заинтересовывало. Мог при этом заметить какую-нибудь мелкую деталь, не замечая всех остальных особенностей человека. Был очень наблюдателен, но наблюдательность часто носила очень субъективный характер. Поэтому часто ошибался в людях. Что-нибудь случившееся передавал также очень субъективно. Трудно представить себе М., например, как бытописателя.

**Павел Ильич Лавут:**

Когда Маяковский в Москве составлял текст афиши, я удивился: «Почему вы намечаете программу и за Асеева?» Он ухмыльнулся:

– Я лучше знаю, что ему нужно читать.

**Василий Васильевич Каменский:**

Память у него была феноменальная. В этом отношении он не знал себе равных.

В любой момент и где угодно, на извозчике, в трамвае, на улице, за обедом, за игрой в карты, в гостях, на лестницах, в лифтах – всюду он читал все новые, только что появившиеся в печати стихи.

Я встретил девушку
С печальными глазами,
С глазами, как ее вуаль.
И скоро мы под небесами
Постигли трепетную даль.

Бурлюк спрашивал:

– Это откуда? Чьи?

Маяковский снисходительно улыбался:

– А чорт его знает. Стихи помню, а фамилия какая-то гнусавая – вроде Бальмонто или Монте-Карло.

Конечно, он прекрасно помнил фамилию автора этих стихов. Он без труда запоминал не только нужные ему факты, но и случайно попавшиеся номера телефонов, газетные объявления, адреса каких-то торговых фирм. Стихов же он помнил множество. Цитировать предпочитал вещи из нашего поэтического арсенала.

**Давид Давидович Бурлюк:**

Память его была разительной, теперь я изумляюсь ей. Часто на литературных вечерах какой-либо автор забудет на эстраде

свои стихи, а Маяковский, болтающийся среди публики, рявкнущей строчкой подсуфлирует, поддержит, подопрет бревном падающую стенку памяти. Многие поэты не помнят своих стихов. До 1918 года Маяковский умудрялся читать на память до 6000 строк из своих стихотворений.

**Василий Васильевич Каменский:**

Он цитировал стаями, будто голубей гонял, стихотворные разлеты футуристических мастеров поэзии.

**Лили Юрьевна Брик:**

Маяковский думал, чувствовал, горевал, возмущался, радовался стихом – своим, чужим ли. <…>

Чужие стихи Маяковский читал постоянно, по самым разнообразным поводам.

Иногда те, которые ему особенно нравились: «Свиданье» Лермонтова, «Незнакомку» Блока, «На острове Эзеле», «Бобэоби», «Крылышкуя золотописьмом» Хлебникова, «Гренаду» Светлова, без конца Пастернака.

Иногда особенно плохие: «Я – пролетарская пушка, стреляю туда и сюда».

Иногда нужные ему для полемики примеры того, как надо или как нельзя писать стихи: «Смехачи» Хлебникова, в противовес: «Чуждый чарам черный челн» Бальмонта.

Чаще же всего те, которые передавали в данную минуту, час, дни, месяцы его собственное настроение.

В разное время он читал разное, но были стихи, которые возвращались к нему постоянно, как «Незнакомка» или многие стихи Пастернака.

Часто легко понять, о чем он думает, по тому, что он повторял без конца. Я знала, что он ревнует, если твердил с утра до ночи – за едой, на ходу на улице, во время карточной игры, посреди разговора:

Я знаю, чем утешенный
По звонкой мостовой
Вчера скакал как бешеный
Татарин молодой.

*(Лермонтов, «Свиданье»)*

Или же напевал на мотив собственного сочинения:

Дорогой и дорогая,

дорогие оба.
Дорогая дорогого
довела до гроба.

Можно было не сомневаться, что он обижен, если декламировал:

Столько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает…

*(Ахматова)*

Он, конечно, бывал влюблен, когда вслух убеждал самого себя:

…О, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!

*(Пастернак, «Сложа весла»)*

Или умолял:

«Расскажи, как тебя целуют,
Расскажи, как целуешь ты».

*(Ахматова, «Гость»)*

<…>
Он часто переделывал чужие стихи. Ему не нравилось «век уж мой измерен», звучащий, как «векуш», и он читал эту строку по-своему.
Помогая мне надеть пальто, он декламировал:

На кудри милой головы
Я шаль зеленую накинул,
Я пред Венерою Невы
Толпу влюбленную раздвинул.

*(Пушкин, «Евгений Онегин»)*

<…> О гостях, которые ушли, он говорил: «Зарылись

в океан и в ночь».

«Никогда не забуду (он был, или не был, этот вечер)», – тревожно повторял он по сто раз. <…>

Маяковский не только читал чужие стихи – он переделывал, нарочно перевирал их. Он непрерывно орудовал стихами – именно чужими, не своими. Себя он почти никогда не цитировал. Свои стихи он бормотал и читал отрывками, когда сочинял их; или же торжественно декламировал только что написанные.

**Рита Райт:**

Он замечательно запоминал, – и очень любил повторять, – «вкусные» кусочки стихов, песенок, даже не вникая в смысл. Помню, как, приехав из Америки, он требовал, чтоб я перевела ему «привязавшиеся» строки какого-то фокстрота, которые в его передаче звучали так:

Хат Хардет Хена
Ди вемп оф совена
Ди вемп оф совена
Джи-эй[4]

Я никак не могла понять, что это значит. И только совсем недавно, прочтя эти строчки по-английски… я сразу услышала знакомый голос, который отбивал их, как чечетку, а потом трунил надо мной:

– Ага, оказывается, вы по-американски ни в зуб ногой!

Как же мне могло прийти в голову, что Маяковский, очевидно поймав эти строчки на слух, в исполнении какого-нибудь джаза, повторял их с явно негритянским акцентом? Не мудрено, что в таком виде я не смогла узнать «жестокую Ханну, пожирательницу сердец из Саванны».

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Вообще хорошо запоминал только то, что его интересовало.

**Сергей Сергеевич Медведев:**

Маяковский, по его словам, прочитал <…> «[Марксистский] Календарь» один или два раза, но он знал его буквально наизусть. Память у него была совершенно исключительная. Все статистические данные, которые там приводились, он знал назубок, и, когда нам, пропагандистам, требовалась какая-нибудь цифра, он моментально ее подсказывал.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

Бурлюк говорил: у Маяковского память, что дорога в Полтаве, – каждый галошу оставит. Но лица и даты не запоминаю. Помню только, что в 1100 году куда-то переселялись какие-то «доряне». Подробностей этого дела не помню, но, должно быть, дело серьезное. Запоминать же – «Сие написано 2 мая. Павловск. Фонтаны» – дело вовсе мелкое. Поэтому свободно плаваю по своей хронологии.

**Николай Иванович Хлестов:**

Он обладал какой-то необычной наблюдательностью, особой зоркостью: умел видеть, слышать и запоминать то, мимо чего другие проходили. Обязательно что-нибудь зарисует, запомнит какой-нибудь интересный разговор, остроумное выражение. Память у него была поразительная. Из каждой прогулки он обязательно выносил какое-нибудь интересное наблюдение, яркое впечатление.

**Василий Абгарович Катанян:**

Игра в ма-джонг вдвоем очень быстрая. Мы шлепаем камень за камнем, и вдруг Маяковский вскакивает с постели, бросается к двери, распахивает ее и начинает кричать на Безыменского, который сидит в столовой и разговаривает с Осипом Максимовичем. Помню, что в это время происходил съезд пролетарских писателей, и вот после одного из заседаний несколько товарищей вместе с О. М. зашли к ним. Что и по какому поводу кричал тогда Маяковский, совершенно не помню. Не помню, вероятно, потому, что ничего не слышал из того, что говорилось за закрытой дверью в столовой. А он все слышал… Слушал и злился. Играть в ма-джонг, держа в уме Безыменского, – ему пришлось потом долго отыгрываться!..

**Сергей Дмитриевич Спасский:**

До последнего момента Маяковский весь принадлежал настоящему – данному дню, текущим интересам, своей эпохе. Он не заботился о будущем. Ему не хватало для этого времени. Он был перегружен повседневной работой. Он презирал посмертную славу. Ему были смешны где-то поджидающие его бронзы и мраморы.

# Полемист

**Алексей Елисеевич Крученых:**

Он моментально отвечал и попадал всегда в лоб. Промахов не делал. Он был снайпером остроумия.

**Александр Вильямович Февральский:**

Маяковский любил и умел, ничуть не снижая идейной содержательности своих выступлений, облекать их в веселую форму. Он был чрезвычайно находчив, и остроты его, будь то уничтожающие издевки над врагами или просто шутки, метко попадали в цель. Здесь сказалось мастерство поэта, привыкшего постоянно работать над речевым материалом, изыскивать различные способы словесной выразительности.

**Василий Абгарович Катанян:**

В ходе разговора, когда Маяковский нападал на молодых поэтов, пишущих лирические стишки, Бухарин примирительно остановил его:

– В конце концов, чего вы от них хотите, Владимир Владимирович! Просто у молодых людей есть яйца…

– Ну, конечно, есть, – согласился Маяковский. – Плохо только, когда они больше головы.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Как-то Маяковский публично ругал писателя Зозулю. Выступал поэт Жаров и сказал, что это недопустимо, что нельзя задевать личности… Маяковский оборвал его:

– Зозуля не личность, а явление.

А однажды, сейчас же после Сельвинского, выступала Вера Инбер. Маяковский, махнув рукой, сказал:

– Ну, это одного поля ягодица.

**Гуго Гупперт:**

Меня всегда поражала молниеносность его великолепных, метких ответов. Никогда я не видал, чтобы он, выйдя из себя, разил обидчика его же оружием. Правда, он мог крепко, подчас даже грубо, парировать какой-нибудь личный выпад, но всегда с непревзойденной меткостью, без злобы. Маяковский целил в глупость или наглость, которые надо было отбить, а не в личность своего противника. И хотя его удар мог показаться несдержанным, он никогда не переходил какой-то внутренней границы пристойности. < … >

И в частной беседе он оставался полемистом, но спорил

не зло, без ненависти. Самый робкий собеседник через пять минут терял всякий страх, не боясь обнаружить свою слабость, – смех Маяковского в личном общении был чаще доброжелательным, человечным, мягким. Смертоносную шутку, сарказм – это грозное оружие классового борца – Маяковский пускал в ход только тогда, когда на это вызывал его политический противник. Он ненавидел беспредметную самодовольную манеру играть остротами, как шпагой, – удел присяжных остряков.

**Алексей Елисеевич Крученых:**

Из публики проталкивается на эстраду толстый маленький человечек типа старого народника. Он клеймит Маяковского:

– Так нельзя, товарищ, вы такой гениальный поэт, а разговариваете так грубо с публикой. Все «я» да «я», разве вы не знаете, что от великого до смешного – один шаг?

Маяковский глазами измерил расстояние между собой и им и отвечает:

– А по-моему, даже меньше. <…>

На каком-то диспуте во время длинной речи оппонента часть публики кричала: «Просим», другая: «Довольно». Тогда Маяковский поднялся и сказал: «Я всех примирю!» – и, обращаясь к оппоненту: – «Просим, довольно!», и затем произнес свою речь.

**Василий Абгарович Катанян:**

Был в Москве один молодой «типаж» из так называемых около-литературных людей. Фамилия его была, скажем, Мерлович. Он аккуратно являлся на все вечера Маяковского, занимал место в первых рядах и вел себя буйно-активно.

Если в программе вечера были прения, он выступал в прениях и «громил» Маяковского в меру своего тщедушия. Если прений не полагалось, он бесновался с места, подавал ехидные реплики, жестикулировал, писал записки и т. д.

Сначала Маяковский удивлялся и сердился, спорил с ним, всерьез парируя его выпады по всем правилам ораторского фехтования. Потом привык и вполне добродушно принимал его как знакомую пристреленную мишень для остроумия.

Появляясь на эстраде, раскладывая на столе портфель, оглядывая зал, Маяковский искал во втором или третьем ряду знакомую фигуру.

– Мерлович здесь? Ну, можно начинать…

Однажды, когда Мерлович особо долго разорялся в прениях, доказывая, что Маяковский «плохой» поэт, через каждые три слова повторяя «с моей точки зрения», «моя точка зрения»,

Маяковский остановил его почти ласковым жестом:

– Где эта ваша точка зрения? Покажите мне ее!..

Мерлович застыл в недоумении.

– …я хочу на нее плюнуть. <…>

Во время одного выступления Маяковский сказал как-то, что он сейчас перечитывает классиков марксизма – Маркса, Ленина. Кто-то крикнул ему с места:

– Ага, Маяковский за ум взялся…

Маяковский посмотрел на крикнувшего с сожалением:

– Ну, хорошо, я за ум взялся, а вы за какое место возьметесь, если придет надобность? <…>

Во время одного из выступлений в Америке, рассказывая об агитационной работе советских поэтов, Маяковский упомянул о своей агитке, написанной по заданию треста Моссукно: «Ткачи и пряхи, пора нам перестать верить заграничным баранам».

На следующем вечере ему прислали записку из публики:

– А правда, что вы по приказу правительства пишете о баранах?

– Правда, – ответил Маяковский. – Лучше по приказу умного правительства писать о баранах, чем по приказу баранов о глупом правительстве. <…>

Но, конечно, бывали такие психологические состояния, когда «кажется, уехать бы куда-нибудь и просидеть года два, чтоб только ругни не слышать», тогда ядовитые записки настигали его, и он грубо спрашивал:

– Каким местом вы думали, когда задавали мне этот вопрос?

– Головой.

– Ну и садитесь на эту голову…

**Лев Абрамович Кассиль:**

«Маяковский, вы сказали, что должны время от времени смывать с себя налипшие традиции и навыки, а раз вам надо умываться, значит, вы грязный…»

– А вы не умываетесь и думаете поэтому, что вы чистый?

**Наталья Александровна Брюханенко:**

– Это неприлично подтягивать штаны перед публикой! – кричит кто-то.

– А разве приличнее, чтоб они у меня упали? – спрашивает Маяковский.

**Лев Абрамович Кассиль:**

«Ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. Вас самого забудут. Бессмертие – не ваш удел…»

– А вы зайдите через тысячу лет, там поговорим!

**Варвара Федоровна Степанова** *(1894–1958), художник, график, театральный оформитель. Жена А. Родченко. Входила в группу ЛЕФ:*

Один маленький «ничевок» в пенсне выступил на юбилейном вечере Маяковского с речью, что Маяковский умер; тогда Володя встает во весь свой рост, вытягивается, стоит некоторое время и садится – гром аплодисментов. < … >

Договоривши речь, «ничевок» поздравляет Маяковского, как новопредставленного покойника, и протягивает ему руку… Маяковский встает, жмет ему руку и не выпускает ее; тот старается выдернуть руку под грохот всей аудитории, но ничего не выходит… наконец, Маяковский выпускает руку и хлопает «ничевока» по заду под овации аудитории. Но надо быть В. Маяковским, чтоб такие штуки проделывать.

**В. Олейников***, слушатель на выступлении В. Маяковского:*

Из ложи бенуара раздался визгливый голос:

– Маяковский, ваши стихи неприятно слушать, хочется уйти с вечера!

Поэт пожал плечами:

– О качестве моих стихов мне говорить неудобно, но знаю, что с моих вечеров еще никто не уходил!

В это время раздался шум отодвинутого стула, и в ложе хлопнула дверь.

– Видите, Маяковский, все же уходят! – несется из ложи.

– Но товарищ же не ушел, он убежал от меня! – отпарировал Владимир Владимирович.

**Александр Вильямович Февральский:**

Речь Маяковского отличалась необыкновенной живостью и непосредственностью. В его выступлениях встречались и реплики, связанные с тем или иным движением в аудитории, и фразы или слова, связанные с каким-то действием самого Маяковского. Вот почему в стенограммах выступлений поэта попадаются отдельные места, непонятные без выяснения конкретной обстановки данного вечера. Так, текст выступления Маяковского 3 января 1927 года на диспуте о постановке «Ревизора» в Государственном театре имени Вс. Мейерхольда начинается в стенограмме ремаркой «Смех» и словами: «Товарищи, почему вы ржете? Подождите». Дело вот в чем: Маяковский вышел на авансцену, перешагнув через стул. Необычным, резким движением он подчеркнул свой рост и в то

же время свое намерение «расправиться» с предыдущим оратором (профессором Сретенским из Ростова-на-Дону), так как был решительно не согласен с только что высказанной им точкой зрения. Комический оттенок, который Маяковский придал своему выходу, вызвал смех в зале. Отсюда и реплика о «ржанье».

**Вероника Витольдовна Полонская:**

На диспутах он всегда был очень остер, блестящ, дерзок. Но все это мне казалось чуть-чуть показным. Он даже одевался умышленно небрежно для этих диспутов, как будто хотел выглядеть неряшливым, хотя в жизни был педантично аккуратен и в одежде, и в квартире. Тут он специально небрежно завязывал галстук и ходил огромными шагами, больше обыкновенных.

Когда я сидела в зрительном зале и смотрела на него, я не узнавала Владимира Владимировича, такого простого и деликатного в жизни. Здесь он, казалось, надевал на себя маску, играл того Маяковского, каким его представляли себе посторонние.

И мне казалось, что цель его была не в желании донести свои произведения, а скорей – в финальной части диспута, когда он с такой легкостью и блеском уничтожал, осмеивал, крушил своих противников.

Тут Маяковский не задумывался о критике, не прислушивался к ней, а путем самого жестокого нападения на выступавших опровергал эту критику.

Владимир Владимирович не всегда отвечал по существу. Он острым своим глазом, увидя смешное в человеке, который выступал против него, убивал противника метким определением сразу, наповал. Обаяние Маяковского, его юмор и талант привлекали на его сторону всех, даже если Маяковский был неправ.

# Острослов

**Вадим Габриэлевич Шершеневич:**

Маяковский раздирался в остроумии. Диспуты с его участием превратились в отдельные выпуски «Сатирикона», в котором он, между прочим, усиленно печатался. Этот налет сатириконства остался в его стихах до смерти поэта. Прозаизмы и остроты не слишком высокого качества запутались в рифмах.

**Корнелий Люцианович Зелинский:**

Как опытный выступальщик, Маяковский всегда имел в запасе несколько острот. Они действовали безошибочно, вызывая громыхание и даже реготание.

**Василий Абгарович Катанян:**

Во время доклада на сцену, по рядам, передаются записки. Какая-то услужливая девушка из первого ряда каждый раз лезет на эстраду и передает записку Маяковскому. Это мешает. Маяковский любезно говорит девушке:

– Кладите их на рояль в оркестре. Когда он наполнится, я их потом вместе с роялем возьму…

После доклада и чтения стихов он отвечает на вопросы, перебирая ворох записок. Из зала кричат:

– Не выбирайте! Отвечайте на все подряд…

Маяковский посмотрел на крикнувшего.

– Ищу жемчужных зерен… Записок сотни.

И серьезные, и шутливые, и задиристые, и просто глупые.

– Почему вы назвали свое детище «Хорошо»?

– А как мне его назвать, – Петей, что ли?

На вечере в Харькове какой-то студент прислал ему такую записку:

– А наш профессор на рабфаке говорит, что вы примазались к советской власти…

Это было далеко не жемчужное зерно, но Маяковский прочел записку вслух.

– Не я примазался к советской власти, а ваш профессор примазался к рабфаку.

**А. Егармин**, *слушатель на выступлении В. Маяковского в Свердловске в 1928 г.:*

Зажав большую пачку записок в руке, Маяковский шутил:

– А на эти вопросы сейчас сразу дать ответ не смогу, надо подумать. Приходите за ответом через сто лет…

Зал снова разражается смехом, гремят аплодисменты.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Однажды в Ялте, в городском саду, Маяковский выступал на открытой сцене. Рядом шумело море. Вдруг поднялся сильный ветер, срывая листья с деревьев, закружил их по эстраде и разметал бумажки на столе.

– Представление идет в пышных декорациях, – торжественно сказал Маяковский. – А вы говорите – билеты дорогие!

**Александр Вильямович Февральский:**

Маяковский любил шутить. В отличие от разящих острот, которыми он стрелял с эстрады, его шутки о повседневной обстановке были веселыми и мягкими.

**Василий Васильевич Катанян** *(1924–1999), кинорежиссер документального кино, мемуарист, наследник архива Л. Ю. Брик. Сын Г. Д. и В. А. Катанянов:*

У молодого Маяковского не было своей бритвы, и он часто одалживал ее у соседей. Соседи были молодые люди, а у них была мама.

Маме это надоело, и однажды, когда Маяковский опять постучался за бритвой, она многозначительно ему отказала:

– Бритва занята. И до-о-олго будет занята.

– Понимаю… – так же многозначительно ответил Маяковский. – Слона бреете…

**Лев Федорович Жегин:**

Наши профессора (в Школе живописи. – Сост.) довольно безобидный и совершенно безличный старичок Милорадович и Касаткин, считавшийся «грозой» учеников, требовавший точного рисунка и знания анатомии, делали вид, что не замечают новаторских попыток Маяковского, и даже похваливали его за колорит и ставили ему удовлетворительные отметки, кажется немного его побаиваясь.

Маяковский подтрунивал над обоими, бормоча им вслед: Косорадович и Милорадкин.

**Александр Вильямович Февральский:**

Помню две его остроты на театральных диспутах 1921–1922 годов. Говоря о постановке в Камерном театре «Ромео и Джульетты», Маяковский предложил называть ее сокращенно «Ридж». А когда обсуждалась неудачная деятельность драматургической организации «Масткомдрама», во главе которой стоял Д. Н. Бассалыго, Маяковский перетасовал название

учреждения с фамилией его руководителя, – получилось: Бассодрама и Маскодрыга.

**Петр Васильевич Незнамов:**

Цитируя образчики стихов из «Перевала», он их называл «не образчиками, а дикобразчиками».

Критика Роскина, одно время что-то делавшего в Наркомпросе, он перекрестил в «Наркомпроскина».

И еще он говорил:

– В критике сплошные ненужности: лишний Вешнев и важный Лежнев.

**Петр Васильевич Незнамов:**

Надо мной он однажды пошутил:

– Не верю я, что вы сибиряк: напора нет! Вы, наверное, мамин сибиряк? мамочкин?

За картами своему партнеру он заметил:

– Вот случай, когда два враждебных лагеря не противостоят, а противосидят друг другу.

Когда ему несколько юмористически рассказывали, как тащился от города к городу, на манер грузовика, одноглазый Бурлюк, он, не улыбнувшись, промолвил:

– Бедный Додя, через всю Сибирь – и с одним фонарем!

**Вера Николаевна Агачева-Нанейшвили**, *двоюродная сестра В. Маяковского:*

Мы подъехали к Большому театру, как помню, он предложил нам послушать «Евгения Онегина». Закурив папироску, неторопливо подошел к кассе и в шутливом тоне сказал:

– Дайте, пожалуйста, два ложных билета. А затем, получив билеты, спросил:

– А они действительны?

**Анатолий Борисович Мариенгоф** *(1897–1962), поэт, драматург, мемуарист. Один из основателей имажинизма:*

Вот мы с Никритиной сидим ночью в Литературно-художественном кружке, который тогда помещался в особняке какого-то бывшего посольства, почти насупротив нашей Богословской квартиры.

Подходит Маяковский:

– Можно присесть?

– Пожалуйста, Владимир Владимирович, – радушно приглашает Никритина. Я придвигаю третий стул. <…>

Маяковский берет карточку с дежурными блюдами и мрачно

читает ее, словно это извещение о смерти близкого человека.

Мне подают на закуску великолепный телячий студень с хреном в сметане.

Маяковский переводит на студень тяжелый взгляд и спрашивает:

– Вы, значит, собираетесь умывальником закусывать?

Я отвечаю коротко:

– Да.

Студень действительно похож на мраморный умывальник, из которого я мылся в детстве. Образ точный. Но закусывать умывальником невкусно.

**Юрий Карлович Олеша:**

Едим раков. Когда снимаешь с них их покрытие, то и дело укалываешься, и Маяковский говорит метрдотелю:

– Хоть бы вы им маникюр сделали, что ли.

**Василий Абгарович Катанян:**

А то раздавался звонок:

– Приезжайте! Покера не будет. Будут Семка и Клава. И дикая просьба – купите по дороге что-нибудь. В доме нет ничего. Белого вина. И что найдется. Побольше…

Помню, почему-то в магазине на Разгуляе, куда я зашел, были одни сиги. Побольше, так побольше. Маяковский очень удивлялся, разворачивая пакеты.

– Опять сиг? И это сиг?! Sic transit…

**Лили Юрьевна Брик:**

За табль д’отом мы сидели в одном конце длинного стола. А в другом конце сидела пышная блондинка. Вдруг блондинка исчезла, а на ее месте оказалась очень некрасивая худая старуха. Володя взялся за ложку есть суп, поднял глаза на визави и испуганно прошептал: «Где стол был яств, там гроб стоит».

**Александр Вильямович Февральский:**

Собираясь провести отпуск в Петрограде, я зашел однажды к Керженцеву, который только что вернулся оттуда. <…> У Керженцева я застал Маяковского. Шла беседа о жизни Питера в советское время, о новых культурных начинаниях, и я спросил Керженцева: «Что особенно интересно в Петрограде?» Маяковский совершенно серьезным тоном ответил мне за Керженцева: «Исаакиевский собор посмотрите. Очень интересно».

**Эльза Триоле:**

Веселые, идем гурьбой по бульвару Монпарнас, отчего-то прямо по мостовой. Володя острит, проверяя на нас свое остроумие. Он весь день провел с одной девушкой, Женей, и ему ни разу не удалось ее рассмешить! И это начинало его беспокоить, не выдохся ли он, не в нем ли тут дело? Рассказывает, как он с Женей катался по Парижу и как, проезжая мимо Триумфальной арки, она его спросила, что это за огонь горит над аркой? «Парижанин» Володя объяснил ей, что то – неугасимая лампада на могиле Неизвестного солдата. Но Женя, привыкшая к тому, что Володя шутник, презрительно ответила: «Никогда не поверю, чтобы из-за одного солдата такую арку построили». Мы все уже обессилели от смеха, а Володя рассказывает еще про то да про это.

**Василий Васильевич Катанян:**

От Лоредо до Нью-Йорка четверо суток курьерским. 31 июля Маяковский приехал в Нью-Йорк.

Ввалившись в гостиницу, он позвонил Бурлюку:

– Говорит Маяковский.

– Здравствуй, Володя. Как ты поживаешь? – ответил голос Бурлюка.

– Спасибо. За последние десять лет у меня был как-то насморк…

**Александр Вильямович Февральский:**

В порядке обновления языка Маяковский предлагал переделывать пословицы. То он менял слова: «В тесноте да не обедали». То соединял две пословицы в одну, – из пословиц «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться» и «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь» неожиданно получалось: «Не плюй в колодец, вылетит – не поймаешь». Если какой-нибудь слушатель не сразу воспринимал остроту, Маяковский говорил: «Его смешишь во вторник, а он смеется в пятницу».

**Иннокентий Александрович Оксенов** *(1897–1942), поэт, переводчик, критик:*

Запомнилась <…> его интонация, которая была обратной содержанию его слов: серьезным тоном отпускал он шутку и, наоборот, шутливо-иронически говорил о стихах и других достойных внимания вещах.

**Василий Абгарович Катанян:**

Когда гости уходят, Маяковский нравоучительно, «как старший товарищ, неглупый и чуткий», говорит мне:

– Первое дело: если вы придумали что-нибудь смешное, никогда не гогочите, рассказывая. Отхохочитесь всласть дома, а на люди выходите с каменным лицом, не проронив улыбки. И благодарные люди вознаградят вас самым сочным смехом.

# Особенности поведения, манеры, привычки

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Мимика однообразная и небогатая, но очень выразительная. Было несколько выражений.

Временами немного красовался собой, мог стать в позу. <…>

Был неуклюж. Движения были порывистые, резкие, угловатые, размашистые, «шумные». <…>

Улыбался нечасто. Смеялся заливаясь, лицо при этом сильно искажалось. Весь трясся и как бы давился от смеха. Смех носил «нервный», с истерическим оттенком характер. Наиболее характерное выражение лица было несколько напряженное, нахмуренное, внимательное, пристальное, с оттенком самоуглубленности, как это видно и на его фотографиях.

Как мимика, так и жестикуляция всегда имели на себе характерный для всего облика М. отпечаток порывистости, резкости, размашистости, и в этом отношении их можно назвать однообразными.

<…> Был свойственен взгляд несколько в сторону. «Была страшная сила взгляда». В глазах чувствовалось сильное напряжение. Очень охотно жестикулировал ртом и массивной нижней челюстью, перекатывал папиросу из одного угла рта в другой. Очень сильная складка бровей.

**Лев Абрамович Кассиль.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Была привычка щелкать зубами.

**Лев Вениаминович Никулин:**

Он выговаривает слова негромко и медленно, но эта медлительность вдруг может обратиться в стремительность и легкость. В его видимом наружном спокойствии – нервность и сокрушительный темперамент. Он может быть грубым, но когда он с вами говорит ласково и по-приятельски, он делает с вами, что хочет.

**Лили Юрьевна Брик:**

Родительный и винительный падежи он, когда бывал в хорошем настроении, часто образовывал так: кошков, собаков, деньгов, глупостев.

**Василий Абгарович Катанян:**

Улыбки разные и все добрые. Злых, насмешливых, издевательских улыбок у него не было. Если уж он злился, ему не до улыбок. Тогда большой одухотворенный рот выражал это чувство очень настойчиво. Нижняя челюсть приобретала резкий угол, выдвигалась вперед. Почти свирепо. Глаза – то что называется сверкали.

**Петр Васильевич Незнамов:**

Никогда не забуду его позы, когда он, взяв со стола Брика какой-то журнальчик, процитировал и сатирически растерзал продукцию нескольких петроградских пролет-поэтов. Он стоял и, высоко держа книжку в раскрытом виде тремя пальцами правой руки, яростно потрясал ею в воздухе и при этом как бы наступал на слушателей, выкрикивая свои гневные оценки.

**Лев Абрамович Кассиль:**

От грохота его гнева, от бодрящей, но крепкой встряски его шуток укрыться невозможно. <…>

Однажды по просьбе и наущению редактора одного ведомственного малоизвестного журнала, ютившегося на Солянке и называвшегося как будто «За рыбо-мясо-хладо-овощ» или вроде этого, я наспех написал очерк. Очерк получился откровенно плохой, так как я абсолютно ничего не понимал ни в рыбе, ни в мясе, ни в хладе, ни в овощах. Однако времени для того, чтобы переписать, уже не было. Я понес очерк в журнал, утешая себя по молодости лет тем, что этот журнал никто, кроме редактора и автора, по-видимому, не читает. На всякий случай я все-таки решил не подписываться полностью, а благоразумно укрылся за инициалами: «Л. К.». Но вот через несколько дней после выхода журнала я иду по Таганской площади. А далеко на противоположной стороне вдруг замечаю Маяковского, шагающего навстречу. Вид у Владимира Владимировича такой, что у меня сразу пропадает всякая охота попадаться ему на глаза. Я делаю попытку отрулить за угол, но Маяковский уже приметил меня.

– Стой-те!!! – гремит он.

А голос у него такой, что останавливаюсь не только я. Замерли все, кто проезжал или проходил в ту минуту через площадь. Завизжали тормоза осаженных машин, посыпались искры из-под дуги застопоренного трамвая, и вожатый высунулся с площадки, чтобы узнать, в чем дело. Не обращая ни на кого внимания, Маяковский направляется через площадь ко мне.

– Боже ж мой, какую дрянь написал! – громогласно возвещает он на всю Таганку и ее окрестности, потрясая при этом поднятой над головой тростью. – Какая чистейшая халтура! И сам ведь знает, что халтуру накропал. Не подписался же полностью, а прикнопил две буковки, как к галошам, чтобы не спутали: «Лы-Ка… Лы-Ка…» А я из вас этого «лыка» понадергаю…

Вокруг меня уже собираются любопытные. Я стою растерянный, готовый провалиться сквозь тротуар, ожидая, что вот-вот под моими подошвами начнет плавиться асфальт. Стараюсь показать приближающемуся Маяковскому глазами, что неуместно меня бранить тут при всем народе…

– Он стесняется! – невозможным своим басом произносит Маяковский, показывая на меня в упор. – А что же вы в журнале не стеснялись? Тут всего человек десять – двенадцать, а там тираж десять тысяч. Вот там бы не мешало бы и постесняться.

Я совершенно посрамлен и убит. Но Маяковский подходит ко мне вплотную. Громадным своим плечом он отгораживает меня от всего публичного срама. Потом, как это он любил делать, сгибом локтя он легонько стискивает мою голову за затылком, слегка пригибая к себе, и говорит сверху, добродушно потупившись:

– Ну, бог с вами, Кассильчик… Идемте ко мне домой обедать. Я вас по дороге еще доругаю.

**Николай Николаевич Асеев:**

В гневе я видел его по-настоящему один только раз.

Мы с ним выполняли плакаты с подписями, кажется, по охране труда. Работа была ответственная, сроки подходили к окончанию. Наконец, окончив все, проверив яркость красок и звучность текстов, мы, радостные, пошли сдавать заказ в учреждение. Но учреждение отнюдь не обрадовалось нам. Там сидел тот самый индивидуум, который послужил позже Маяковскому моделью для изображения главначпупса в «Бане». Толстенький и важный, он заседал с таким азартом во всевозможных комиссиях, что добиться приема у него не было возможно. Мы ходили трое суток, дежуря в приемной по многу часов. Дождаться приема не смогли.

Тогда Маяковский, чувствуя, что запаздываем со сдачей материала, прорвался к нему в кабинет сквозь вопли дежурной секретарши, ведя меня на буксире. Главначпупс был возмущен при виде вторгшегося Маяковского, у которого в одной руке была палка под мышкой, а в другой свернутые в трубку плакаты; за ним следовал я. Главначпупс поднялся с кресла во всем своем величии, которому, правда, не хватало роста.

– Маяковский! Что это вы себе позволяете?! Здесь вам не Политехнический музей, чтобы врываться без разрешения!

Он был пунцов от раздражения, он грозил Маяковскому коротеньким пухлым пальцем, всей фигуркой выражая негодование. А тут еще секретарша сбоку старалась выгородить себя, вопя, что Маяковский поднял ее за локти и отставил в сторону от защищаемой ею двери начальства.

Начальство свирепело все больше. Что-то вроде «позвольте вам выйти вон», с указующим перстом на выходные двери.

Маяковский вдруг внезапно положил трость на письменный стол, снял шапку с головы, положил плакаты на кресло и, опершись ладонями о стол, начал с тихой, почти интимной, воркующей интонацией:

– Если вы, дорогой товарищ…

Громче и скандируя:

– …позволите себе еще раз…

Еще громче и раздельнее:

– …помахивать на меня вашими пальчиками!

Убедительно и почти сочувственно:

– То я!

оборву вам эти пальчики!!

вложу в порт-букет!!!

Со страшной силой убедительности и переходя на наивысшие ноты:

– и пошлю их на дом вашей жене!!!

Эхо раскатов голоса Маяковского заставило продребезжать стекла. Начальство по мере повышения голосовой силы, как бы пригибающей к земле, начало опускаться в свое кресло, ошарашенное и самим гулом голоса, и смыслом сказанного.

Результат был неожиданным.

– Маяковский, да чего вы волнуетесь! Ну что там у вас? Давайте разберемся!

Плакаты были просмотрены и утверждены за десять минут.

**Анатолий Борисович Мариенгоф:**

Госиздат.

Маяковский стоит перед конторкой главного бухгалтера, заложив руки в карманы и широко, как козлы, расставив ноги:

– Товарищ главбух, я в четвертый раз прихожу к вам за деньгами, которые мне следует получить за мою работу.

– В пятницу, товарищ Маяковский. В следующую пятницу прошу пожаловать.

– Товарищ главбух, никаких следующих пятниц не будет. Никаких пятых пятниц, никаких шестых пятниц, никаких седьмых

пятниц не будет. Ясно?

– Но поймите, товарищ Маяковский, в кассе нет ни одной копейки.

– Товарищ главбух, я вас спрашиваю в последний раз…

Главный бухгалтер перебивает:

– На нет и суда нет, товарищ Маяковский!

Тогда Маяковский неторопливо снимает пиджак, вешает его на желтую спинку канцелярского стула и засучивает рукава шелковой рубашки.

Главный бухгалтер с ужасом смотрит на его большие руки, на мощную фигуру, на неулыбающееся лицо с массивными челюстями, на темные, глядящие исподлобья глаза, похожие на чугунные гири в бакалейной лавке. «Вероятно, будет меня бить», – решает главный бухгалтер. Ах, кто из нас, грешных, не знает главбухов? Они готовы и собственной жизнью рискнуть, лишь бы человека помучить.

Маяковский медленно подходит к конторке, продолжая засучивать правый рукав.

«Ну вот, сейчас и влепит по морде», – думает главный бухгалтер, прикрывая щеки хилыми безволосыми руками.

– Товарищ главбух, я сейчас здесь, в вашем уважаемом кабинете, буду танцевать чечетку, – с мрачной серьезностью предупреждает Маяковский. – Буду ее танцевать до тех пор, пока вы сами, лично не принесете мне сюда всех денег, которые мне полагается получить за мою работу.

Главный бухгалтер облегченно вздыхает: «Не бьет, слава богу».

И, опустив безволосые руки на аккуратные кипы бумаг, произносит голосом говорящей рыбы:

– Милости прошу, товарищ Маяковский, в следующую пятницу от трех до пяти.

Маяковский выходит на середину кабинета, подтягивает ремень на брюках и: тук-тук-тук… тук-тук… тук-тук-тук… тук-тук.

Машинистка, стриженая, как новобранец (вероятно, после сыпного тифа), шмыгнув носом, выскакивает за дверь.

Тук-тук-тук… тук-тук… тук-тук-тук… тук-тук…

Весь Госиздат бежит в кабинет главного бухгалтера смотреть, как танцует Маяковский.

Паркетный пол трясется под грузными тупоносыми башмаками, похожими на футбольные бутсы. На конторке и на желтых тонконогих столиках, звеня, прыгают электрические лампы под зелеными абажурами. Из стеклянных чернильниц выплескивается фиолетовая и красная жидкость. Стонут в окнах запыленные стекла.

Маяковский отбивает чечетку сурово-трагически. Челюсти сжаты. Глядит в потолок.

Тук-тук-тук… тук-тук-тук…

Никому не смешно. Даже пуговоносому мальчугану-курьеру, который, вразлад со всем Госиздатом, имеет приятное обыкновение улыбнуться, говоря: «Добрый день!» или «Всего хорошего!».

Через несколько минут главный бухгалтер принес Маяковскому все деньги. Они были в аккуратных пачках, заклеенных полосками газетной бумаги.

**Лев Абрамович Кассиль:**

Как-то раз он остановил на улице свободное такси, чтобы ехать домой. Он открыл уже дверцу и характерным жестом, обеими руками берясь за машину, наклонившись, большой, стал как бы нахлобучивать всю машину на себя, надевая через голову, – так нам всегда казалось, когда он влезал в маленький автомобиль…

Вдруг двое молодых людей развязно и категорически потребовали предоставить машину им. Узнав Маяковского, они влезли в лимузин, стали скандалить и для большей убедительности принялись размахивать какими-то «ответственными удостоверениями». Это и взорвало Маяковского, у которого к мандатам никогда почтения не было.

– Я бы охотно уступил им машину, – рассказывал он потом, – черт с ними! Как вдруг они бумажкой этой начали бряцать… Мандаты там какие-то… Понимаете? Раздобыл какую-то бумажку с печатью и уже опьянен ее властью. Подумаешь, ордер на мир! Особый бюрократический алкоголь. От бумажки пьян. Ему уже бумажкой человека убить хочется. Ах, до чего ж я ненавижу эту дрянь!.. Я их пустил в машину. «Садитесь, – говорю, – пожалуйста». Сели. Нагло сели. Я и отвез их в милицию.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Громко Маяковский говорил только на эстраде. Дома же говорил почти тихо. Никогда громко не смеялся. Чаще всего вместо смеха была улыбка. А когда на выступлениях из публики его просили сказать что-нибудь погромче – он объяснял:

– Я громче не буду, могу всех сдунуть.

**Лев Абрамович Кассиль:**

Но он сердится, когда дешево и умиленно восторгаются его необыкновенностью, масштабами его фигуры. Как-то он сосет конфету в перерыве после выступления. И какая-то девица – губы

бантиком, – подлетев к нему, щебечет:

– Смотрите, как смешно: Маяковский, такой большой, и вдруг сосет такую маленькую конфеточку!

– А вы что же, хотите, чтоб я, по-вашему, тарелки глотал, столы жевал?!

**Лев Вениаминович Никулин:**

Нельзя передать легкость и своеобразие его диалога, неожиданность интонаций, странного чередования угрюмой сосредоточенности взгляда и жизнерадостности его усмешки.

**Иван Васильевич Грузинов:**

У Маяковского почти всегда – папироса, характерно зажатая сильным волевым движением выразительных и резко очерченных губ.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Владимир Владимирович очень много курил, но мог легко бросить курить, так как курил, не затягиваясь. Обычно он закуривал папиросу от папиросы, а когда нервничал, то жевал мундштук…

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Он провожал меня домой. Он шел, как всегда, с толстой палкой. Идет и волочит ее по земле, держа за спиной. Гоняет папиросу из одного угла рта в другой.

**Иван Васильевич Грузинов:**

Еще один из характерных жестов поэта: руки, опущенные в карманы брюк.

**Лев Абрамович Кассиль.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Всегда таскал с собой кастет, очень любил оружие.

**Василий Абгарович Катанян:**

Оружие тогда имели все. Все, кто хотел. Трудно ли получить разрешение? Члену партии, кажется, и этого не требовалось, – просто отмечали номер револьвера в партийном билете.

В одну из поездок в Москву в 1926 году я купил в магазине «Динамо» на Лубянке новенький маузер 6,35 (имея разрешение из Тифлиса). Маяковский увидел у меня в гостинице красную коробку и через несколько дней уже показывал мне близнеца, отливающего синевой, с деревянными щечками.

Были у него и другие пистолеты. Был американский Баярд,

подаренный ему рабочими Чикаго, был браунинг, о котором в 1928 году, когда обокрали дачу в Пушкине, он телеграфировал Лиле: «Если украли револьвер, удостоверение номер 170, выданное Харьковом, прошу заявить ГПУ…» Револьвер остался цел.

**Симон Иванович Чиковани:**

Маяковский не любил оставаться один. Кажется, он всегда избегал одиночества, даже в минуты творческого вдохновения и напряженной внутренней работы. Он мог писать стихи в присутствии товарищей, и их разговор или даже шум не мешали ему работать.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Я приходила, он усаживал меня на диван или за столик за своей спиной, выдавал мне конфеты, яблоки и какую-нибудь книжку, и я часто подолгу так сидела, скучая. Но я не умела сидеть тихо. То говорила что-нибудь, то копалась в книгах, ища, чем бы заняться, иногда спрашивала его:

– Я вам не мешаю?

И он всегда отвечал:

– Нет, помогаете.

Мне кажется, что не так уж именно мое присутствие было ему нужно, когда он работал. Он просто не любил одиночества и, работая, любил, чтоб кто-нибудь находился рядом.

**Лев Вениаминович Никулин:**

Он любит увлекать с собой людей, водить их за собой, втягивать в орбиту своей сложной, малопонятной жизни, вовлекать их в свои неожиданные маршруты, неизвестно для чего водить их за собой, не отпуская от себя.

**Павло Тычина** *(Павел Григорьевич; 1891–1967), украинский поэт:*

Я помню его, когда он шел по саду в Алупке летней ранью. Море ждало его! Но Маяковский, шагая к морю, не переставал внимательно наблюдать людей (одни опережали его, другие шли ему навстречу). И я, судя по дружелюбным поворотам головы его, по размахиванию полотенцем, ясно видел: чего-то не хватает Владимиру Владимировичу. Достаточно было бы окликнуть его по имени, и «тринадцатый апостол» современности охотно бы остановился, заговорил. Море голов привык он видеть вокруг себя, постоянно быть на людях, сливаться с массами. А курортником чувствовать себя Маяковскому было, наверно,

слишком уж скучно.

**Виктор Андроникович Мануйлов:**

Он сам признавался, что не умеет отдыхать.

**Николай Федорович Денисовский** *(1901–1981), художник, плакатист:*

Поразительна его трудоспособность.

В 12 часов ночи мне звонит Маяковский: «Завтра в 9 утра надо сделать двенадцать плакатов Наркомздраву. Приезжайте работать». Я растерялся. Что за срок? Успею ли?

Минут тридцать собирал краски, час ехал до Таганки. За эти полтора часа все темы и подписи были готовы. Маяковский примерно нарисовал и то, что надо было изобразить. Перед этим Маяковский приехал с какого-то выступления, где целый вечер читал стихи.

– Я прилягу на час, полтора, – сказал Маяковский, – вы за это время все сделаете. Если не успеете, то потом помогу я.

Мне не верилось, что удастся сделать за эту ночь хотя бы два плаката, но сознаться было очень стыдно. Встал Маяковский.

– Ну как? Все готово? Ну ничего, сейчас дело пойдет веселее.

И действительно, дело пошло веселее. Указал, что плохо, что хорошо. Опыт у него в этом деле был колоссальный. Скажет, пройдется, шагнет в свою комнату, нагнется к столу, что-то запишет. Спросит, хорошо ли рифмуется то или другое слово, запишет и опять ходит. Так Маяковский работал. К утру ему еще надо было сдать стихотворение в «Комсомольскую правду».

В восемь часов плакаты были готовы. В девять мы были с Маяковским в Наркомздраве, и он возмущался неаккуратностью сотрудников, которые приходят на работу с опозданием. Заведующий отделом пришел только в половине десятого. Маяковский обрушился на него:

– Что же вы неточны? Плакаты просили вам в девять сдать, а сами еще спите.

Плакаты были все приняты.

**Лили Юрьевна Брик:**

Если он слышал или появлялись в печати какие-нибудь хорошие новые стихи, он немедленно запоминал их, читал сто раз всем, радовался, хвалил, приводил этого поэта домой, заставлял его читать, требовал, чтобы мы слушали.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Маяковский купил в вокзальном киоске несколько номеров

свежих журналов. Когда мы расположились в вагоне читать и Маяковский увидел у меня Уткина, он спокойно и молча взял у меня из рук книжку и выбросил ее в окно.

Сам он во всех журналах – «Новый мир», «Красная новь» – разрезал, вернее, разрывал пальцем только отдел поэзии, прочитывал стихи и выбрасывал весь журнал в окно, так, как не задумываясь выбрасывают в окно вагона окурок. До дачи мы довезли только номер «Нового Лефа».

К газетам у него было иное отношение. Газет он покупал столько экземпляров, сколько было присутствующих, – чтобы никому не ждать.

**Эльза Триоле:**

Он любил ходить всегда в одно и то же место, как привычный посетитель, садиться за тот же столик и даже есть то же самое.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Было у него много своих привычек, например, ботинки он надевал, помогая себе вместо рожка – сложенным журналом, хотя был у него и рожок. В своей комнате были у Владимира Владимировича излюбленные места. Обычно он или сидел у письменного стола, или стоял, опершись спиною о камин, локти положив на каминную полку и скрестив ноги. При этом он курил или медленно отпивал вино из бокала, который стоял тут же на полке. Потом вдруг он срывался с места, быстро куда-то устремлялся, приводя что-то в порядок, или записывал что-нибудь у письменного стола, а то просто прохаживался – вернее, пробегался – несколько раз по своей маленькой комнате, опять возвращаясь в прежнее положение.

**Валентин Петрович Катаев:**

Он привык носить с собой в коробочке кусочек мыла и особую салфеточку, и, высморкавшись, он каждый раз шел в кухню и там над раковиной мыл руки этим своим особым мылом и вытирался собственной, особой салфеточкой, причем, доставая их из кармана, по своей неизменной привычке, начинал перекладывать из кармана в карман различные предметы: из заднего кармана брюк извлекал, например, пачку бледно-зеленых двадцаток, приготовленных для уплаты фининспектору подоходного налога, и перекладывал ее в боковой карман пиджака, а на место пачки двадцаток засовывал маленький маузер, извлеченный из левого кармана брюк вместе с кусочком мыла, завернутого в салфетку, а мыло и салфетку перекладывал в правый карман, откуда на миг доставал стальной кастет и быстро прятал его обратно, причем заодно проверял, на месте

ли в нагрудном кармане авторучка, или, как он любил ее называть несколько высокопарно, – «стило».

Подобные операции с перекладыванием вещей он производил довольно часто. Доставая один какой-нибудь предмет, он как бы приводил в движение некий скрытый механизм, после чего происходил неотвратимый, законченный цикл перекладывания предметов, их появления и исчезновения, щелканья, чем-то напоминавший движение механических фигурок в тире, приведенных в действие метким выстрелом в маленькую красную мишень.

**Эльза Триоле:**

Известна крайняя чистоплотность и брезгливость Маяковского, которая отчасти объясняется тем, что отец его умер, уколовшись, от заражения крови. Володя мыл руки, как врач перед операцией, поливал себя одеколоном, и не дай бог было при нем обрезаться! А как-то он меня заставил мазать руки йодом, оттого что на них слиняла красная веревочка от пакета.

**Давид Давидович Бурлюк:**

Всякая царапина, ссадина на его больших, красных, обветренных руках (первые годы нашего знакомства поэт часто ночевал на бульварах) всегда приводили его в ужас и заставляли прибегать к йодам и коллодиям.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Был очень мнителен, боялся всякой простуды: при ничтожном повышении температуры ложился в постель.

**Павел Ильич Лавут:**

Десятки раз на день больной мерил температуру. Порой он ставил градусник по три-четыре раза кряду. Часто вынимал термометр раньше положенных минут, посмотрит на него, и обратно. Он разбил сперва свой термометр, за ним тот, который принесла медсестра. Раздобыли третий. И его постигла участь предыдущих. Только тогда интерес к температуре несколько снизился.

– Ирония судьбы, – улыбнулся Маяковский, – значит, пора выздоравливать.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, 28 апреля 1928 г:*

Прости меня дорогой детик что я не выздоравливаю я делаю все что можно – целый день жру пилюли, закручиваюсь

в компрессы и ставлю банки, а главным образом два термометра и все таки с трудом изгоняю каждые четверть градуса.

**Василий Абгарович Катанян:**
В стихотворении сказано:

Пока перед трюмо разглядываешь прыщик…

Очень похоже. Когда он подходил к зеркалу, то именно разглядывал свое лицо пристально и подозрительно – не привязалась ли какая-нибудь гадость, не грозит ли ему смерть от незамеченной царапины.

**Лев Александрович Гринкруг:**
Маяковский был мнителен, чистоплотен и брезглив до болезненности. <…> Боялся любой царапины, грязи. <…> Никогда не выпьет из чужого стакана, не съест из чужой тарелки, в чужих домах, в гостиницах всячески старался не прикоснуться к дверной ручке, по возможности избегал городского транспорта, предпочитал шагать через весь город пешком, лишь бы не дотрагиваться к чему-нибудь руками, десятки раз в день мыл руки и всегда держал для этой цели одеколон.

**Наталья Александровна Брюханенко:**
На лестнице, этажом ниже, жил венеролог. Маяковский предупредил меня:
– Не беритесь за перила – перчаток у вас нету. – И потом когда я стала часто бывать у него, он каждый раз не забывал напоминать об этом.

**Вероника Витольдовна Полонская:**
Никогда не брался за перила, ручку двери открывал платком.

**Наталья Александровна Брюханенко:**
Всегда очень щепетильный в отношении чистоты <…> Маяковский требовал, чтобы фрукты, помидоры и даже бокалы еще раз специально для нас перемывались кипяченой водой.

**Вероника Витольдовна Полонская:**
Стаканы обычно рассматривал долго и протирал. Пиво из кружек придумал пить, взявшись за ручку кружки левой рукой. Уверял, что так никто не пьет и поэтому ничьи губы не прикасались к тому месту, которое подносит ко рту он.

**Лили Юрьевна Брик:**

Он ставил свой бокал на шкаф, чтобы никто не мог до него дотянуться и отхлебнуть. В поездки он брал столовые приборы в кожаном футляре, всегда носил в кармане маленькую мыльницу, чтобы после неприятного рукопожатия можно было вымыть руки.

**Павел Ильич Лавут:**

В Сочи, поселившись в скромном номере «Ривьеры», Маяковский тотчас достал из чемодана каучуковую ванну (это был большой складной таз с громким именем «ванна») и потребовал у горничной горячей воды. Та всплеснула руками:

– Просто удивительно! Вздумали в номере купаться! Кругом море, а они баню устраивают!

Маяковский вежливо уговаривал ее:

– Не понимает девушка, что в море основательно помыться невозможно. Грязь может долипнуть еще.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Возвращаясь, еще из коридора услышала в номере крики. Посредине комнаты стоял огромный резиновый таз, который почти плавал по воде, залившей всю комнату. А кричала гостиничная горничная, ругалась на то, что «гражданин каждый день так наливает на полу, что вытирать нету сил».

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, 29 ноября 1926 г.:*

Местный хроникер сказал мне гуляя по улице:

«Говорят – гений и зло не совместимы а у нас в Ростове они слились вместе». В переводе это значит что у них несколько месяцев назад прорвались и соединились в одно канализационные и водопроводные трубы! Сейчас сырой воды не пьют а кипяченую советуют пить не позже чем через 4 часа после кипения – а то говорят что какие-то «осадки».

Можешь себе представить, что я делал в Ростове!

Я и пил нарзан и мылся нарзаном и чистился – еще и сейчас весь шиплю.

# Любимые вина, закуски и десерты

**Павел Ильич Лавут:**

– В винах надо разбираться, – говорил он. – Это большая специальность.

Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.

Вот кто понимал и чувствовал, что такое вино!

У нас же некоторые поэты пишут о винах, не имея о них понятия. Надо браться только за то, что знаешь. Надо учиться у Пушкина. Это вам не есенинское «дррр». Вы чувствуете, как это здорово сделано! Шш и пп – ппенистых, ппунша, ппламень – товарищи, это здорово! Дай бог всякому! Я и то завидую. Пушкин понимал, что такое пунш, с чем его едят и как он шипит. Надо чувствовать это шипение.

**Лев Вениаминович Никулин:**

Если он пьет вино, то может быть много, и притом не пьянеет, как южанин, кавказец, родившийся у виноградной лозы.

**Софья Сергеевна Шамардина:**

Когда появлялись деньги – то обязательно был рислинг и финики. При этом можно было не обедать – это не обязательно.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Пил он виноградные вина, любил шампанское. Водки не пил совсем. На Лубянке всегда были запасы вина, конфет, фруктов…

**Павел Ильич Лавут:**

Маяковский на публике говорил: «Вино я всосал с молоком матери – родился среди виноградников и пил его, как дети пьют молоко».

Ведь сам-то Владимир Владимирович слыл знатоком винных дел. Зато уж в другую крайность он не впадал: водки не признавал, разве что изредка, за компанию или в торжественно-новогодние дни.

**Юрий Карлович Олеша:**

Маяковский пил мало, главным образом вино того сорта, которое теперь называется «Советским шампанским», а в те годы

называлось шампанским «Абрау-Дюрсо». Когда я однажды крикнул официанту: «Шампанского!» – Маяковский сказал: «Ну, Юра, что это вы! Просто скажите „Абрау“!»

Хотя пил мало, но я слышал от него, что любит быть подвыпивши, под хмельком. Однако это никак не был пьющий человек. Помню вазы с крюшоном. Вот крюшон действительно пользовался его любовью, но это сладкая штука, скорее прохладительная, чем алкогольная, с апельсиновыми корками, с яблоками, как в компоте.

**Валентин Петрович Катаев:**

– Выпьем по этому случаю шампанского, – предложил я.

– Сколько раз я говорил вам, чтобы вы никогда не произносили этого глупого слова. Только выскочки и парвеню кричат на весь кабак: «Шампанского!» А всякий уважающий себя человек должен говорить «вино». А уж все окружающие должны сразу понять, что раз вы говорите: вино, то имеете в виду именно шампанское, а не что-нибудь другое. И в ресторане никогда не кричите: «Шампанского!» Заказывайте официанту вполголоса, но внушительно: «Будьте так добры, принесите мне вина». Он поймет. Уж будьте уверены. Принесет, что надо.

Чтобы не вызвать язвительной полуулыбки у Маяковского, который не переваривал «хлопанья пробок», хотя и вполне признавал волшебную звукопись «шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой» и «вошел – и пробка в потолок», – я снял железную скобку, почти совсем бесшумно отвинтил пробку «абрау-дюрсо» и скромно налил в наши стаканы шипучее вино. Маяковский его только пригубил. Видно, не хотел пить. Он вообще пил немного, преимущественно легкое виноградное вино, в чем сказывалось его грузинское происхождение.

Водку совсем не признавал. С презрением говорил, что водку пьют лишь чеховские чиновники.

**Павел Ильич Лавут:**

Маяковский говорил не раз:

– Пища – вещь немаловажная, от нее зависит твоя работоспособность.

Он высмеивал тех, кто считал неудобным распространяться о таких «низменных материях», как пища и сон:

– Таких товарищей я расцениваю как аристократов в кавычках.

**Елена Владимировна Семенова:**

Иногда раздавался звонок: «Шашлык любите? Поехали

на Арбат?» Там был такой грузинский подвальчик.

**Мария Мейерова:**

Все ели с аппетитом. Барашек издавал приятный запах, и Маяковский все же почувствовал, что голоден, наклонился <… > и взял с блюда кусок барашка. При этом он не переставал говорить дальше, очевидно, не замечая, что делает. Так он ходил вокруг стола, рассуждая, и, когда съел первый кусок, взял с блюда второй, третий – видно, ему понравилось. Только когда захотел вытереть руки и механически стал искать салфетку, он понял, что увлекся, и засмеялся. Мы тоже засмеялись, и всем стало еще веселее.

**Наталья Федоровна Рябова** *(урожд. Самоненко; 1907–?), знакомая В. Маяковского:*

К столу были поданы корнишоны. Маяковский набросился на корнишоны, и скоро все они были съедены. Я широко открытыми глазами, чуть не с отчаянием глядела на Маяковского. Вид великого русского поэта, поглощающего огурцы в таком невероятном количестве, казался мне оскорбительным. Еще хуже было то, что Владимир Владимирович, увидев мое удивление и поняв, к чему оно относится, растерялся и тоже почти с ужасом посмотрел на пустую вазочку. Слава богу, принесли сладкое, и инцидент разрешился сам собой.

**Лили Юрьевна Брик:**

Кельнер, не выказывая удивления, подавал ему на сладкое пять порций дыни или компота, которые дома в сытые, конечно, времена Маяковский привык есть в неограниченном количестве. В первый раз, когда мы пришли к Хорхеру и каждый заказал себе после обеда какой-нибудь десерт, Маяковский произнес: «Их фюнф порцьон мелоне и фюнф порцьон компот. Их бин эйн руссишер дихтер, бекант им руссишем ланд, мне меньше нельзя».

**Павел Ильич Лавут:**

Соблюдать предписанную врачом диету оказалось здесь нелегким делом. Владимир Владимирович решил ограничиться своим любимым блюдом – компотом. Он пригласил официанта и попросил, невзирая на февраль, добыть свежих фруктов.

– За любые деньги, но сделайте компот. И обязательно много, чтобы вышла большая миска.

Обычная порция компота стоила в ресторане 20–30 копеек. Он же вручил официанту невероятную, по тем временам, сумму – 20 рублей. Компот был сварен.

– Надеюсь, что вы не дадите мне лопнуть и осушите вместо со мной это море компота, – обратился ко мне Владимир Владимирович, увидя огромную миску.

Он заставил присоединиться к нам и медицинскую сестру. Но и с нашей активной помощью «компотное море» просуществовало целых три дня.

**Людмила Владимировна Маяковская:**

В августе 1918 года, собираясь приехать в Москву, Володя в письме Оле писал: «Остановлюсь я скорее всего у Вас, думаю, Вы не запротестуете. Если захотите меня привести в умиление – сделайте в мою честь вареники с вишнями. Расходы возмещу первым же заработком. Пока у меня все в будущем.

Целую крепко мамочку, Людочку и тебя».

# Игрок

**Григорий Израилевич Поляков** *(1903–1982), невролог, профессор:*

М. был страстным игроком. Уже в детстве он играл преимущественно в игры, связанные с риском и азартностью, очень любил картежную игру, проявляя при этом большую настойчивость, чтобы заставить взрослых играть с собой. С годами это влечение приняло еще более резкие формы. М. мог играть в какой угодно обстановке и во что угодно вплоть до того, что играл в чет и нечет на номера проходящих трамваев. Когда М. был кому-либо должен, то предлагал кредитору отыграть у него долг. Во время своего пребывания в Берлине настолько увлекся карточной игрой, что не вышел даже взглянуть на город.

**Вадим Габриэлевич Шершеневич:**

Помню, летом в «Ротонде» на Тверском бульваре (это было задолго до войны) мы пили чай. Сидел Большаков, Ходасевич и я. Подходит Маяковский и предлагает сыграть на трамваи.

Вдоль бульвара под самой «Ротондой» очень часто ходил А и еще два трамвая, кажется, 15 и 13. Маяковский живо организовал игру: один из нас ставил на А, другой на нумерной трамвай. Проигравший заказывал победителю кружку пива.

**Николай Николаевич Асеев:**

Бренча в горстях серебряной мелочью, на ходу, мы играли в «орла и решку» – сколько орлов и сколько решек окажется в раскрытой ладони. Играли на то, сколько шагов до конца квартала, какой номер первого встреченного трамвая. Азарт был не в выгоде, а в удаче.

**Лев Абрамович Кассиль:**

Ему дорог самый азарт игры, ее кипяток, ее нерв и риск. Сняв пиджак, засунув большой палец одной руки в пройму жилета, он другой крепко ставит кости на стол, и четыре ветра маджонга скрещиваются над его головой.

Он ставит на что угодно: на номер извозчика – делится на три или не делится? Загадывает, четный или нечетный подойдет номер трамвая. Однажды в Париже он проиграл весь город.

У него был составлен целый план повторных экскурсий по Парижу. Но в последний день с утра ему не везло в игре. Времени для того, чтобы отыграться, оставалось немного. Он

поставил на карту Париж. Сперва он проиграл Большую Оперу, потом Лувр, потом Версаль и, наконец, Эйфелеву башню. Времени осталось только, чтобы поспеть на непроигранный вокзал.

**Николай Николаевич Асеев:**

Как-то ехали вместе к нему на дачу в Пушкино. Вдруг он предложил: сойти на предыдущем разъезде и – вперегонки, от семафора до семафора; но идти шагом, шагом какой угодно длины, не переходящим на рысь, на бег. Пари на червонец. Я тогда занимался гимнастикой регулярно и сейчас же принял пари, так как учел массивность фигуры Маяковского и то, что я легок на ногу. Договорились. Сошли с поезда, спрыгнули с площадки платформы и – раз-два-три – приняли старт. Маяковский ушел метров на двадцать, я растягивал шаги как мог, но сразу было не угнаться за ним. Однако к половине дистанции я подошел вплотную, и дальше мы шли вровень до самого конца. Маяковский потерял на слетевшей шляпе и, пока он нагибался, я обошел его. Потом он вновь нагнал меня, но уже перегнать у него дыхания не нашлось. Кто же выиграл? Решили разыграть в орел-решку.

**Павел Ильич Лавут:**

Согласно <…> графику мы должны были играть в «1000» до станции Гудермес. Но выясняется, что поезд сильно опаздывает. Я предлагаю отойти от графика – вдруг опоздает на целые сутки. Под разными предлогами выбегаю из купе, устраиваю передышку.

– Довольно бегать и прикидываться! Будьте человеком слова! – сказал Маяковский.

– А почему наш поезд – не человек слова?

– Меня это не касается – мы люди, а не поезда. Пришлось играть до Гудермеса. Здесь поезд стоял очень долго.

Владимир Владимирович предложил другое: до отхода поезда быстро шагать от паровоза до хвоста и обратно и сосчитать количество шагов.

– Но чьими шагами? Ведь у вас вдвое шире.

– В одну сторону вашими, в другую – моими.

Так и шагали – серьезные и озабоченные счетом.

**Софья Сергеевна Шамардина:**

Если не в карты – то все равно во что, но только обязательно «на интерес». В бирюльки и то играл азартно, весь уходя в игру.

**Лили Юрьевна Брик:**

Играли в «короля» на «позоры». Составили табличку

проигрышей, вроде этой:

столько-то очков – «звать снизу Тоню» (домработницу в пансионе),

больше очков – «мыть бритву»,

еще больше – «жучка ловить» (найти хорошенького жучка и принести домой в общее пользование),

еще больше – «выгнать вечером комаров из комнаты»,

еще больше – «сходить на вокзал за газетой»,

еще больше – «итти за газетой в дождь».

Играли «на мелок», и часто кому-нибудь приходилось несколько дней подряд мыть бритву, ловить жучков, бегать за газетами.

**Рита Райт:**

– Рита, ну, давайте с вами сыграем, ну, не умеете в карты – давайте во что хотите. Давайте в такую игру, в которую я не умею, – и я вас все равно обыграю.

– Вы умеете в шашки, в «волки и овцы»?

– Нет.

Я объяснила правила игры и с первого же раза обыграла Маяковского.

– Погодите, – сказал он, – давайте следующую партию играть на что-нибудь, а то так неинтересно. Хотите так: я вам – плитку шоколада, а вы мне – целую неделю мыть бритву и кисточку? <…>

Я, конечно, проиграла вторую игру, Маяковский торжествовал.

На следующее утро – воскресенье, идя с купанья, я издали услышала с террасы паровозный рев:

– Ри-и-и-ту-у! Мыть бри-и-и-итву-у!

Маяковский почти никогда не смеялся громко, но когда я, поболтав кисточкой в стакане, стала ее вытирать полотенцем, а из нее вдруг полезла невымытая пена и я выронила ее из рук, Маяковский засмеялся каким-то отрывистым, толчками, смехом и долго не мог успокоиться.

В первый же дождливый день я выпросила реванш.

Отыграв право не мыть бритвы, я опять воспрянула духом и согласилась играть просто на «позор».

И тут же проиграла.

– Ну, теперь я вам выдумаю позор – только держитесь! В воскресенье, когда приедут гости, вы станете на колени посреди террасы, поклонитесь в землю и громко скажете: «Прости, господи, меня, глупую, за то, что я посмела пойти против Володи», – и так пять раз – вот!

В воскресенье с поезда 11.30 густо пошли гости. Я втайне надеялась, что Владимир Владимирович забыл про «позор», надела любимое белое платье, но народ только успел показаться на дачном дворе, как Маяковский уже звал:

– Идите, идите позориться, нечего там…

Гости стояли в дверях, в полном недоумении, а я, давясь хохотом, истово била земные поклоны, прочувствованно повторяя: «Прости, господи, меня, глупую, за то, что я посмела пойти против Володи».

А сам Маяковский, страшно довольный, стоял в стороне и громко считал:

– Раз! Два! Не жульничать! Лбом! Лбом!

**Эльза Триоле:**

Гуляли, шли на ярмарку, – в Париже ярмарка круглый год переезжает из района в район. Маяковский любил ярмарочный шум, блеск, музыку, толчею, любил глазеть на балаганы, играть во все игры, стрелять в тире и выигрывать бутылки плохого шампанского, покупать билетики в лотерею и смотреть на вертящееся колесо «фортуны» <…>.

Вот, уже ночью, мы все, также гурьбой, спускаемся с Монмартра по узкому тротуару. На одном из домов, перпендикулярно к нему, вывеска в виде золотого венка, – Володя метко бросает трость сквозь отверстие в венке, кто-то берет у него трость и тоже пробует бросить ее сквозь венок… И тут же начинается игра, вырабатываются правила. Володя всех обыгрывает: у него меткий глаз и рука, да и венок почти на уровне его плеча!

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Как-то мы были с ним в кино «Дмитровка, 6». В фойе была лотерея – надо было с большого листа картона срывать бумажки с номерами. Маяковскому эта медленная процедура погони за счастьем не понравилась, и он купил сразу всю лотерею со всеми номерами – и все выиграл. Выигрыши были – мыло, блокноты, что-то из посуды и тому подобные вещи. Все это со смехом мы забрали с собой и привезли на квартиру в Гендриков переулок.

**Лев Вениаминович Никулин:**

Для него было важно одолеть сопротивление партнера, заставить его сдаться, для него важна была подвижность мысли, которую он мог показать даже здесь, за карточным столом, и он был неутомим и, в сущности, непобедим в игре.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Маяковский любил играть в карты. Очень любил обыгрывать, но не денежный выигрыш радовал его, а превосходство над противником.

Несколько раз при мне он звонил по телефону Асееву и звал его играть. Причем он так и говорил:

– Приходите! Я вас обыграю.

Или:

– Мне нужно обыграть вас сегодня. Сейчас. Сию минуту.

Асеев немедленно откликался на его зов и, быстро пройдя с Мясницкой на Лубянку, садился играть. Играли в «тысячу». Маяковский выдвигал из письменного стола доску, вроде как из буфета для резки хлеба, и они играли азартно и с каким-то упоением несколько партий подряд.

**Николай Николаевич Асеев:**

С Маяковским страшно было играть в карты. Дело в том, что он не представлял себе возможности проигрыша как естественного, равного возможности выигрыша, результата игры. Нет, проигрыш он воспринимал как личную обиду, как нечто непоправимое.

Это было действительно похоже на какой-то бескулачный бокс, где отдельные схватки были лишь подготовкой к главному удару. <…> Ну, а в картах темперамент и сила уравнивались с темпераментом и терпеливостью партнера. Но он же чувствовал, насколько он сильнее. И потому проигрыш для него был обидой, несчастьем, несправедливостью слепой судьбы. <…>

Обычно Маяковский был шумен и весел за игрой, острил, увеличивал ставки, убеждал: «Лучше сдайся мне живьем», или: «Не родился еще богатырь такой, чтобы его обыграть», или: «Но на седины старика не подымается рука», в случае более сильной партии. Да мало ли было экспромтов и выдумок специально для карточной терминологии, повергаемых обычно Маяковским на расстроенные ряды партнеров.

**Вадим Габриэлевич Шершеневич:**

Он играл, кажется, во все игры, начиная с преферанса, кончая железкой и покером. Любил играть крупно и за это одобрял Некрасова.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Вспоминаю <…> карточные игры в комнате Владимира Владимировича в гендриковской квартире. У Владимира Владимировича были разноцветные фишки, он любил красные,

всегда спорил из-за них. Был обычно очень весел и остроумен в игре, тут же на лету изобретал свои словечки, обозначающие карты и их значение.

Перед началом игры Маяковский всегда говорил:

– Давайте играть по принципу сухого чистогана.

То есть у кого кончаются деньги, тот выходит из игры без долгов. Разумеется, в игре это никогда не осуществлялось. Если Владимиру Владимировичу не везло, он вытаскивал какие-нибудь предметы из своего письменного стола – карандаши, коробочки, ключи и т. д. – и клал около себя на столе или брал Бульку на колени и говорил:

– Это на счастье. Вот теперь мне повезет.

За игрой все время что-то бормотал, пел, говорил, подбирал рифмы, и было очень весело играть с ним, и просиживали долгие часы не столько из-за самой игры, сколько из-за Маяковского, уж очень его поведение было заразительно.

**Лили Юрьевна Брик:**

Непрерывная игра словами шла за картами:

В ожиданье выигрыша
приходите вы и Гриша.

Оборвали стриту зад,
стал из стрита три туза.

**Николай Николаевич Асеев.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Играл очень нерасчетливо, плохо. Пытался обыграть сразу.

**Лев Абрамович Кассиль:**

Долг проигрыша он считает священным и, продувшись вконец «на услуги», безропотно подчиняется капризу удачника: терпеливо кипятит ему чай, таскает за ним по саду стулья…

А однажды, как того требует выигравший, напевая песенку тореадора, торжественно и беспрекословно приводит во двор, ухватив за рога, чужую корову… И он выполняет все это с таким снисходительным великолепием, не допускающим насмешки или сожаления, что сам победитель, заказавший эту «услугу», чувствует себя через минуту позорно проигравшим.

**Наталья (Нато) Георгиевна Вачнадзе** *(1904–1953), грузинская актриса, народная артистка Грузии (1941):*

К вечеру мы поехали в Дом актера, где он играл на бильярде,

обязуясь лазить под стол в случае проигрыша, и действительно это проделывал.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Он играл на бильярде с полным самозабвением и искренностью, проигрывался, создавал свои правила, – например, что за последнюю партию не платит, и с других не спрашивал, и очень дорожил этим правилом.

**Борис Михайлович Филиппов** *(1903–1991), театральный деятель:*

Маяковский играл весело и, даже проигрывая партию, пересыпал остротами удары по шарам. <…>

Во время бильярдных сражений с Иосифом Уткиным Маяковский иногда в шутку предлагал своему партнеру сыграть «на строчки». Это обозначало, что проигравший должен уступить победителю предстоящий гонорар за свое вновь опубликованное в печати стихотворение. Как партнеры разбирались потом в этой сложной бухгалтерии – сказать трудно.

Одним поздним вечером я был свидетелем бильярдной схватки Маяковского с Луначарским, который также увлекался этим спортом, но порядком нервничал, терпя поражения. Маяковский хладнокровно укладывал в лузы шары, приговаривая при этом, что наркому, мол, неудобно выигрывать у простых смертных.

– Нарком если даже честно выиграет партию, то все равно его обвинят в том, что он потворствует подхалимажу!

Встретив однажды в клубе некоего самовлюбленного критика, неодобрительно высказывавшегося о «Клопе», Маяковский решил «отыграться» за бильярдным столом и с подчеркнутой любезностью пригласил своего недоброжелателя в качестве партнера.

Критик даже в бильярдной разговаривал со всеми свысока, несмотря на свой низкий рост. Недаром старый клубный маркер Захар Иванович, склонный пофилософствовать, говорил по поводу этого «мастера пера», что он страдает «мантией» величия. Критик считался приличным игроком, но Маяковский дал ему фору при условии, что проигравший должен будет трижды пролезть под бильярдным столом. Партнер вначале не соглашался, но явное преимущество в шарах и соблазн видеть Маяковского в смешном положении поколебали его обычную чопорность.

Кажется, впервые я видел Маяковского за игрой в напряженно-серьезном состоянии.

Слух об этой партии мгновенно разнесся по клубу и собрал в бильярдную массу болельщиков. Все были на стороне Маяковского и подбадривали его сочувственными репликами. Вскоре самоуверенный критик вынужден был лезть под стол, сопровождаемый ревом всех присутствующих.

– Рожденный ползать писать не может! – изрек Маяковский. – Может быть, вы хотите отыграться? – спросил он у своего партнера, но тот потерял всякий аппетит к игре.

В клубе долго хранился личный кий Маяковского, переданный впоследствии в музей его имени.

**Павел Ильич Лавут:**

Владимир Владимирович <…> предлагает «согреться бильярдом». Начинается своеобразное священнодействие. Первая проблема – выбрать хороший кий: тяжелый, длинный, прямой. Он проверял их в вытянутой левой руке, взвешивал один за другим и прищуренным глазом уточнял прямизну. Потом, отобрав кусок хорошего мела, деловито смазывал кий и смежные суставы пальцев обеих рук.

Шары любил ставить сам – это как бы часть игры.

Больше всего по душе была ему «американка»: самая простая из игр – бей любым любого. На другие игры не хватало терпения. Нравилась быстрая смена положений, движение и азарт. Такая игра частично заменяла физическую работу – ведь он почти не присаживался, шагая вокруг стола. Бильярд служил разрядкой в непрерывной и напряженной работе мозга. Но выключиться совершенно он не мог – то, прерывая игру, он что-то заносил в записную книжку, то, как бы по инерции, читал или, вернее, нашептывал готовые или строящиеся строчки, найденные рифмы.

И наконец, бильярд – хотя и не массовый, но вид спорта.

Скажем,
мне бильярд –
отращиваю глаз…

В углу рта Маяковский мял одну за другой папиросы. Не докурив, прикуривал от нее следующую – за вечер опустошалась целая коробка. Подолгу был молчалив, сосредоточен. А то вдруг начинал сыпать остротами, сохраняя при этом серьезное выражение лица. Лишь изредка появится улыбка – так постепенно настроение менялось: шли стихотворные цитаты, перевернутые, комбинированные слога. Партнер озадачен и, конечно, отвлекается от своих «прямых обязанностей».

Маяковский был искусным игроком и обладал тем

преимуществом, что обеими руками (он был левша) с одинаковой силой и ловкостью владел кием. Помогал ему и рост: он доставал любой шар на самом большом столе. Но, пожалуй, основные качества его, как игрока, – настойчивость и выносливость.

Часам к четырем утра, когда я уже стоя спал, он подбадривал меня, напевая густым басом (в бильярдной мы были одни): «Еще одно последнее сказанье…» Эту арию он очень любил.

– Серьезно, еще одну последнюю партиозу. Я покажу класс! Кладу восемь шаров с кия (то есть подряд). Я ведь только разошелся…

«Последних сказаний» набралось штук пять.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Игра шла часами. Играл он азартно и подолгу, пока не являлся Лавут и настойчиво напоминал, что пора ехать. Как-то, обыграв маркера, Маяковский радостно объявил:

– Обыграть маркера – это все равно что переиграть Шопена.

**Лев Вениаминович Никулин:**

В пятом часу утра, когда зеленеют лица игроков и усталость сжимает щипцами виски и в глазах двоятся белые шары на зеленом сукне, он сохранял свежесть и бодрость и желание продолжать бой, и не было тени алчности в том, как он брал и отдавал пренебрежительно смятые кредитные билеты.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

В это лето (1927 г. – Сост.) в Пушкино было увлечение игрой в ма-джонг. Это азартная китайская игра в особые кости, и научил меня играть в нее там, на даче, режиссер Виталий Жемчужный, знакомый Маяковского и Бриков.

Помню, что как-то играли всю ночь в две партии на верхней и на нижней террасах, изредка справляясь друг у друга о результатах игры. До этого я никогда не играла ни во что на деньги, и в первый раз, когда выиграла в ма-джонг, я отказалась взять выигрыш. Но Маяковский заставил меня взять деньги у Осипа Максимовича и сказал, что карточный долг – это долг чести.

**Василий Васильевич Катанян:**

Эта игра захватывает человека на несколько лет, а потом вдруг надоедает навсегда и бесповоротно. Древняя китайская игра состоит из 144 камней, ювелирно отделанных бамбуком и слоновой костью. В Китае она одно время была запрещена, поскольку в азарте мандарины проигрывали целые провинции.

Суть ее в собирании комбинаций, которые здесь описать невозможно.

Первый ма-джонг в Москву привезла Лиля Брик в двадцатых годах, и все их знакомые, в том числе и мои родители стали заядлыми игроками. Сохранилась надпись Маяковского на книге, которую он сделал отцу: «Читайте днями, Катаняныч, для „Ма“ освобождаясь на ночь». В конце двадцатых мамин отец из Америки прислал ей эту игру. Когда пошли на таможню, то выяснилось, что пошлина нам не по карману. И тогда Маяковский сказал отцу: «Я вам дам денег, чтобы его выкупить, а потом мы его разыграем». Они играли всю ночь, и утром Владимир Владимирович сказал Лиле: «Подлец Катанян меня обыграл». Таким образом игра осталась в нашей семье. Это реликвия – в это «Ма» часто играл Маяковский.

**Александра Сергеевна Хохлова** *(1897–1985), российская киноактриса, режиссер, педагог:*

Как-то Кулешов привез на дачу начинавший входить в моду пинг-понг. Маяковский попросил его научить игре. Вначале дело не ладилось, но Владимир Владимирович был упорен и неутомим. Игра продолжалась почти сутки.

**Иван Васильевич Грузинов:**

Маяковский очень любил игру в городки и предавался ей со свойственной ему страстностью и юношеским задором.

**Лили Юрьевна Брик:**

Когда-то мы придумали игру. Все играющие назывались Фистами. Водопьяный переулок, в котором мы тогда жили, переименовали в Фистовский и стали сочинять фистовский язык. Эта игра увлекала Маяковского несколько дней. Он как одержимый выискивал слова, начинающиеся с буквы Ф или с имеющейся в них буквой Ф, и придавал им новый смысл. Они означали не то, что значили до сих пор.

Вот примеры, записанные тогда же:

Фис-гармония – собрание Фистов.
Соф-около – попутчик.
Ф-или-н – сомнительный Фист.
Ф-рак – отступник.
Фи-миам – ерунда.
Фис-пташка – ласкательное.
Га-физ – гадкая физиономия.
Ф-рукт – руководитель Фистов.

Ан-фиски – антифисты.
Тиф – тип.
Фис-тон – правила фистовского тона.
Со-фисты – соревнующиеся.
До-фин – кандидат.
Физика – учение Фистов.
Ф-ура-ж – выражение одобрения.
Фишки – деньги.
Фихте – всякий фистовский философ.

**Софья Сергеевна Шамардина:**

По дороге в Америку, через океан, – с кем-то из спутников игра: перестановка слогов в словах – кто удачнее. Играли азартно, даже когда штормило. Между приступами морской болезни. Стоя где-то возле капитанского мостика, придумал – «монский капитастик». Самому понравилось – запомнил, рассказал.

**Павел Ильич Лавут:**

Проснувшись, Маяковский спросил:

– Как спали, что снилось? Я предлагаю, если снилось что-нибудь, будем друг другу рассказывать. А если нет, будем выдумывать сон. Кто неинтересно выдумает, с того штраф.

# Озорник

**Николай Иванович Хлестов:**

Вспоминается мне одна типично буржуазная семья – мамаша Мария Петровна и пять ее дочерей. Главной заботой мамаши было, как тогда говорили, пристроить дочек, то есть выдать замуж. И мамаша приглашала к себе молодых людей, устраивала вечеринки, танцы, ужины. Мы с Володей случайно попали в этот дом. Мария Петровна считала себя знатоком живописи, в их квартире было много картин в мещанском вкусе: пастухи и пастушки с овечками и т. п. Хозяйка явно гордилась своими картинами, но сомневалась, правильно ли они развешаны. Узнав, что Маяковский художник, она обратилась к нему за советом. Володя внимательно осматривал ее картинную галерею и с видом знатока изрекал:

– Гм… да… Я вижу, вы действительно разбираетесь в живописи. Но, конечно, вы правы, не то освещение… Необходимо картины разместить в другом порядке.

– Но как, подскажите, научите, – просила польщенная Мария Петровна.

– А очень просто, – гремел своим басом Володя. – Повесьте их мазней к стенке, а холстом наружу.

Мария Петровна решила принять этот совет за шутку.

В другой раз она показала нам купленную ею уродливую статуэтку и спросила Маяковского, не заказать ли для нее стеклянный колпачок, чтобы не разбили ее. Володя взял в руки статуэтку, осмотрел ее.

– Да, это действительно вещь, – сказал он. – Где это вы только достали такую? Но ведь стеклянный колпачок тоже могут разбить и испортить статуэтку.

– Но как же быть, Владимир Владимирович? – вопрошала хозяйка.

– А очень просто, – ответил Володя, – накройте ее ведром, кастрюлей или каким-нибудь горшком – цела будет.

**Алексей Елисеевич Крученых:**

В 1912 г. я жил с Маяковским на даче под Москвой, в «Соломенной сторожке». Однажды, при поездке в трамвае в те края, случился такой казус: я и Маяковский сели на конечной остановке в пустой вагон, билетов еще не брали. Подходит кондуктор:

– Возьмите билеты.

Маяковский, смотря прямо в глаза кондуктору, очень

убедительно:

– Мы уже взяли.

Кондуктор, озадаченный, ушел на свое место. Едем. Все же, через несколько минут, придя в себя, он опять подходит к нам:

– Покажите ваши билеты.

Маяковский рассмеялся, и мы взяли билеты. Другой раз при подобном же розыгрыше я не выдержал и стал торопливо пробираться вперед (в вагоне уже были пассажиры). Маяковский мне:

Умейте властвовать собою,
Не всякий вас, как я, поймет…

**Бенедикт Константинович Лившиц:**

В вегетарианской столовой, где, как и всюду, платили по счету за уже съеденное, я пережил по милости моего приятеля несколько довольно острых минут. За обедом он с размахом настоящего амфитриона уговаривал меня брать блюдо за блюдом, но, когда наступили неизбежные четверть часа Рабле, Маяковский с каменным лицом заявил мне, что денег у него нет: он забыл их дома.

Мое замешательство доставляло ему явное наслаждение: он садически растягивал время, удерживая меня за столом, между тем как я порывался к кассе, намереваясь предложить в залог мои карманные часы. Лишь в самый последний момент, когда я решительно шагнул к дверям, он добродушно расхохотался: все было шуткой, пятерка оказалась при нем.

**Анатолий Борисович Мариенгоф:**

Существовал еще в те годы на Спиридоновке литературный салон Елизаветы Евгеньевны Синегуб. <…> Война застигла Синегуб за границей, откуда она вырвалась и приехала. На первом же литературном журфиксе хозяйка, желая придать себе значение и интересность, томно произнесла:

– А говорят, что про меня в московских газетах уже писали бог знает что!

– А что именно?

– Будто бы на меня на границе напал кавалерийский эскадрон и изнасиловал меня. Я уже собиралась писать опровержение в «Русское слово».

Маяковский с ужасающим спокойствием («А самое страшное видели: мое лицо, когда я абсолютно спокоен?») небрежно и покровительственно бросает:

– Так это ж, деточка, не вам, а эскадрону надо было писать

опровержение!

Возмущенная хозяйка становится еще длиннее, и Маяковскому не предлагается варенье к чаю.

**Нато Вачнадзе:**

Немного опоздав к началу вечера, я и Н. Шенгелая тихо вошли в переполненный зал. Наши места были в передних рядах. Мы не решились пробираться через зал во время чтения – Маяковский читал «Левый марш» – и остановились в проходе, невольно обращая на себя внимание публики, тем более что мы только что были помолвлены. Почувствовав мучительную неловкость от любопытных взглядов и перешептывания, я уже готова была уйти с вечера, как вдруг раздался могучий голос Маяковского, который только что кончил читать «Левый марш»:

– Что вы стоите, как столбы, Вачнадзе и Шенгелая? Подойдите ко мне поближе, не стесняйтесь! Вот я вас здесь и обвенчаю всенародно.

**Валентина Михайловна Ходасевич** *(1894–1970), художник, оформляла в апреле 1930 г. в Госцирке спектакль по пьесе Маяковского «Москва горит»:*

Иногда Эльза перепоручала мне функции гида и переводчика при Владимире Владимировиче. Так вот и было, когда он вспомнил, что нужно получить раньше срока заказанные им рубашки на случай, если ему все же придется внезапно покидать Париж. Эльза протелефонировала в мастерскую рубашек, и ей сказали, что месье должен немедленно приехать на примерку.

– Что за чушь? – сказал Маяковский. – Я никогда еще не был на примерке рубашек, но рубашки мне нужны, и я уже заплатил за них кучу денег. Вуалеточка, поедем!

Рубашечное учреждение помещалось в самом изысканном месте Парижа – на площади Вандом, в третьем этаже роскошного дома. Нас поднял туда лифт – ввез прямо в холл мастерской. Ноги утонули в мягчайшем ковре. Пахло изысканными духами. Нас встретили двое покачивающих бедрами молодых людей – красавцев. Они делали какие-то рыбьи улыбки и движения. Глаза были до того нагримированы, что казались сделанными из эмали, как у египетских мумий. Они провели нас через две комнаты в третью, где, как и в пройденных, были небрежно расставлены круглые столики и очень удобные кресла. Ковры, стены, обивка кресел были мягких тонов – серовато-бежевые. Каждая комната имела свой запах, и в каждой на столиках стояли эротическо-экзотические цветы. В третьей комнате один из молодых людей сказал:

– Здесь мы будем делать примерку, месье. Вот тройное зеркало, в котором месье сможет осмотреть себя со всех сторон. Мадам прошу расположиться в кресле у столика.

Около зеркала стояла сложенная ширма из китайского лака. Ее растянули, и Маяковский оказался отгороженным от меня. И все наши разговоры шли уже через эту преграду.

Отделенный от меня Маяковский проверял:

– Вуалеточка, вы еще здесь? Не оставляйте меня в руках этих идиотов!

Дальше заговорил один из красавцев:

– Может, месье соблаговолит раздеться?

Маяковский:

– Догола?

Красавец:

– Что месье говорит?

– Месье спрашивает, что нужно снять, – перевожу я.

– Ну, если месье будет так любезен… пиджак…

Маяковский (резким тоном):

– Спросите, почему он не хочет видеть меня голым? Красивое зрелище!

Я молчу. Маяковский:

– Почему вы его не спрашиваете?

Я давлюсь от хохота. Удалившийся куда-то незаметно второй красавец вдруг появляется из портьеры и на вытянутых руках изящно наманикюренными пальцами несет два прямоугольных куска светлого шелка и говорит:

– Ну вот – все к примерке подготовлено.

Маяковский еще более злым тоном говорит:

– Пусть уберут эту дурацкую ширму, идиоты, я же снял только пиджак, а в таком виде вы меня уже видели.

Слыша длинную фразу, красавцы спрашивают:

– Месье желает что-нибудь?

Я перевожу о ширме. Они ее складывают к стенке, и я вижу Маяковского. Он уже почти кричит:

– Скажите им, что месье желает визу, и бес-сроч-ную! Говорю, что я не могу переводить все изрекаемые им глупости, да и красавцы не оценят их. Я советую Маяковскому успокоиться и посмотреть, что будет дальше. А дальше… Оба красавца вертятся вокруг Маяковского – один спереди, другой сзади. На запястье одного из них на ремешке подушечка с булавками. Он скалывает на плечах Маяковского два полотнища шелка, доходящие Маяковскому до колен. Я с радостью вижу в зеркале, что у Маяковского подергиваются губы и наконец-то он улыбается. Красавцы просят поднять руки, скалывают булавками

бока будущей рубашки и подобострастно, с утомленным видом спрашивают:

– Как месье себя чувствует? Месье все удобно?

Я перевожу. Маяковский:

– Я прошу вас перевести точно: рубашка мне жмет в шагу, и нечего смеяться, переводите! Сейчас я пошлю ко всем чертям всю эту ерунду!

Я уже смеюсь до слез. Маяковский срывает рубашку прямо с булавками, бросает в руки растерянных красавцев и просит сказать, чтобы к завтрашнему утру все шесть рубашек были готовы – позднее они ему не нужны. Маяковский быстро надевает пиджак, и мы уходим.

Оказалось, что бывший муж Эльзы, Андрей Петрович Триоле, изысканный парижанин, из уважения к Маяковскому рекомендовал ему это роскошное учреждение. Уходя, Владимир Владимирович сказал:

– Вуалеточка, заключим мир, не сердитесь – ну где бы вы еще такое увидели?

**Дмитрий Семенович Бабкин** *(1900–1989), филолог:*

Пока Чуковский выступал с кафедры на сцене, Маяковский за кулисами готовился к выступлению. Он шагал из угла в угол по закулисной площадке и бормотал стихи. До нас долетали лишь отдельные строки. Он читал про себя маленький шедевр – «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче»; репетировал сцену встречи Поэта с Солнцем. Форма разговора, принятая в этом произведении, некоторое время ему не удавалась. Он несколько раз начинал обращение к Солнцу: «Слазь! довольно шляться в пекло!» Однако естественной интонации не получалось.

Увлеченный этой работой, Маяковский не заметил, что пролетел уже целый час, а между тем вступительное слово Корнея Чуковского, на которое было отведено 15–20 минут, все еще продолжалось. <…> О стихах Маяковского Чуковский как будто бы совсем забыл. Частично почему-то упомянул о своих стихотворных опытах, сказал о том, как он писал свою сказку о мухе-цокотухе. Одна дамочка крикнула из зала:

– Почитайте «Муху-Цокотуху»!

Маяковский продолжал репетировать диалог Поэта с Солнцем. Душа поэта была занята беседой с небесным светилом на высокую тему.

Солнце говорило:

«Ты да я,

нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты – свое,
стихами».

И вот в этот момент Маяковский уловил из зрительного зала слова Корнея Чуковского о прозаической мухе-цокотухе.

Маяковский помрачнел. Передал через нас записку докладчику: «Корней, закругляйся».

Чуковский, не читая, отложил ее в сторону и продолжал рассказ о мухе-цокотухе.

Маяковский, потеряв терпение, вышел па сцену и, подойдя к кафедре, на которой стоял Чуковский, рявкнул:

– Слазь! Довольно болтать! – Он поднажал плечом на кафедру, и Чуковский, смущенно скрестив руки на груди, поехал за кулисы.

Эффект получился комический. В зале раздался смех. Этим бы, вероятно, дело кончилось, если бы некоторая группа женщин не вступилась за Чуковского.

Среди публики, которой так восхищался Маяковский, имелась значительная прослойка чадолюбивых мамаш и бабушек. Они воспитывали своих детей на сказках Корнея Ивановича. Чуковский развлекал своими сказками не только детей, но и взрослых. Поклонницы его таланта, прочитав в афишах его фамилию, явились в Капеллу поприветствовать его. Сейчас они неистово кричали:

– Чуковского! Чуковского!

Маяковский иронически улыбнулся, пожал плечами и ушел со сцены.

Корней Иванович стоял в углу, схватившись за голову, и стонал:

– Что мне делать?

– Слышишь, Корней, тебя зовут, – сказал Маяковский. – Меня не хотят. Иди.

Корней Иванович начал было отказываться, отмахивался. Владимир Владимирович посадил его на ту же самую кафедру и покатил обратно на сцену. Чуковский, продолжая исполнять роль смиренного мученика, состроил жалкую мину. Эффект получился еще более комический. Зал грохнул от смеха.

Смеялись даже те чадолюбивые мамаши, которые первоначально заступались за своего сказочника.

**Василий Абгарович Катанян:**

В 1929 году на Тверском бульваре был книжный базар. По обеим сторонам аллеи стояли киоски. В воскресенье – объявлено – в киосках будут торговать писатели. В воскресенье на бульваре «вавилоненье столпотворенское». Толпа в затылок друг другу, как в фойе театра.

Погуляв, Маяковский идет «торговать».

Вокруг киоска сразу непроходимая пробка. На киоске появляется надпись: «Здесь торгует В. Маяковский».

Маяковский шутит, зазывая покупателей. Торговля идет бойко. Продавая свои книги, Маяковский надписывает их, рисует собачек, восход солнца в горах, девушкам – сердце, пронзенное стрелой. Каждому лестно. Отпуская первый том своего собрания сочинений, он предупреждает, что должен сделать в нем одну поправку.

– Здесь на портрете я молодой и бритый. Теперь я с волосами, я вам их здесь пририсую…

Все книги Маяковского распроданы. Один молодой человек, протискавшись сквозь толпу, спрашивает «Историю западной литературы» Когана. Кругом засмеялись. Надо было знать отношение Маяковского к Когану… Но делать нечего – торговать так торговать.

– Есть у нас Коган? – спрашивает Маяковский продавца.

Тот достает с полки «Историю», а Маяковский, сдувая пыль, вежливо осведомляется:

– Вы не раздумали? Нет? Надпись сделать?

– Пожалуйста…

Маяковский вынимает стило и надписывает:

Смущенно
и растроганно
всучил
безумцу
Когана.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Все книжки он продает со своими автографами. На книжке Диккенса он зачеркивает «Чарльз Диккенс» и надписывает «Владимир Маяковский».

– Ведь так вам приятней? – спрашивает он, нарочито театральным жестом подавая ее покупателю.

**Наталья Федоровна Рябова:**

Положив незаметно для меня маленькую круглую конфетку в носик чайника, Владимир Владимирович попросил меня налить ему чаю. Конфетка звонко шлепнулась в стакан, как только я наклонила над ним чайник. Испугавшись, я чуть не выронила из рук и то и другое.

# Хорошее отношение к лошадям

**Людмила Владимировна Маяковская:**

Детство Володи протекало в трудовой деревенской обстановке. Жили в лесничестве, в окружении грандиозной и разнообразной природы.

Дом всегда был полон птиц и животных: лошадь, множество собак, кошек. Объездчики, зная нашу любовь к зверям, приносили маленьких живых лис, белок, медвежат, джейранов (диких коз). Звери – любимые друзья Володи. <…>

Он любил крабов, которые расползались по всей квартире. <…>

С семи лет отец брал Володю с собой в объезд лесничества на лошади. Этого Володя ждал всегда с нетерпением.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Обычно с утра к дому подъезжали объездчики. Володя бежал им навстречу, они сажали его на лошадь, и он въезжал во двор.

Имриз часто доставлял ему это удовольствие: брал за уздечку лошадь, на которой сидел шестилетний Володя, и водил ее по двору, и таким образом выучил его ездить верхом на лошади. <…>

В окне комнаты (в Кутаисе. – *Сост.*), где занимался Володя, висела клетка с канарейкой. Володя с грустью посматривал на нее, так как до этого видел только свободно летающих птиц, поющих в лесу.

**Василий Васильевич Каменский:**

(В 1914 г. – Сост.) Маяковский <…> решил взяться за кино:

– Сам напишу сценарий, сам стану играть и приглашу сыграть вас за компанию. И вообще пора взяться нам за кино. Довольно ставить цыганские романсы «Пожалей же меня, дорогая», а просто «Мы», и никаких каминов с банкирами. Например: «Мы – в зверинце». Чорт возьми, что тут можно навернуть! Едем в зверинец и там устроим заседание со зверюгами.

И через полчаса мы уже фантазировали на весь зверинец:

– Мы и медведи! Мы и львы! Мы и носороги!

– Ну, ничего же не может быть более изумительного, чем зверюги, – ласково говорил Маяковский, угощая зверей и птиц разными лакомствами, – вот смотрите – кенгуру! Да ведь это же Витя Хлебников! Вот слон! Ведь это Бурлюк! Вот розовый пеликан! Ведь это же Вася Каменский, авиатор, рыбак! Вот вам

жирафа! Да ведь это я!

И мы, взветренные задорной молодостью, переходили от клетки к клетке, от зверя к попугаю, от одного человекоподобного к другому.

**Лев Федорович Жегин:**

В связи со стихом:

> В небе жирафий рисунок готов
> выпестрить ржавые чубы, –

я вспоминаю, что Маяковский испещрял в ту пору изображениями жирафов любой кусок бумаги, случайно попадавший ему под руку, или даже целые альбомы для рисования.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Особенно часто и хорошо рисовал лошадок, у которых пар валил из ноздрей.

**Василий Васильевич Каменский:**

– Вот идет ослик, сонно бредет ослик сам по себе, – ласково говорил Маяковский, нежно любивший животных, – прежде я бы обязательно угостил его хлебцем и сел на него и проехался, а теперь, если сяду, не видать будет ослика, и ноги мои по земле потащатся.

**Лили Юрьевна Брик:**

Маяковский научил меня любить животных. Он говорил, что любит их за то, что они не люди, а все-таки живые.

В нашей совместной жизни постоянной темой разговора были животные. Когда я приходила откуда-нибудь домой, Владимир Владимирович часто спрашивал, не видела ли я «каких-нибудь интересных собаков и кошков». В письмах ко мне он много писал о животных, а на картинках, которые рисовал во множестве, изображал себя щенком, а меня кошкой, скорописью или в виде иллюстраций к описываемому. <…>

Было это в 1919 году.

…Мы шли вдоль дачных заборов, внюхивались в сирень. Маяковский шагал посреди улицы и выразительно бормотал – сочинял стихи, на ходу отбивая ритм рукой.

Вдруг под ногами пискнуло. Мы круто затормозили, чуть не наступив на что-то живое. Нагнулись посмотреть – грязный комочек тычется носом нам в ноги и пищит, пищит…

– Володя!

В задумчивости обогнавший нас Маяковский в два гигантских шага оказался рядом, взглянул через забор и окликнул играющих ребят:

– Это чей щенок?

– Ничей!..

Владимир Владимирович брезгливо взял грязного щенка на руки, и мы, как по команде, повернули к дому.

Щенок был такой грязный, что Владимир Владимирович нес его на далеко вытянутой вперед руке, чтоб не перескочили блохи.

Щенок перестал пищать и в большой удобной ладони развалился, как в кресле. Маяковский старался издали рассмотреть его породу и статьи и установил, что порода – безусловно грязная!

Дома, в саду, только что поставили самовар. Вода уже чуть согрелась. Владимир Владимирович потрогал – в самый раз!

Посадили щенка в тазик и стали мыть. Раза три мылили, извели всю воду. Щенок сидел тихо, видно, мылся с удовольствием. Вытерли почти насухо, и Осип Максимович сел с ним на скамейку, на самое солнышко – досушивать, чтоб не простудился.

Я принесла теплого молока, накрошила в него хлеб. Поставили миску на траву и ткнули щенка носом. Щенок немедленно зачавкал и неожиданно быстро все съел. Налили еще полную мисочку – опять съел. Еще налили – осталось совсем чуть, на самом донышке.

Тогда, в 20-м году, с едой было трудно. Молоко в редкость, хлеба мало. Оказалось, что щенок съел весь наш ужин. Наелся до отвала. Живот стал толстый и тяжелый, совсем круглый. Песик терял равновесие и валился набок.

Опять задумались над породой и постановили, что теперь порода – ослепительно чистая и сытая.

Маяковский назвал собачку «Щен».

В этот день купанье наше не состоялось. Зато все следующие дни, до конца лета, мы ходили купаться вчетвером.

Красивая речонка Уча. Извилистая, быстрая. Берега тенистые, а на воде солнце. Тихо.

Щен лаял с берега звонким голоском на плавающего Владимира Владимировича. Он подбегал к самой воде, попадал передними лапками в воду и пятился, не переставая лаять.

Владимир Владимирович звал его купаться, свистел, называл всеми уменьшительными именами:

– Щеник!

– Щененок!!

– Щененочек!!!

– Щенятка!!!!

– Щенка!!!!!

Казалось, что уговорить его невозможно.

Щен бросался к воде, но как только лапы попадали на мокрое, он обращался в паническое бегство. Если я в это время оказывалась на берегу, он бежал ко мне и выразительно обо всем рассказывал.

– Ничего, Щен, ничего! – кричал из воды Владимир Владимирович. – Сам видишь, что никакого тебе сочувствия! Иди лучше ко мне и давай плавать, как мужчина с мужчиной!

Такой силы был ораторский талант Маяковского, что Щен вдруг ринулся в пучину и поплыл!

Невозможно описать щенячий восторг Маяковского! Он закричал:

– Смотрите! Все смотрите! Лучше меня плавает! Рядом с ним я просто щенок! <…>

Как-то проходили мы мимо дачи, где под забором нашли Щеника, и ребята рассказали нам его родословную. Мать – чистопородный сеттер, отец – неизвестен. Щеник рос в виде сеттера.

Шерсть у него была шелковая, изумительно рыжая (чему Маяковский не переставал радоваться). У него были чудесные длинные кудрявые уши и хвост какой надо. Только нос темный и рост раза в полтора больше сеттерячьей нормы.

– Тем лучше, – говорил Маяковский. – Мы с ним крупные человеческие экземпляры.

Они были очень похожи друг на друга. Оба – большелапые, большеголовые. Оба носились, задрав хвост. Оба скулили жалобно, когда просили о чем-нибудь, и не отставали до тех пор, пока не добьются своего. Иногда лаяли на первого встречного просто так, для красного словца.

Мы стали звать Владимира Владимировича Щеном. Стало два Щена – Щен большой и Щен маленький.

С тех пор Владимир Владимирович в письмах и даже телеграммах к нам всегда подписывался – Щен.

Позднее вместо подписи рисовал себя в виде щенка – иногда скорописью, иногда в виде иллюстрации к письму.

В то лето мы жили на даче долго – до первых чисел сентября. <…>

В Москве от вокзала ехали на извозчике. Владимир Владимирович показывал Щенке Москву.

Он, как экскурсовод, отчетливо выговаривал:

– Это, товарищ, Казанский вокзал. Выстроен еще при буржуях. Замечателен своим архитектурным безобразием. Отвернись! А то испортишь себе вкус, воспитанный на стихах Маяковского!

Щен судорожно взглядывал на Владимира Владимировича и так же судорожно отворачивал голову в противоположную вокзалу сторону.

– А это – улица Мясницкая. Здесь живет наш друг Лева. Настоящий человек, вроде нас с тобой, а архитектура у него красивая!

– Это – Красная площадь. Изумительнейшее место на всем земном шаре!! <…>

Щеник был замечательный парень! Веселый, ласковый, умный и чуткий. Настоящий товарищ.

Когда кому-нибудь из нас бывало грустно, он чувствовал это и старался утешить, как мог.

Если Владимир Владимирович в задумчивости закрывал лицо ладонью, Щеник становился на задние лапы, а носом и передними лапами пытался отвести руку и норовил лизнуть в лицо.

Голодной зимой Маяковский пешком ходил из Полуэктова на Сретенский бульвар на работу. <…>

До мясной лавки на углу Остоженки Щен провожал Владимира Владимировича.

Они вместе заходили в мясную и покупали Щенке фунт конины, которая съедалась тут же на улице, около лавки. Это была его дневная порция, больше он почти ничего не получал – не было. Проглатывал он ее молниеносно и, повиляв хвостом, возвращался домой.

Маяковский, помахав шапкой, шел в свою сторону.

В ту зиму всем нам пришлось уехать недели на две, и Владимир Владимирович отвез на это время Щенку к знакомым.

В первый же день, как вернулись, поехали за ним.

Мы позвонили у двери, но Щен не ответил на звонок обычным приветственным лаем…

Нас впустили – Щен не вылетел встречать нас в переднюю…

Владимир Владимирович, не раздеваясь, шагнул в столовую.

На диване, налево, сидела тень Щена. Голова его была повернута в нашу сторону. Ребра наружу. Глаза горят голодным блеском. Так представляют себе бродячих собак на узких кривых улицах в Старом Константинополе.

Никогда не забуду лицо Владимира Владимировича, когда он

увидел такого Щена. Он кинулся, прижал его к себе, стал бормотать нежные слова.

И Щеник прижался к нему и дрожал.

Опять ехали на извозчике, и Владимир Владимирович говорил:

– Нельзя своих собаков отдавать в чужие нелюбящие руки. Никогда не отдавайте меня в чужие руки. Не отдадите?

**Маяковский Владимир Владимирович.** *Из письма Л. Ю. Брик, 20 октября 1921 г.:*

Самое интересное событие это то, что 6 ноября открывается в зоологическом саду собачьевая выставка. Переселюсь туда.

**Маяковский Владимир Владимирович.** *Из письма Л. Ю. Брик, 15 января 1924 г.:*

В Харькове заходил к Карелиным жизнь сверхъестественной тусклости но за то у них серая кошка подает лапку. Я глажу всех встречнывых собаков и кошков. В Киеве в гостинице есть большая рыжая с белыми крапинками.

**Наталья Федоровна Рябова:**

В парке было много ободранных бродячих собак, и Владимир Владимирович с каждой из них пытался разговаривать, но все они поджимали хвосты и быстро убегали от нас.

**Нато Вачнадзе:**

На даче была собака – английский бульдог. Маяковский стал с нею играть, дразнил ее, клал руку ей в пасть. Его предупредили, что бульдоги отличаются мертвой хваткой.

– Вот этого мне и надо, – нервно ответил Маяковский.

**Мария Мейерова:**

Кот у нас был удивительный: он держался независимо, и никому не удавалось заманить его на колени. А у Маяковского он не только не соскочил с колен, не поцарапал его, но еще и замурлыкал.

**Алексей Елисеевич Крученых:**

Говоря о своей собаке, даже в повседневности, Маяковский и то впадал в лиризм.

– Какая собака! До чего приятная собака. Самая первая на свете собака!

Булька – французский бульдог, собачья дама – вывела в ласке глаза из орбит. Маяковский смотрит на нее хмуро и нежно

и мажет у Бульки мокрый нос.

– Очень интересный бульдог, необычайно интересный бульдог будет Булькиным мужем. Забеременеет собака, вне сомнения, забеременеет собачка. Не лезь, Булечка, нельзя меня раздражать. Мужчины стали очень нервные – и т. д.

**Петр Васильевич Незнамов:**

Когда Маяковский приехал в Москву, он раза четыре приходил и ночевал в Гендриковом, приходил он поздно. Если я уже лег или читал в постели, Булька устраивалась у меня в ногах. Заслышав шаги Владимира Владимировича по лестнице, она срывалась с тахты и бежала его встречать. Она повизгивала. Собака была ласковости необыкновенной. Маяковский ее очень любил, брал на руки, называл «куриными косточками» (она их предпочитала всякой другой еде). Потом шел спать. Булька «продавала» меня и устраивалась в ногах уже у него.

**Виктор Андроникович Мануйлов:**

Мне запомнилось, что у него на плече была ручная лисица, которую в перерыве он кормил у стойки буфета. Уже после войны разъяснилась ошибка моей памяти. Это была не лисица, а ручная белка, и угощал ее Владимир Владимирович каким-то ореховым печеньем или пирожным, которое тогда было большим лакомством. Никакой лисицы у него никогда не было. А с белочкой Маяковский действительно очень дружил.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

На пыльной площади вокзала стояли два запряженных верблюда, Маяковский принес им какую-то еду из вокзального ресторана и кормил их.

**Валентин Петрович Катаев:**

– Чего бы вы хотели больше всего на свете?

– Иметь карликового бегемотика, ручного, чтобы он сидел под столом, как собака.

– А есть такие?

– Своими глазами видел в Америке. Стоят шесть тысяч долларов штука.

# Жилище

## *Родительский дом в Багдади, Грузия*

**Александр Вильямович Февральский:**

Это обыкновенный имеретинский дощатый сельский дом. (Такие дома здесь называются «ода».) Он стоит на кирпичных сваях, так как расположен на откосе горы. С открытой галереи, выходящей в сад и обращенной к реке, две двери ведут в комнаты. Справа был кабинет отца поэта – лесничего Владимира Константиновича, а за кабинетом – комната матери Александры Алексеевны и младших детей. В этой комнате и родился Владимир Владимирович. Слева была столовая, вернее, общая комната, где жили бабушка, мать Александры Алексеевны, и старшая сестра поэта – Людмила Владимировна.

Мебель и вещи в комнатах отца и матери выглядят так же, как при Маяковских. В кабинете справа от входа – тахта, дальше у окна – письменный стол, на нем книги девяностых годов прошлого столетия, в глубине – низкий шкаф с фотоаппаратом, образцами древесных пород и другими вещами. У входа слева висит бурка, – в такой бурке Владимир Константинович совершал объезды по лесничеству. В комнате матери – слева от двери (около печи, обогревавшей все три комнаты) рукомойник, справа – сундук, дальше у окна столик; в глубине прямо против двери – кровать, а перед ней – деревянная колыбель, такая же, как та, в которой мать качала маленького Володю. Стулья с плетеными сиденьями.

## *В Москве на Бронной*

**Христофор Николаевич Ставраков** *(1888–?), педагог, заслуженный учитель школы РСФСР, знакомый семьи Маяковских:*

В Москве Маяковские жили в трудных условиях. Александра Алексеевна получала небольшую пенсию. Людмила Владимировна после смерти отца, как старшая, заботилась об устройстве жизни сестры и брата. Она училась и работала, весь свой заработок отдавала в дом и о личной жизни забывала. И все-таки средств не хватало. Приходилось часть нанимаемой квартиры сдавать студентам.

**Николай Иванович Хлестов:**

Маяковские жили небогато, но никогда не голодали и умели находить выход из затруднительных положений. Обстановка в квартире была скромная, всегда чисто, убрано. Прислуги, как тогда называли домашних работниц, у них, конечно, не было. Все делали сами, главным образом Александра Алексеевна, остальные помогали по мере возможности.

Они много читали, особенно Володя, интересовались музыкой, живописью, скульптурой, литературой. Все новое, прогрессивное, передовое всегда вызывало у них большой интерес и находило живой отклик.

Дружба, внимательное, чуткое отношение друг к другу, царившие в семье Маяковских, благотворно влияли на всех жильцов. Все мы жили дружно.

<…> Первое, что мне бросилось в глаза, – книги. Книгами была набита полка над кроватью, стопками лежали они на столе, на подоконниках. В комнате два окна с простенькими белыми занавесками. Между окон стол с ящиками, несколько стульев, две железные простые койки, вешалка. Ничего лишнего, но все необходимое было. В комнате чисто, светло.

## *В Москве, в съемных квартирах*

**Сергей Дмитриевич Спасский:**

Он жил в довольно просторной комнате, обставленной безразлично и просто. Комната имела вид временного пристанища, как и большинство жилищ Маяковского. Необходимая аккуратная мебель, безотносительная к хозяину. Диван, в простенке между окнами – письменный стол. Ни книг, ни разложенных рукописей – этих признаков оседлого писательства.

## *В Петрограде, на ул. Жуковского, д. 7. Квартиры Маяковского и Бриков*

**Лили Юрьевна Брик:**

Осенью <…> Маяковский снял на улице Жуковского маленькую квартиру на одной лестнице с нами. Ванна за недостатком места – в коридоре. В спальне – тахта и большое зеркало в розовой бархатной раме, одолженное у знакомых.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Квартира (Бриков. – Сост.) совсем маленькая. Прямо

из прихожей коридор, слева от коридора две комнаты, а спальня выходит в переднюю. Квартира небогатая, но в спальне кровати со стеганными одеялами, в первой комнате – тоже не из коридора, а из передней – уже описанный рояль, стены увешаны сюзане, и большая картина-масло под стеклом, работы Бориса Григорьева, – хозяйка дома лежит в платье.

Плохая картина. Лиля ее потом продала.

Потом узенькая столовая. Здесь читал Маяковский стихи.

**Сергей Дмитриевич Спасский:**

Две маленькие нарядные комнатки. Быстрый, худенький Осип Максимович. Лиля Юрьевна, улыбающаяся огромными золотистыми глазами. Здесь было все просто и уютно. Так показалось мне, может, оттого, что и сам Маяковский становился тут домашним и мягким. Здесь он выглядел словно в отпуску от военных и поэтических обязательств. С трудом поворачиваясь среди тесно поставленной мебели, он устраивался на диване или в креслах. Его голос глухо журчал, невпопад внедряясь в беседу. Он пошучивал свойственным ему образом, громоздко, но неожиданно и смешно. Подсаживался к широкому бумажному листу, растянутому на стене, испещренному остротами, замечаниями и рисунками посетителей, и вносил в эту первую, вероятно, в природе «стенгазету» очередной каламбур. Здесь он обычно обедал. Здесь было его первое издательство.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Книжка Маяковского («Облако в штанах». – Сост.) уже была издана. Лиля переплела ее в елизаветинскую лиловую парчу. Ося устроил на стенке полочку из некрашеного дерева, и на полочке стояли все книги футуристов.

А на стене повесили рулон бумаги, и на ней все писали, что хотели.

Бурлюк рисовал какие-то пирамиды, я рисовал лошадок, похожих на соски.

**Лили Юрьевна Брик:**

В этой квартире мы завели огромный лист, во всю стену (рулон), и каждый писал на нем, что в голову придет. Маяковский про Кушнера: «Бегемот в реку шнырял, обалдев от Кушныря». Бурлюк рисовал небоскребы и трехгрудых женщин, Каменский вырезал и наклеивал райских птиц из разноцветной бумаги, Шкловский писал афоризмы: «Раздражение на человечество на-кап-кап-ливается по капле». Я рисовала животных с выменем и подписью: «Что в вымени тебе моем!»

## *1919–1930. Москва, комната в квартире в Лубянском проезде, дом 3*

**Эльза Триоле:**

Подъезд во дворе огромного хмурого дома; комната в коммунальной квартире, дверь прямо из передней. Одно окно, письменный стол, свет с левой стороны. Клеенчатый диван. Тепло, глухо, не очень светло, отчего-то пахнет бакалейной лавкой. Спать на клеенке было холодновато, скользила простыня.

**Василий Абгарович Катанян:**

В комнате на Лубянском проезде, которую в 1919 году ему сосватал Роман Якобсон (он жил этажом ниже), сначала были <…> чужие вещи. Большой стол у окна. Свет падал слева. Напротив – дубовый зеленоватый шкаф модерн.

На столе – телефон, перенесенный от медвежьего Бальшина.

**Роман Осипович Якобсон** *(1896–1982), лингвист, литературовед. Организатор кружка ОПОЯЗ. С 1921 г. в эмиграции. Был в дружеских отношениях с В. Маяковским и Л. Брик:*

Бальшин спекулировал на черном рынке, и у него был телефон. Он заплатил довольно большие деньги, чтобы телефон можно было переносить. И он страшно сердился на Маяковского: «Вот он со своей Лиличкой по телефону говорит-говорит, говорит, потом уйдет, дверь запрет за собой, а телефон остался. Я слышу, мне звонят, а подойти не могу». Бальшин тогда опять нанял рабочего, который прикрепил телефон к стене, так что Маяковский не мог его забрать. Маяковский ночью вернулся, пошел взять телефон, рванул его – телефон не поддается, он сильнее рванул – не поддается. Тогда он его вытащил с куском стены и понес к себе.

**Людмила Семеновна Татарийская:**

С 1923 года я проживаю в квартире, где жил и работал поэт В. В. Маяковский (Лубянский проезд, дом 3).

Квартира наша большая, около ста семидесяти квадратных метров. Как войдешь в переднюю, сразу налево комната Маяковского. Рядом с нею комната моих родителей, с которыми я жила. Из передней вход в длинный коридор, и там еще четыре комнаты, ванная и кухня.

Когда Владимир Владимирович бывал дома, наша тихая квартира оживлялась. Раскрывались двери из его комнаты, звонил беспрерывно телефон, раздавался громкий голос поэта. К нему приходили писатели, журналисты, велись оживленные

беседы, споры.

Поэт занимал самую маленькую комнату в двенадцать-тринадцать квадратных метров. При входе в комнату сразу же налево камин, направо большая тахта, у окна, напротив двери, бюро, справа на стене портрет Владимира Ильича Ленина, налево книжный шкаф, небольшой стол и чемодан-сундук. Несмотря на строгую мебель, комната казалась уютной, особенно, когда ее ярко заливало солнце.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Жил поэт в домах Стахеева, комната его мало менялась. Последние годы сделал диван, стол поставил себе американский, американские шкафы и на камине – верблюда.

***Москва. Квартира Маяковского и Бриков в Гендриковом переулке***

**Виктор Борисович Шкловский:**

Переехали на Гендриков переулок.

Он за Таганской площадью, совсем коротенький, с низенькими домами.

Дома такие низкие, что небо, не как в городе, доходит до земли.

Дом двухэтажный, деревянный. Квартира занимает правую половину второго этажа.

Дом ветхий. Его не сразу разрешили ремонтировать.

В квартире четыре комнаты, маленькие.

Три каюты и одна кают-компания – столовая.

В столовой два окна, завешенных соломенными шторами.

**Лили Юрьевна Брик:**

Тогда это были – столовая и три одинаковые комнаты-каюты. Только в моей был поменьше письменный стол и побольше платяной шкаф, а в комнате Осипа Максимовича находились все, такие нужные и Маяковскому, книги. Ванна, которой мы так долго были лишены и которую теперь горячо любили. Удивительно, что Владимир Владимирович помещался в ней, так она была мала. «Своя кухня», крошечная, но полная жизни. Лестница <…> на холодной площадке, на которую выходила дверь из соседней квартиры и стояли два грубо сколоченных, запертых висячими замками шкафа. В них были книги, не умещавшиеся в квартире. <…> Было несколько деревьев и дровяные сараи для всех жильцов. <…>

Стол и стулья для столовой купили в «Мосдреве», а шкафы пришлось заказать – те, что продавались, были велики. Рояль, чудесный кабинетный Стенвей, продали – не помещался. <…> Принцип оформления квартиры был тот же, что когда-то при первом издании «Облака», – ничего лишнего. Никаких красот – красного дерева, картин, украшений. Голые стены. Только над тахтами Владимира Владимировича и Осипа Максимовича – сарапи, привезенные из Мексики, а над моей – старинный коврик, вышитый шерстью и бисером, на охотничьи сюжеты, подаренный мне «для смеха» футуристом Маяковским еще в 1916 году. На полях цветастые украинские ковры, да в комнате Владимира Владимировича – две мои фотографии, которые я подарила ему на рождение в Петрограде в год нашего знакомства.

**Виктор Борисович Шкловский:**

За столовой комната Маяковского. Стол, на котором почти ничего нет, оттоманка, над ней полосатый, яркий шерстяной мексиканский платок и рядом шкаф для платья, сделанный по размеру оставшегося места.

**Галина Дмитриевна Катанян:**

В четырех очень чистых и светлых комнатках: Лилиной, Володиной, Осиной, в одной общей – столовой, в тесных передней, кухоньке и ванной не было ни одной лишней вещи. Все, как на военном корабле, было приспособлено так, чтобы занимать как можно меньше места. Даже в стоящем в простенке между двумя окнами буфетике с застекленным верхом чашки не стояли, а висели на крючках по стенкам буфета.

**Лили Юрьевна Брик:**

В Гендриковом переулке было хорошо, но очень тесно. Книги не помещались и стояли запертые на висячий замок в шкафу на площадке общей входной лестницы. Зимой, для того чтобы взять книгу, приходилось надевать шубу. Маяковский мечтал о большой площади и пытался получить ее через жилищно-строительный кооператив. 4 апреля 1930 года он внес пай за себя и за О. М. Брика.

**Софья Сергеевна Шамардина:**

Квартира в Гендриковом переулке отражала бытовую скромность и непритязательность ее обитателей. Вещи самые необходимые и простые. <…> Простота квартиры Бриков подчеркивала большое советское благородство и Маяковского,

и самых близких ему людей – Лили и Оси. <…>

На входных дверях медная дощечка – такая знакомая, привычная:

БРИК
МАЯКОВСКИЙ

**Василий Васильевич Катанян:**

Народу всегда бывало много. Все трое притягивали к себе людей, это был «литературный салон» – выражаясь языком прошлого или настоящего. Но в двадцатые годы, в борьбе за новый быт и новые отношения, слово «салон» презирали, и это был просто «дом Бриков и Маяковского», где собирался литературно-артистический люд, проходили заседания «Нового ЛЕФа», где поэты читали только что написанные стихи и где хозяйкой салона (хотя очень уж не подходит это слово для тесно набитой комнатушки) была ЛЮ. Сегодня здесь можно было видеть Синклера, завтра – актеров театра Кабуки, на послезавтра договаривались с Павлом Марковым, с Родченко и Степановой или с Луначарским и Розенель.

# Сын

**Николай Иванович Хлестов:**

Оля и Володя всегда называли Александру Алексеевну «мамочкой». Володя очень любил свою мать. Часто вечером Александра Алексеевна садилась отдохнуть в старенькое кресло, Володя устраивался у ее ног на скамеечке, и так подолгу сидели они, о чем-то тихо беседуя.

**Иван Богданович Карахан** *(1883–1956), адвокат. В 1906–1908 гг. учился в Московском университете и вел работу пропагандиста-подпольщика в ряде районов Москвы:*

Нетерпимый, резкий к своим противникам, Володя был нежен в кругу семьи. К матери своей он питал особо нежные чувства. Бывало, Александра Алексеевна занимается по хозяйству, вдруг раскрывается дверь, врывается Володя: «А где моя маленькая мамочка?» – шагает, ищет ее по комнатам, такой большой, сильный.

**Сергей Сергеевич Медведев:**

Уход Володи из гимназии был для семьи большим огорчением. Мать, естественно, беспокоилась за судьбу сына. Володя вел себя по отношению к ней очень прямолинейно и в решении своем был непреклонен, но и он, в свою очередь, думал о семье и о матери: мысль о том, что, бросая гимназию, он, будущая опора матери, ставит под угрозу ее благополучие, не раз проскальзывала в наших разговорах с ним и, несомненно, его беспокоила.

**Ольга Павловна Беюл** *(1901–1985), актриса:*

Обаятельная <…> Александра Алексеевна своим тихим голосом рассказывала о «Володичке».

– Придет усталый, бледный, вижу, расстроенный чем-то, сядет на пол возле меня, положит голову мне на колени, скажет: «Поласкайте меня, мамочка!» Ну, я начинаю перебирать и гладить его волосы, а он закроет глаза и вздохнет: «Ох, как хорошо!» <…>

Рассказывала, как он принес ей ярко-желтый материал с черными полосами и просил: «Мамочка, пожалуйста, сшейте мне желтую кофту», – и подробно рассказал какую – широкую, без пояса. Я говорю:

– Володичка, милый, неужто ты такую кофту наденешь на люди и будешь в ней ходить? А он отвечает: «Обязательно

буду, мамочка, вы только сшейте». Ну, я и сшила.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Володя много ездил по городам России, выступал с чтением своих стихов и делал доклады на литературных вечерах. Особенно много выступал он в Москве, но я на этих вечерах не бывала. На них бывали его сестры.

Володя говорил:

– Мамочка, я не хочу, чтобы вы бывали на вечерах, где меня ругают и нападают на меня. Вам будет неприятно, и вы будете волноваться.

**Николай Николаевич Асеев:**

Маяковский не был семейным человеком, как это понимается большинством. Он был общественным человеком, без всякого усилия казаться им в чьих-либо глазах. Родней ему были те, кого он считал людьми, стоящими этого наименования. Поэтому и родня им была признаваема в той же мере. К матери он относился с нежной почтительностью, выражавшейся не в объятиях и поцелуях, а в кратких допросах о здоровье, о пище, лекарствах и других житейских необходимостях. Но в этих вопросах, в их интонации была не наигранная забота о здоровье, нуждах, потребностях.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

С огромной нежностью и любовью Владимир Владимирович отзывался о матери.

Рассказывал о том, как она его терпеливо ждет и часто готовит любимые его кушанья, надеясь на его приход.

Ругал себя за то, что так редко бывает у матери.

Матери своей Владимир Владимирович давал в известные сроки деньги и очень тревожился, если задерживал на день, на два эти платежи. Часто я видела в его записной книжке записи:

«Обязательно маме деньги».

Или просто – «Мама».

**Александра Алексеевна Маяковская:**

В «Окнах РОСТА» Володя работал усиленно, и все мы ему помогали: сестры делали трафареты, размножали рисунки, я растирала краски.

Однажды я неожиданно зашла к нему на Лубянку. Он работал, торопился. Я хотела уйти, чтобы не мешать ему. Он меня ласково принял, угощал чаем со сладостями, разговаривал, но работы не прекращал.

Когда Володя приходил нас навещать, он говорил мне:

– Мамочка, я вам принес немножко денежек.

**Людмила Владимировна Маяковская:**

Володя, как и мы, любил Пресненский район и часто бывал у нас. И когда приходил, войдет и сразу проходит в ванную. Сначала мыл руки в ванной, а затем здоровался, целовался с нами, спрашивал, что нового.

Мама суетилась, чтобы чаем его напоить, приготовляла вкусные печенья, которые он любил. Угощала любимым вареньем.

Он всегда предупреждал о приходе, звонил по телефону или сообщал через Олю. Оля чаще всех виделась с ним. И он скажет ей:

– В четверг или в среду я приду, скажи маме… Если прийти не сможет, то обязательно потом извинится.

Как-то мы сидели за столом. Мама села рядом с Володей и угощала его. Он повернулся к ней, гладил маму своими большими руками и говорил:

– Мамочка, а что будет, если я вам дачу построю? – Не нужно. Зачем мне дача? – ответила мама.

– Ну, если маленькую. Ведь хорошо будет!

Мама опять:

– Не нужно мне дачи.

Тогда он сказал:

– Ну, автомобиль куплю.

– И автомобиль мне не нужно. Куда мне ездить?

Придумывал еще и предлагал маме, что он ей купит, а маме ничего не нужно было.

**Николай Николаевич Асеев:**

Мать была сдержанна в выражениях своих чувств так же, как и сам Маяковский. Я был у них два или три раза, буквально упрошенный Владимиром Владимировичем сопровождать его на Пресню. Помню очень маленькие комнатки, помню диван, на котором не умещался Маяковский, кошку, которую он гладил большой рукой, прикрывая ее всю, редкие вопросы, прерываемые длинными паузами. Наконец Маяковский поднимался, говорил: «Ну, нам пора», вкладывая в это «нам» как бы общую необходимость сняться с места. Он обнимал мать, что-то говорил наедине с нею, уходя в соседнюю комнату; и после, выйдя на улицу, повеселевшим голосом крича: «Пошли хвостать!», мчался к остановке трамвая. «Хвостать» – на его языке означало – двигаться, работать, энергично действовать.

**Вера Николаевна Агачева-Нанейшвили:**

В 1925 году я снова побывала в Москве у тети Саши (А. А. Маяковской. – Сост.) и опять виделась с Володей. Это было до его поездки в Америку. Мы с Олей навестили брата в его рабочей комнате в Лубянском проезде. Он усадил нас за небольшой столик, предложил чаю, угощал вареньем, нежно приговаривая:

– Это розовое варенье моя мамочка мне сварила.

**Людмила Владимировна Маяковская:**

Маме он привез (Из поездки в Америку. – Сост.) машинку для вдевания нитки в иголку. У нас была знакомая, которая с удивлением говорила об этом:

– Как! Молодой человек, который поехал в Америку, где столько интересного, где у него было столько дел: он должен читать стихи, писать что-то, – и вдруг он вспомнил, что у мамы глаза плохо видят и ей нужна машинка вдевать нитку в иголку. И он ей привез!

**Павел Ильич Лавут:**

Мать и сестры Владимира Владимировича несколько раз были на выставке. Как-то днем Александра Алексеевна (мать поэта) с Людмилой Владимировной осматривали выставку. Маяковский был трогательно внимателен к ним, водил по выставке, вспоминал.

– Вы, наверное, устали? – беспокоился он о матери (Маяковский был с матерью на «вы»).

Прощаясь, он поцеловал ее, а свидетелям этой сцены сказал, словно извиняясь:

– Ну, маму поцеловать можно!

**Ольга Павловна Беюл:**

Незадолго до своей кончины, рассказывала Александра Алексеевна, он пришел какой-то тихий и задумчивый.

Я его спрашиваю: «Володичка, что с тобой, милый? Расскажи ты мне, я же вижу». А он руки мне целует и засмеялся: «Не волнуйтесь, мамочка моя милая, у меня все хорошо».

# Брат

**Николай Николаевич Асеев:**

В отношениях с сестрами была тоже родственность старшего в семье, хотя он был младше сестер. Но длительных семейных разговоров он не заводил, да и недолюбливал. Вкусы, очевидно, были разные. По крайней мере, те разы, которые я бывал у него в семействе, было заметно, что разговоры, помимо самых необходимых предметов, не клеятся. Да и меня он так усиленно тащил поехать к родным, что казалось, ему нужен был громоотвод от громыхания голоса Ольги Владимировны и молний, сверкавших в глазах другой сестры, Людмилы, кажется обижавшейся на некоторую отчужденность Владимира Владимировича от родственных традиций.

**Людмила Владимировна Маяковская:**

Володе тоже жилось нелегко (в 1919 г. – Сост.), но он заботился о нас, всячески старался помочь нам. Когда ему стали выдавать так называемый академический паек, он целиком отдавал его нам: написал доверенность Оле, и она получала паек. Нас это больше всего поддерживало. Кроме того, Володя делился с нами и своими заработками, помогал деньгами. <…>

Помню (это было в 1925 году), Володя забежал к нам и сообщил, что едет во Францию и если удастся, то в Америку. Он спросил, что нам привезти. Мы подумали: он едет в Америку не на прогулку, у него будет много работы, много надо увидеть. О чем же его просить? И мы сказали:

– Что хочешь, то и привези, мы ничего не просим. Потом, когда он пошел, сестра вышла на площадку и крикнула:

– Привези чулки! – и назвала размер и цвет.

В июле мы получили от него телеграмму и письмо из Мексики.

А когда Володя вернулся из Америки, оказалось, он не забыл о чулках для Оли, привез мне и маме подарки. Оля особенно радовалась кастаньетам, которые привез ей Володя из Мексики.

**Василий Абгарович Катанян:**

С тех пор, как младший брат самостоятельно определил свое призвание, у него со старшими сестрами никакой интеллектуальной близости не осталось. Это очень наглядно явствует из широковещательно опубликованных в первом томе огоньковского собрания сочинений писем брата. Конечно, он любил и жалел двух одиноких женщин, и тем сильнее в то же

самое время они его раздражали.

Чем? Похожими чертами, карикатурно затупленными. Антиартистизмом. Полной несовместимостью вкусов.

**Лили Юрьевна Брик.** *Из дневника:*

До чего Володю раздражают родственники – его форменно трясет, когда Люда бывает у нас раз в три месяца. Я даже зашла к нему в комнату и сказала: надо хоть полчаса поговорить с Людой или хотя бы открыть дверь – она не войдет. А он: Я не ма-гу а-на ме-ня раз-дра-жа-ет!!!! и весь искривился при этом.

## «Муж»

**Софья Сергеевна Шамардина:**

С 1927 года я в Москве. Встречаемся. Еще не знакомит с Лилей. Но, встречаясь с ним, чувствую, что он всегда с ней. Помню – очень взволнованный, нервный пришел ко мне в ЦК рабис (была я в то время членом президиума съезда). Возмущенно рассказал, что не дают Лиле работать в кино и что он не может это так оставить. <…> Он вынужден обратиться в ЦК рабис – «с кем тут говорить?»

Повела его к Лебедеву. Своим тоненьким, иезуитским таким голоском начал что-то крутить и наконец задал вопрос: «А вам-то что, Владимир Владимирович, до этого?»

Маяковский вспылил. Резко оборвал. Скулы заходили. Сидит такой большой, в широком пальто, с тростью – перед крошечным Лебедевым. «Лиля Юрьевна моя жена». Никогда ни раньше, ни потом не слышала, чтоб называл ее так.

И в этот раз почувствовала, какой большой любовью любит Маяковский и что нельзя было бы так любить нестоящего человека.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Володя носил кольцо, подаренное Лилей, с инициалами. Он подарил Лиле кольцо-перстень и дал выгравировать буквы «Л. Ю. Б.». Буквы были расположены по радиусам, и эта монограмма читалась как слово «люблю».

**Лили Юрьевна Брик:**

Мы никогда не снимали подаренные друг другу еще в петербургские времена вместо обручальных кольца-печатки. На моем Володя дал выгравировать буквы Л. Ю. Б. Если читать их по кругу, получалось бесконечно – люблюлюблюлюблюлюблюлюблю…, внутри кольца написано «Володя». Для Володиного я заказала латинские буквы MW, а внутри написала «Лиля».

Когда советские люди перестали носить золотые украшения, Маяковскому стали присылать во время выступлений записки: «Тов. Маяковский! Кольцо вам не к лицу». Он отвечал, что потому и носит его не в ноздре, а на пальце, но записки учащались, и чтоб не расставаться с кольцом, пришлось надеть его на связку с ключами.

В тот вечер, когда он из Сокольников уезжал в Америку, он оставил ключи дома и только на вокзале вспомнил, что

с ключами оставил и кольцо. Рискуя опоздать на поезд и просрочить визы, он бросился домой, а тогда с передвижением было трудно – извозчики, трамваи… Но уехать без кольца – плохая примета. Он нырял за ним в Пушкино на дно речное. В Ленинграде уронил его ночью в снег на Троицком мосту, долго искал и нашел. Оно всегда возвращалось к нему.

Кроме моего кольца был у него еще один амулет – старый серебряный отцовский портсигар. В нем рамка для фотографии, и Володя вставил в нее наше с ним фото 15-го года. Иногда он носил его в кармане, но в него влезало мало папирос, и поэтому он чаще лежал в ящике письменного стола.

**Эльза Триоле:**

> Мы любовь на дни не делим,
> не меняем любимых имен…

И когда я ему как-то сказала, что вот он такое пишет, а женщин-то вокруг него! он мне на это торжественно, гневно и резко ответил: «Я никогда Лиличке не изменял. Так и запомни, никогда!»

**Лили Юрьевна Брик.** *Из письма В. В. Маяковскому, начало января 1922 г.:*

Володик,

Юлия Григорьевна Льенар рассказала мне о том, как ты напиваешься до рвоты и как ты влюблен в младшую Гинзбург, как ты пристаешь к ней, как ходишь и ездишь с ней в нежных позах по улицам. Ты знаешь *как* я к этому отношусь.

Через две недели я буду в Москве и сделаю по отношению к тебе вид что я ни о чем не знаю. Но *требую*: чтобы *все*, что мне может не понравиться, было абсолютно ликвидировано.

Чтобы не было ни *единого* телефонного звонка и т. п. Если *все это* не будет исполнено до самой мелкой мелочи – мне придется расстаться с тобой, что мне совсем не хочется, оттого что я тебя люблю. Хорошо же ты выполняешь условия: «не напиваться» и «ждать». Я *до сих пор* выполнила и то и другое. Дальше – видно будет.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, 10 января 1922 г.:*

Дорогой мой и любимый Лилек

Никакие мои отношения не выходят из пределов балдежа. Что же касается до Гинзбургов и до младших и до старших то они не плохой народ но так как я нашел биллиардную то в последнее

время видеться с ними не приходится совсем.

**Лили Юрьевна Брик.** *Письмо В. В. Маяковскому, 11 февраля 1923 г.:*

Володя, ввиду того, что к Оксане ты в мое отсутствие «приставал», так же как и ко всем остальным женщинам (она сама мне об этом рассказывала) то от апельсина следовало удержаться. Это письмо не в счет. Никто не должен знать о нем. Не отвечай. Если б не жар – не написала бы. Это конечно пустяк, но мне известны со всеми подробностями все твои лирические делишки.

**Мери Александровна Талова** *(1902–?), соседка Л. и О. Бриков:*

Меня поражало, как эта маленькая, не обладавшая никакими талантами и, по моему мнению, вовсе не красивая, густо накрашенная женщина вертит этим громадиной Маяковским, будто спичкой.

**Николай Николаевич Асеев:**

Однажды я поспорил с Лилей Юрьевной относительно каких-то стихов, которые мне нравились, а ей нет. Спор был горячий. Маяковский не принимал участия, но приглядывался и прислушивался из другой комнаты. Потом мы пошли с ним вместе по Мясницкой. Маяковский шагал, помахивая палкой.

– Колядка! Никогда не противоречьте Лилечке, она всегда права!

– Как это «всегда права»? А если я чувствую свою правоту?

– Не можете вы чувствовать своей правоты: она у нее сильнее!

– Так что же вы скажете, что, если Лилечка станет утверждать, что шкаф стоит на потолке, – я тоже должен соглашаться, вопреки очевидности?

– Да, да! Если Лилечка говорит – на потолке, значит, он действительно на потолке!

– Ну, знаете ли, это уж рабство!

Маяковский молчит некоторое время, а потом говорит:

– Ваш маленький личный опыт утверждает, что шкаф на полу. А жильцы нижней квартиры? Не говоря уж об антиподах!

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Относился Маяковский к Лиле Юрьевне необычайно нежно, заботливо. К ее приезду всегда были цветы. Он любил дарить ей всякие мелочи.

Помню, где-то он достал резиновых надувающихся слонов. Один из слонов был громадный, и Маяковский очень радовался, говоря:

– Норочка, нравятся вам Лиличкины слонятины? Ну я и вам подарю таких же.

Он привез из-за границы машину и отдал ее в полное пользование Лили Юрьевны.

Если ему самому нужна была машина, он всегда спрашивал у Лили Юрьевны разрешения взять ее.

Лиля Юрьевна относилась к Маяковскому очень хорошо, дружески, но требовательно и деспотично.

Часто она придиралась к мелочам, нервничала, упрекала его в невнимательности.

Это было даже немного болезненно, потому что такой исчерпывающей предупредительности я нигде и никогда не встречала – ни тогда, ни потом.

Маяковский рассказывал мне, что очень любил Лилю Юрьевну. Два раза хотел стреляться из-за нее, один раз он выстрелил себе в сердце, но была осечка.

Подробностей того, как он разошелся с Лилей Юрьевной, не сообщал.

***Лили Юрьевна Брик. Из* интервью:**

– Знал ли Маяковский о ваших романах?

– Знал.

– Как он реагировал?

– Молчал.

# Отец

**Соломон Самуилович Кэмрад**, *биограф Маяковского:*

В феврале 1929 года он снова едет в Париж. Возвращается оттуда в первых числах мая. Однажды в отсутствие поэта И. И. Адамович позвонил к нему на квартиру. Откликнулся женский голос.

– Где Володя? – спросил Адамович и услышал в ответ:

– Он опять к своей девчонке поехал. < … >

Маяковский вернулся в Москву. Заехал на своем «красавце серой масти» – маленькой машине «Рено», купленной им в Париже в декабре, – за Соней Шамардиной, в ЦК Рабис(Центральный комитет работников искусств), членом Президиума которого она являлась.

Сели в машину. Поехали. Маяковский был очень мрачен. За все время их многолетней дружбы она ни разу не видела его таким мрачным.

Решила отвлечь его от каких-то, видимо, тяжелых мыслей, рассеять его настроение. Спросила игривым тоном, имея в виду его поездку в Париж (к Т. Яковлевой. – *Сост.*):

– Ну, как там твоя девчонка?

Маяковский вздрогнул. Он не ожидал этого вопроса. Предположив, что Соня спрашивает его о дочери, между тем как он никому ничего не говорил о ней, в удивлении уставился на Соню:

– А ты откуда знаешь?

Соня ничего не знала. Продолжая ту же игру, тем же тоном ответила:

– Ну, как же, знаю…

И вдруг увидела, что своим вопросом и ответом достигла прямо противоположных задуманному результатов. Маяковский помрачнел и нахмурился еще больше. Не сомневаясь, что Соня действительно все знает, с глубокой душевной болью сказал:

– Понимаешь, я никогда не думал, что можно так тосковать о ребенке. Ведь девочке уже три года. Она больна рахитом. А я ничем, абсолютно ничем не могу помочь ей. Даже деньгами, от которых мать сейчас категорически отказывается. Кроме того, ее воспитывают в католичестве. Пройдет каких-либо 10 лет, и, после конфирмации, она, возможно, станет правоверной католичкой. А я и тут ничего, ровным счетом ничего не могу сделать, чтобы помешать этому. Ведь не я считаюсь ее отцом…

В одной из последних записных книжек Маяковского

на совершенно чистой странице можно увидеть написанное карандашом только одно слово: «ДОЧКА».

# Семейная лодка

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *СОСТАВ СЕМЬИ*

Отец: Владимир Константинович (багдадский лесничий), умер в 1906 году.

Мама: Александра Алексеевна.

Сестры:

а) Люда.

б) Оля.

Других Маяковских, по-видимому, не имеется.

# Отец Владимир Константинович Маяковский

**Вера Николаевна Агачева-Нанейшвили:**

О Владимире Константиновиче мама говорила, что это был человек весьма добрый, ласковый, гостеприимный, общительный, веселый, остроумный, человек неутомимой энергии, жизнь которого проходила в неустанном труде.

**Михаил Тихонович Киселев** *(1884–?), двоюродный брат В. Маяковсчкого:*

Отец В. В. Маяковского был очень добрым, очень отзывчивым человеком, с большой душой. Он любил свое дело, увлекался им. Чуть свет он уже приступал к работе. Собирались объездчики лесничества, приходили крестьяне за билетами на порубку леса. С каждым дядя Володя успевал поговорить, и не только о делах, с которыми люди приходили к нему, но интересовался их семейной жизнью и т. д. Для крестьян он был своим человеком: они делились с ним радостями и печалями, приглашали его на свадьбы и крестины, и он никого не оставлял без внимания.

Несколько раз в месяц дядя Володя совершал поездки по лесничеству и брал с собой меня, а когда подрос Володя, то и его. Ездили мы верхом на лошадях, пробирались по крутым тропинкам, ночевали в горных селениях. Поездки эти были очень интересные.

В пути дядя Володя рассказывал нам о жизни леса, о быте народа. Он был в курсе всех жизненных дел крестьян. И часто бывало так. Приходят к нему крестьяне, говорят – денег нет, а лес нужен. Дядя Володя давал им свои деньги, и крестьяне, таким образом, покупали лес.

Я был свидетелем одного неприятного момента. Мы поехали с ним вместе далеко. Раньше лес возили на маленьких арбах, запряженных волами, которые тащили тяжелые бревна. Навстречу нам попалась такая арба с несколькими большими бревнами. Дядя Володя остановил крестьянина, спрашивает билет на порубку леса. А тот вдруг схватился за кинжал. Владимир Константинович говорит ему:

– Положи на место кинжал, я тебя не боюсь. – Дядя был могучий человек, крестьянин это понял: он бросил кинжал и стал просить лесничего, чтобы тот его простил. Дядя Володя всегда имел при себе клеймо в виде топорика. Он отметил клеймом

каждое бревно на арбе и сказал крестьянину:

– Теперь можешь везти.

Крестьянин не знал, как благодарить лесничего. Конечно, Владимир Константинович заплатил за лес собственные деньги, а крестьянин позже возвратил их ему.

Дядя Володя любил семью, детей. Людмилу Владимировну он особенно выделял как старшую. Когда она окончила гимназию, он сказал мне:

– Я рад, что Люда окончила гимназию, и хочу преподнести ей торт и на этом торте написать: «Спасибо».

Он так и сделал, поблагодарив дочь за то, что она оправдала его надежды.

Александра Алексеевна тоже любовно относилась к семье. Никогда ни на кого не повышала голоса. Была очень трудолюбива. С утра и до поздней ночи работала: или шьет, или штопает, или готовит. Я не помню, чтобы она когда-нибудь наказала кого из детей или оказывала на них давление. Спросит:

– Володя, ты уроки выучил?

– Да, мамочка.

И больше ничего. А дядя Володя интересовался не только тем, как учатся его дети, но иногда приходил в гимназию и спрашивал, как я учусь, как веду себя. Он любил свою сестру – мою мать и моего отца, и они его также любили.

**В. Глушковский**, *журналист:*

Владимир Константинович обладал острой памятью. Он очень любил поэзию, любил и умел декламировать стихи, знал наизусть почти всего «Евгения Онегина», массу стихов Некрасова, Толстого. Его любимыми были «Васька Шибанов» Толстого, «Внимая ужасам войны», «Мороз, Красный нос» Некрасова. Хороший вид, красивый закат солнца вызывали всегда у него потребность продекламировать подходящий стих.

**Людмила Владимировна Маяковская:**

Отец любил петь по-французски Марсельезу «Allons, enfants de la patrie». Дети не понимали по-французски. Тогда он пел: «Алон зан-фан де ля по четыре» и спрашивал: «Ну, а теперь понятно?»

**Александра Алексеевна Маяковская:**

19 февраля 1906 года нашу семью постигло тяжелое горе: неожиданно от заражения крови умер отец.

Он готовился сдавать дела багдадского лесничества, так как получил назначение в кутаисское лесничество. Мы

радовались, что будем жить все вместе. Но это не осуществилось. Владимир Константинович сшивал бумаги, уколол палец иголкой, и у него сделался нарыв. Он не обратил на это внимания и уехал в лесничество, но там ему стало еще хуже. Вернулся он в плохом состоянии. Операцию было уже поздно делать. Ничем нельзя было помочь… Мы лишились любящего, заботливого отца и мужа.

# Мать Александра Алексеевна Маяковская

**Христофор Николаевич Ставраков:**

Мать Володи, Александра Алексеевна, сыграла большую роль в жизни и воспитании своих детей. Она никогда не говорила повышенным или раздраженным голосом, всегда сохраняла спокойное и ласковое отношение к ним, а главное, у нее всегда с детьми была общность во взглядах на жизнь. Родители готовы были во всем отказать себе, чтобы дать детям образование.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Многие из окружающих нас людей считали, что мы предоставляем слишком много свободы и самостоятельности Володе в его возрасте. Я же, видя, что он развивается в соответствии с запросами и требованием времени, сочувствовала этому и поощряла его стремления.

**Вера Николаевна Агачева-Нанейшвили:**

Эту скромную, невысокого роста женщину с зоркими карими, как будто суровыми глазами, с характерной складкой губ у резко очерченного рта, но весьма добрую и приветливую, я полюбила на всю свою жизнь. Я бывала у них потом почти ежегодно и подолгу. И меня покоряло ее сердечное, внимательное, ласковое отношение, заботливая чуткость, доброта и трудолюбие.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Глаза – выражение глаз у нее было очень похожее на Владимира Владимировича. Тот же проницательный, молодой взгляд.

**Николай Иванович Хлестов:**

У нее было спокойное, доброе лицо, умные карие глаза, тихий, ласковый голос. Одета скромно и опрятно. <…>

Никогда в семье Маяковских я не слышал грубых слов, окриков, ссор, даже замечаний. Трудовая жизнь Александры Алексеевны и Людмилы Владимировны, их высокие моральные качества, безупречный образ жизни оказывали большое влияние на Володю и Олю, и они старались во всем подражать им, брать с них пример.

**Елизавета Александровна Лавинская:**

«Узнать» Александру Алексеевну было далеко не просто. Мне нужно было бывать длительный период у Маяковских, чтобы понять всю глубину этой замкнутой натуры, ее волевую направленность, сочетающуюся с большой женской мягкостью, ее колоссальный интерес ко всему: к международным вопросам, литературе, искусству. Диапазон ее интересов огромен, и такое великое горе, как потеря сына, не снизило этого интереса.

В восемьдесят лет эта женщина молода. В тот период, когда я стала бывать у них в доме, она жила интересами выставки и той борьбой, которая вокруг нашей работы разгоралась. Помню, с какой горечью она говорила:

– Неужели пройдет несколько лет и Володю забудут?

Но тут же сама отвечала, что нет, этого не может быть, что он писал для страны, для народа, а если забудут сейчас, то когда-нибудь поймут. <…>

К ней пришел он, будучи в пятом классе, и сказал, что его нужно взять из гимназии, потому что, если не возьмут, хуже будет. Безусловно, ей хотелось, чтобы Володя учился, но она знала, что сын ее никогда без серьезного повода не просит, а ведь он был еще мальчиком. А эта молчаливая поддержка, когда сын вступил на путь революционной борьбы и тюрем? <…>

В период «желтой кофты» Маяковский пришел домой, к матери, и попросил Александру Алексеевну сшить ее. А когда после первых выступлений поэта знакомые начали жалеть ее и выражать сочувствие, Александра Алексеевна моментально пресекла эти разговоры, хоть ей самой было тяжело. Но раз Володя это делает – значит, для чего-то ему нужно, а вера в Володю в этой семье была настолько велика, что делалось то, что нужно, без лишних вопросов, без требований объяснений. У Маяковских никто не заглядывал другому в душу, оберегая личную жизнь другого. Свобода и любовь – основа взаимоотношений в семье Маяковских.

**Людмила Владимировна Маяковская:**

1919 году Володя переехал в Москву. И хотя он получил комнату в центре города, часто навещал нас на Красной Пресне. Он тогда очень много работал в РОСТА над плакатами. Мы ему помогали, и не только мы с Олей, но и наша мама. Было холодно, горела все время дымная печурка, наша мама, всегда деятельно поддерживавшая нас в работе, растирала краски и разогревала клей. Мы с большим трудом укладывали ее спать, а сами часто работали до утра, быстро развешивая рисунки для просушки по комнате, иногда даже накрывали ими спящую маму…

**Елизавета Александровна Лавинская:**

Никогда не забуду этот коротенький рассказ Александры Алексеевны:

– Приходит Володя, я вижу, что он расстроен, молчит. Я не выдержала, спросила: «У тебя опять неприятности с Лилей Юрьевной?» Он сказал мне только: «Мамочка, я вас очень прошу никогда не спрашивать меня об этом». И с тех пор, что б я ни узнавала, что б я ни видела, я молчала, никогда не спрашивала его о Бриках. Мне хотелось ему сохранить дом, куда бы он мог, усталый, замученный, прийти просто отдохнуть, где он знал, что его всегда ждут, никто никогда не расспрашивает.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Я ее знал уже старой женщиной, бывал у нее после смерти Маяковского в другой квартире на Красной Пресне; в этой бедной квартире она ничего не хотела изменять после смерти сына.

# Сестры Людмила и Ольга

**Николай Иванович Хлестов:**

Людмила Владимировна, красивая девушка, с твердым, волевым характером, тоже всецело отдавала свою жизнь семье и имела большое благотворное влияние на младших: брата Володю и сестру Олю. Много раз я слышал, как Оля и Володя говорили между собой:

– А ты спрашивал Люду, она разрешила тебе это?

Оля, эта веселая девушка, рассказывая об отце, делалась тихой, серьезной. С такой же любовью, с тем же выражением она говорила о своей старшей сестре. В затруднительных случаях Володя и Оля шли к Людмиле Владимировне и всегда получали добрый совет.

**Людмила Владимировна Маяковская:**

Мои политические симпатии сближали меня с революционной молодежью. Я занималась в марксистских кружках. Через товарищей революционеров получала нелегальную литературу. Вся бурная, революционная жизнь конца 1904 года и 1905 года сильно захватила меня. Революционная борьба масс оказала влияние также на Володю и Олю. Кавказ переживал революцию особенно остро. Там все вовлекались в борьбу, и все делились на участвовавших в революции, определенно сочувствовавших ей и враждебно настроенных. Учащаяся молодежь организовывалась в политические кружки.

**Елизавета Александровна Лавинская:**

Политическую литературу носила ему Людмила Владимировна, так же когда-то она привозила первые революционные листовки из Москвы в Кутаис в 1905 году, а листовки эти сыграли большую роль в жизни младших – Володи и Оли.

**Христофор Николаевич Ставраков:**

Оля унаследовала от отца прямоту характера и жизнерадостность, которая особенно проявлялась в школьные годы. Хорошо помню ее на вечерах кутаисской женской гимназии, где она неутомимо танцевала и своим весельем увлекала других. Но как только волны революции докатились до Кутаиси, она всю стремительность своего характера направила на участие в работе подпольных кружков учащейся молодежи.

В 1904–1905 годах я встречал ее на занятиях марксистского кружка, которым руководил Г. Корганов. Кружок был небольшой – четыре-пять человек. На его занятиях мы читали и обсуждали популярную марксистскую литературу. Разумеется, говорили и о текущих политических событиях.

**Ольга Владимировна Маяковская.** *Из письма Л. В. Маяковской, конец октября 1905 г.:*

У нас в гимназии ученицы составили кружки с. – демократок и с. – революционерок, и с ними занимаются пропагандисты. Я тоже примкнула к одному из таких кружков учениц 6 класса, и с нами занимается студент Шинцадзе, с. – демократ. Он все объясняет очень хорошо и понятно. Сейчас мы проходили «Труд и капитал», а потом будем разбирать «Экономические беседы» Карынтева. Если тебе не трудно, то привези или пришли мне эти книги. Они, кажется, стоят 25 коп<еек> обе. Во всем Кутаисе нет этих книг. Я маме говорила, что я занимаюсь в кружке, и мама ничего не имеет против, и я очень рада. Мы в неделю два раза собираемся у одной из этих учениц.

Вчера днем я с Володей была в театре. Какой-то приезжий русский читал: «Что такое политическая свобода». Он читал очень хорошо, и я все поняла. Ученические места были по десяти копеек, так что все учащиеся были в состоянии слушать. Наш учитель-пропагандист говорил, что ему очень приятно, что я, русская, тоже изъявила желание заниматься, потому что русские вообще не занимаются, а примыкают к так наз<ываемой> партии «Николашек» (это наше гимназическое прозвище). Из всей гимназии из русских занимается только человек пять.

**Николай Иванович Хлестов:**

Оля была веселая, подвижная, очень остроумная девушка. Придумывала всякие игры и проказы. Приходя из гимназии, она вносила большое оживление: острила, рассказывала что-нибудь смешное, заразительно смеялась, тормошила Володю, и мы поднимали шум, крик, беготню по коридору. Но достаточно было появиться Людмиле Владимировне и сказать: «Мама отдыхает», – и все сейчас же затихали.

<…> Людмила Владимировна училась в Строгановском училище, но кроме учебы выполняла много частных заказов и своим заработком значительно облегчала положение семьи. Случались такие дни, когда у Маяковских утром к чаю не было хлеба, и тогда Людмила Владимировна доставала необходимую монету, возможно из аванса, выданного ей на покупку материала, и хлеб появлялся. Не помню, чтобы Людмила Владимировна

пошла хотя бы в кино или погулять, она только посещала выставки по искусству. Остальное время все работала, работала.

**Елизавета Александровна Лавинская:**

Людмила Владимировна говорила о себе, о своей работе, об Оле. Я была глубоко внутренне потрясена. Не оттого, что она рассказала мне что-то особенное, необычайное, нет, но вся она, весь ее облик, форма выражения, та любовь, с которой она говорила о своей работе, – все шло вразрез с высказываниями Лили Юрьевны. Кроме того, от Людмилы Владимировны веяло каким-то внутренним, физическим здоровьем (это ведь был двадцать седьмой год!). С ней так легко было дышать после этого балкона с возлежавшей голой Лилей, исходящей злостью и слезами из-за страха упустить Маяковского.

**Елена Владимировна Семенова:**

Людмила Владимировна – человек с твердым, очень упорным характером – была представителем семьи во всех вопросах, касавшихся брата. Она выступала с воспоминаниями о нем, к ней обращались литературоведы, писавшие о юности Маяковского, в том числе и Перцов, она входила в Выставочный комитет. Я не могу осуждать ее за ненависть (иначе не назовешь) к Лиле Юрьевне – к женщине, которую считала несчастьем в жизни Маяковского. Далеко не защищаю Лилю Юрьевну, но нельзя согласиться с упорным стремлением Людмилы Владимировны стереть Бриков из биографии Маяковского. Это невозможно и бессмысленно. Дело только одного Маяковского, кого ему надо было или не надо было любить. <…> На эту тему я не пыталась спорить с Людмилой Владимировной, зато ее упрямое заявление «Володя никогда не был футуристом» всегда вызывало возражение. Она не могла простить В. О. Перцову того, что в своей книге он не обошел этого периода и ненавязчиво, но определенно этот период показал. Людмила Владимировна всю жизнь <…> старалась «исправить» биографию Маяковского так, как она ее себе представляла для «лучшего и талантливейшего».

**Ольга Павловна Беюл:**

(Людмила Владимировна. – Сост.) была, несомненно, интересным и своеобразным человеком, но я редко встречала такую жесткую категоричность суждений. Я даже в иных случаях пыталась переубедить ее, говорила, что на свете существуют не только две краски, черная и белая, но и множество других оттенков. Но сдвинуть ее хотя бы на йоту с раз принятых

установок было невозможно.

– Ольга Павловна, вы просто очень добрый человек, но я не такая. Я и на смертном одре не прощу тем, кто погубил брата. Часть из них еще здравствует и благополучно ходит по земле.

**Елизавета Александровна Лавинская:**

Ольга Владимировна поразила меня впервые 14 апреля 1930 года на Гендриковом. Безудержное ли горе придало ее голосу потрясающее сходство с голосом Маяковского, и в тот страшный вечер, когда он лежал мертвый, казалось, что ее голосом говорит он.

Безусловно, тут главное не в сходстве черт лица – чертами Маяковский – он больше всего похож на Александру Алексеевну, – тут другое. Я не встречала, кроме Маяковского и Оли, людей, кто бы мог так празднично войти, заполнить сразу собой, широким приветливым жестом, плывущим и переливчатым голосом все помещение… Свободный разворот плеч и одинаковая посадка головы еще усиливают сходство. А ее остроумие, неожиданно быстрые ответы, изумительное умение рассказывать, в нескольких сжатых словах дать яркую характеристику человеку, событию! И в то же время в Олином характере сочетаются широкая, с большим диапазоном натура с колоссальной внутренней заторможенностью. (Не будь этой заторможенности, она была бы или поэтом – я слышала ее стихи, – или художником – видела ее рисунки.) Она талантлива во всем, за что ни возьмется, но одновременно с этим она сама себя пресекает, начинает критиковать себя, предъявляя к себе особые требования. Возможно, я слишком много беру на себя, так говоря об Оле, но это мое представление о ней, которое я изменить не могу.

**Елена Владимировна Семенова:**

Ольга Владимировна была другим человеком. Она, на мой взгляд, лучше знала и понимала Маяковского и как человека, и как поэта. Сама она была талантлива, тоньше Людмилы Владимировны, если можно сказать, не так прямолинейна и догматична. С Ольгой Владимировной мне было и интереснее, и приятнее говорить о Маяковском-поэте. Она отлично читала его стихи. В действия Людмилы Владимировны не вмешивалась. Я помню, когда она была уже не очень здорова, Людмила Владимировна уехала выступать с воспоминаниями. Я спросила: «А вы, Оля?» Она неопределенно махнула рукой: «Этим Люда занимается». Чувствовалось, что она далеко не во всем с сестрой согласна. Уже тяжело больная, она всем интересовалась, читала,

даже шутила. А ей было уже трудно дышать.

# Лили Юрьевна Брик

**Василий Васильевич Катанян:**

Лиля отличалась норовом, самостоятельностью. Еще в гимназии она не захотела быть «как все»: схватила ножницы и отрезала себе косы – к ужасу родителей. (А в старости наоборот – в 85 лет заплетала косу – к восторгу почитателей!) Наверно, это был еще не осознанный отказ смешаться с толпой, подсознательное неприятие стереотипа. <…>

Лилю учили играть то на рояле, то на скрипке, потом купили мандолину… Папа однажды спросил ее: «Что тебе купить еще?» – «Барабан!» – с вызовом ответила Лиля. <…> Лиля все бросала – сначала училась на математических курсах, потом уехала в Мюнхен заниматься скульптурой, однако не доучилась, выйдя замуж.

**Александра Александровна Доринская** *(1896–1978), балерина, знакомая Л. Брик:*

Среднего роста, тоненькая, хрупкая, она являлась олицетворением женственности. Причесанная гладко, на прямой пробор, с косой, закрученной низко на затылке, блестевшей естественным золотом своих воспетых в («Флейте-позвоночнике». – Сост.) «рыжих» волос. Ее глаза действительно «вырылись ямами двух могил» – большие, были карими и добрыми; довольно крупный рот, красиво очерченный и ярко накрашенный, открывал при улыбке ровные приятные зубы. Бледные, узкие, типично женские руки, с одним только обручальным кольцом на пальце, и маленькие изящные ножки, одетые с тонким вкусом, как, впрочем, и вся она, в умелом сочетании требований моды с индивидуальностью подхода к ней. Дефектом внешности Лили Юрьевны можно было бы посчитать несколько крупную голову и тяжеловатую нижнюю часть лица, но, может быть, это имело свою особую прелесть в ее внешности, очень далекой от классической красоты.

**Виктор Борисович Шкловский:**

У нее карие глаза. Она большеголовая, красивая, рыжая, легкая, хочет быть танцовщицей.

**Николай Николаевич Пунин** *(1888–1953), поэт, искусствовед, художественный критик. Сотрудник журнала «Аполлон». Муж А. Ахматовой (1924–1938). Из дневника:*

20 мая 1920 г. Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют

от волнения; у нее торжественные глаза; есть наглое и сладкое в ее лице, с накрашенными губами и темными веками. <…> Муж оставил на ней сухую самоуверенность, Маяковский забитость, но эта «самая обаятельная женщина» много знает о человеческой любви и любви чувственной.

**Мери Александровна Талова:**

Лили Юрьевну я запомнила такой, какой ее увидела в первый раз. Рыжая шевелюра, рыжее платье, на руках рыжий котенок. Что ни день, она меняла наряды. Подол ее платья никогда не был горизонтальным, а либо с фестонами, либо один бок нарочно длиннее другого, либо юбка с хвостом.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Л. Брик любит вещи, серьги в виде золотых мух и старые русские серьги, у нее жемчужный жгут, и она полна прекрасной чепухой, очень старой и очень человечеству знакомой. Она умела быть грустной, женственной, капризной, гордой, пустой, непостоянной, влюбленной, умной и какой угодно. Так описывал женщину Шекспир.

**Галина Дмитриевна Катанян:**

Когда меня спрашивают о ней – хороший она или плохой человек, я всегда отвечаю – «разный». Глупо изображать ее злодейкой, хищницей, ловкой интриганкой, как это делают иные мемуаристы, не понимая, что этим они унижают Маяковского.

Она сложный, противоречивый и, когда захочет, обаятельный человек. В чем-то она вровень с Маяковским: я не слыхала от нее ни одного банального слова, и с ней всегда было интересно. Она очень щедрый и широкий человек. У нее безукоризненный вкус в искусстве, всегда свое собственное, самостоятельное, ни у кого не вычитанное мнение обо всем, необычайное чутье на все новое и талантливое. Недаром даже <…> в ее 80 с лишним лет, к ней приносят на суд свои стихи такие поэты, как Слуцкий, Вознесенский. Она безошибочно угадала в молодой дебютантке великую балерину Плисецкую и стала одной из верных ее поклонниц. С первых же слов поняла она феномен Параджанова. В ее доме всегда бывают талантливые, остроумные люди самых разных профессий.

Ум у нее ироничный и скептический. Очень мало кого из людей она уважает.

**Василий Васильевич Катанян:**

Вообще, в ней все было неоднозначно. И ее образ никак не укладывался ни в какие конструкции. Ратовала

за «Моссельпром»? Да, но с удовольствием покупала и там, и у богатых нэпманов. С восторгом относилась к рекламе «Резинотреста», но предпочитала носить обувь от Bally. <…> Она не была прямолинейна. Окна РОСТА и Третьяковская галерея. Коллажи Варвары Степановой и – Эль Греко. Томик Маяковского переплетался ею в шевро с золотым тиснением, и она же восторгалась книгой, отпечатанной по бедности на клочках обоев. Не это ли называется «единством противоположностей»? Критерий был один – талант. Она даже закрывала глаза на некоторые неблаговидные поступки, для нее личное поведение талантливого человека было на втором месте. Правда, если это не касалось важных, принципиальных идей.

**Галина Дмитриевна Катанян:**

Мне было двадцать три года, когда я увидела ее впервые. Ей – тридцать девять.

В этот день у нее был такой тик, что она держала во рту костяную ложечку, чтобы не стучали зубы. Первое впечатление – очень эксцентрична и в то же время очень «дама», холеная, изысканная и – боже мой! – да она ведь некрасива! Слишком большая голова, сутулая спина и этот ужасный тик…

Но уже через секунду я не помнила об этом. Она улыбнулась мне, и все лицо как бы вспыхнуло этой улыбкой, осветилось изнутри. Я увидела прелестный рот с крупными миндалевидными зубами, сияющие, теплые, ореховые глаза. Изящной формы руки, маленькие ножки. Вся какая-то золотистая и бело-розовая.

В ней была «прелесть, привязывающая с первого раза», как писал Лев Толстой о ком-то в одном из своих писем.

Если она хотела пленить кого-нибудь, она достигала этого очень легко. А нравиться она хотела всем – молодым, старым, женщинам, детям… Это было у нее в крови.

И нравилась.

**Лили Юрьевна Брик:**

Стоило мне приветливо поговорить с мужчиной или, наоборот, отринуть его, как тут же появлялось сочинение на тему «Лиля Брик и NN» и шло по городу, обрастая подробностями.

**Василий Васильевич Катанян:**

Лили Юрьевна была замужем четыре раза. И каждое замужество всегда вызывало шок и у ее родных, и у родственников мужей. Когда ЛЮ рассталась с Бриком и сошлась с Маяковским, родные Владимира Владимировича тяжело переживали ситуацию, которую не в состоянии были

ни понять, ни принять. Но время сделало свое дело – семейные отношения наладились и, в общем, продолжались еще лет десять после смерти поэта. Затем его мать и сестры отринули от себя Лилю Юрьевну. А старшая сестра Людмила Владимировна до конца своих дней была злейшим ее врагом.

«Я всегда любила одного, – говорила ЛЮ. – Одного Осю, одного Володю, одного Виталия и одного Васю».

Она была хороша собой, соблазнительна, знала секреты обольщения, умела заинтересовать разговором, восхитительно одевалась, была умна, знаменита и независима. Если ей нравился мужчина и она хотела завести с ним роман – особого труда для нее это не представляло. Она была максималистка, и в достижении цели ничто не могло остановить ее. И не останавливало. Что же касалось моральных сентенций…

«Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие этого не понимают, – говорила она. – И разрешать ему то, что не разрешают ему дома. Например, курить или ездить, куда вздумается. Ну а остальное сделают хорошая обувь и шелковое десу».

**Галина Дмитриевна Катанян:**

Эсфири Шуб, которая к ней пришла после смерти Осипа Максимовича, она сказала: «Когда застрелился Володя, это умер Володя. Когда погиб Примаков – это умер он. Но когда умер Ося – это умерла я!»

# Осип Максимович Брик

**Виктор Борисович Шкловский:**

Брик – кошка, та самая киплинговская кошка, которая ходила по крышам сама по себе еще тогда, когда крыш не было.

**Лили Юрьевна Брик:**

Ося был небольшой, складный, внешне незаметный и ни к кому не требовательный, – только к себе.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Брики жили в Петрограде. Осипа Максимовича забрали на военную службу, попал он в автомобильную роту. А потом решили, что еврею в автомобильной роте быть не надо, и всех собрали и отправили на фронт. Брик пошел домой.

Сперва он уходил из дому в форме, потом стал ходить в штатском. О нем забыли. Прошло два года. Его должны были растерзать. Но для этого его надо было найти, заинтересоваться. Брик жил на Жуковской улице, дом № 7. К нему ходили десятки людей. Он не мог сделать только одного: переехать с квартиры на квартиру. Тогда он стал бы движущейся точкой и должен был бы прописываться. Но зато он мог надстроить дом, в котором он жил, тремя этажами и не быть замеченным.

По улицам ему ходить было трудно. Вдруг будет облава!

Он строил на рояле театр не менее метра в кубе и автомобиль из карт. Постройкой восхищалась Лиля Брик.

**Лили Юрьевна Брик:**

Ося сразу влюбился в Володю, а Володя в Осю тогда еще влюблен не был. Но уже через короткое время он понял, что такое Ося, до конца поверил ему, сразу стал до конца откровенен, несмотря на свою удивительную замкнутость. И это отношение осталось у него к Осе до смерти. Трудно, невозможно переоценить влияние Оси на Володю.

**Корнелий Люцианович Зелинский:**

Сейчас среди иных «маяковедов» в отношении О. М. Брика принята такая формула, что Маяковский во всем был хорош, а Брик плохой. Спрашивается, однако: почему Маяковский любил Брика, считался с ним? Потому что не во всем Брик был плох, так же как и Маяковский не во всем был хорош. Брик был прежде всего человеком умным. А это не всякому дано. А я, например, думаю, что многое из того, чему мы удивляемся у Маяковского,

естественно, перешло к нему от Брика.

Была, правда, у Брика одна черта, чем-то отдаленно сближавшая его с Авербахом. Эту черту можно назвать так: ошибок у меня не ищите, дело пустое, всегда будет моя покрышка. О. М. Брик был несколько самоуверен. Эта черта довольно часто встречается у людей. Но зато умен был, и за это все ему прощалось.

**Петр Васильевич Незнамов:**

Он удивительно цепко схватывал все особенности текущего литературного момента и умел быстро сформулировать явление, не переставая при этом быть веселым, ровным и уравновешенным. Он так много читал, что казалось, будто он все читал. <…>

О. М. Брик – человек многих талантов, замечательно, что крупных, ближе всех после Бурлюка стоявший к творчеству Маяковского, – цепко схватывал существо и оттенки «идеологий», потому что не лишен был диалектического нерва и легко, как рыба в воде, чувствовал себя в «повестке дня». Историю и теорию литературы и искусства он знал отлично.

**Лили Юрьевна Брик:**

Маяковский мог часами слушать разговоры опоязовцев. Он не переставал спрашивать Осипа Максимовича: «Ну как? Нашел что-нибудь? Что еще нашел?» Заставлял рассказывать о каждом новом примере. По утрам Владимир Владимирович просыпался раньше всех и в нетерпении ходил мимо двери Осипа Максимовича. Если оказывалось, что он уже не спит, а, лежа в постели, читает или разыгрывает партию по шахматному журналу, В. В. требовал, чтобы он немедленно шел завтракать. Самовар кипел, Владимир Владимирович заготавливал порцию бутербродов, читались и обсуждались сегодняшние газеты и журналы. Когда Осип Максимович работал над литературой 40-х годов, Владимир Владимирович просил, чтобы он докладывал ему обо всех «последних новостях 40-х годов» или же о чем-нибудь другом, чем Осип Максимович занимался в это время.

Утренний завтрак был любимым временем Владимира Владимировича: никто не мешал, голова была свежая после ночного отдыха. По утрам он всегда был в хорошем настроении. Так начинался каждый наш день долгие годы.

Осип Максимович делился с В. В. всем прочитанным. У Владимира Владимировича почти не оставалось времени для чтения, но интересовало его все, а Осип Максимович рассказывал всегда интересно. Часто во время этих разговоров

Владимир Владимирович подходил к Осипу Максимовичу и целовал его в голову, приговаривая: «Дай поцелую тебя в лысинку».

# В семье Бриков

**Николай Николаевич Асеев:**

Маяковский не был семейственным человеком, но он любил людей. «Не вы – не мама Альсандра Альсеевна. Вселенная вся семьею засеяна» – это не было только стихотворной строчкой, это было прямым заявлением о всемирности своего родства. И именно к маме обратился он с таким заявлением. Он сторонился быта, его традиционных форм, одной из главных между которыми была семейственность. Но без близости людей ему было одиноко. И он выбрал себе семью, в которую, как кукушка, залетел сам, однако же не вытесняя и не обездоливая ее обитателей. Наоборот, это чужое, казалось бы, гнездо он охранял и устраивал, как свое собственное устраивал бы, будь он семейственником. Гнездом этим была семья Бриков, с которыми он сдружился и прожил всю свою творческую биографию.

**Лили Юрьевна Брик:**

Сплетен было больше, чем это нормально, вероятно, оттого, что Володя был очень заметен не только стихами, но и всем своим видом и поведением, да и влюбленных в меня, пожалуй, было больше, чем это нормально, а вокруг каждой любви – особенно несчастной – всегда много сплетен.

Наша с Осей физическая любовь (так это принято называть) подошла к концу. Мы слишком сильно и глубоко любили друг друга для того, чтобы обращать на это внимание. И мы перестали физически жить друг с другом. Это получилось само собою. <…>

Я рассказала ему все и сказала, что немедленно уйду от Володи, если ему, Осе, это тяжело. Ося был очень серьезен и ответил мне, что «уйти от Володи нельзя, но только об одном прошу тебя – давай никогда не расстанемся». Я ответила, что у меня этого и в мыслях не было.

Так оно и случилось: мы всегда жили вместе с Осей. Я была Володиной женой, изменяла ему также, как он изменял мне, тут мы с ним в расчете. Во втором вступлении к поэме о пятилетке, которое он начал писать в виде письма ко мне, так и сказано: «… с тобой мы в расчете, не к чему перечень взаимных болей, бед и обид». Он переделал эти строчки в предсмертном письме на: «я с жизнью в расчете…» *Я* и *жизнь* для Володи были синонимами. <…>

Мы с Осей больше никогда не были близки физически, так

что все сплетни о «треугольнике», «любви втроем» и т. п. совершенно не похожи на то, что было. Я любила, люблю и буду любить Осю больше чем брата, больше чем мужа, больше чем сына. Про такую любовь я не читала ни в каких стихах, ни в какой литературе. Я люблю его с детства. Он неотделим от меня. Может быть, когда-нибудь я напишу об этой любви. Сейчас моя цель другая. Эта любовь не мешала моей любви к Володе. Наоборот, если бы не Ося, я любила бы Володю не так сильно. Я не могла не любить Володю, если его так любил Ося. Он говорил, что для него Володя не человек, а событие. Володя во многом перестроил Осино мышление, взял его с собой в жизненный путь, и я не знаю более верных друг другу, более любящих друзей и товарищей. Думаю только, что Ося никогда бы не бросил Володю так, как бросил его Володя. Он не мог бы убить себя, как бы ни был велик соблазн. Он не обрек бы Володю на такую тоску, на такое горе, на какое обрек Володя Осю. Ося пересилил бы себя для меня, для Володи, не дал бы волю больным нервам. Правда, Ося не был поэтом.

**Василий Васильевич Катанян:**

Трагедия двух людей из «треугольника», которых Маяковский называл своею семьей, заключалась в том, что Лиля Юрьевна любила Брика, но он не любил ее. А Владимир Владимирович любил Лилю, которая не могла любить никого, кроме Осипа Максимовича.

Любовь Маяковского и Лили Юрьевны не раз подвергалась серьезным испытаниям. В годы, когда революция ломала прежнее искусство, пересматривала все на свете вообще, – казалось, что и человеческие отношения должны найти новую форму, новые взаимосвязи. И что любовь, верность, ревность тоже в известной степени претерпят изменения, и отношения людей в чем-то станут другими. Но вот – в чем? <…>

Авангардизм нес новую идеологию и недвусмысленно заявлял о своих намереньях перестраивать не только жизнь общества, но и каждого человека в частности. А Лиля Юрьевна и Владимир Владимирович исповедовали именно эту идеологию.

**Галина Дмитриевна Катанян:**

Мы отправляемся по проспекту Руставели покупать ковры.

– Для моей новой квартиры, – говорит Владимир Владимирович. – Ее уже отремонтировали, и на днях моя семья переезжает в новую квартиру.

– А кто ваша семья? – спрашиваю я не без дурного любопытства, так как в те времена ходило много разговоров

о личной жизни Маяковского.

Он смотрит на меня очень строго и строго же говорит:

– Моя семья это Лиля Юрьевна и Осип Максимович Брик.

**Елена Владимировна Семенова:**

Женщина, свободная от материальной зависимости, имеет право на свободу в личной жизни. В Лефе мы увидели, что свобода выбора принадлежит только Лиле Юрьевне. Реально не существовало ни ее, ни О. М. Брика материальной независимости. Они зависели от Маяковского, причем этого никто не скрывал. Брик был одним из эрудированных дилетантов, рассыпающих идеи, но реально не создающих какой-то стройной системы этих идей. Они менялись, появлялись и пропадали в зависимости от очередного увлечения. Он много знал, был пресыщен, а потому искал особо острые и крайние идеи в искусстве, в литературе. Почва для такого широкого дилетантизма была самая благоприятная: он, собственно, нигде долго и прочно не работал, заставить его сделать статью, излагающую одну из этих, в сущности интересных, его же собственных теорий было очень трудно. Он недолго работал в рекламбюро Моссельпрома, в кино, писал небольшие статьи для «Синей блузы» (журнала). Он имел полную возможность не заботиться ни о каких «житейских мелочах», он был вполне обеспечен – о нем заботился Маяковский.

Лиля Юрьевна тоже временами рвалась к труду – так было и в РОСТе, и позже в кино. Но опять-таки это были только кратковременные броски. Вдруг оказывалось, что она «не одета», и она ехала за границу «приодеться». Такое приходилось слышать от нее самой.

Как маленький штрих этого быта меня поразил рассказ Ольги Третьяковой. Когда она была секретарем Лефа, то однажды, разбирая с Маяковским очередной материал для журнала, увидела стопку каких-то бланков. Оказалось, что Маяковский должен пойти уплатить в профсоюз за домработницу в Гендриковом. Ольга отобрала бланки и сделала это сама. И это тоже должен был делать Маяковский, при неработающей хозяйке дома и минимально занятом Брике?

**Елизавета Александровна Лавинская:**

– Вы себе представляете, – говорила она, – Володя такой скучный, он даже устраивает сцены ревности.

Вообще, Лиля Юрьевна была не особенно высокого мнения о Маяковском.

– Разве можно, – говорила она, – сравнивать Володю с Осей?

Осин ум оценят будущие поколения. Ося, правда, ленив, он барин, но он бросает идеи, которые подбирают другие. Усидчивая, кропотливая работа не Осин стиль, ему становится скучно. По существу, Осе нужна стенографистка, которая записывала бы все его слова.

О Маяковском она отзывалась так: <…> «Страдать Володе полезно, он помучается и напишет хорошие стихи».

**Галина Дмитриевна Катанян:**

Л. Ю. говорила мне, что из пятнадцати лет, прожитых вместе, пять последних лет они не были близки.

В бумагах Маяковского была записка Лили, в которой она писала Володе, что когда они сходились, то обещали друг другу сказать, если разлюбят. Лиля пишет, что она больше не любит его. И добавляет, что едва ли это признание заставит его страдать, так как он и сам остыл к ней.

Вероятно, в какой-то степени это так и было, потому что на моих глазах он был дважды влюблен, и влюблен сильно. И в те же годы я сама слышала, как он говорил: «Если Лиличка скажет, что нужно ночью, на цыпочках, босиком по снегу идти через весь город в Большой театр, значит, так и надо!»

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Мне казалось, что Лиля Юрьевна очень легко относилась к его романам и даже им как-то покровительствовала, как, например, в случае со мной – в первый период.

Но если кто-нибудь начинал задевать его глубже, это беспокоило ее. Она навсегда хотела остаться для Маяковского единственной, неповторимой.

Когда после смерти Владимира Владимировича мы разговаривали с Лилей Юрьевной, у нее вырвалась фраза:

– Я никогда не прощу Володе двух вещей. Он приехал из-за границы и стал в обществе читать новые стихи, посвященные не мне, даже не предупредив меня. И второе – это как он при всех и при мне смотрел на вас, старался сидеть подле вас, прикоснуться к вам.

**Василий Васильевич Катанян:**

Лиля Юрьевна переносила их разрыв легче. Если бы она страдала, то могла бы тут же вернуться – ведь она ушла от него, а не он. Но этого не происходило. Правда, она была постоянно при нем, они жили в одной квартире в Гендриковом той жизнью, о которой я уже говорил, ездили отдыхать, ходили в театр, занимались редакционными делами и т. д. Но не более.

Как-то мы с ЛЮ заговорили о поэме Асеева «Маяковский

начинается»: «Коля судит о Маяковском по себе, а сам полная ему противоположность. Прожил с ним жизнь, но так ничего и не понял. Вот он пишет обо мне: „Любила крепко, да не до конца, не до последней точки“. Это неверно, я любила Володю „до последней точки“, но я ему не давалась. Я все время увиливала от него. А если бы я вышла за него замуж, нарожала бы детей, то ему стало бы неинтересно и он перестал бы писать стихи. А это в нем было главное. Я ведь все это знала!»

**«АРБУЗОВ».** *Агентурно-осведомительная сводка 5 отд. СООГПУ № 45 от «18» апреля 1930 г. НАЧСООГПУ т. Агранову*[5]*:*

Быт семьи Бриков странный, непонятный. О. Брик, Лиля Брик и Маяковский как бы представляли одно целое, неделимое. Смерть Маяковского это катастрофа для всего быта Бриков. <…>

Странность «нового быта» семьи Бриков заключалась в том, что всем им было известно, что у Осипа есть любовница, что М. живет с Лилей, что одновременно здесь же бывает Кулешов, что сюда не приходит в дом любовница Осипа и вся эта половая неразбериха никого из них не удивляла и все они ее находили естественной.

Совершенно непонятным является то обстоятельство, что Маяковского свела с Полонской сама Лиля Брик. Между прочим ходят слухи, что с Полонской М. не жил. Вообще здесь в этих взаимоотношениях много неясного. И что подлинно делалось в стенах Бриковской квартиры никому ничего неизвестно. Это тайна.

# Дочь Патриция Джей Томпсон

**Василий Васильевич Катанян:**

То, что у Маяковского есть дочь, знали те, кто интересовался не только его творчеством, но и жизнью. Однако где она, кто она и почему о ней ничего не известно?

И вот она идет к нам в гости. Я вышел встретить ее к подъезду и издали узнал, хотя никогда раньше не видел. Она возвышалась над толпой прохожих – крупная, глазастая, улыбается, одета пестро – по-американски. Похожа на Владимира Владимировича, особенно на его сестру Ольгу – словом, в ту семью. Патриция пришла с сыном Роджером. Это симпатичный, веселый и умный человек. Подумать только, ведь Маяковский умер тридцати семи лет, а его внуку сорок два! Впрочем, такое бывает. Внешне он похож на немца, толстый, светловолосый, но по натуре американец. Поднимаемся к нам, рассаживаемся, первые фразы. Патриция взволнована, несколько раз принимается плакать, но через минуту уже смеется.

А история нашего знакомства такова.

После смерти поэта Лиля Юрьевна делала несколько попыток найти мать и дочь, пользуясь обратными адресами на конвертах от миссис Элли Джонс Маяковскому в Москву и его записными книжками. Обращалась в Америку к Давиду Бурлюку, который был знаком с Элли, просила его сделать это осторожно, вдруг тайна рождения скрывается от девочки? Бурлюк ответил, что тщетно ходил по этим адресам, м-с Джонс переехала, а куда – неизвестно. Ничего не могла выяснить и Эльза Триоле, когда была в США. Безрезультатными оказались и поиски, предпринятые другом Маяковского Романом Якобсоном, который жил в Америке. «Дочь могла выйти замуж, взять фамилию мужа и следов не найти», – говорила Лиля Юрьевна. В бытность мою в Нью-Йорке я спросил Татьяну Яковлеву – не знает ли она, что с миссис Джонс? И к моему изумлению, она услышала о ней и о дочке впервые – от меня в 1979 году!

И все-таки Элен-Патриция и Роджер сидят у нас дома, в Москве! Как же они отыскались?

«Я с девяти лет знала, кто мой отец, – говорит Патриция. – Но это была семейная тайна. Мама очень боялась Советов, она ревновала к Лиле Брик и не хотела, чтобы в Москве знали о нас. Меня удочерил муж мамы, которого я очень любила, и только когда их не стало, я стала искать контакты и первую попытку сделала, когда встретила Евтушенко. Я представилась ему как дочь Маяковского, но он не поверил и спросил, могу ли я

доказать это. Я ответила, что могу, и дала ему мой телефон. Но он не позвонил».

И вышло так, что одновременно Элен-Патрицию отыскали и корреспондент ТАСС в Нью-Йорке Сергей Бабич, и я. Дело в том, что в Москву вернулась выставка Александра Родченко, и ее устроители, молодые галеристы Джо Уокер, Кристофер Урсити и Мак-Гиннес побывали у нас в гостях и рассказали:

«Когда выставка, прошедшая с большим успехом, уже закрывалась, в галерею пришла дама лет 65, крупная, высокая и со словами „my father, my father“ направилась к стенду, где висели знаменитые родченковские фотографии Маяковского. „Маяковский – это мой отец“, – объяснила она нам». <…> Патриция перешла к рассказу о матери, справедливо недоумевая, почему об их романе у нас ничего не писали – ведь отец так знаменит! Долго мы объясняли, что Маяковский был «великий революционный поэт» (тем более – почему?), а революционному поэту не к лицу роман с эмигранткой (что в этом плохого?), что ханжеская система такую связь осуждала (за что же?), что цензура не пропускала такого рода подробности (почему, собственно?).

**Патриция Дж. Томпсон** *(р. 1926), дочь Маяковского и Э. Джонс. Специалист в области семейной психологии и экономики домашнего хозяйства. Профессор. Живет в США:*

Таня Эйдинова (переводчица. – Сост.) вспомнила <…> одну вещь, сказанную Полонской <…> когда Маяковский рассказывал ей обо мне, он сказал: «В этом ребенке мое будущее. Теперь я простерся в будущее».

# Про это

# Поэт и женщины

**Элизабет Джонс** *(Елизавета Петровна Зиберт; 1904–1984), возлюбленная Маяковского в США, мать его дочери Элен-Патриции. В записи Патриции Дж. Томпсон:*

Его воспитывали женщины. Его мать и сестры идеализировали его. Может быть, именно поэтому женщины всегда играли в его жизни важную роль – некоторые как любовницы, а другие просто как друзья. Но с теми, с кем у него были близкие отношения, он был нежным, внимательным и заботливым.

**Эльза Триоле:**

Женщины занимали в жизни Маяковского много места <… >. Дон Жуан, распятый любовью, Маяковский так же мало походил на трафаретного Дон Жуана, как хорошенькая открытка на написанное великим мастером полотно. В нем не было ничего пошлого, скабрезного, тенористого, женщин он уважал, старался не обижать, но когда любовь разрасталась – предъявлял к любви и женщине величайшие требования, без уступок, расчета, страховок… Такой любви он искал, на такую надеялся.

**Лили Юрьевна Брик.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Сексуальная потребность выражена средне. <…> Совершенно не обладал способностью индивидуально подходить к людям. Этим объясняется и то, что не мог найти женщину «по себе».

**Корнелий Люцианович Зелинский:**

Маяковский наклонился ко мне и сказал не то в шутку, не то всерьез:

– Вы не знаете, как надо обращаться с женщинами? Я никогда не могу найти верный тон. Говорить с ними басом, как с мужчинами, я не могу: они пугаются. Мурлыкать я не умею. А петь романсы, вроде Есенина, и подавно. Вы это должны знать.

– Почему вы это так решили?

– Вы мужчина тонкий и изячный. Вы, конечно, не Стива Облонский, который всем нравился и никогда не тратил на это усилий. Но все-таки, все-таки… Вот Есенина женщины берут в плен, как пираты в открытом море перекидывают мостик и берут на абордаж.

**Галина Дмитриевна Катанян:**

Маяковский любил общество красивых женщин, любил ухаживать за ними – неотступно, настойчиво, нежно, пылко, своеобразно. В то же время он был деликатен, оберегал репутацию женщин и обнародовал свои отношения только в том случае, когда, что называется, имел серьезные намерения, как это было с Наташей или с Полонской.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

У обывателей тогда укоренилось (существовало) мнение о Маяковском как о хулигане и чуть ли не подлеце в отношении женщин.

Помню, когда я стала с ним встречаться, много «доброжелателей» отговаривало меня, убеждали, что он плохой человек, грубый, циничный и т. д.

Конечно, это совершенно неверно.

Такого отношения к женщине, как у Владимира Владимировича, я не встречала и не наблюдала никогда.

Это сказывалось и в его отношении к Лиле Юрьевне и ко мне. Я не побоюсь сказать, что Маяковский был романтиком. Это не значит, что он создавал себе идеал женщины и фантазировал о ней, любя свой вымысел.

Нет, он очень остро видел все недостатки, любил и принимал человека таким, каким он был в действительности.

Эта романтичность никогда не звучала сентиментальностью.

**Лев Абрамович Кассиль:**

К женщинам он относится строго и чисто, с какой-то особой осторожностью, словно боится задеть, обидеть своим вечно бурным движением.

**Наталья Федоровна Рябова:**

Заметив, что меня колотит страшный озноб, Владимир Владимирович бросился меня укутывать своим пиджаком и пальто. Не выдержав больше напряжения, я страшно и безудержно расплакалась. Владимир Владимирович совсем растерялся. Так как я не отвечала ни на какие вопросы, усадил меня к себе на колени и стал целовать, уговаривая, утешая и говоря, что сам расплачется. Когда я наконец успокоилась, наступил второй ужас: я ведь была в объятиях Маяковского! Физиономия моя на этот раз выражала, наверное, такую полную растерянность, что Владимир Владимирович не выдержал и стал хохотать.

– Что бы сказал папа? Дочь целует Маяковского и даже не замечает этого!

– Я не целовала вас, это вы меня целовали!

– А вы ведь не вырывались, Натинька, нет, вы не вырывались! <…>

Я сказала только, что боялась, что за мной пришла милиция, которая хочет меня арестовать как «веселую девушку». Владимир Владимирович буквально онемел от таких предположений. Вероятно, если бы он не боялся, что я опять разревусь, он просто назвал бы меня идиоткой или дурой, но только сказал:

– Натинька, лапочка, дурочка! Да за кого же вы меня-то считаете?

После этого разговор стал серьезным.

– Хотите ехать в Москву? Будете учиться. Найдем вам комнату. Мы будем к вам очень, очень хорошо относиться. <…>

Когда я уходила, Маяковский сказал:

– Натинька, в 7 часов, когда отойдет ваш поезд, я буду стоять на середине Лубянской площади возле фонтана и крикну: «До свидания, Натинька!» А вы высунетесь в окно и крикнете: «До свидания, Володя!»

**Соломон Самуилович Кэмрад:**

Все, встречавшиеся с Маяковским, в один голос говорят о его изумительно честном, благородном, рыцарском отношении к женщинам. Он презирал скоротечные пошленькие связи и, если любил – любил горячо, всем сердцем.

**Татьяна Алексеевна Яковлева:**

Он был ревнивый.

**Эльза Триоле:**

Сам он требовал от женщин, – с которыми он Лиле не изменял, – того абсолютного чувства, которое он не мог бы дать, не изменив Лиле. Ни одна женщина не могла надеяться на то, что он разойдется с Лилей. Между тем, когда ему случалось влюбиться, а женщина из чувства самосохранения не хотела калечить своей судьбы, зная, что Маяковский разрушит ее маленькую жизнь, а на большую не возьмет с собой, то он приходил в отчаяние и бешенство. Когда же такое апогейное, беспредельное, редкое чувство ему встречалось, он от него бежал.

Я помню женщину, которая себя не пожалела… Это было году в 17-м. Звали ее Тоней – крепкая, тяжеловатая, некрасивая, особенная и простая, четкая, аккуратная, она мне сразу полюбилась. Тоня была художницей, кажется мне – талантливой, и на всех ее небольших картинах был изображен Маяковский, его знакомые и она сама. Запомнилась «Тайная вечеря», где место

Христа занимал Маяковский; на другой – Маяковский стоит у окна, ноги у него с копытцами, за ним убогая комната, кровать, на кровати сидит сама художница в рубашке. Смутно помню, что Тоня также и писала, не знаю, прозу или стихи. О своей любви к Маяковскому она говорила с той естественностью, с какой говорят, что сегодня солнечно или что море большое. Тоня выбросилась из окна, не знаю в каком году. Володя ни разу за всю жизнь не упомянул при мне ее имени.

**Николай Николаевич Асеев.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Половая способность всегда была развита сильно. Было много связей летучего характера, наряду с более длительной. Вообще был всегда в окружении женщин, хорошо и сочувственно к нему относившихся.

**Татьяна Алексеевна Яковлева:**

Он совершенно не был бабник, он был стопроцентно однолюбец, он мог любить одну женщину. Он любил в своей жизни определенно двух женщин – Лилю и [неразборчиво]. И потом отношения их были неожиданно дружеские, сердечные. «Пойдем, пожалуйста, найдем что-нибудь для Лилички» – с этого начинались наши прогулки. <…>

Он был абсолютный джентльмен ко мне. Это была сама нежность, сама любовь, само внимание. Это было что-то невероятное. Я такого никогда не видела. <…> Он не выносил предлагающих себя женщин. Его это приводило в ярость.

Он был охотник. Охотник за женщинами.

**Эльза Триоле:**

Маяковский ходил от женщины к женщине и, ненасытный и жадный, страшно грустил… Они были нужны ему все, и в то же время ему хотелось единой любви. Любил Лилю, одну, и в то же время бросался к другим, воображал другое. Таким он был по натуре своей. Говорил мне в Париже: «Когда я вижу здешнюю нищету, мне хочется все отдать, а когда я вижу здешних миллиардеров, мне хочется, чтобы у меня было больше, чем у них!»

Больше, сильнее, выше, лучше… Чтобы сердце билось стихами, он искал восторга любви, огромной, абсолютной…

**Григорий Израилевич Поляков:**

Сексуальных извращений, по словам Кассиля, не было.

# 1913–1914.
# Софья Шамардина

**Софья Сергеевна Шамардина:**

Маяковского увидела и услышала первый раз осенью 1913 года в Петербурге в Медицинском институте. Лекцию о футуристах читал К. Чуковский, который и взял меня с собой в институт, чтоб показать живых, настоящих футуристов. Маяковского я уже знала по нескольким стихотворениям, и он уже был «мой» поэт. Читала и «Пощечину общественному вкусу».

После Корнея Ивановича вышел на эстраду Маяковский – в желтой кофте, с нагловатым, как мне показалось, лицом – и стал читать. Никого больше не помню, хотя, наверно, были и Бурлюки, и Крученых.

После лекции К. И. познакомил меня с Маяковским. Я с радостью согласилась <…> ехать в «Бродячую собаку», так как туда же вместе с Чуковским направлялся и Маяковский.

Мы приехали в «Собаку» часов в 12. Маяковский сначала ушел от нас, но скоро подсел к нашему столу рядом со мной. Я сидела между ним и Чуковским, счастливая и гордая вниманием поэта.

За нашим столом сидели сатириконцы (Радаков, еще кто-то), на которых тщетно пытался обратить мое внимание Корней Иванович. Мне уже никто не был нужен, никто не интересен. Мы пили вдвоем какое-то вино, и Маяковский читал мне стихи. О чем мы говорили – я не помню. Помню только, что К. И. не раз взывал ко мне: «пора домой», «Сонечка, не пейте», «Сонка, я вижу, что поэт оттеснил бедного критика» и т. п.

Только когда у К. И. началась мигрень, мы вышли на темную, пустую Михайловскую площадь. Маяковский, Корней Иванович и я.

Корней Иванович ворчал, недовольный тем, что мы так долго сидели в «Бродячей собаке», что у него болит голова, а надо отвозить меня. «Я ее провожу», – сказал Маяковский. Корней Иванович заколебался. Провожатый казался ему не очень надежным. Но сама провожаемая совсем не протестовала. Мигрень у К. И. была сильная, и она решила вопрос. Он очень торжественно и значительно поцеловал меня в лоб и сказал: «Помните, я знаю ее папу и маму».

Я жила на какой-то линии Васильевского острова, недалеко от Бестужевских курсов, на которых довольно старательно училась до встречи с Маяковским.

Корней Иванович ушел, и мы остались с Маяковским одни.

Куда идти? Мост разведен. На Невском взяли извозчика. Едем. Темно, сыро. Пустынно. Где-то слышен пронзительный женский смех, крики.

Стало немножко не по себе. Молчу. Уже немножко жалею, что нет Корнея Ивановича. Молчит и Маяковский.

Неожиданно «агрессивное» поведение Маяковского заставило меня яростно застучать в спину извозчика и почти на ходу выпрыгнуть из пролетки в темноту Невского.

«Сонка, простите. Садитесь – я же должен вас проводить. Больше не буду». <…>

Помню, как хозяйка квартиры, в которой я снимала комнатенку на Васильевском острове, предложила мне найти другую комнату. От нее не скрылось то, что иногда очень поздно мы приходили вдвоем, стараясь не шуметь, а утром я таскала к себе в комнату воду в графине, чтобы умыться Маяковскому, не показываясь на глаза хозяйке. Как он ходил на цыпочках, с шумом натыкаясь то на стол, то на стул, – и конспирация не удавалась. <…>

Зеркало помню, потому что вижу в нем Маяковского и себя. Подвел меня к нему, обнял за плечи. Стоим и долго смотрим на себя. «Красивые, – говорит. – У нас не похоже на других».

В этом номере хорошие бывали у нас часы. <…>

Помню одну ночь в «Собаке». Очевидно, было наводнение. Подвал «Бродячей собаки» был залит водой. «Собака» была закрыта, не было света. На полу лежали бревна и доски, чтоб можно было ходить. Никого не было, Пронин был один, когда пришли мы с Маяковским. Потом еще кто-то подошел с девушкой, которую Пронин звал «Луной», а на самом деле она была Надя и училась в театральной школе.

Затопили камин. Жарили в камине баклажаны. Сидели у огня. Маяковский не позволял мне ходить по залитому водой полу и переносил меня на руках, шагая по бревнам. Нас принимали за брата и сестру и даже находили сходство. Мне нравилось это, потому что мне всегда больше хотелось быть сестрой. И из-за этого моего «пункта» было много тяжелого в то время, ненужного, омрачавшего нашу дружбу. Немножко я себя покалечила толстовством в самой ранней юности. А в эти годы я уж больше по привычке вегетарьянствовала, а в вопросах пола еще не избавилась от всякой чепухи. Ну, словом, мне хотелось быть сестрой, но и терять Маяковского не хотела.

Бывало и смешно, и трагично.

Помню в этом свете невеселую поездку в Финляндию. Зима. Под большими соснами в каком-то поселке – большой

деревянный дом вроде пансиона. По-домашнему уютная комната, камин, керосиновая лампа. Маяковский сидит и пишет, а я на полу у огня сижу и все время боюсь, что он ко мне подойдет.

Помню, как он, внимательно приноравливаясь к моему вегетарьянству, заказывает ужин. Яичницу заказал. А я сидела и ждала, когда он уйдет…

Иногда он меня представлял так: «Сонечка – сестра». А потом, когда заканчивал «Владимира Маяковского», говорит: «Там есть Сонечка – сестра». <…>

Осенью 1913 года в Петербурге я зашла к Северянину. Он подарил свой «Громокипящий кубок» с надписью «Софье Сергеевне Шамардиной – ласково и грустно автор И. Северянин». На поэзоконцертах его бывала редко, но домой к нему в тот сентябрь заходила. <…>

До встречи с Маяковским общество Северянина все же доставляло мне удовольствие. Девчонке нравилось его влюбленно-робкое отношение. Оно меня не очень волновало, скоро я стала принимать его как должное, тем более что почтительная влюбленность его меня не пугала. Бывало приятно забежать к Северянину, послушать приятные неволнующие стихи, выпить чаю с лимоном и коньяком, поговорить о поэтах. <…>

После моего знакомства с Маяковским Северянин признал и Маяковского. Я уж не помню, как я их познакомила. Маяковский стал иногда напевать стихи Северянина. Звучало хорошо. Кажется, были у них общие вечера и на Бестужевских курсах. Смутно вспоминаю об этом.

Когда я уезжала в Минск, провожали меня Северянин с голубыми розами и Маяковский с фиалками. Маяковский острил по этому поводу и шутя говорил: «Тебя провожают два величайших поэта современности». А у Северянина было трагическое лицо.

Уехать мне в Минск пришлось вот почему: когда моя дружба с Маяковским приняла характер отношений, не совсем приемлемых для общепринятой морали (скажем так), я очень старательно избегала встречи с Чуковским, чтоб не пришлось ему все рассказывать. Я перестала к нему заходить в дни его приезда в Питер в его номерок в «Пале-Рояле», где он, бывало, довольно уныло жевал сырую морковку и тонким голосом говорил о пользе ее. А когда хозяйка моя васильеостровская решила со мной расстаться, я вернулась в семью друзей моей сестры Станюковичей <…>. Но так как Маяковский звонил и днем и ночью, это наводило моих хозяев на грустные мысли. Сестра моя получила письмо от Станюковича – «за Соней охота, ее надо забрать домой». А я собралась и уехала в Гатчину к моей

гимназической преподавательнице французского языка.

Чуковский, не найдя меня ни на Васильевском острове, ни у Станюковичей, заволновался. Через некоторое время я нашлась, и приятель К. И., которому он поручил разыскать меня, дал в Куоккалу, по условию с К. И., телеграмму такого содержания: «Потерянная рукопись найдена».

Пришлось исповедоваться. Теперь-то я знаю, что не нужно было этого делать. В развитии дальнейших наших отношений с Маяковским нехорошую роль сыграл К. И. со своей бескорыстной «защитой» меня от Маяковского.

Тут была даже клевета (хотя, может быть, он и сам верил в то, что говорил). Во всяком случае, старания К. И. возымели свое влияние на сугубо личные мои отношения с Маяковским. Не хочется об этом вспоминать. Помню свое глупое, гадкое, отвратительное поведение, когда избегала встреч с Маяковским. Помню, как однажды он, нигде не найдя меня, пошел в «Бродячую собаку» и уговаривал уйти оттуда. «Если не хочешь идти со мной, все равно уходи отсюда. Не оставайся. Здесь же все заплевано. Не ходи сюда».

Ушел он тогда один. Этот случай помню всегда со стыдом.

Все же встречались и дружили крепко. Бывали вместе у Северянина. Помню один вечер у него: слушаю Маяковского и Северянина, по очереди читающих свои стихи. Маяковский под Северянина «поет» какие-то стихи Северянина и спрашивает, похоже ли. Северянин не знал о наших с Маяковским отношениях.

Моя «исповедь» перед К. И., которого я очень любила, происходила, вероятно, в январе 1914 года. Было очень холодно. Поздний вечер. К. И. таскал меня весь день с собой. <…> Завершение «исповеди» было в Куоккале, в дачной бане Чуковского. Домой меня нельзя было пригласить из-за Марии Борисовны. Хорошо, что баня в этот день топилась. Он принес туда свечу, хлеба, колбасы и взял слово, что с Маяковским я больше встречаться не буду, наговорив мне всяких ужасов о нем.

Рано утром – чуть свет – я уехала в Питер, чтоб снова встретиться с Маяковским.

От меня Маяковский никогда не слышал, что о нем говорил К. И. И не от меня Маяковский узнал и о моей беременности, и о фактически преждевременных родах (поздний аборт), которые сорганизовали мои «спасатели».

Совершенно гнусная, не имеющая под собой никакой почвы клевета К. И. <…> все же впоследствии стала известна Маяковскому. Но об этом мы в то время с Маяковским

не говорили никогда. <…>

Дальше следует тяжелая полоса моих петербургских дней, закончившихся уничтожением будущего ребенка. И это тогда, когда у меня загорелась такая жажда материнства, что только боязнь иметь больного урода заставила меня согласиться на это. Это сделали «друзья». Маяковского видеть не хотела и просила ничего ему обо мне не говорить.

А летом 1914 года мы встретились в Москве. Мама моя была больна и была в каком-то частном санатории для нервнобольных. Я жила у тетки на Новинском бульваре.

Встретились мы бурно-радостно и все общупывали друг друга – лицо, руки, плечи. Я пришла на Большую Пресню, где жили Маяковские. Он в 20 – нет, в 21 год был болен корью. Уже поправлялся. Лежал на коротком диванчике – ноги висели. Еще не вставал. Рубашка на локтях у него была дырявая, а рукава короткие, из них – большие ослабевшие руки. <…>

В маленькую его комнатку, в которой был еще стол и, кажется, шкаф, стулья, прибегала часто, пока не встал.

Познакомил с матерью и сестрами. Чаем поили и всегда очень приветливо встречали. Помню, что особенно Ольга радовалась и одобрительно относилась к моим посещениям. Нашла в Володиных книгах мои фотокарточки, показывала мне. В эти же дни встретила у Маяковского С. Третьякова – длинный, в парусиновом костюме: «А, вот она, Сонка!»

Втроем бродили. А когда Маяковский поправился, я для безопасности водила с собой свою двоюродную сестру. Сначала Маяковский сердился, а потом – ничего. Она была очень хорошенькая. Однажды я преспокойно уснула на этом самом диванчике. А Владимир с Лизой сидели у меня в ногах. На следующий день он говорит: «У нее кожа очень хорошая. Ты ее больше не води с собой». <…>

К прежней близости не возвращались никогда. Последняя попытка с большим объяснением у калитки в Новинском переулке привела только к закреплению конца нашей любви. Любви ли?

– Ты должна вернуться ко мне.
– Я ничего не должна.
– Чего ты хочешь?
– Ничего.
– Хочешь, чтоб мы поженились?
– Нет.
– Ребенка хочешь?
– Не от тебя.
– Я пойду к твоей маме и все расскажу.

– Не пойдешь.
Это краткий конспект большого разговора летом 1914 года.

# 1914.
# Мария

**Василий Васильевич Каменский:**

Маяковский вглядывался в далекую линию горизонта.

Кругом, греясь на солнце, гуляла публика.

Я вдруг заметил совершенно необыкновенную девушку: высокую, стройную, с замечательными сияющими глазами, словом, настоящую красавицу.

Она шла рядом с молодой дамой, очень на нее похожей. С ними был мужчина средних лет.

Я сказал:

– Володичка, взгляни сюда…

Маяковский обернулся, пристально оглядел девушку и как-то сразу забеспокоился:

– Вот что, вы останьтесь здесь или как хотите, а я пойду и буду в гостинице через… Ну, словом, скоро.

Он быстро отошел и скрылся в толпе. <…>

Бурлюк лукаво ухмылялся. <…>

– …Будем пробивать тоннель в будущее. А насчет этой вот… Джиоконды… Для Володи это – вроде чуда… если будет удача… Он молод, ничего еще не испытал. И пусть гоняет на лихачах…

И как раз именно в эту секунду я увидел, как на лихаче пронесся Маяковский и с ним кто-то был: кажется, она.

– Додичка, смотри, смотри… Володя… Он не один…

Часа через два мы вернулись в гостиницу.

Маяковского не было.

Мы ждали еще час. И еще час.

Володи не было.

Ушли в ресторан и наказали: если появится Маяковский – мы там-то.

В ресторане ждали, ждали и решили обедать без Володи.

Наконец он появился.

Взбудораженный, чему-то улыбающийся, рассеянный необычайно, совсем на себя не похожий.

Сел и, желая сохранить спокойствие, начал разглядывать обедающую публику, будто искал кого-то. И сразу сказал подошедшему официанту:

– Дайте три бутылки шампанского, а обедать я не буду.

…Я смотрел на Володю с изумлением: его было трудно узнать – так он весь сразу преобразился, стал торжественным и очень красивым.

Маяковский улыбнулся и сказал:

– Вы понимаете, что произошло? Я встретил компанию знакомых из Москвы. Меня затащили к себе обедать. Потом сели играть в карты, и я всех обыграл. И вот угощаю. Пожалуйста. <… >

По хитрому глазу Бурлюка я понял, что мы идем обедать к Джиоконде.

Так оно и оказалось.

Через час мы уже были в квартире того самого инженера, которого я видел у памятника Ришелье с женой и Джиокондой. Она оказалась сестрой жены инженера.

Звали ее Мария Александровна.

Бесконечно обаятельная и веселая, она искренне обрадовалась нашему приходу.

Обед у Джиоконды превратился в поэтическое торжество: мы почти все время читали стихи, говорили какие-то особенно праздничные вещи.

Володя был в ударе. Его остроты могли рассмешить памятник герцогу Ришелье. Он говорил много, умно и весело.

Он во что бы то ни стало хотел нравиться всем присутствующим и, конечно, в первую очередь Марии Александровне. Ему легко удалось достичь желанного впечатления.

Дружески подшучивая, он придумывал про меня невероятные фантастические истории.

Он, например, уверял, что я однажды на самолете так высоко залетел за облака, что земля в это время отодвинулась, и я начал спускаться в бездонную пропасть и едва попал куда-то на остров к зулусам, которые приняли меня за бога. И будто там, у зулусов, я написал самую гениальную поэму, которую сейчас прочту…

…Бурлюк глубокомысленно молчал, наблюдая за Володей, который нервно шагал по комнате, не зная, как быть, что предпринять дальше, куда деться с этой вдруг нахлынувшей любовью.

Впервые в жизни познавший это громадное чувство, он метался из угла в угол и вопрошающе твердил вполголоса:

– Что делать? Как быть? Написать письмо? Но это не глупо?.. «Я вас люблю. Чего же боле…» Сказать все сразу? Она испугается… И всем будет страшно… Скажут – желтая кофта и вдруг…

И он нежно, по-детски, почти беспомощно, обратился к нам:

– Мне что-то очень беспокойно… Давайте пойдем к морю. Я никогда не видал моря ночью. Это должно быть замечательно.

– Пойдем.

Мы отправились на берег и долго смотрели в густо-синее величие безмолвия, над которым висели сочные, утешающие звезды.

Володя почти шептал:

– Гениальнейшая ночь… Довольно… Пойдемте…

<…> Мы пошли в ресторан, но уже через час Володя сказал:

– Нет, не могу… Пойдемте в другой…

Мы перешли в какой-то маленький ночной кабачок – там пел квартет «Сибирских бродяг».

До утра просидели там, подпевая знакомые каторжные песни:

Бродяга к Байкалу подходит,
Рыбачию лодку зовет…

Маяковский предлагал:

– Поедемте в Сибирь?

– А Джиоконда?

– Только с ней.

Бурлюк, закусив нижний край губы, говорил задумчиво:

– Да-с… вот… так, Владим Владимыч… И напевал:

Есть море синее.
Есть любовь сильная.

Володя виновато улыбался.

Настал вечер 16-го.

Оставалось до начала выступления три часа.

Володи не было, хотя мы и условились, что должны, как всегда, готовиться вместе и вместе пойти к началу.

До сих пор он был исключительно аккуратен, но, видно, любовь изменила его.

Вообще мы видели его теперь урывками.

Он влетал к нам в гостиницу этаким порывом морского ветра на несколько минут и, справившись о нашем благополучии, снова исчезал. <…>

Маяковский читал с исключительным подъемом и все время поглядывал в сторону, где сидела сияющая Мария Александровна. <…>

– Нет. Без вас не останусь.

– Но мы занимаемся искусством…

– Я тоже…

– …И таким делом, которое не ждет. В Кишиневе театр снят,

афиши расклеены. В Николаеве также. А дальше – Киев. Решай, Во-лодичка, решай.

– Я-то решил сразу, но Мария…

– Объяснитесь завтра же. Ведь через месяц ты можешь вернуться в Одессу.

– Так я не желаю. Завтра в четыре она будет, и я скажу обо всем и убежден, что Мария согласится, если только… Итак, до завтра.

Володя, горько улыбнувшись какой-то своей мысли, исчез. Это было поздно ночью.

На следующий день мы виделись лишь за завтраком. Володя был молчалив.

А в полдень, как встретились, он твердо и мрачно сказал:

– Едем.

И, накинув пальто, снова скрылся.

Утром мы втроем уже завтракали на корабле, направляясь по Черному морю в Николаев.

Нас сильно качало.

Мы долго молчали: очень было жаль Володю.

Бурлюк попытался было что-то говорить об искусстве Запада и Востока.

Но Маяковский не слушал…

Купе международного вагона. Едем из Николаева в Кишинев. <…>

Беседуем о том, что надо делать крупные, монументальные вещи, с расчетом на вечность, со взглядом на благодарное потомство.

Говорим об этом со специальной целью – разжечь Володю.

А он рассеянно поглядывал в окно на бегущую панораму и напевал начало известного северянинского стихотворения:

Это было у моря…

Напевал много раз, на всякие лады. И вскоре, мрачно улыбаясь, начал повторять, вырубая ритмом каждое слово:

Это было,
Было в Одессе.

Мы сразу поняли, что Володя задумал большую вещь и «это было» является началом, трамплином.

Через четверть часа Маяковский, пристально смотря на нас, прочел медленно, с большими, напряженными паузами:

Вы думаете, это бредит малярия?
Это было,
Было в Одессе.
Приду в четыре, – сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.

– Гениально! – ликовали мы…

Маяковский уже больше не оставался один на-один со своею личной болью. Боль была выговорена в слове, претворена в ритм.

В кругу стройных грузинок Маяковский постоянно острил на мой счет, а грузинки сочно, звонко хохотали.

Что он наговаривал на меня – не знаю.

И только ночью в гостинице признался:

– Васичка, не сердись. Это я нарочно делаю, нарочно порчу, чтобы ты не влюбился в Тифлисе, как я в Одессе. Вы отвлекли меня от любви к Марии, ну и я вас отвлекаю. Любить нельзя – масса тяжелых неприятностей. Лучше будем писать стихи.

# 1915. Эльза Каган (Триоле)

**Эльза Триоле:**

Эти, двадцатилетние, были тогда в разгаре боя за такое или эдакое искусство, я же ничего не понимала, сидела девчонка девчонкой, слушала и теребила бусы на шее… нитка разорвалась, бусы посыпались, покатились во все стороны. Я под стол, собирать, а Маяковский за мной, помогать. На всю долгую жизнь запомнились полутьма, портняжий сор, булавки, нитки, скользкие бусы и рука Маяковского, легшая на мою руку.

Маяковский пошел меня провожать на далекую Маросейку. На площади стояли лихачи. Мы сели на лихача. <…>

Маяковский звонил мне по телефону, но я не хотела его видеть и встретилась с ним случайно. Он шел по Кузнецкому мосту, на нем был цилиндр, черное пальто, и он помахивал тростью. Повел бровями, улыбнулся и спросил, может ли прийти в гости. Начиная с этой встречи воспоминания встают кадрами, налезают друг на друга, и я не знаю, ни какой срок их отделяет, ни в каком порядке они располагаются. <…>

В это время Маяковский бывал у меня часто, может быть, ежедневно. <…>

Помню его за ужином: за столом папа, мама, Володя и я. Володя вежливо молчит, изредка обращаясь к моей матери с фразами, вроде: «Простите, Елена Юльевна, я у вас все котлеты сжевал…», и категорически избегая вступать в разговоры с моим отцом. Под конец вечера, когда родители шли спать, мы с Володей переезжали в отцовский кабинет, с большим письменным столом, с ковровым диваном и креслами на персидском ковре, книжным шкафом… Но мать не спала, ждала, когда же Володя наконец уйдет, и по нескольку раз, уже в халате, приходила его выгонять: «Владимир Владимирович, вам пора уходить!» Но Володя, нисколько не обижаясь, упирался и не уходил. Наконец, мы в передней, Володя влезает в пальто и тут же попутно вспоминает о существовании в доме швейцара, которого придется будить и для которого у него даже гривенника на чай не найдется. Здесь кадр такой: я даю Володе двугривенный для швейцара, а в Володиной душе разыгрывается борьба между так называемым принципом, согласно которому порядочный человек не берет денег у женщины, и неприятным представлением о встрече с разбуженным швейцаром. Володя берет серебряную монетку, потом кладет ее на подзеркальник, опять берет, опять кладет… и наконец уходит навстречу презрительному гневу швейцара, но с незапятнанной честью.

А на следующий день все начиналось сызнова: появлялся Володя, с изысканной вежливостью здоровался с моей матерью и серьезно говорил ей: «Вчера, только вы легли спать, Елена Юльевна, как я вернулся по веревочной лестнице…» И мама, несмотря на присущее ей чувство юмора и на то, что мы жили на третьем этаже, с беспокойством смотрела на Маяковского: может быть, он действительно вернулся, не по веревочной, а по обыкновенной лестнице. <…>

Я же относилась к Маяковскому ласково и равнодушно, ни ему, ни себе не задавала никаких вопросов, присутствие его в доме считала вполне естественным, училась, читала книги и, случалось, задерживалась где-нибудь, несмотря на то, что он должен был прийти. Не застав меня, Володя оставлял свою визитную карточку, сантиметров в пятнадцать ширины, на которой желтым по белому во всю ширину и высоту было напечатано: *Владимир Маяковский.* Моя мать неизменно ее ему возвращала и неизменно ему говорила: «Владимир Владимирович, вы забыли вашу вывеску». Володя расшаркивался, ухмылялся и клал вывеску в карман. <…>

Таково было положение вещей, когда в Москву из Петрограда приехала Лиля. Здоровье отца опять ухудшилось. Как-то мимоходом она мне сказала: «К тебе тут какой-то Маяковский ходит… Мама из-за него плачет». Я необычайно удивилась и ужаснулась: мама плачет! И когда Володя позвонил мне по телефону, я тут же сказала ему: «Больше не приходите, мама плачет». <…>

Отца перевезли в Малаховку на дачу, которую мы занимали с теткой, маминой сестрой. Не знаю, не помню, каким образом Володя меня там нашел. Просил встретиться, назначал мне свидания на малаховской станции. Я же то не приходила, то приводила с собой тетку и видела Володю только издали, стоящего широко расставив ноги, спиной к дачному вокзалу… В который-то раз все-таки почему-то пришла одна: он так же стоял с папиросой в зубах и мутным от ярости взглядом. Должно быть, то было вечером, оттого что, отойдя от вокзала, Володя мне вспоминается как тень, бредущая рядом со мной по пустой дачной улице. Злобствуя на меня, Володя шел на расстоянии, и в темноте, не обращаясь ко мне, скользил вдоль заборов его голос, стихами. К тому, что Володя постоянно пишет стихи, про себя или голосом, я давно привыкла и не обращала на то внимания. Я не обращала никакого внимания на то, что он поэт. И внезапно в тот вечер меня как будто разбудили, как будто зажгли яркий свет, меня озарило и вдруг я услышала негромкие

слова:

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?

И дальше… Я остановилась и взволнованно спросила:

– Чьи это стихи?

– Ага! Нравится?.. То-то! – сказал Володя, торжествуя.

Мы пошли дальше, потом сели где-то, и на одинокой скамейке, под звездным небом, Владимир Маяковский долго читал мне свои стихи. Должно быть, «Облако», и только «Облако». <…>

В июле умер отец. Лиля приехала на похороны. И, несмотря ни на что, мы говорили о Маяковском. Она о нем, конечно, слыхала, но к моему восторгу отнеслась скептически. После похорон, оставив мать с теткой на даче, я поехала к Лиле в Петроград, и Маяковский пришел меня навестить к Лиле, на улице Жуковского. В этот ли первый раз, в другую ли встречу, но я уговорила Володю прочесть стихи Брикам, и думается мне, что тогда, в тот вечер, уже наметилась судьба многих из тех, что слушали «Облако» Маяковского… Брики отнеслись к стихам восторженно, безвозвратно полюбили их. Маяковский безвозвратно полюбил Лилю.

# 1915–1930. Л. Ю. Б.

**Василий Васильевич Катанян:**

Когда Эльза перешла в восьмой класс, у нее вспыхнул роман с молодым, неизвестным тогда еще поэтом – утро ее любви, полудетское, робкое чувство. По бедности он катал ее на трамвае мимо площади, которая впоследствии будет носить его имя – площадь Маяковского. Эльза привела поэта к Лиле, когда та была уже замужем. Правда, к 1915 году она и Осип Максимович Брик фактически были в разводе, но продолжали оставаться в дружеских отношениях, живя одними интересами и находясь в одной квартире.

**Лили Юрьевна Брик:**

С Маяковским познакомила меня моя сестра Эльза в 1915 году, летом в Малаховке. Мы сидели с ней и с Левой Гринкругом вечером на лавочке возле дачи.

Огонек папиросы. Негромкий ласковый бас:

– Элик! Я за вами. Пойдем погуляем?

Мы остались сидеть на скамейке.

Мимо прошла компания дачников. Начался дождь. Дачный дождик, тихий, шелестящий. Что же Эля не идет?! Отец наш смертельно болен. Без нее нельзя домой. Где, да с кем, да опять с этим футуристом, да это плохо кончится…

Сидим как проклятые, накрывшись пальто. Полчаса, час… Хорошо, что дождь не сильный, и плохо, что его можно не заметить в лесу, под деревьями. Можно не заметить и дождь и время. <…>

И этот опасный футурист увел мою сестру в лес!

Вот наконец огонек папиросы. Белеет рубашка. На Эльзу накинут пиджак Маяковского.

– Куда же ты пропала?! Не понимаешь, что я не могу без тебя войти в дом! Сижу под дождем, как дура…

– Вот видите, Владимир Владимирович, я говорила вам!

Маяковский прикурил новую папиросу о тлеющий окурок, поднял воротник и исчез в темноте.

Прошло около месяца после случайной встречи в Малаховке. Мы жили в Петрограде в крошечной квартире. Как-то вечером после звонка в передней я услышала знакомый голос и совершенно неожиданно вошел Маяковский – приехал из Куоккалы, загорелый, красивый, сразу занял собой все пространство и стал хвастаться, что стихи у него самые лучшие, что мы их не понимаем, что и прочесть-то их не сумеем и что

кроме его стихов гениальны еще стихи Ахматовой. Я была твердо уверена, что хвастаться стыдно, и сказала, стараясь быть вежливой, что произведений его я, к сожалению, не читала, но попробую понять их, если они у него с собой. Есть «Мама и убитый немцами вечер». Я прочла стихотворение вслух. Маяковский удивился, что без запинок, и спросил недоверчиво: «Не нравится?» Я ответила: «Не особенно». < … >

Умер папа. Я ездила в Москву на похороны. Приехала в Питер Эльза, опять приехал Маяковский из Финляндии. Поздоровавшись, он пристально посмотрел на меня, нахмурился, потемнел, сказал: «Вы катастрофически похудели…» И замолчал. Он был совсем другой, чем тогда, когда в первый раз так неожиданно пришел к нам. Не было в нем и следа тогдашней развязности. Он молчал и с тревогой взглядывал на меня.

**Василий Васильевич Катанян:**

Лиля умела влиять на сестру, подчинять ее своей воле. И Эльза не порвала ни с нею, ни с Владимиром Владимировичем, а, страдая и досадуя, подчинилась обстоятельствам.

**Лили Юрьевна Брик:**

Мы с Володей не расставались, ездили на острова, много шлялись по улицам. Володя наденет цилиндр, я – большую черную шляпу с перьями, и пойдем по предвечернему Невскому, например, за карандашом для Оси. Еще светло, и будет светло всю ночь. Фонари горят, но не светят, как будто не зажжены, а всегда такие. Заходим в магазин, и Маяковский с таинственным видом обращается к продавщице: «Мадемуазель, дайте нам, пожалуйста, дико-о-винный карандаш, чтобы он с одной стороны был красный, а с другой, вообразите себе, синий!»

Мадемуазель шарахается, а я в восторге.

Ночами гуляли по набережной. В темноте казалось, что пароходы не дымят, а только снопами выбрасывают искры. Володя сказал: «Они не смеют дымить в вашем присутствии».

**Василий Васильевич Катанян:**

Однажды он попросил рассказать ему о ее свадебной ночи. Она долго отказывалась, но он так неистово настаивал, что она сдалась. Она понимала, что не следует говорить ему об этом, но у нее не было сил бороться с его настойчивостью. Она не представляла, что он может ревновать к тому, что произошло в прошлом, до их встречи. Но он бросился вон из комнаты и выбежал на улицу, рыдая; и, как всегда,

…В грубом убийстве не пачкала рук ты.
Ты
уронила только:
«В мягкой постели
он,
фрукты,
вино на ладони ночного столика».

**Лили Юрьевна Брик:**

Володя пришел к нам, сразу посвятил мне «Облако» и с тех пор посвящал мне каждую строчку. <…>

Перед тем как печатать поэму, Маяковский думал над посвящением. «Лиле Юрьевне Брик», «Лиле». Очень нравилось ему: «Тебе, Личика» – производное от «Лилечка» и «личико» – и остановился на «Тебе, Лиля». <…> Когда я спросила Маяковского, как мог он написать поэму одной женщине (Марии), а посвятить ее другой (Лиле), он ответил, что, пока писалось «Облако», он увлекался несколькими женщинами, что образ Марии в поэме меньше всего связан с одесской Марией и что в четвертой главе раньше была не Мария, а Сонка. Переделал он Сонку в Марию оттого, что хотел, чтобы образ женщины был собирательный; имя Мария оставлено им как казавшееся ему наиболее женственным. Поэма эта никому не была обещана, и он чист перед собой, посвящая ее мне. Позднее я поняла, что не в характере Маяковского было подарить одному человеку то, что предназначалось другому. <…>

Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня, это было нападение. Два с половиной года у меня не было спокойной минуты – буквально. Я сразу поняла, что Володя гениальный поэт, но он мне не нравился. Я не любила звонких людей – внешне звонких. Мне не нравилось, что он такого большого роста, что на него оборачиваются на улице, не нравилось, что он слушает свой собственный голос, не нравилось даже, что фамилия его – Маяковский – такая звучная и похожа на псевдоним, причем на пошлый псевдоним. <…>

Когда он выпустил «150 000 000» без фамилии автора и нельзя было громогласно посвятить поэму мне, он попросил типографию напечатать три экземпляра – себе, Осипу Максимовичу и мне – со своей фамилией и посвящением.

Он огорчился, что первыми были отпечатаны не эти экземпляры, заставил заведующего типографией написать объяснение, заверенное печатью типографии, вклеил его в первый полученный им экземпляр и подарил его мне. На форзаце он

поставил № 1 и сделал надпись: «Дорогому Лиленку сия книга и весь я посвящаемся».

Вот текст объяснения:

«Т-щу Л. Ю. Брик

Авторский экземпляр „150 000 000“ с пометкой ЛЮБ должен быть напечатан первым, но ввиду типографских задержек, т. к. требовался специальный набор, будет напечатан по выходе в свет общих экземпляров.

Инструктор Гос. Изо Н. Корсунский».

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, первая половина марта 1918 г.:*

Отныне меня никто не сможет упрекнуть в том что я мало читаю я все время читаю твое письмо.

Не знаю буду ли я от этого образованный но веселый я уже.

Если рассматривать меня как твоего щененка то скажу тебе прямо – я тебе не завидую щененок у тебя неважный: ребро наружу, шерсть разумеется клочьями а около красного глаза, специально чтоб смахивать слезу длинное облезшее ухо.

Естествоиспытатели утверждают что щененки всегда становятся такими если их отдавать в чужие нелюбящие руки.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, апрель 1918 г.:*

Если не напишешь опять будет ясно что я для тебя сдохнул и я начну обзаводиться могилкой и червяками.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, апрель 1918 г.:*

Не болей ты Христа Ради! Если Оська не будет смотреть за тобой и развозить твои легкие (на этом месте пришлось остановиться и лезть к тебе в письмо чтоб узнать как пишется: я хотел «лехкие») куда следует то я привезу к вам в квартиру хвойный лес и буду устраивать в оськином кабинете море по собственному моему усмотрению. Если же твой градусник будет лазить дальше чем тридцать шесть градусов то я ему обломаю все лапы.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из записных книжек, 1919 г.:*

*Дневник для Личики*

*7*

1 ч 28 м Думаю только о Лилике все время слышу Глазки болят люблю страшно скучаю вернулся б с удовольствием. Едет

Гукасов противно. Сажусь за Холмса.

3 ч. 9 м. Детка еду целую люблю. Раз десять хотел вернуться но почему-то казалось глупо. Еслиб не надо заработать не уехал бы ни за что.

3 ч 21 «Глазки болят». Милая.

3 ч 50 м. Пью чай и люблю.

4–30 Тоскую без Личики

5–40 Думаю только об Киське

6 ч 30 м Кисик люблю

6 ч 36 Лилек люблю тебя люблю нежно думаю о тебе все время а пишу тогда только когда тоска по тебе страшная пишу для того что если если бы ты захотела тыб убедилась что и в отсутствии твоем у меня нет ничего кроме тебя любимого

7 ч 5 Детка тоскую по тебе

7–25 Темно боюсь нельзя будет писать думаю только о Кисе

9–45 Люблю при фонарике Лику Спокойной Сплю

*8*

7–45 Доброе утро люблю Кисю. Продрал глаза

9 ч. 6 Думаю только о Кисе

9 40 Люблю Детку Лику

10–40 Дорогой Кисит.

11–45 Лилек думаю только о тебе и люблю ужасно

12 Лисик

12 30 Подъезжаю с тоской по Кисе рвусь к тебе любящий Кисю щено!

1 10 На извоз<чике> тоже люблю только Кисю

3 ч Люблю Кисю в отделе.

4 ч 50 м В столовой тоже только Кися

5 45 После обеда на сладкое тоже Кися

6 30 Пришел домой грустно без Киси страшно

8 ч 5 м Сижу дома и хочу к Кисе.

10–15 У Стани думаю о Кисе

11 30 Ложусь Покойночи детик

*9*

9 30 Доброе утро Лиска

10 35 Люблю Кисю до чая

12 ч Люблю Лисика

12 45 Люблю Кисю у Шкловька.

2 ч Люблю Кисю на Исаакиев<ской> площади

6 30 Кися

7 15 Глазки болят

7 17 Играю на биллиарде чтоб Кисе шиколад

9 35 Люблю Кисю

*10*
10 30 Люблю
12 20 Люблю
8 10 Доброе утро детик Любимый
10 45 Люблю Лику в Лит < нрзб. > обществе
1 Люблю Кису в Комис < нрзб. >
Люблю Кисю в 3 ч 45 минут
8 Еду к тебе рад ужасно детка
10 Скоро Кися
7 35 Кисик
9 35 Поезд подходит к Кисе или как говорит спутник к Москве

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, 21 ноября 1921 г.:*

Теперь о самом главном.

В письме Волоситу ты задаешь серию вопроситов. Вот тебе ответы:

1) «Честно» тебе сообщаю, что ни на одну секунду не чувствовал я себя без тебя лучше чем с тобой.

2) Ни одной секунды я не радовался что ты уехала а ежедневно ужаснейше горюю об этом

3) К сожалению никто не капризничает. Ради христа приезжай поскорее и покапризничай

4) Нервочки у меня трепатые только от того что наши паршивые кисы разъехались.

5) Я твой весь

6) Мне никто, никто никто кроме тебя не нужен.

**Лили Юрьевна Брик:**

Не могу вспомнить, как начались у нас разговоры о быте. После голодных, холодных первых лет революции и гражданской войны возврат бытовых привычек стал тревожить нас. Казалось, вместе с белыми булками вернется старая жизнь. Мы часто говорили об этом, но не делали никаких выводов.

Не помню, почему я оказалась в Берлине раньше Маяковского. Помню только, что очень ждала его там. Мечтала, как мы будем вместе осматривать чудеса искусства и техники.

Поселились в «Курфюрстен-отеле», где потом всегда останавливался Маяковский, когда бывал в Берлине.

Но посмотреть удалось мало.

У Маяковского было несколько выступлений, а остальное

время… Подвернулся карточный партнер, русский, и Маяковский дни и ночи сидел в номере гостиницы и играл с ним в покер. Выходил, чтобы заказать мне цветы – корзины такого размера, что они с трудом пролезали в двери, или букеты, которые он покупал вместе с вазами, в которых они стояли в витрине цветочного магазина. Немецкая марка тогда ничего не стоила, и мы с нашими деньгами неожиданно оказались богачами.

Утром кофе пили у себя, а обедать и ужинать ходили в самый дорогой ресторан «Хорхер», изысканно поесть и угостить товарищей, которые случайно оказывались в Берлине. Маяковский платил за всех, я стеснялась этого, мне казалось, что он похож на купца или мецената. Герр Хорхер и кельнер называли его «герр Маяковски», старались всячески угодить богатому клиенту. <…>

Из Берлина Маяковский ездил тогда в Париж по приглашению Дягилева. Через неделю он вернулся, и началось то же самое.

Так мы прожили два месяца.

Вернувшись в Москву, Маяковский вскоре объявил два своих выступления. Первое: «Что Берлин?» Второе: «Что Париж?» (Кажется, так они назывались на афише.)

В день выступления – конная милиция у входа в Политехнический. Маяковский пошел туда раньше, а я – к началу. Он обещал встретить меня внизу. Прихожу – его нет. Бежал от несметного количества не доставших билета, которых уже некуда ни посадить, ни даже поставить. Обо мне предупредил в контроле, но к контролю не прорваться. Кто-то как-то меня протащил.

В зале давка. Публика усаживается по два человека на одно место. Сидят в проходах на ступенях и на эстраде, свесив ноги. На эстраде – в глубине и по бокам – поставлены стулья для знакомых.

Под гром аплодисментов вышел Маяковский и начал рассказывать – с чужих слов. Сначала я слушала, недоумевая и огорчаясь. Потом стала прерывать его обидными, но, казалось мне, справедливыми замечаниями.

Я сидела, стиснутая на эстраде. Маяковский испуганно на меня косился. Комсомольцы, мальчики и девочки, тоже сидевшие на эстраде, свесив ноги, и слушавшие, боясь пропустить слово, возмущенно и тщетно пытались остановить меня. Вот, должно быть, думали они, буржуйка, не ходила бы на Маяковского, если ни черта не понимает… Так они приблизительно и выражались.

В перерыве Маяковский ничего не сказал мне. Но Долидзе,

устроитель этих выступлений, весь антракт умолял меня не скандалить. После перерыва он не выпустил меня из артистической. Да я и сама уже не стремилась в зал.

Дома никак не могла уснуть от огорчения. Напилась веронала и проспала до завтрашнего обеда.

Маяковский пришел обедать расстроенный, мрачный. «Пойду ли завтра на его вечер?» – «Нет, конечно». – «Что ж, не выступать?» – «Как хочешь».

Маяковский не отменил выступления.

На следующее утро звонят друзья, знакомые: почему вас не было? не больна ли? Не могли добиться толку от Владимира Владимировича… Он мрачный какой-то… Жаль, что не были… Так интересно было, такой успех…

Маяковский чернее тучи.

Длинный был у нас разговор, молодой, тяжкий.

Оба мы плакали. Казалось, гибнем. Все кончено. Ко всему привыкли – к любви, к искусству, к революции. Привыкли друг к другу, к тому, что обуты-одеты, живем в тепле. То и дело чай пьем. Мы тонем в быту. Мы на дне. Маяковский ничего настоящего уже никогда не напишет…

Такие разговоры часто бывали у нас последнее время и ни к чему не приводили. Но сейчас, еще ночью, я решила – расстанемся хоть месяца на два. Подумаем о том, как же нам теперь жить.

Маяковский как будто даже обрадовался этому выходу из безвыходного положения. Сказал: «Сегодня 28 декабря. Значит, 28 февраля увидимся», – и ушел.

**Лили Юрьевна Брик.** *Из письма Э. Триоле, декабрь 1922 г.:*

Мне в такой степени опостылели Володины: халтура, карты и пр. пр.… что я попросила его два месяца не бывать у нас и обдумать, как дошел он до жизни такой. Если он увидит, что овчинка стоит выделки, то через два месяца я опять приму его. Если же – нет, то Бог с ним!

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, 28 декабря 1922 г.:*

Лилек

Я вижу ты решила твердо. Я знаю что мое приставание к тебе для тебя боль. Но Лилик слишком страшно то что случилось сегодня со мной что б я не ухватился за последнюю соломинку за письмо.

Так тяжело мне не было никогда – я должно быть действительно черезчур вырос. Раньше прогоняемый тобою я

верил во встречу. Теперь я чувствую что меня совсем отодрали от жизни что больше ничего и никогда не будет. Жизни без тебя нет. Я это всегда говорил всегда знал теперь я это чувствую чувствую всем своим существом, все все о чем я думал с удовольствием сейчас не имеет никакой цены – отвратительно.

Я не грожу я не вымогаю прощения. Я ничего ничего с собой не сделаю – мне через чур страшно за маму и Люду с того дня мысль о Люде как то не отходит от меня. Тоже сентиментальная взрослость. Я ничего тебе не могу обещать. Я знаю нет такого обещания в которое ты бы поверила. Я знаю нет такого способа видеть тебя, мириться который не заставил бы тебя мучиться.

И все таки я не в состоянии не писать не просить тебя простить меня за все.

Если ты принимала решение с тяжестью с борьбой, если ты хочешь попробовать последнее ты простишь ты ответишь.

Но если ты даже не ответишь ты одна моя мысль как любил я тебя семь лет назад так люблю и сию секунду что б ты ни захотела, что б ты ни велела я сделаю сейчас же сделаю с восторгом. Как ужасно расставаться если знаешь что любишь и в расставании сам виноват.

Я сижу в кафэ и реву надо мной смеются продавщицы. Страшно думать что вся моя жизнь дальше будет такою.

Я пишу только о себе а не о тебе. Мне страшно думать что ты спокойна и что с каждой секундой ты дальше от меня и еще несколько их и я забыт совсем.

Если ты почувствуешь от этого письма что-нибудь кроме боли и отвращения ответь ради христа ответь сейчас же я бегу домой я буду ждать. Если нет страшное страшное горе.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, начало января 1923 г.:*

Лилик

Пишу тебе сейчас потому что при Коле я не мог тебе ответить. Я должен тебе написать это сейчас же, что б моя радость не помешала бы мне дальше вообще что либо понимать

Твое письмо дает мне надежды на которые я ни в каком случае не смею рассчитывать, и рассчитывать не хочу, так как всякий расчет построенный на старом твоем отношении ко мне – не верен. Новое же отношение ко мне может создаться только после того как ты теперешнего меня узнаешь.

Мои письмишки к тебе тоже не должны и не могут браться тобой в расчет – т. к. я должен и могу иметь какие бы то ни было решения о нашей жизни (если такая будет) только к 28-му. Это абсолютно верно – т. к. если б я имел право и возможность

решить что-нибудь окончательно о жизни сию минуту, еслиб я мог в твоих глазах ручаться за правильность – ты спросила бы меня сегодня и сегодня же дала б ответ. И уже через минуту я был бы счастливым человеком. Если у меня уничтожится эта мысль я потеряю всякую силу и всю веру в необходимость переносить весь мой ужас.

Я с мальчишеским, лирическим бешенством ухватился за твое письмо.

Но ты должна знать что ты познакомишься 28 с совершенно новым *для тебя человеком. Все что будет между тобою и им начнет слагаться не из прошедших теорий а из поступков с 28 февраля, из «дел» твоих и его*.

Я обязан написать тебе это письмо потому что сию минуту у меня такое нервное потрясение которого не было с ухода.

Ты понимаешь какой любовью к тебе, каким чувством к себе диктуется это письмо

Если тебя не пугает не много рискованная прогулка с человеком о котором ты только раньше по наслышке знала что это довольно веселый и приятный малый черкни черкни сейчас же.

Прошу и жду. Жду от Аннушки внизу. Я не могу не иметь твоего ответа. Ты ответишь мне как назойливому другу который старается «предупредить» об опасном знакомстве: «идите к черту не ваше дело – так мне нравится!»

Ты разрешила мне написать когда мне будет *очень нужно* – это очень сейчас пришло.

Тебе может показаться – зачем это он пишет это и так ясно. Если так покажется это хорошо. Извини что я пишу сегодня когда у тебя народ – я не хочу что б в этом письме было что-нибудь от нервов надуманное. А завтра это будет так. Это самое серьезное письмо в моей жизни. Это не письмо даже это:

«существование»
Весь я обнимаю один твой
мизинец
Щен

Следующая записка будет уже от одного молодого человека 27-го.

**Лили Юрьевна Брик:**

Два месяца провел Маяковский в своей добровольной тюрьме. Он просидел два месяца добросовестно, ничего себе не прощая и ни в чем себя не обманывая. Ходил под моими окнами. Передавал через домработницу Аннушку письма, записки

(«записочную рябь») и рисуночки. Это было единственное, что он позволял себе – несколько грустных или шутливых слов «на волю», но и в этом он как бы оправдывался. На книге «13 лет работы», которую он прислал мне тогда, надпись:

«Вы и писем не подпускаете близко,
закатился головки диск.
Это, Киска, не переписка,
а всего только переписк».

Тогда же он прислал мне свою новую книгу «Лирика». Экземпляр этот пропал, но я запомнила надпись на нем:

«Прости меня, Лиленька, миленькая,
за бедность словесного мирика,
книга должна называться „Лилинька“,
а называется „Лирика“».

Книга была плохо оформлена. Я написала об этом Маяковскому и в ответ получила записку:

«Целую Кисика: книжка не может быть паршивая, потому что на ней „Лиле“ и все твои вещи. Твой Щен». <…>

Он присылал мне письма, записки, рисунки, цветы и птиц в клетках – таких же узников, как он. Большого клеста, который ел мясо, гадил, как лошадь, и прогрызал клетку за клеткой. Но я ухаживала за ними из суеверного чувства, что, если погибнет птица, случится что-нибудь плохое с Володей. Когда мы помирились, я раздарила всех этих птиц. <…>

Он присылал мне письма, записки, рисунки и писал поэму про все это – поэму о любви, о быте, – о том, о чем он приказал себе думать два месяца. Впереди была цель – кончить поэму, встретиться, жить вместе по-новому. Он писал день и ночь, писал болью, разлукой, острым отвращением к обывательщине, к «Острову мертвых» в декадентской рамочке, к благодушному чаепитию, к себе, как тогда казалось, погрязшему во всем этом, и к таким же своим «партнерам» и «собутыльникам».

Иногда, не в силах удержаться, Володя звонил мне по телефону, и я как-то сказала ему, чтобы он писал мне, когда очень нужно.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, 19 января 1923 г.:*

Конечно ты понимаешь что без тебя образованному человеку

жить нельзя. Но если у этого человека есть крохотная надеждочка увидеть тебя то ему очень и очень весело. Я рад подарить тебе и вдесятеро большую игрушку что б только ты потом улыбалась. У меня есть пять твоих клочечков я их ужасно люблю только один меня огорчает последний – там просто «Волосик спасибо» а в других есть продолжения – те мои любимые.

Ведь ты не очень сердишься на мои глупые письма. Если сердишься то не надо – от них у меня все праздники.

Я езжу с тобой пишу с тобой, сплю с твоим кошачьим имечком и все такое.

Целую тебя если ты не боишься быть растерзанной бешеным собаком.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, до 31 января 1923 г.:*

Милый дорогой Лилек.

Посылая тебе письмо я знал сегодня что ты не ответишь. Ося видит я не писал. Письмо это и оно лежит в столе. Ты не ответишь потому что я уже заменен что я уже не существую для тебя что тебе хочется чтоб я никогда не был. Я не вымогаю но Детка ты же можешь сделать двумя строчками то чтоб мне не было лишней боли. Боль черезчур! Не скупись даже после этих строчек – у меня остаются пути мучиться. Строчка не ты! Но ведь лишней не надо боли детик! Если порю ревнивую глупость – черкни – ну пожалуйста. Если это верно – молчи. Только не говори неправду – ради бога.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, первая половина февраля 1923 г.:*

Лиска, Личика, Лучик, Лиленок Луночка, Ласочка, Лапочка Деточка, Солнышко, Кометочка, Звездочка, Деточка, Детик Любимая Кисанька Котенок

Целую тебя и твою испанку (вернее испанца потому что испанок я никаких целовать не хочу).

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, февраль 1923 г.:*

Личика

Мне кажется все что ты передумала меня видеть, только сказать этого как то не решаешься: – жалко.

Прав ли я.

Если не хочешь напиши сейчас, если ты это мне скажешь 28-го (не увидав меня) я этого не переживу.

Ты совсем не *должна* меня любить но ты скажи мне об этом сама. Прошу. Конечно ты меня не любишь но ты мне скажи об этом немного ласково. Иногда мне кажется что мне сообща придумана такая казнь – послать меня к черту 28-го! Какая я ни на есть дрянь я немного все таки человек. Мне просто больно. Все ко мне относятся как к запаршивленному нищему – подать если просит и перебежать на другую улицу.

**Мери Александровна Талова:**

Вся кипучая и бурная деятельность этой «штаб-квартиры Лефа» и события, описанные в поэме «Про это», проходили рядом с нами, и я могу, как свидетель, подтвердить, что Маяковский действительно часами стоял на противоположной стороне переулка, мешая прохожим, и неотрывно смотрел на окна. Тетя подзывала меня к окну и говорила: «Смотри, Лилька его выгнала, вот он с самого утра все стоит и стоит».

**Лили Юрьевна Брик:**

Поэма «Про это» автобиографична. Маяковский зашифровал ее. В черновике: «Лиля в постели. Лиля лежит». В окончательном виде: «В постели она, она лежит». Маяковский в черновике посвятил ее «Лиле и мне», а напечатал «Ей и мне». Он не хотел, чтобы эта вещь воспринималась буквально, не хотел, чтобы «партнеров» и «собутыльников» вздумали называть по именам.

После Володиной смерти я нашла в ящике его письменного стола в Гендриковом переулке пачку моих писем к нему и несколько моих фотографий. Все это было обернуто в пожелтевшее письмо-дневник ко мне, времени «Про это». Володя не говорил мне о нем.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, 1–27 февраля 1923 г.:*

Солнышко Личика!

Сегодня 1 февраля. Я решил за месяц начать писать это письмо. Прошло 35 дней. Это по крайней мере часов 500 непрерывного думанья!

Я пишу потому, что я больше не в состоянии об этом думать (голова путается, если не сказать) потому что думаю все ясно и теперь (относительно, конечно) и в третьих потому что боюсь просто разрадоваться при встрече и ты можешь получить, вернее я всучу тебе под соусом радости и остроумия мою старую дрянь. Я пишу письмо это очень серьезно. Я буду писать его только утром когда голова еще чистая и нет моих вечерних усталости, злобы и раздражения.

На всякий случай я оставляю поля, чтоб передумав что-нибудь я б отмечал.

Я постараюсь избежать в этом письме каких бы то ни было «эмоций» и «условий».

Это письмо только о безусловно проверенном мною, о передуманном мною за эти месяцы, – только о фактах. *(1 февр.)*

<…>

Ты прочтешь это письмо обязательно и минутку подумаешь обо мне. Я так бесконечно радуюсь твоему существованию, всему твоему даже безотносительно к себе, что не хочу верить, что я сам тебе не важен.

**Что делать со «старым»**

Могу ли я быть другой?

Мне непостижимо, что я стал такой.

Я, год выкидывавший из комнаты даже матрац, даже скамейку, я три раза ведущий такую «не совсем обычную» жизнь, как сегодня – как я мог, как я смел быть так изъеден квартирной молью.

Это не оправдание, Личика, это только новая улика против меня, новое подтверждение, что я именно опустился.

Но, детка, какой бы вины у меня не было, наказания моего хватит на каждую – не даже, что эти месяцы, а то, что нет теперь ни прошлого просто, ни давно прошедшего для меня нет, а есть один до сегодняшнего дня длящийся теперь ничем не делимый ужас. Ужас не слово, Лиличка, а состояние – всем видам человеческого горя я б дал сейчас описание с мясом и кровью. Я вынесу мое наказание как заслуженное. Но я не хочу иметь поводов снова попасть под него. Прошлого для меня до 28 декабря, для меня по отношению к тебе до 28 февраля – не существует ни в словах, ни в письмах, ни в делах.

Быта никакого никогда ни в чем не будет! Ничего старого бытового не пролезет – за ЭТО я ручаюсь твердо. Это-то я уж во всяком случае гарантирую. Если я этого не смогу сделать, то я не увижу тебя никогда, увиденный, приласканный даже тобой – если я увижу опять, начало быта, я убегу. (Весело мне говорить сейчас об этом, мне, живущему два месяца только для того чтоб 28 февраля в 3 часа дня взглянуть на тебя, даже не будучи уверенным что ты это допустишь.)

Решение мое ничем, ни дыханием не портить твою жизнь – главное. То, что тебе хоть месяц, хоть день без меня лучше чем со мной это удар хороший.

Это мое желание, моя надежда. (Силы своей я сейчас не знаю. Если силенки не хватит на немного – помоги, детик. Если буду

совсем тряпка – вытрите мною пыль с вашей лестницы. Старье кончилось + (3 февраля 1923 г. 9 ч. 8 м.)

Сегодня (всегда по воскресеньям) я еще со вчерашнего дня неважный. Писать воздержусь. Гнетет меня еще одно: я как-то глупо ввернул об окончании моей поэмы Оське – получается какой-то шантаж на «прощение» – положение совершенно глупое. Я нарочно не закончу вещи месяц! Кроме того это тоже поэтическая бытовщина делать из этого какой-то особый интерес. Говорящие о поэме думают, должно быть – придумал способ интригировать. Старый приемчик! Прости Лилик – обмолвился о поэме как-то от плохого настроения. < … >

Сегодня у меня очень «хорошее» настроение. Еще позавчера я думал, что жить сквернее нельзя. Вчера я убедился что может быть еще хуже – значит позавчера было не так уж плохо.

Одна польза от всего от этого: последующие строчки, представляющиеся мне до вчера гадательными, стали твердо и незыблемо.

**О моем сидении**

Я сижу до сегодняшнего дня щепетильно честно, знаю точно так же буду сидеть и еще до 3 ч. 28 ф. Почему я сижу – потому что люблю? Потому что *обязан*? Из-за отношений?

Ни в каком случае!!!

Я сижу только потому, что сам хочу, хочу подумать о себе и о своей жизни.

Если это даже не так я хочу и буду думать что именно так. Иначе всему этому нет ни названия, ни оправдания.

Только думая так, я мог не кривя писать записки тебе – что «сижу с удовольствием» и т. д.

Можно ли так жить вообще?

Можно, но только не долго. Тот, кто проживет хотя бы вот эти 39 дней, смело может получить аттестат бессмертия.

Поэтому никаких представлений об организации будущей моей жизни на основании этого опыта я сделать не могу. Ни один из этих 39 дней я не повторю никогда в моей жизни.

Я только могу говорить о мыслях, об убеждениях, верах, которые у меня оформляются к 28-ому, и которые будут точкой из которой начнется все остальное, точкой, из которой можно будет провести столько линий сколько мне захочется и сколько мне захотят.

Если бы ты не знала меня раньше это письмо было бы совершенно не нужно, все решалось бы жизнью. Только потому что на мне в твоем представлении за время бывших плаваний нацеплено миллион ракушек – привычек и пр. гадости – только

поэтому тебе нужно кроме моей фамилии при рекомендации еще и этот путеводитель. Теперь о создавшемся:

**Люблю ли я тебя?**

<…> Я люблю, люблю, несмотря ни на что и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Все равно люблю. Аминь. Смешно об этом писать, ты сама это знаешь.

Мне ужасно много хотелось здесь написать. Я нарочно оставил день продумать все это точно. Но сегодня утром у меня невыносимое ощущение ненужности для тебя всего этого.

Только желание запротоколить для себя продвинуло эти строчки.

Едва ли ты прочтешь когда-нибудь написанное здесь. Самого же себя долго убеждать не приходится. Тяжко, что к дням, когда мне хотелось быть для тебя крепким и на утро перенеслась эта нескончаемая боль. Если совсем не совладаю с собой – больше писать не стану. <…>

Опять о моей любви. О пресловутой деятельности Исчерпывает ли для меня любовь все? Все, но только иначе. Любовь это жизнь, это главное. От нее разворачиваются и стихи и дела и все пр. Любовь это сердце всего. Если оно прекратит работу все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает оно не может не проявляться в этом во всем. Без тебя (не без тебя «в отъезде», внутренне без тебя) я прекращаюсь, Это было всегда, это и сейчас. Но если нет «деятельности» – я мертв. Значит ли это что я могу быть всякий, только что «цепляться» за тебя. Нет. Положение о котором ты сказала при расставании «что ж делать, я сама не святая, мне вот нравится „чай пить“». Это положение при любви исключается абсолютно. <…>

**О твоем приглашении**

Я хотел писать о том любишь ли ты меня, но твое письмо совершенно меня разбудоражило, я должен для себя еще раз остановиться на нем.

Может ли быть это письмо *продолжением* отношений? Нет, ни в каком случае нет.

Пойми, детик! Мы разошлись, чтоб подумать о жизни в дальнейшем, длить отношения не хотела ты, вдруг ты вчера решила что отношения быть со мной могут, почему же мы не вчера поехали, а едем через 3 недели? Потому что мне нельзя? Этой мысли мне не должно и являться, иначе мое сидение становится не добровольным, а заточением, с чем я ни на секунду

не хочу согласиться.

Я никогда не смогу быть *создателем* отношений, если я по мановению твоего пальчика сажусь дома реветь два месяца, а по мановению другого срываюсь даже не зная что думаешь и, бросив все, мчусь. Не словом а делом я докажу тебе что я думаю обо всем и о себе также прежде чем сделать что-нибудь.

Я буду делать только то что вытекает и из моего желания. Я еду в Питер.

Еду потому, что два месяца был занят работой, устал, хочу отдохнуть и развеселиться.

Неожиданной радостью было то, что это совпадает с желанием проехаться ужасно нравящейся мне женщины.

Может ли быть у меня с ней что-нибудь? Едва ли. Она чересчур мало обращала на меня внимания вообще. Но ведь и я не ерунда – попробую понравиться.

А если да, то что дальше? Там видно будет. Я слышал, что этой женщине быстро все надоедает. Что влюбленные мучаются около нее кучками, один недавно чуть с ума не сошел. Надо все сделать чтоб оберечь себя от такого состояния.

Чтоб во всем этом было мое участие я заранее намечаю срок возврата (ты думаешь, чем бы дитя не тешилось, только б не плакало, что же, начну с этого), я буду в Москве пятого, я все сведу так, чтоб пятого я не мог не вернуться в Москву? Ты это, детик, поймешь. <…>

**Любишь ли ты меня?**

Для тебя, должно быть, это странный вопрос – конечно любишь. Но любишь ли ты *меня*? Любишь ли ты так, чтоб это мной постоянно чувствовалось?

Нет. Я уже говорил Осе. У тебя не любовь ко мне, у тебя – вообще ко всему любовь. Занимаю в ней место и я (может быть даже большое), но если я кончаюсь то я вынимаюсь, как камень из речки, а твоя любовь опять всплывается над всем остальным. Плохо это? Нет, тебе это хорошо, я б хотел так любить. <…> – Детик, ты читаешь это и думаешь – все врет, ничего не понимает. Лучик, если это даже не так, то все равно это мной так *ощущается*. Правда, ты прислала, детик, мне Петербург, но как ты не подумала, детик, что это на полдня удлинение срока! Подумай только, после двухмесячного путешествия подъезжать две недели и еще ждать у семафора полдня! <…>

Лилятик – все это я пишу не для укора, если это не так я буду счастлив передумать все. Пишу для того чтоб тебе стало ясно – и ты должна немного подумать обо мне.

Если у меня не будет немного «легкости» то я не буду годен ни для какой жизни. Смогу вот только как сейчас доказывать свою любовь каким-нибудь физическим трудом. <…>

Семей идеальных нет. Все семьи лопаются. Может быть только идеальная любовь. А любовь не установишь никаким «должен», никаким «нельзя» – только *свободным* соревнованием со всем миром.

Я не терплю «должен» приходить!

Я бесконечно люблю, когда я «должен» не приходить, торчать у твоих окон, ждать хоть мелькание твоих волосиков из авто.

**Быт**

Я виноват во всем быте, но не потому что я лиричек-среднячек, любящий семейный очаг и жену-пришивальщицу пуговиц.

Нет!

Тяжесть моего бытового сидения за 66 какая-то неосознанная душевная «итальянская забастовка» против семейных отношений, унизительная карикатура на самого себя. <…>

Я чувствую себя совершенно отвратительно и физически и духовно. У меня ежедневно болит голова, у меня тик, доходило до того что я не мог чаю себе налить. Я абсолютно устал, так как для того чтоб хоть немножко отвлечься от всего этого я работал по 16 и по 20 часов в сутки буквально. Я сделал столько, сколько никогда не делал и за полгода.

**Характер**

Ты сказала – чтоб *я подумал* и *изменил* свой характер. Я подумал о себе, Лилик, что б ты не говорила, а я думаю что характер у меня совсем не плохой.

Конечно, «играть в карты», «пить» и т. д. это не характер, это случайность – довольно крепкие, но мелочи (как веснушки: когда к тому есть солнечный повод они приходят и уж тогда эту «мелочь» можно только с кожей снять, а так, если принять во время меры, то их вовсе не будет или будут совсем незаметные).

Главные черты моего характера – две:

1) Честность, держание слова, которое я себе дал (смешно?).

2) Ненависть ко всякому принуждению. От этого и «дрязги», ненависть к домашним принуждениям и… стихи, ненависть к общему принуждению.

Я что угодно с удовольствием сделаю по доброй воле, хоть руку сожгу, <а> по принуждению даже несение какой-нибудь покупки, самая маленькая цепочка вызывает у меня чувство

тошноты, пессимизма и т. д. Что ж отсюда следует что я должен делать все что захочу? Ничего подобного. Надо только не устанавливать для меня никаких внешне заметных правил. Надо то же самое делать со мной, но без всякого ощущения с моей стороны. <…> Целую Кисю. <…>

Какая жизнь у нас может быть, на какую я в результате согласен? Всякая. На всякую. Я ужасно по тебе соскучился и ужасно хочу тебя видеть.

**Галина Дмитриевна Катанян:**

Письмо-дневник является также необычайной силы человеческим документом, отражающим тяжелое душевное состояние поэта во время этой работы. Некоторые страницы закапаны слезами. Другие страницы написаны тем же сумасшедшим, непохожим на обычный, почерком, каким написана и предсмертная записка. У меня было впечатление, что он несколько раз был близок к самоубийству во время написания поэмы…

**Лили Юрьевна Брик:**

28 февраля в 3 часа дня кончался срок нашей разлуки, а поезд в Ленинград отходил в 8 вечера.

Приехав на вокзал, я не нашла его на перроне. Он ждал на ступеньках вагона.

Как только поезд тронулся, Володя, прислонившись к двери, прочел мне поэму «Про это». Прочел и облегченно расплакался…

**Галина Дмитриевна Катанян:**

Маяковский был жив, его рукописи не были редкостью, и сам он настолько не ценил их, что по напечатании вещи, как правило, уничтожал черновик. Три варианта «Про это» уцелели случайно. Лиля сидела в столовой, когда услышала, что в комнате Володи что-то тяжело плюхнулось в корзину для бумаг.

– Володя, что это?

Узнав, что он собирается сжечь «Про это», Лиля отобрала рукопись, сказав, что если поэма посвящена ей, то рукопись и подавно принадлежит ей.

**Лили Юрьевна Брик.** *Письмо В. В. Маяковскому, весна 1923 г.:*

Володенька,

как ни глупо писать, но разговаривать мы с тобой пока не умеем: жить нам с тобой так, как жили до сих пор – нельзя. Ни за что не буду! Жить надо вместе; ездить – *вместе*. Или же –

расстаться – в последний раз и навсегда.

Чего же я хочу. Мы должны остаться сейчас в Москве; заняться квартирой. Неужели не хочешь пожить по человечески и со мной?! А уже, исходя из общей жизни – все остальное. Если что-нибудь останется от денег можно поехать летом вместе, на месяц; визу как-нибудь получим; тогда и об Америке похлопочешь.

Начинать делать это все нужно немедленно, если, конечно, хочешь. Мне – очень хочется. Кажется – и весело и интересно. Ты мог бы мне сейчас нравиться, могла бы любить тебя, если бы был *со мной* и для *меня*. Если бы, независимо от того, где были и что делали днем, мы могли бы вечером или ночью вместе рядом полежать в чистой удобной постели; в комнате с чистым воздухом; после теплой ванны!

Разве не верно? Тебе кажется – опять мудрю, капризничаю.

Обдумай серьезно, по взрослому. Я долго думала и *для себя* – *решила*. Хотелось бы чтобы ты моему желанию и решению был рад, а не просто подчинился!

Целую.

Твоя Лиля (кошечка).

**Наталья Федоровна Рябова:**

Маяковскому много звонили. Звонили по делам, звонили женщины. Иногда звонила Лиля Юрьевна. По первым же словам Маяковского я узнавала, что он говорит с ней, еще раньше, чем он в разговоре называл ее по имени. С ней Владимир Владимирович говорил особым каким-то голосом.

# 1926–1927. Наталья Брюханенко

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Я работаю (в 1926 г. – Сост.) в библиотеке Госиздата на Рождественке… Мне двадцать лет, и я очень деловая и занятая девушка. Интересуюсь я только литературой и больше всего люблю стихи Маяковского…

Однажды он рассердился на секретаршу приемной за то, что она не пустила его в кабинет к заведующему, и закричал, что ему «надоела эта политика прифронтовой полосы», и, обозленный, ударил тростью по столу. <…> Много позже <…> я узнала, что после таких случаев Маяковский очень огорчался, что он не любил не только скандалить, но даже громко разговаривать. Я же всегда говорила очень громко – и дома, и на улице, и он часто останавливал меня:

– Я ведь лирик. Надо со мной говорить тихо, ласково.

Но это все было позже. А вот в мае двадцать шестого года, в Госиздате, я и познакомилась с Маяковским, вернее, он познакомился со мной.

Как-то я пробегаю по лестнице госиздатовского коридора. Навстречу мне Маяковский и обращается ко мне:

– Товарищ девушка!

Я останавливаюсь. Я польщена и, конечно, очень волнуюсь, но прямо смотрю ему в глаза и стою спокойно, как ни в чем не бывало. Маяковский сразу спрашивает меня:

– Кто ваш любимый поэт?

Это было очень неожиданно. Такой прямой вопрос ошеломил меня, но я мгновенно поняла, что не отвечу ему – «вы», и сказала спокойно:

– Уткин.

Тогда он как-то очень внимательно посмотрел на меня и предложил:

– Хотите, я вам почитаю свои стихи? Пойдемте со мной по моим делам и по дороге будем разговаривать.

Я согласилась. Забежала в библиотеку, под каким-то предлогом отпросилась с работы и ушла.

Маяковский ждал меня у выхода, и мы пошли по Софийке по направлению к Петровке. На улице было светло, тепло и продавали цветы. Маяковский держит себя красиво и торжественно – он хочет мне понравиться. Я шагаю рядом очень радостная. Я ведь иду с любимым поэтом, знаменитым

человеком, очень приветливым, любезным и замечательно одетым. Я горда и счастлива. Это очень приятно вспоминать!

На Петровке мы зашли в кафе, там Маяковский встретился с Осипом Максимовичем Бриком. Знакомя нас и показывая на меня, Маяковский сказал:

– Вот такая красивая и большая мне очень нужна.

Маяковскому нравилось, что я высокая. Он всегда это подчеркивал. Уже как-то после кто-то из его знакомых увидел меня на улице и сказал Маяковскому, что уж не такая я высокая, как он рассказывал. Маяковский ответил:

– Это вы ее, наверно, видели рядом с очень большим домом.

В кафе Маяковский прочел Осипу Максимовичу новые стихи, которые должны были завтра напечатать в «Известиях». Осипу Максимовичу стихотворение очень понравилось, и он ушел.

А Маяковский пригласил меня к себе в гости. Мы вышли из кафе и на извозчике поехали на Лубянский проезд. Я боялась Маяковского, боялась встретить кого-нибудь из госиздатовцев или вообще знакомых. На извозчиках в ту пору я не ездила. По дороге Маяковский издевался надо мной и по поводу Уткина, и по поводу моих зачетов. Он говорил:

– Вот кончите свой университет, а в анкетах все равно должны будете писать: образование низшее – окончила 1-й МГУ. <…>

Маяковский угостил меня конфетами и шампанским и действительно, как обещал, достал свои книжки и стал мне читать по книжке тихо, почти шепотом, свои стихи. Это было для меня так странно – Маяковский и шепотом! Читал он тогда «Севастополь – Ялта», «Тамара и Демон», а потом подарил мне книжку «Только новое» и берлинское издание «Для голоса» с автографом: «Наташе Маяковский».

Потом он подошел ко мне, очень неожиданно распустил мои длинные косы и стал спрашивать, буду ли я любить его. Мне захотелось немедленно уйти. Он не стал спорить, взял из стола какие-то бумаги, и мы вышли. <…> Начавшееся так необычайно в первый день знакомства романтическое свидание немного разочаровало меня в конце.

Я даже сказала об этом Маяковскому, когда мы вышли с ним на улицу.

– А вы, оказывается, обыкновенный человек…

– А что же бы вы хотели? Чтоб я себе весь живот раскрасил золотой краской, как Будда? – ответил он и сделал рукой такой жест, будто бы красит себе живот. <…>

В день, когда Маяковский получал в Госиздате двадцать пять авторских экземпляров только что вышедшего из печати пятого

тома собрания сочинений, я неожиданно наскочила на него в бухгалтерии. Скрыться было уже невозможно. Мы поздоровались, и он сразу стал упрекать меня за то, что я прошлым летом от него убежала, «даже не помахав лапкой».

Он пригласил меня в тот же день пообедать с ним. Я согласилась и обещала больше от него не бегать.

С этого дня мы стали встречаться очень часто, почти ежедневно.

Ровно в половине пятого я кончала работу, тогда уже помощника редактора отдела агитпроплитературы, переходила лишь улицу в ресторан «Савой», там встречалась с Маяковским, и мы с ним обедали. Потом катались на машине, ходили в кино. <…>

Он любезен, внимателен, он говорит мне только «вы», ласково переделывает мое имя на «Наталочку». Он пропускает меня вперед в дверь, подает мне пальто. Это были для меня любезности неслыханные и невиданные. Какая девушка осталась бы к этому равнодушной? Маяковский был всегда просто, но как-то очень красиво и элегантно одет. Меня, правда, шокировала его фетровая шляпа. С тростью я еще как-то мирилась, но когда вместо кепки Маяковский брал шляпу, я умоляюще смотрела на него или просила:

– Не надо шляпу…

И он иногда, чтобы сделать мне приятное, не надевал ее. Но добавлял:

– Всему вас надо учить. И что шляпу надо носить, и одеколон употреблять. Как вы считаете, одеколон это роскошь или гигиена?

Маяковский научил меня и тому, что одеколон не роскошь, и тому, что цветы не мещанство и что можно и даже нужно иногда ездить на извозчике и в автомобиле.

Мне до того казалось, что все это «буржуазные предрассудки». Ведь тогда был нэп, а я была бедная представительница пролетарского студенчества. Машины-такси в Москве тогда были с ярко-желтой полосой, и сесть в такую машину для меня было просто мучением. Маяковскому же, по-видимому, нравилось кататься с такой девушкой, как я, в машине и ходить со мной в ресторан. <…>

Однажды Маяковский пригласил меня приехать на воскресенье на дачу в Пушкино. Я обещала. Но в воскресенье утром гизовские товарищи уговорили меня поехать с ними в другое дачное место.

Вечером, вернувшись домой, узнаю, что незадолго до моего возвращения заезжал Маяковский, спрашивал меня и оставил записку:

«Я затревожился, не захворали ли Вы и бросился навещать. Рад, что не застал – это очевидное свидетельство Вашего здоровья. Зайду завтра в 5 часов. Если Вы не сможете быть, или Вам понравится не быть – очень прошу черкнуть слово.

Привет. Вл. Маяковский».

Потом я узнала, что он меня очень ждал на даче все утро, несколько раз ходил встречать на станцию, а под вечер, когда стало ясно, что я уже не приеду, поехал в город и ко мне домой. Я не знала еще тогда его аккуратности и требовательности к выполнению уговора. Но я обманула его не только в тот раз, с приездом на дачу, а и вообще иногда опаздывала на свидания. Он огорчался и сердился на это. Я оправдывалась, ссылаясь на отсутствие часов, хотя задерживалась по совершенно другим причинам. Тогда однажды Маяковский без предупреждения привел меня в часовой магазин неподалеку от Госиздата на Кузнецком мосту, купил часы и надел их мне на руку. Деваться было некуда! С тех пор я стала являться в назначенный час очень аккуратно.

**Галина Дмитриевна Катанян:**

Здороваясь с ним, я не свожу глаз с девушки. Такой красавицы я еще не видала. Она высокая, крупная, с гордо посаженной маленькой головкой. От нее исходит какое-то сияние, сияют ямочки на щеках, белозубая, румяная улыбка, серые глаза. На ней белая полотняная блуза с матросским воротником, русые волосы повязаны красной косынкой. Этакая Юнона в комсомольском обличьи.

– Красивая? – спрашивает Вл. Вл., заметив мой взгляд.

Я молча киваю.

Девушка вспыхивает и делается еще красивее.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Наконец я купила билет, телеграфировала Маяковскому о выезде и 13 августа выехала в Севастополь.

Поезд прибывает в 7 часов утра. Я узнала это в дороге и поэтому не ожидала встречи. Я даже сговорилась со своим вагонным спутником вместе ехать на автобусе на южный берег.

Подъезжаем к Севастополю. Раннее утро, а по перрону шагает Маяковский. Загоревший, красивый, такой спокойный и довольный. Мы очень радостно встретились.

Было чудное, солнечное утро. Еще не жарко, но уже чувствовалось, что здесь настоящее южное лето.

Оказывается, Маяковский еще накануне приехал из Ялты, чтоб встретить меня. Ранним утром побрился, нарядился

и пришел встречать. Об этом он мне рассказал и добавил:

– Цените это.

<…> Маяковскому очень хотелось доставить мне массу удовольствий – накупить мне цветов, подарков, – но я от всего отказывалась. Наконец, почти насильно, он купил мне шелковую материю и желтую шелковую шаль. Материя была в красную и белую клетку. И там же, в Ялте, мне сшили из нее платье. <…>

Однажды я получила в гостиницу записочку от молодого человека, с которым познакомилась, гуляя. Узнав об этом знакомстве и сильно преувеличив мой интерес к этому молодому человеку, Маяковский вдруг страшно ревниво стал меня отчитывать за это знакомство и потребовал, чтобы духу его около меня больше не было.

– А если вы не можете ему это сказать, то я пойду и скажу сам, – рычал Маяковский.

Я перепугалась такого гнева и возможного скандала. Случайный молодой человек не стоит того, чтобы Маяковский огорчался и сердился по этому поводу.

Но после этого случая Маяковский больше уж не отпускал меня гулять далеко от себя.

На следующий же день с утра он меня наказал, и я не смела никуда уходить, а должна была сидеть на его балконе, пока он работал в комнате.

Я посидела-посидела и решила спрятаться и посмотреть, что с ним будет, когда он меня хватится, и перелезла через балконные перила на соседний балкон. Маяковский работал очень сосредоточенно и хватился меня только спустя какое-то время. Он нашел меня и опять отчитывал, но уже без ревности и злости, а очень мягко, по-отечески внушая мне, что неприлично барышням лазить через заборы и перила. <…>

В начале сентября в какой-то вечер мы выехали из Ялты на пароходе в Новороссийск, чтоб оттуда ехать на Минеральные Воды. Ночью в море разразился сильнейший шторм. Было девять баллов, говорил потом капитан. Волны перекатывались через верхнюю палубу и было довольно страшно. Так как я знала, что меня укачивает, я решила не спускаться в каюту, а остаться лежать на скамье палубы, на воздухе. Маяковский принес из каюты теплое одеяло, укрыл им меня и потом среди ночи несколько раз поднимался наверх навещать меня и заботился обо мне очень трогательно. <…>

Он шел грустный и тихо говорил мне:

– Вот вы ездили в Харьков, а мне это неприятно. Вы никак

не можете понять, что я все-таки лирик. Дружеские отношения проявляются в неприятностях…

Я оправдывалась, но я его совсем не понимала. Маяковский сказал:

– Я люблю, когда у меня преимущество перед остальными…

Второй разговор о любви был весной двадцать восьмого года. Маяковский лежал больной гриппом в своей маленькой комнате в Гендриковом переулке. Лили Юрьевны не было в Москве, навещали его немногие. По телефону он позвал меня к себе:

– Хоть посидеть в соседней комнате…

В соседней – чтоб не заразиться.

Я пришла его навестить, но разговаривать нам как-то было не о чем. Он лежал на тахте, я стояла у окна, прислонившись к подоконнику. Было это днем, яркое солнце освещало всю комнату, и главным образом меня.

У меня была новая мальчишеская прическа, одета я была в новый коричневый костюмчик с красной отделкой, но у меня было плохое настроение, и мне было скучно.

– Вы ничего не знаете, – сказал Маяковский, – вы даже не знаете, что у вас длинные и красивые ноги.

Слово «длинные» меня почему-то обидело. И вообще от скуки, от тишины комнаты больного я придралась и спросила:

– Вот вы считаете, что я хорошая, красивая, нужная вам. Говорите даже, что ноги у меня красивые. Так почему же вы мне не говорите, что вы меня любите?

– Я люблю Лилю. Ко всем остальным я могу относиться только хорошо или ОЧЕНЬ хорошо, но любить я уж могу только на втором месте. Хотите – буду вас любить на втором месте?

– Нет! Не любите лучше меня совсем, – сказала я. – Лучше относитесь ко мне ОЧЕНЬ хорошо.

– Вы правильный товарищ, – сказал Маяковский. – «Друг друга можно не любить, но аккуратным быть обязаны…» – вспомнил он сказанное мне в начале нашего знакомства, и этой шуткой разговор был окончен.

**Галина Дмитриевна Катанян:**

Летом 1927 года Маяковский был в Крыму и на Кавказе с Наташей Брюханенко. Это были отношения, так сказать, обнародованные, и мы все были убеждены, что они поженятся. Но они не поженились…

Объяснение этому я нашла в 1930 году, когда после смерти Владимира Владимировича разбирала его архив. С дачи в Пушкино Лиля писала: «Володя, до меня отовсюду доходят слухи, что ты собираешься жениться. Не делай этого…»

# 1926, 1928.
# Элизабет Джонс

**Элизабет Джонс.** *Из бесед с Патрицией Дж. Томпсон:*

Я уверена, что за всю его жизнь не было других трех месяцев полной свободы и преданности одной женщины. Когда мы только познакомились, он сказал: «Давай просто жить друг для друга. На сей раз давай все сохраним только для нас. Это больше никого не касается. Только ты и я». Это было единственное время, когда у него было легко на сердце и он был счастлив.

**Патриция Дж. Томпсон:**

Моя мама, Елизавета («Элли») Петровна Зиберт, родилась 13 октября (по новому стилю) 1904 года в поселке Давлеканово нынешней Башкирии, в Уральских горах Восточной России. Она была старшим ребенком в семье, которая была вынуждена бежать из России после большевистской революции. Ее отец, Петр Генри Зиберт, родился на Украине, а мать, Елена Нойфельдт, – в Крыму. Оба были потомками немецких протестантов-меннонитов, миротворческой протестантской секты, оказавшейся в России в конце XVIII века по приглашению Екатерины Великой. <…>

Хорошо обеспеченная семья Зибертов жила просто. Хотя Элли никогда не слышала слов «Мы не можем себе этого позволить», ей часто говорили: «Нужно ли это?», «Как это повлияет на твое взросление?». Ее отец однажды сказал, что их семейный бюджет составлял 12 000 рублей в год – огромные деньги по тем временам. Российская революция 1917 года перевернула надежный мир семьи Зибертов с ног на голову. <…>

Элли Зиберт была «деревенской девушкой», жившей в отцовском и дедовом поместьях. Она была стройной, худой и хорошо сложенной, с густыми каштановыми волосами и огромными выразительными голубыми глазами. У нее был высокий лоб, прямой нос и волевой подбородок. Красивый изгиб ее губ мог выражать чувства без слов. Из-за худобы она казалась выше ростом, чем была на самом деле. Но ее главными достоинствами были ум, твердый характер, смелость и обаяние. В России она получила образование в меннонитской школе и у частных учителей. Кроме русского она знала немецкий, английский и французский.

**Василий Васильевич Катанян:**

Со слов Патриции мы узнали, что ее мать, Элизабет Зиберт

<…> совсем молодой, в начале двадцатых годов <…> познакомилась с англичанином Джорджем Джонсом, который приехал в Россию с Миссией помощи голодающим Поволжья. Вскоре они поженились, и Элизабет охотно разделяла заботы мужа: готовила обеды, раздавала продукты, делала все необходимое. Они уехали сначала в Англию, потом в Америку, где их брак вскоре распался. Она начала самостоятельную жизнь и, поскольку была хороша собой и стройна, нашла работу манекенщицы. В это время она и познакомилась с поэтом, который приехал в Америку летом 1925 года.

**Элизабет Джонс.** *Из бесед с Патрицией Дж. Томпсон:*

Ему было 32 года, мне 20, мы оба были молодыми и знали, что наши отношения должны вместиться в короткий промежуток времени. Это был как бы сгусток, капсула времени. Вот оно есть – и вот его уже нет. <…>

Я знала, что Маяковский – известный «womanizer»[6], «сердцеед», и <…> пошла на вечеринку только ради Лидии. У меня тогда была такая теория, что художника и человека лучше не смешивать. То, что я читала из Маяковского, казалось мне таким надуманным, что мне стоило целых часов расшифровать его стихи. Я хотела его спросить: «Как вы можете называть себя поэтом масс, если я – читавшая и Брюсова, и Блока, и Гельдерлина, и Шиллера, и Гете, и Теннисона, и Шекспира, и даже Линдсея, и Мопассана, и Гюго в оригинале – с таким трудом понимаю *Вас*?». <…>

Джордж Джонс поцеловал мне ручку и ушел на другую встречу. Ему надо было куда-то ехать на поезде. Я была там одна, сидела у маленького столика. Маяковский подошел и заговорил со мной. Он спросил, знаю ли я, кто он, и читала ли я что-нибудь из его работ. Я вежливо отвечала, что о нем мне говорил Хургин и что я читала его стихи, но никогда не ходила на его лекции в Москве, потому что, во-первых, боялась выходить одна поздно вечером, а во-вторых, на самом деле не было времени.

Но я читала его поэзию, и он сказал: «Все красивые девушки так говорят. А когда я спрашиваю, какие стихи они читали, они отвечают: „Одно длинное и одно короткое!“».

<…> <Я ответила:> «Я не знаю ваших коротких стихов – кроме рекламных лозунгов».

**Патриция Дж. Томпсон:**

Маяковский пригласил ее на <…> свою публичную лекцию. Он предложил заехать за ней или привезти ей билет. Она отказалась, сказав что Рехт обещал взять ее с собой.

Он продолжал говорить. Прежде чем она заметила, он оказался почти на коленях перед ней. Она сидела, а он был очень

высоким человеком. Ей было жарко, и она чувствовала себя несчастной в своем черном атласном платье и черных атласных туфельках на высоком каблуке.

Маяковский сказал: «Позвольте принести вам лимонаду. Здесь так жарко».

Элли ответила: «Да, я не отказалась бы от лимонада».

Тогда он пошел за прохладительным напитком в бар в соседнюю комнату. Он вернулся с высоким бокалом с бледно-зеленой жидкостью, вкус которой что-то напомнил ей, и Элли сказала: «Хм, пахнет как рождественская елка». Она не привыкла к алкоголю. Напиток показался ей очень вкусным. Скорее всего, это был джин. Запах можжевеловых ягод дал повод для прозвища «Елочка» – одного из двух, которые придумал для нее Маяковский.

Снова он встал на колени и сказал: «Вы не прогуляетесь со мной по магазинам? Мне нужно купить подарки моей жене».

Позже Элли записала в своем дневнике: «Я понимаю, почему у него репутация „сердцееда“. Он сразу сообщает, что женат. Однако настаивает на том, чтобы я оставила ему свой номер телефона».

Он умолял: «Давайте пообедаем вместе». Элли засобиралась домой.

Маяковский предложил: «Может сначала пообедаем?»

Элли ответила: «Я пришла вместе с Лидией Павловной и уходить мы собираемся тоже вместе. Я не пойду одна. Мы должны взять ее с собой».

**Элизабет Джонс.** *Из бесед с Патрицией Дж. Томпсон:*

С того дня я видела его каждый день, и я бы сказала, что все это время я была на седьмом небе. <…> Я ходила совершенно бесшумно. Просто летела рядом с ним на седьмом небе. Мы шли к нему, а не ко мне. Моя хозяйка была бы по меньшей мере шокирована, увидев нас вместе!

После этого он заходил за мной каждое утро, и мы проводили день вместе, читая и гуляя. Нас постоянно куда-нибудь приглашали. Он везде брал меня с собой, мог бы, но никогда не оставлял меня одну.

Однажды утром он позвонил, чтобы сказать:

> Служанка только что ушла.
> Твои заколки *кричат* о тебе!
> Маленькие просто *визжат*!

<…> Он очень внимательно следил за тем, чтобы не скомпрометировать меня. (Я была формально замужем,

но ушла от мужа и жила отдельно.) На публике мы всегда обращались друг к другу официально. Он называл меня «Елизавета Петровна» – в знак уважения, но при американцах – только «миссис Джонс». Тогда это было очень важно. Обнародование наших отношений стало бы для меня катастрофой: когда муж сердился, он угрожал, что разведется со мною уже официально и вышлет меня из США – в то время одинокая женщина не могла рассчитывать на американскую визу, и я полностью зависела от Джонса. Когда у нас с Володей установились близкие отношения, мы условились никому не рассказывать об этом. Я сдержала слово. <…>

Я никогда не звонила ему, вообще никогда в жизни не звонила ни одному мужчине. Меня он тоже не мог застать дома, т. к. я все время была занята на работе. И вот рано утром мне позвонил хозяин квартиры, в которой жил Маяковский, и сказал: «Я не знаю кому звонить, но г-н Маяковский болен. Мы все беспокоимся за него, как вы думаете, что нам делать? Он не выходил из дому уже три дня». Я ответила: «Хорошо, я приду». Я отправилась к нему, привезла продукты, куриный бульон в банке, что-то еще. Володя лежал лицом к стене, совершенно больной и очень подавленный. Мне стало жаль его, и я почувствовала, что счастлива его видеть. Я приготовила ему что-то горячее, и он сказал: «Не ходи на работу, пожалуйста. Не оставляй меня, я не могу быть один. Мне жаль, что ты обиделась, прости меня». Я сказала: «Я должна идти, иначе я не получу зарплату. Обещаю, я приду к тебе вечером, как только освобожусь». Когда я пришла, он, к моему удивлению, стоял, ожидая меня. Он взял мою шляпную коробку в одну руку и предложил мне другую. Все было прекрасно после этого… <…>

Как-то, когда мы уже были в интимной близости, он спросил: «Ты как-нибудь предохраняешься?» А я ответила: «Любить – значит иметь детей». «Ты сумасшедший ребенок», – сказал он, а потом использовал эту фразу, несколько переделав, в одной из своих пьес. <…>

Проводив его на корабль и вернувшись домой, я хотела броситься на кровать и плакать – по нему, по России – но не могла: вся кровать была усыпана незабудками. У него было так мало денег, но это было в его стиле! Где он взял незабудки в конце октября в Нью-Йорке? Должно быть, заказал задолго до этого. Я не уезжала из этой комнаты, чтобы он мог найти меня, если бы захотел написать. <…>

Мы всю ночь занимались любовью (в последний день его пребывания. – *Сост.*). А утром, как обычно, я должна была уйти,

потому что газетчики и другие люди собирались за ним зайти. Я не могла там находиться и отправлялась обратно к себе. Я хотела сразу же попрощаться. Все кончилось. Всему конец. А он сказал: «Нет. Нет. *Нет.* Ты должна прийти на корабль». Он настаивал. Я ответила: «Для меня это будет очень сложно». Но он просил: «*Пожалуйста,* приди на корабль. Я хочу быть с тобой как можно дольше». Итак, я пошла домой, а через какое-то время он, Рехт и Бурлюк зашли за мной, чтобы на такси поехать на пристань. Там было очень много народу. И эта толпа напомнила мне тех, кто был на лекции. Я не помню никаких деталей, только то, что Рехт и Бурлюк были там. Когда я подошла к такси, Маяковского не было, и я подумала: «О, он пошел попрощаться с моей хозяйкой».

Мы прибыли к пароходу. Обычно, когда кого-то провожали в плавание, все поднимались на борт, но тут никто этого не делал. И я не понимала *почему*? Это было так странно. Все просто стояли на пристани. Наконец вышел Маяковский. Он поцеловал мне руку. Все видели, как я была бледна и как меня трясло. < … >

Я с ума сходила, когда он уехал. Я бы никогда не подумала, что буду так реагировать. Я все еще жила в комнате на 12-й улице. Он уехал в конце октября или в начале ноября, и я ни с кем не встречалась, кроме полковника Белла и Пэт Ливенгуд.

Я не могла написать ему, что беременна. Я знала: письма могут перехватить, меня могли шантажировать.

**Патриция Дж. Томпсон:**

Полковник, впервые увидев Элли после отъезда Маяковского, был поражен ее худобой и изможденностью. Вместо сияющей, очаровательной молодой женщины он увидел искаженное горем лицо, которое Маяковский – со сверхъестественной проницательностью – изобразил на рисунке, сделанном на крыше квартиры Бурлюка в Бронксе в сентябре 1925 г. Полковник Белл догадался, что она беременна, и спросил: «Ты, конечно, будешь делать аборт?» Он даже предложил это устроить и помочь с восстановительным лечением. Элли отказалась:

«Раз уж я забеременела, делать аборт не буду. Я сохраню ребенка».

Она приняла первое роковое решение. Если ей суждено было потерять Маяковского, она не хотела терять его ребенка. < … >

Во время беременности ее мучила одна мысль. Что, если она умрет при родах? Элли хотела защитить своего будущего ребенка. Она порвала телеграмму Маяковского, порвала его письма из Детройта и других мест. Они не могли помочь ее ребенку

и опозорили бы Джонса.

**Элизабет Джонс.** *Из бесед с Патрицией Дж. Томпсон:*

Через несколько дней или, может быть, недель после отъезда Лидии из Ниццы (1928 г. – Сост.) я точно не помню, сколько прошло времени, – зазвонил телефон. Консьержка сказала: «Тут к вам какая-то дама», – и назвала незнакомое русское имя. <…> Пришедшая была красивой маленькой женщиной. Я ничего про нее не знаю, кроме имени. <…> Без какого-либо предупреждения женщина сказала:

*«Маяковский внизу! Можно ему подняться?»*

<…> Я чуть в обморок не упала. Откуда он взялся? Как узнал, где я? <…> Я хотела переодеться, потому что была в какой-то домашней одежде. Через несколько минут он стоял в дверях! <…>

Мы обнялись. Мы плакали. Но тогда он плакал легко. Он взял тебя на руки, обнял тебя и меня одновременно.

Маяковский написал на форзаце своей книги: «*Моей единственной родной… Элли… только.* Володя».

<…> Сначала он рассказал мне, что, когда вернулся в Россию, *все* его записи были конфискованы. Их прочитал кто-то, желающий знать его планы.

Он сказал: «Я не могу взять тебя в Россию! Если бы я увез тебя в Россию, они бы уничтожили тебя – сожрали бы тебя». И он употребил какое-то устаревшее слово, которое я даже не могу найти в своем словаре. <…>

Он хотел заняться любовью. А я напомнила ему стихотворение Саши Черного. Он сказал: «Какие ужасные стихи ты знаешь». Я не хотела заниматься любовью. Я знала, что поцелуями это не ограничится, потому что перед ним невозможно было устоять! Даже в первый вечер он не отпустил меня домой. Ты была совсем маленькой. Ты заснула. Он положил тебя на свою кровать. Он сказал, удивленно посмотрев: «Она дышит!» Ты спала, а мы разговаривали. Потом мы оба легли на кровать, обнялись – и заплакали. <…>

У него было множество идей по поводу того, что мы могли бы сделать – что я могла бы сделать вместо возвращения в Америку. У него был друг в Италии. У меня тоже был друг в Италии. Почему бы мне не поехать туда и не жить там? А он бы приезжал нас повидать. Я сказала: «Я знаю, ты несвободен. Ты *дважды* несвободен. Во-первых, коммунисты, твоя дорогая революция, а во-вторых, Лиля Брик».

**Патриция Дж. Томпсон:**

Поскольку все, что Лиля Брик говорила о романе Маяковского на Манхэттене, не соответствует действительности, то справедливо предположить, что он сдержал обещание, данное «Елчику» перед отъездом: никому ничего не рассказывать про их отношения. Маяковский жил, следуя правилам поведения джентльмена.

**Василий Васильевич Катанян:**

Маяковский ехал в Ниццу на несколько дней, но, судя по письму Лиле Юрьевне, «сразу заскучал» и через день (!) вернулся в Париж. А там он в тот же вечер встретил Татьяну Яковлеву и начался бешеный роман…

# 1928–1929. Татьяна Яковлева

**Павел Ильич Лавут:**

Подруга Л. Н. Орловой Цеге Лилия Николаевна, местная меценатка, принимала участие в организации вечера футуристов в Пензе. Она даже осмелилась пригласить к себе приехавшую на гастроли популярную тройку футуристов – Маяковского, Каменского и Бурлюка. После выступления тройки (в 1914 г. – Сост.) в клубе «Соединенное собрание», находившемся рядом с квартирой Цеге, все направились в гости. Присутствующая на выступлении футуристов Любовь Николаевна также оказалась среди гостей. <…>

Гости засиделись до поздней ночи. Читалось множество стихов, был, конечно, и легкий флирт. Маяковский провожал Любовь Николаевну домой. Игра судьбы – через четырнадцать лет Владимир Владимирович знакомится в Париже с дочерью этой женщины – Татьяной Яковлевой.

**Фрэнсин дю Плесси-Грей** *(р. 1930), дочь Т. Яковлевой и Б. дю Плесси-Грей, американская журналистка:*

Татьяна Яковлева, отпрыск ветвистого древа нескольких поколений эксцентрических художников и интеллектуалов, была на тринадцать лет моложе Маяковского – она родилась в Санкт-Петербурге в 1906 году. Ее отец, Алексей Евгеньевич Яковлев, был инженером и архитектором. Он одним из первых в России приобрел в частное пользование аэроплан, который носил имя «Мадемуазель». Бабушка Татьяны Яковлевой по отцу оказалась в числе первых женщин в России, защитивших диссертацию, – она имела звание бакалавра математики. Мать девочки, которой пришлось во время революции кормить семью, давая уроки балета, почти свободно говорила на четырех языках. <…>

Когда девочке было около пяти лет, родители увезли ее вместе с младшей сестренкой Людмилой, горничными и домочадцами в Пензу, город в тринадцати часах езды к юго-востоку от Москвы, где отец получил заказ на строительство нескольких государственных театров.

Вскоре жизнь семьи приняла суровый оборот. В 1915 году родители разошлись. Отец уехал – через Китай – в Америку, а мать вышла замуж за преуспевающего фармацевта, который потерял все свое состояние в первые дни революции 1917 года. Семья осталась без средств к существованию. Ситуация стала угрожающей в 1921 году, когда юго-восток России поразил голод и отчим Татьяны умер от туберкулеза и недоедания. Три

женщины жили в одной комнате, отапливая ее бесценными книгами. Мама вспоминала, как ходила на рынок и в скупку, стараясь продать что-нибудь из мебели или белья. Несмотря на то, что образование Татьяны было скудно – из-за разразившейся революции она после двенадцати лет мало посещала школу, – у нее был особый дар учить стихи наизусть. К четырнадцати годам она могла часами декламировать Пушкина, Лермонтова, Блока и, конечно, Маяковского. В начале двадцатых годов она помогала матери и сестре тем, что, стоя на углу улицы, читала стихи красноармейцам, и те подавали ей буханку хлеба.

**Татьяна Алексеевна Яковлева.** *Из интервью с Г. Шмаковым:*

Французскому я училась с голоса – мать с отцом всегда говорили по-французски. Я ходила в школу только год – в 1918 году… В Пензе я с восторгом посещала поэтический кружок. Его вел Владимир Розанов. Я обожала стихи <…>. У меня не могло быть ни культурного, ни психологического шока от Парижа – я приехала из интеллигентной семьи вполне начитанной, знающей музыку и живопись барышней. К тому же я не попала в чужой дом, а к бабушке, тетке и дяде, которые меня обожали, когда я была еще ребенком. И очутилась я в русском кругу, и каждый день поначалу приходили Григорьевы, Шухаевы или Прокофьевы к обеду.

**Василий Иванович Шухаев** (1887–1973), российский художник. Работал в Петрограде, с 1921 г. во Франции, в Париже, в 1935 г. вернулся в СССР; **Вера Федоровна Шухаева**, *жена художника:*

Очень общительная, живая, красивая, она быстро со всеми перезнакомилась и была принята в обществе, в котором вращался дядя. Но ей хотелось быть самостоятельной, и она, поучившись у модистки, начала делать шляпы, придумывая новые модели.

Татьяна имела большой успех, ее везде хорошо принимали. Она имела много поклонников, в числе которых был внук знаменитого русского биолога И. И. Мечникова.

**Татьяна Алексеевна Яковлева.** *Из интервью с Г. Шмаковым:*

На Монпарнасе меня постоянно видели только с художниками. Я была высокая, эффектная и хорошо одетая – меня одевали для рекламы. С Шанель я познакомилась вскоре по приезде. Шанель дружила с дядей, и меня сразу же повезли к ней и одели с ног до головы. Не могли же меня водить по Парижу в советских лохмотьях и туфлях на веревочной подошве.

**Эльза Триоле:**

Я познакомилась с Татьяной перед самым приездом Маяковского в Париж и сказала ей: «Да вы под рост Маяковскому». Так из-за этого «под рост», для смеха, я и познакомила Володю с Татьяной. Маяковский же с первого взгляда в нее жестоко влюбился. Татьяна была в полном цвету, ей было всего двадцать с лишним лет, высокая, длинноногая, с яркими желтыми волосами, довольно накрашенная, «в меха и бусы оправленная». <…> В ней была молодая удаль, бьющая через край жизнерадостность, разговаривала она захлебываясь, плавала, играла в теннис, вела счет поклонникам.

**Татьяна Алексеевна Яковлева:**

Хотя я основательно залечила свой туберкулез, слабые легкие время от времени давали о себе знать. В конце октября двадцать восьмого года у меня разыгрался страшный бронхит и я отчаянно кашляла. В конце концов я позвонила своему доктору Сержу Симону, и тот сказал: «Приезжай немедленно».

Войдя к нему в гостиную, я увидела хозяина, Эльзу Триоле и высокого, большого господина, одетого с исключительной элегантностью в добротный костюм, хорошие ботинки и с несколько скучающим видом сидящего в кресле. При моем появлении он сразу устремил на меня внимательные, серьезные глаза. Его короткий бобрик и крупные черты красивого лица я узнала сразу – это был Маяковский. Нас представили друг другу, и я, давясь от приступов накатывающего кашля, по мере сил включилась в беседу. Стихи Маяковского я хорошо знала и любила и не раз декламировала красноармейцам за краюху хлеба в те голодные годы. То, что он был первым поэтом большевистской России, меня ничуть не смущало – в ту пору я была очень далека от политики и по молодости лет еще не до конца понимала, на чьей стороне правда.

Да и к встрече с такой знаменитостью – а в те годы его имя постоянно мелькало на страницах парижских газет – я отнеслась без робости и смущения. <…> Если что меня и поразило, так это его манеры – простые и изысканные. Он скорее напоминал английского аристократа и выправкой, и одеждой, и уж никак не связывался с тем образом, который слагался в моем сознании из его футуристской желтой кофты, скандальных выступлений, из его режущего бритвой острословия и шумной славы пролетарского поэта-трибуна. То, что я всецело владела его вниманием с первой минуты, я тоже поняла – моя интуиция, которая столько раз спасала меня в жизни, на этот раз меня

не подвела. Не боясь впасть в мелодраматичный тон, это был… <пропуск в машинописи> мгновенное увлечение, обернувшееся любовью с первого взгляда, встречей, последствия которой я и отдаленно себе не представляла. Как, впрочем, и не представляла себе, что тайной устроительницей нашего с виду нечаянного знакомства была Эльза Триоле.

Маяковский остановился в той же гостинице на Монпарнасе, где жили Арагоны. В Париже он смертельно скучал – по-французски он не говорил, и ко времени нашей встречи все парижские прелести, очевидно, утратили для него и новизну, и остроту. Он даже хотел вернуться в Москву до истечения визы, что решительно расходилось с планами Арагонов. Маяковский был баснословно щедр, баловал их, водил по ресторанам, делал дорогие подарки. Арагоны жили стесненно в одной комнате отеля средней руки – Арагон писал тогда своего «Парижского крестьянина», и до его гремящей славы и лавины денег было еще далеко. Эльза поддерживала более чем скромный бюджет продажей колье из крашеной чечевицы или фигурных макарон, которые она нанизывала на нитку на манер модных в то время африканских бус. В тот момент они в основном жили на деньги Маяковского и задержать его в Париже как можно дольше было в их интересах. Тут-то Эльза и вспомнила обо мне, которая, очевидно, представилась ей достойной кандидатурой для развлечения поэта. Найти такую особу в Париже было нелегко: она должна была быть русской, красивой, не дурой и – в идеале – хорошо знать стихи, иначе знакомство не продержалось бы и дня. Я отвечала всем требованиям выбора.

Заметив пристальное внимание Маяковского ко мне, Эльза ликовала: ее уловка удалась, она уже предвкушала легкий флирт или краткий наш романчик и затянувшееся пребывание Маяковского в Париже. Ей и в голову не приходило, что участники запланированного флирта влюбятся друг в друга. Как бы то ни было, напуганный моим кашлем, Маяковский предложил отвезти меня домой. В такси было холодно, Маяковский снял пальто и положил мне на ноги. С этого момента я почувствовала к себе такую нежность и бережность, не ответить на которую было невозможно. «Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха», – писала Ахматова – так вот Маяковский был сама нежность, ненавязчивая, без слащавости и сантиментов – в нем была надежность и сила. Мы попрощались у моего дома, и он выразил надежду, что мы встретимся очень скоро.

Я была польщена, заинтригована и слегка озабочена. Меня беспокоило то, как устроить наши свидания – в неизбежности их

я не сомневалась, – чтобы бабушка и близкие оставались в неведеньи. <…> Поднимаясь по лестнице, я знала, что Маяковский не преминет объявиться. Мои предчувствия оправдались…

**Василий Иванович Шухаев, Вера Федоровна Шухаева:**

Маяковский сразу влюбился в Татьяну. Как-то Таня привела его к нашим знакомым, где были и мы. Радостная и сияющая, она подошла к нам и сказала:

– Я хочу познакомить вас с Маяковским. Он будет читать стихи.

Мы, разумеется, были рады этой встрече, так как уже раньше знали Маяковского. Но он теперь выглядел по-другому, чем в 1917 году. Да и Таня во многом изменилась после приезда к дяде, который был очень щедр к ней, любил показываться с нею в обществе.

– Володя, прочти «Необычайное приключение»!

– Володя, прочти «Юбилейное»! – просила Таня. И он охотно исполнял ее желание, читал своим изумительным, мягким басом все, что она просила. Читал он нам и свою новую, только что написанную пьесу «Клоп».

Когда Маяковский бывал в Париже, мы всегда видели их вместе. Это была замечательная пара. Маяковский очень красивый, большой. Таня тоже красавица – высокая, стройная, под стать ему. Маяковский производил впечатление тихого, влюбленного. Она восхищалась и явно любовалась им, гордилась его талантом.

Как-то Таня вбежала к нам и, смеясь, рассказала, что она с Маяковским была в Довиле (курорт на берегу моря) и там они проиграли в рулетку все деньги. Даже на обратный путь ничего не осталось, пришлось им на дорогах поднимать руки и просить подвезти до Парижа.

**Фрэнсин дю Плесси-Грей:**

Через две недели он предложил ей выйти за него замуж – она отнеслась к этому достаточно сдержанно. Во время обеда в «Grand-chaumiere» на Монпарнасе в один из ноябрьских дней он подарил ей два стихотворения, которые сочинил незадолго до этого и посвятил ей.

**Татьяна Алексеевна Яковлева:**

Все приняло самый серьезный оборот – и буквально через две-три недели после нашей встречи он написал оба стихотворения, посвященные мне: «Письмо Татьяне Яковлевой» и «Письмо товарищу Кострову о сущности любви». И из Парижа

он отправил второе стихотворение Кострову в «Литературную газету», от которой он и был в Париже в писательской командировке. У меня были плохие предчувствия относительно Кострова, и они меня не обманули. Стихотворение было плохо принято. В Париже же он читал «письма» у всех – у Познеров, у Арагонов. <…>

Как протекал роман? Мы виделись каждый день, встречались в Куполь, на Монпарнасе. О чем мы говорили? Больше всего о литературе, у нас были одинаковые вкусы, и он поражался моей памяти, с какой легкостью я выпаливала километры стихов – Гумилева, его собственные, даже Апухтина, которого помнила по «Чтецу-декламатору». Я бывала на его выступлениях, которые проходили очень бурно – на них валил интеллигентский Париж – артисты Монпарнаса. Громадный успех имели «Солнце», «Облако в штанах». <…> Маяковский имел колоссальный успех.

Когда я его полюбила? Трудно сказать – думаю, под конец нашей первой встречи, но он был первый человек, которого я полюбила по-настоящему <…>.

Он уехал в конце 1928 г. перед Рождеством, и дальше все письма были посвящены одной теме – нашей встрече и возможности соединить наши жизни. «Иди ко мне на перекресток…»

Теперь о Лиле. Я, конечно, знала о ее существовании раньше и нисколько не удивилась тому, что она всплывала в наших разговорах поминутно. Первое, что мы сделали, – пошли покупать костюм для нее. Я должна была выбирать цвет машины, чтобы понравилась Лилечке. Обо мне ей не писал – он ей сказал, и она все разбила в доме. Это было первое предательство, настоящее за столько лет. «Ты первый раз меня предал». Не была она в восторге и от строчки «сердца выстывший мотор». М. никому, кроме Лили, не писал лирических стихов, и вдруг – два стихотворения, и к тому же исполненные такой лирической силы и подлинной человеческой страсти.

**Эльза Триоле:**

Татьяна была поражена и испугана Маяковским. Трудолюбиво зарабатывая на жизнь шляпами, она в то же время благоразумно строила свое будущее на вполне буржуазных началах, и если оно себя не оправдало, то виновата в этом война, а не Татьяна. Встреча с Маяковским опрокидывала Татьянину жизнь.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Письмо Т. А. Яковлевой, 24 декабря 1928 г.:*

Мой любимый Таник.

Письма такая медленная вещь а мне так надо каждую минуту знать что ты делаешь и о чем ты думаешь. Поэтому – телеграмлю. Телеграфь, шли письма – ворохи того и другого. Я так гиперболически радуюсь каждой твоей букве.

Я получил одно твое письмо, только последнее. Я его совсем измусолил перечитывая!

Рад всему – кроме простуды, поправляйся сейчас же! Слышишь? Что о себе?

Мы (Твой Waterman и я) написали новую пьесу. Читали ее Мейерхольду.

Писали по 20 суточных часов. Без питей и ед. Голова у меня от такой работы вспухлая (даже кепка не налазит) Сам еще и выщепить не могу как вышло а прочих мнений не шлю – во избежание упреков в рекламе и из гипертрофированного чувства природной скромности. (Кажется все таки себя расхвалил? Ничего. Заслуживаю.) Работаю как бык – наклонив морду с красными глазами над письменным столом. Даже глаза сдали и я в очках! Кладу еще какую-то холодную дрянь на глаза. Ничего до тебя пройдет. Работать можно и в очках а глаза мне все равно до тебя не нужны потому что кроме как на тебя мне смотреть не на кого. Подустал.

А еще горы и тундры работы. Дорабатываю и рванусь видеть тебя. Если мы от всех этих делов повалимся (на разнесчастный случай) ты приедешь ко мне. Да? Да?

Ты не парижачка. Ты настоящая рабочая девочка. У нас тебя должны все любить и все тебе обязаны радоваться.

Я ношу твое имя как праздничный флаг над городским зданием и оно развевается надо мной и я не принижу его ни на миллиметр.

Твой стих печатается в Молодой Гвардии. Пришлю.

Получила ли ты мой первый и пятый томищи?

Что ты пишешь про новый год? Сумасшедшая! Какой праздник может быть у меня без тебя.

Я работаю. Это *единственнейшее* мое удовольствие. Обнимаю тебя родная целую тебя и *люблю* и люблю Твой Вол

**Татьяна Алексеевна Яковлева.** *Из письма Л. Н. Орловой. Париж, 24 декабря 1928 г.:*

Если я когда-либо хорошо относилась к моим «поклонникам», то это к нему, в большой доле из-за его таланта, но в еще большей из-за изумительного и буквально трогательного ко мне отношения. В смысле внимания и заботливости (даже для меня, избалованной) он совершенно изумителен. <…> Я до сих пор

очень по нему скучаю. Главное, люди, с которыми я встречаюсь, большей частью «светские», без всякого желания шевелить мозгами или же с какими-то, мухами засиженными, мыслями и чувствами. М. же меня подхлестнул, заставил (ужасно боялась казаться рядом с ним глупой) умственно подтянуться, а главное, остро вспомнить Россию. <…> Он всколыхнул во мне тоску по России и по всем вам. Буквально, я чуть не вернулась. И сейчас мне все кажется мелким и пресным. Он такой колоссальный и физически, и морально, что после него буквально пустыня. Это первый человек, сумевший оставить в моей душе след. Ведь здесь я ни минуты не скучала по «Володям». Но по третьему Володе я тоскую. Но ты не пугайся! Это во всяком случае не безнадежная любовь. Скорее наоборот. Его чувства настолько сильны, что нельзя их не отразить хотя бы в малой мере. Счастье мое, что я не встретила его в Москве перед Парижем. <…> М. очень, кажется, импонирует, что я работаю и очень самостоятельна. Но, постигнув тайну свободы и материальной независимости, меня теперь трудно будет «обкрутить», и многих это расстраивает. Только что получила от М. книги, а вслед телеграмму, что он не получает моих писем. <…>

М. любит мой спортивный ансамбль, песочного цвета с серовато-серебристым мехом, который я ношу с разными фуфайками. Он находит, что мне больше всего идут спортивные вещи. М. тоже любит этот стиль.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

1929. Январь. Я у Маяковского на Лубянском проезде. Вечер. Он что-то пишет за столом, я нахожусь в комнате как бы сама по себе. В это время ему приносят письмо. Он набрасывается, читает его. А потом… С большим дружеским доверием рассказывает мне о том, что он влюблен и что он застрелится, если не сможет вскоре увидеть эту женщину.

**Василий Иванович Шухаев, Вера Федоровна Шухаева:**

Весной 1929 года мы опять видели Маяковского в Париже, и всегда с Таней. Когда он уехал в Россию (кажется, в самом конце апреля), Таня сказала нам, что она любит Маяковского и выходит за него замуж, но он поехал сейчас на родину и к осени возвратится за нею.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Письмо Т. А. Яковлевой, 3 января 1929 г.:*

Таник милый, мой и любимый

в твоем последнем письме огорчила угроза – «поправлюсь, буду писать реже»

Да еще на «Вы» обозвала!

Пожалуста не осуществляй эту ненавистную фразу.

Твои строки – это добрая половина моей жизни вообще и вся моя личная.

Я не растекаюсь по бумаге (профессиональная ненависть к писанию) но если бы дать запись всех, моих со мной же, разговоров о тебе, ненаписанных писем, невыговоренных ласковостей то мои собрания сочинений сразу бы вспухли втрое и все сплошной лирикой!

Милый!

Мне без тебя совсем не нравится. Обдумай и пособирай мысли (а потом и вещи) и примерься сердцем своим, к моей надежде взять тебя на лапы и привезть к нам, к себе в Москву.

Давай об этом думать а потом и говорить. Сделаем нашу разлуку – проверкой.

Если любим – то хорошо ли тратить сердце и время на изнурительное шагание по телеграфным столбам?

«Правильно я сказал
или неправильно?»

31-го в 12 ночи (и с коррективом на разницу времен) я совсем промок тоской.

Ласковый товарищ чокался за тебя и даже Лили Юрьевна на меня слегка накричала – «если говорит ты настолько грустишь чего же не бросаешься к ней сейчас же».

Ну что ж… И брошусь.

Только дожму работу. Работаю до ряби в глазах и до треска в плечах. Сейчас к писанию прибавились еще ежедневные чтения пьесы и репетиции. Надеюсь в месяц скрутить всю работу. Отдохну потом. Надеюсь что мне дадут возможность по настоящему вылежать месяц другой у какого-нибудь берлинского Клемперера.

Когда я совсем устаю я говорю себе «Татюша» и опять взверяюсь в бумагу. Ты, и другое солнце, вы меня потом выласкаете. <…>

Ты спрашиваешь про Лилю. Она милейшая, а главная ее милость в том, что она твоя сестра. Хочет учиться. Надеюсь вручить ее Голейзовскому.

Самое жгучее мое горе то, что я не могу тебя сейчас выходить и вынянчить после твоей болезни.

С этим письмом вместе шлю II том и «Хорошо». Буду писать и телеграфить. Пиши! Пиши! Пиши.

Я бросил разъезжать и сижу сиднем из боязни хоть на час

опоздать с чтением твоих письмов.

Работать и ждать тебя это единственная моя радость.

Люби люби меня пожалуста и обязательно обнимаю тебя всю *люблю* и *целую* твой Вол

**Эльза Триоле:**

Неистовство Маяковского, его «мертвая хватка», его бешеное желание взять ее «одну или вдвоем с Парижем», – откуда ей было знать, что такое у него не в первый раз и не в последний раз?

Она переоценивала его любовь оттого, что этого хотелось ее самолюбию, уверенности в своей неотразимости, красоте, необычайности…

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Письмо Т. А. Яковлевой, 15 мая 1929 г.:*

Дорогой, милый, мой и любимый Таник

Только сейчас голова немного раскрутилась можно немножко подумать и немного пописать. Пожалуйста не ропщи на меня и не крой – столько было неприятностев от самых мушиных до слонячих размеров что право на меня нельзя злобиться.

Начну по порядку.

1) Я совершенно и очень *люблю* Таника.

2) Работать только что начинаю буду выписывать свою «Баню».

3) Лиличка сначала взорвалась и рассердилась что я ее не транспортирую немедля на Эйфелеву башню но теперь успокоилась и временно помирилась на поездке в Сочи, куда она и отбывает дня через два. Надеюсь уговорить поехать и твою маму буду опираться на твой ей приказ отдыхать. Кстати, там и увидимся.

4) Вчера получил письмо от твоей мамы спрашивает о тебе – сегодня буду отвечать.

5) Книги шлю тебе сегодня 4 том и два номера Молодой гвардии с Клопом.

6) Еду из Москвы около 15–25 июня по Кавказу и Крыму – читать.

7) Пиши мне *всегда* и *обязательно* и телеграфируй без твоих писем мне просто никак нельзя.

8) Тоскую по тебе совсем небывало

9, 1–0, 11, 12 и т. д. Люблю тебя всегда и всю очень и совершенно

Твой Вол

Здесь жара так хотелось бы поехать с тобой к нашему морю на наши три дня.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Телеграмма Т. А. Яковлевой, 25 июня 1929 г.:*

TATIANA JAKOVLEFF 15 RUE LEMERCIER PRS 17

MOSCOU 586 21W 25 21 17 NORTHERN

TOSCOUIU STARAIUS UVIDETSIA SCOREE MAME NAPISAL KNIGI

POSILAIU ZELUIU LUBLIU PICHI TSCACSHE TVOI VOL

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Письмо Т. А. Яковлевой, 8 июля 1929 г.:*

Дорогая родная милая любимая Таник.

Ты обещала писать каждые три дня я ждал ждал ждал лазил под ковер но письмо оказалось двухнедельное. Да еще и грустное.

Не грусти детка не может быть такого случая чтоб мы с тобой не оказывались во все времена вместе.

И у меня и у тебя есть симпатичнейшие поезда.

Ты спрашиваешь меня о подробностях моей жизни. Подробностей нет.

Начал писать Баню (с дьяволовым опозданием!) и пока еще даже не все фамилии действующих придумал. <…>

Не написал ни одной стихотворной строки. После твоих стихов прочие кажутся пресными. На работу бросаюсь помня что до октября не так много времени но работа ужасно твердая и я от нее отскакиваю только набив на лбу небольшие шишки недоумения и уважения к теме.

Милый мой родной и любимый Таник Не забывай меня пожалуста Я тебя так же люблю и рвусь тебя видеть.

Целую тебя всего твой

ВОЛ

**Татьяна Алексеевна Яковлева.** *Из интервью с Г. Шмаковым:*

Г. ШМАКОВ: А ты совсем не помнишь, что ты писала Маяковскому в своих письмах к нему? Жалко, что они не сохранились.

ТАТЬЯНА: Что пишут мужчине, которого любишь? Я думаю, что это все одинаковые письма. Я его утешала, что быстро пройдет время и чтобы он не волновался, что до мая ждать недолго. Вот он пишет: «Им заменить меня до мая, но почему же не до марта?» Он таки приехал в марте, а не в мае, сразу же после премьеры «Клопа». <…>

Разговоры о женитьбе возникли во время первой встречи и усилились, когда вместо мая он приехал в марте (1929 г. – *Сост.*) сразу же после премьеры «Бани», которая была

отрицательно принята. Тогда-то он и стал отчаянно уговаривать меня вернуться в Россию.

***Эльза Триоле:***

И во время романа с Маяковским (Татьяна. – Сост.) продолжала поддерживать отношения со своим будущим мужем… Володя узнал об этом.

Тяжелое это было дело. Я утешала и нянчила его, как ребенка, который невыносимо больно ушибся. Володя рассеянно слушал и наконец сказал: «Нет, конечно, разбитую чашку можно склеить, но все равно она разбита». Он взял себя в руки и продолжал роман с красивой девушкой, которая ему сильно нравилась.

**Татьяна Алексеевна Яковлева:**

Осенью 29-го дю Плесси оказался в Париже и стал за мной ухаживать. Я была совершенно свободна, ибо Маяковский не приехал. Я думала, что он не хочет брать на себя ответственность, сажать себе на шею девушку, даже если ты влюблен. Если бы я согласилась ехать, он должен был бы жениться, у него не было бы выбора. Я думала, может быть, он просто испугался… И я уже слышала про Полонскую… Через 50 лет это трудно объяснить. Я себя почувствовала свободной. Мы с дю Плесси ходили в театры, я ему сказала, что чуть не вышла замуж за русского. Он бывал у нас в доме открыто – мне нечего было его скрывать, он был француз, одинокий, это не Маяковский. Я вышла за него замуж, он удивительно ко мне относился…

**Лили Юрьевна Брик.** *Из дневника:*

11.10.1929. Письмо от Эли про Татьяну: она конечно выходит замуж за французского виконта. Надя говорит, что я побледнела, а со мной это никогда не бывает. Представляю себе Володину ярость и как ему стыдно.

**Василий Иванович Шухаев, Вера Федоровна Шухаева:**

За несколько дней до свадьбы мы спросили Таню:

– А ты сообщила Маяковскому, что выходишь замуж?

Она ответила:

– Нет, я напишу ему только в день свадьбы.

**Эльза Триоле:**

Как ни парадоксально это звучит, но Татьяна переоценивала собственную роль в любви к ней Маяковского, – любовь была в нем, а она была лишь объектом для нее. Что ж, она не виновата,

что он напридумывал любовь, до которой она не доросла.

**Лили Юрьевна Брик.** *Из дневника:*

17.10.1929. Беспокоюсь о Володе. Утром позвонила ему в Ленинград. Рад, что хочу приехать. Спросила не пустит ли он себе пулю в лоб из за Татьяны, в Париже тревожатся. Говорит – «передай этим дуракам, что эта лошадь кончилась, пересел на другую». Вечером выехала в Питер.

**Лили Юрьевна Брик:**

Мы ездили вместе на все его выступления – и в больших залах, и у студентов, в каких-то до отказа набитых комнатах. Выступлений было иногда по два и по три в день, и почти на каждом Володя поминал не то барона, не то виконта: «Мы работаем, мы не французские виконты». Или: «Это вам не французский виконт». Или: «Если б я был бароном…»

Видно, боль отошла уже, но его продолжало мучить самолюбие, осталась обида – он чувствовал себя дураком перед собой, передо мной, что так ошибся. Он столько раз говорил мне: «Она своя, ни за что не останется за границей…»

Судя по публикации Романа Якобсона, Володя бросил писать ей, когда узнал, что она не вернется. Правда, в это время он был уже влюблен в Нору Полонскую.

# 1929–1930.
# Вероника Полонская

**Виктор Ефимович Ардов** *(1900–1976), писатель-сатирик, муж Н. А. Ольшевской, подруги В. В. Полонской:*

Отец Вероники Полонской – популярный в свое время киноактер Витольд Альфонсович Полонский. Человек – красивый, но вряд ли талантливый. Поляк.

Мать – Ольга Григорьевна, урожденная Гладкова – женщина очень тонкая, артистичная, умная. И сейчас еще в 48 лет она на редкость хороша собою. Жизнь ее, очевидно, была неудачною, так как ее покойный муж, неожиданно сделавший карьеру в кино, вел себя распутно, а она – Ольга Григорьевна – его любила. Умер Полонский чуть ли не 34-х лет от роду.

От матери Нора унаследовала необыкновенную чуткость, деликатность, мягкий и неназойливый женский ум. Что-то европейское, нерусское во внешности досталось ей от отца. <…>

Нора хорошо сложена и миловидна. Красивою ее назвать нельзя. А так как она еще и застенчива, то многие злоязычники склонны удивляться вкусу Маяковского, наблюдая ее лицо, дурнеющее от застенчивости. <…>

В дневниках Софьи Андреевны Толстой я встретил такую характеристику одной из невесток графини: «нежна в любви». Я думаю, что это определение как нельзя более подходит к Полонской. Чуткость ее поистине сейсмографична. Не только к любящему и любимому человеку, просто к партнеру по случайной встрече в гостях, в театре, ко всем вообще знакомым она внутренне необыкновенно внимательна. Ее способность немедленно отвечать в тон собеседнику удивительна.

Могу себе представить, как должно было пленить Маяковского это свойство. Может быть, это-то именно свойство и превратило незначительный вначале роман с молоденькой актрисою в связь, закончившуюся трагически. Едва ли кто-нибудь из партнерш поэта по любви мог соперничать с Полонскою в этом отношении.

Я сказал выше: «Нежна в любви». Чуткость – только половина нежности. Вернее, она поддерживает нежность. А нежности в Полонской очень много. Прежде всего, она предельно женственна. Именно женственность заставляет ее не только ощущать настроение и тон любого человека рядом с нею, но и поддаваться этому предложенному ей тону. Полонская с веселым собеседником – весела, с грустным – печальна,

с человеком, настроенным иронически, – иронична сама и т. д.

Не надо, однако, думать, что она не имеет своего вкуса или своей воли. Полонская в конечном счете очень принципиальна, вернее – честна. Совсем не с каждым она обращается ровно. Конечно, в этом умении подладиться под расположение собеседника многое – от естественного в молодой женщине кокетства. От желания быть обаятельной.

Но, повторяю, когда вместе с любовью эта активная, я бы сказал, чуткость была направлена на поэта, она не могла не прельстить его. <…>

Я не отметил подробно <…> ее ума, такого ясного и даже иронического. (Кстати сказать: самое трудное для женщины совмещать иронию с женственностью и отсутствием в любви того, что я бы назвал «обнажением приема». Одно из двух: либо ирония, ясность воззрений – тогда и покров романтики не существует; либо женщина держится за очарование любовной, что ли, ортодоксии – извините за корявое выражение. Полонская удивительно гармонична – и умна и женственна в этом, самом высоком смысле.)

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Я познакомилась с Владимиром Владимировичем 13 мая 1929 года в Москве на бегах. Познакомил меня с ним Осип Максимович Брик, а с О. М. я была знакома, так как снималась в фильме «Стеклянный глаз», который ставила Лиля Юрьевна Брик.

Когда Владимир Владимирович отошел, Осип Максимович сказал:

– Обратите внимание, какое несоответствие фигуры у Володи: он такой большой – на коротких ногах.

Действительно, при первом знакомстве Маяковский мне показался каким-то большим и нелепым в белом плаще, в шляпе, нахлобученной на лоб, с палкой, которой он очень энергично управлял. А вообще меня испугала вначале его шумливость, разговор, присущий только ему.

Я как-то потерялась и не знала, как себя вести с этим громадным человеком.

Потом к нам подошли Катаев, Олеша, Пильняк и артист Художественного театра Яншин, который в то время был моим мужем. Все сговорились поехать вечером к Катаеву.

Владимир Владимирович предложил заехать за мной на спектакль в Художественный театр на своей машине, чтобы отвезти меня к Катаеву.

Вечером, выйдя из театра, я не встретила Владимира

Владимировича, долго ходила по улице Горького против Телеграфа и ждала его. В проезде Художественного театра на углу стояла серая двухместная машина.

Шофер этой машины вдруг обратился ко мне и предложил с ним покататься. Я спросила, чья это машина. Он ответил: «Поэта Маяковского». Когда я сказала, что именно Маяковского я и жду, шофер очень испугался и умолял не выдавать его.

Маяковский, объяснил мне шофер, велел ему ждать его у Художественного театра, а сам, наверное, заигрался на бильярде в гостинице «Селект».

Я вернулась в театр и поехала к Катаеву с Яншиным. Катаев сказал, что несколько раз звонил Маяковский и спрашивал, не приехала ли я. Вскоре он позвонил опять, а потом и сам прибыл к Катаеву.

На мой вопрос, почему он не заехал за мной, Маяковский ответил очень серьезно:

– Бывают в жизни человека такие обстоятельства, против которых не попрешь. Поэтому вы не должны меня ругать…

Мы здесь как-то сразу очень понравились друг другу, и мне было очень весело. Впрочем, кажется, и вообще вечер был удачный.

Владимир Владимирович мне сказал:

– Почему вы так меняетесь? Утром, на бегах, были уродом, а сейчас – такая красивая…

Мы условились встретиться на другой день.

Встретились днем, гуляли по улицам. <…>

Через некоторое время, когда мы также гуляли по городу, он предложил зайти к нему домой. Я знала его квартиру в Гендриковом переулке, так как бывала у Лили Юрьевны в отсутствие Маяковского – когда он был за границей, и была очень удивлена, узнав о существовании его рабочего кабинета на Лубянке.

Дома у себя – на Лубянке – он показывал мне свои книги. Помню, в этой комнате стоял шкаф, наполненный переводами стихов Маяковского почти на все языки мира.

Он показал мне эти книги.

Читал мне стихи свои. <…>

Владимир Владимирович много рассказывал мне, как работает.

Я была совсем покорена его талантом и обаянием.

Владимир Владимирович, очевидно, понял по моему виду, – словами выразить своего восторга я не умела, – как я взволнована.

И ему, как мне показалось, это было очень приятно.

Довольный, он прошелся по комнате, посмотрелся в зеркало и спросил:

– Нравятся мои стихи, Вероника Витольдовна?

И получив утвердительный ответ, вдруг очень неожиданно и настойчиво стал меня обнимать.

Когда я запротестовала, он страшно удивился, по-детски обиделся, надулся, замрачнел и сказал:

– Ну ладно, дайте копыто, больше не буду. Вот недотрога.

Я стала бывать у него на Лубянке ежедневно. <…>

Мы встречались часто.

По-прежнему я бывала у него на Лубянке.

Яншин ничего не знал об этой квартире Маяковского. Мы всячески скрывали ее существование.

Много бывали и втроем с Яншиным – в театральном клубе, в ресторанах.

**Михаил Михайлович Яншин** *(1902–1976), актер, режиссер, народный артист СССР (1955). С 1924 г. в Московском Художественном академическом театре. Муж В. В. Полонской. Из протокола следственного дела В. В. Маяковского:*

Были случаи, когда я был занят на спектаклях и моя жена ходила в кино, или в тот же ресторан, или кружок, вместе с В. В., причем после спектакля мы встречались и вместе проводили время. Были случаи, когда и на квартире у В. В. моя жена встречалась с В. В. одна без меня из-за моей занятости, но у меня и мыслей не было никаких предразсудительных, потому что при ближайшем знакомстве с В. В. мое отношение к нему, а так же и его ко мне было самое замечательное.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Помню, зимой как-то мы поехали на его машине в Петровско-Разумовское. Было страшно холодно. Мы совсем закоченели. Вышли из машины и бегали по сугробам, валялись в снегу. Владимир Владимирович был очень веселый.

Он нарисовал палкою на пруду сердце, пронзенное стрелой, и написал «Нора – Володя». <…>

Владимир Владимирович никогда не отпускал меня, не оставив какой-нибудь вещи «в залог», как он говорил: кольца ли, перчатки, платка.

Как-то он подарил мне шейный четырехугольный платок и разрезал его на два треугольника.

Один должна была всегда носить я, а другой платок он набросил в своей комнате на Лубянке на лампу и говорил, что когда он остается дома, смотрит на лампу, то ему легче: кажется,

что часть меня – с ним.

Как-то мы играли шутя вдвоем в карты, и я проиграла ему пари. Владимир Владимирович потребовал с меня бокалы для вина. Я подарила ему дюжину бокалов. Бокалы оказались хрупкими, легко бились. Вскоре осталось только два бокала. Маяковский очень суеверно к ним относился, говорил, что эти уцелевшие два бокала являются для него как бы символом наших отношений, говорил, что если хоть один из этих бокалов разобьется – мы расстанемся.

Он всегда сам бережно их мыл и осторожно вытирал.

Однажды вечером мы сидели на Лубянке, Владимир Владимирович сказал:

– Норочка, ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я хотел тебе написать стихи об этом, но я так много писал о любви – уже все сказалось. <…>

После приезда в Москву с Кавказа и нашей встречи на вокзале я поняла, что Владимир Владимирович очень здорово меня любит. Я была очень счастлива. Мы часто встречались. Как-то было все очень радостно и бездумно.

Но вскоре настроение у Маяковского сильно испортилось. Он был чем-то очень озабочен, много молчал. На мои вопросы о причинах такого настроения отшучивался. Он и вообще никогда почти не делился со мною своим плохим настроением, разве только иногда вырывалось что-нибудь…

Но здесь Владимир Владимирович жаловался на усталость, на здоровье и говорил, что только со мной ему светло и хорошо. Стал очень придирчив и болезненно ревнив.

Раньше он совершенно спокойно относился к моему мужу. Теперь же стал ревновать, придирался, мрачнел. Часами молчал. С трудом мне удавалось выбить его из этого состояния. Потом вдруг мрачность проходила, и этот огромный человек опять радовался, прыгал, сокрушая все вокруг, гудел своим басом. <…>

Я получила большую роль в пьесе «Наша молодость». Для меня – начинающей молодой актрисы – получить роль во МХАТе было огромным событием, и я очень увлеклась работой.

Владимир Владимирович вначале искренно радовался за меня, фантазировал, как он пойдет на премьеру, будет подносить каждый спектакль цветы «от неизвестного» и т. д. Но спустя несколько дней, увидев, как это меня отвлекает, замрачнел, разозлился. Он прочел мою роль и сказал, что роль отвратительная, пьеса, наверное, – тоже. Пьесу он, правда, не читал и читать не будет и на спектакль ни за что не пойдет. И вообще не нужно мне быть актрисой, а надо бросить театр…

Это было сказано в форме шутки, но очень зло, и я почувствовала, что Маяковский действительно так думает и хочет.

Стал он очень требователен, добивался ежедневных встреч, и не только на Лубянке, а хотел меня видеть и в городе. Мы ежедневно уславливались повидаться в одном из кафе, или рядом с МХАТом, или напротив Малой сцены МХАТа на улице Горького.

Мне было очень трудно вырваться для встреч днем и из-за работы, и из-за того, что трудно было уходить из театра одной. Я часто опаздывала или не приходила совсем, а иногда приходила с Яншиным. Владимир Владимирович злился, я же чувствовала себя очень глупо.

Помню, после репетиции удерешь и бежишь бегом в кафе на Тверской и видишь, за столиком сидит мрачная фигура в широкополой шляпе. И всякий раз неизменная поза: руки держатся за палку, подбородок на руках, большие темные глаза глядят на дверь.

Он говорил, что стал посмешищем в глазах всех официанток кафе, потому что ждет меня часами. Я умоляю его не встречаться в кафе. Я никак не могла ему обещать приходить точно. Но Маяковский отвечал:

– Наплевать на официанток, пусть смеются. Я буду ждать терпеливо, только приходи! <…>

Я была в это время беременна от него. Делала аборт, на меня это очень подействовало психически, так как я устала от лжи и двойной жизни, а тут меня навещал в больнице Яншин… Опять приходилось лгать. Было мучительно.

После операции, которая прошла не совсем благополучно, у меня появилась страшная апатия к жизни вообще и, главное, какое-то отвращение к физическим отношениям.

Владимир Владимирович с этим никак не мог примириться. Его очень мучило мое физическое (кажущееся) равнодушие. На этой почве возникало много ссор, тяжелых, мучительных, глупых. <…>

Владимира Владимировича такое мое равнодушие приводило в неистовство. Он часто бывал настойчив, даже жесток. Стал нервно, подозрительно относиться буквально ко всему, раздражался и придирался по малейшим пустякам.

**Лили Юрьевна Брик.** *Из дневника:*

28.1.1930. Володя в страданиях из-за Норы, за обедом пил горькую – вечер… поле… огоньки… У него, по моему, бешенство – настораживается при любом молодом женском имени и чудовищно неразборчив.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

В начале 30-го года Владимир Владимирович потребовал, чтобы я развелась с Яншиным, стала его женой и ушла бы из театра.

Я оттягивала это решение. Владимиру Владимировичу я сказала, что буду его женой, но не теперь.

Он спросил:

– Но все же это будет? Я могу верить? Могу думать и делать все, что для этого нужно?

Я ответила:

– Да, думать и делать!

С тех пор эта формула «думать и делать» стала у нас как пароль.

Всегда при встрече в обществе (на людях), если ему было тяжело, он задавал вопрос: «Думать и делать?» И, получив утвердительный ответ, успокаивался.

«Думать и делать» реально выразилось в том, что он записался на квартиру в писательском доме против Художественного театра.

Было решено, что мы туда переедем.

Конечно, это было нелепо – ждать какой-то квартиры, чтобы решать в зависимости от этого, быть ли нам вместе. Но мне это было нужно, так как я боялась и отодвигала решительный разговор с Яншиным, а Владимира Владимировича это все же успокаивало. <…>

После спектакля мы встретились у него.

Владимир Владимирович, очевидно, готовился к разговору со мной. Он составил даже план этого разговора и все сказал мне, что наметил в плане. К сожалению, я сейчас не могу припомнить в подробностях этот разговор. А бумажка с планом теперь находится у Лили Юрьевны.

Вероятно, я могла бы восстановить по этому документу весь разговор.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *План разговора с В. Полонской, 12–14.04.1930:*

1) Если любят – то разговор приятен

2) Если нет – чем скорей тем лучше

3) Я – первый раз не раскаиваюсь в бывшем будь еще раз такой случай буду еще раз так же поступать

4) Я не смешон при условии знания наших отношений

5) В чем сущность моего горя

6) *не ревность*

7) Правдивость человечность *нельзя быть смешным*

8) Разговор – я спокоен

Одно только не встретились и в 10 ч.

9) Пошел к трамваю тревога телефон не была и не должна быть шел наверняка кино если и не были Мих. Мих <гулял?> со мной не звонил

10) Зачем под окном разговор

11) Я не кончу жизнь не доставлю такого удовольствия художественному театру

12) Сплетня пойдет

13) Игра способ повидаться если я не прав

14) Поездка в авто

15) Что надо прекратить разговоры

16) Расстаться <?> сию же секунду или знать что делается

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Потом оба мы смягчились.

Владимир Владимирович сделался совсем ласковым. Я просила его не тревожиться из-за меня, сказала, что буду его женой. Я это тогда твердо решила. Но нужно, сказала я, обдумать, как лучше, тактичнее поступить с Яншиным. <…>

Если гиперболичность Владимира Владимировича помогала ему в его творчестве, в видении вещей, событий, людей, то в жизни это ему мешало. Он все преувеличивал, конечно, неумышленно. Такая повышенная восприимчивость была заложена в нем от природы. Например, Владимир Владимирович как-то зашел за мной к маме:

– Нора у вас?

– Нет.

Не выслушав объяснения, он менялся в лице, как будто бы произошло что-то невероятное, непоправимое.

– Вы долго не шли, Владимир Владимирович, Нора пошла к вам навстречу.

Сразу перемена. Лицо проясняется. Владимир Владимирович улыбается, доволен, счастлив. <…>

Этот же гиперболизм Владимира Владимировича сыграл такую трагическую роль в наших отношениях. Именно это его свойство превратило нашу размолвку утром 14 апреля в настоящий разрыв в его глазах и привело к катастрофе.

Ведь для меня вопрос жизни с ним был решен. Я любила его, и если бы он принял во внимание мои годы и свойства моего характера, и подошел ко мне спокойно и осторожно, и помог мне разобраться, распутать мое окружение, я бы непременно была с ним. А Владимир Владимирович запугал меня. И требование

бросить театр. И немедленный уход от мужа. И желание запереть меня в комнате. Все это так терроризировало меня, что я не могла понять, что все эти требования, конечно, нелепые, отпали бы через час, если бы я не перечила Владимиру Владимировичу в эти минуты, если бы сказала, что согласна.

# Страницы биографии

# Детство

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *ГЛАВНОЕ*

Родился 7 июля 1894 года (или 93 – мнения мамы и послужного списка отца расходятся. Во всяком случае не раньше). Родина – село Багдады, Кутаисская губерния, Грузия.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Напишем о месте, где родился Маяковский.

К юго-востоку от древнего города Кутаиси находится селение, называемое Багдад или Багдади. Оно стоит на правом берегу реки Ханис-Цхали, при выходе реки из ущелья.

Тут есть мост. Правее моста, у горы, дом из каштановых бревен. В доме три комнаты, окна вверху заостренные.

Дом стоит на довольно высоком фундаменте. Лестница каменная. Из горы бежит источник.

Вот здесь родился Маяковский.

Он родился в семье лесного кондуктора, Владимира Константиновича Маяковского.

Там много лесов, хотя в Батуми в то время привозили доски для ящиков из Австрии.

Это хорошие места. Весной горы стоят, покрытые серой травой, а деревья в цветах, как в дыму.

На красной земле лежат виноградные лозы, похожие на пружины, изрубленные в куски.

На виноградных лозах листья, еще не распустившие свои крылья.

Там, дальше, на перевалах, лежит снег, а за перевалами – Россия.

Здесь Грузия, Имеретия. На широких дворах, покрытых мелкой плотной зеленой травою, ходят индюки.

Посреди дворов стоят ореховые деревья, украшенные наплывами.

Река выбегает из ущелья косматая, взболтанная. В сторону отведена и втыкается прямо в мельничные колеса вода местами.

Река говорливая, полная пенистым воздухом и горной мутью.

Владимир Владимирович Маяковский родился в Багдади, в доме Кучухидзе, у моста.

А рос он в другом доме, немного ниже по течению. Там стоит

крепость, большая, высокая насыпь, облицованная камнем, кустарники переплели камни корнями.

В крепости устроены раскаты для пушек. Эта крепость прикрывает три дороги: одна идет в восточную часть Имеретии, а вторая – в Гурию и Мингрелию. В крепости – дом, побольше, чем дом Кучухидзе. Третья дорога идет в Кутаиси.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *КОРНИ РОМАНТИЗМА*

Первый дом, воспоминаемый отчетливо. Два этажа. Верхний – наш. Нижний – винный заводик. Раз в году – арбы винограда. Давили. Я ел. Они пили. Все это территория стариннейшей грузинской крепости под Багдадами. Крепость очетыреугольнивается крепостным валом. В углах валов – накаты для пушек. В валах бойницы. За валами рвы. За рвами леса и шакалы. Над лесами горы. Подрос. Бегал на самую высокую. Снижаются горы к северу. На севере разрыв. Мечталось – это Россия. Тянуло туда невероятнейше.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Игры ему придумывала сестра Оля. Она была старше брата на три года и относилась к нему ласково и заботливо. Володя во многом подражал ей: например, Оля забирается на дерево – и он пытается залезть.

В семь часов на балконе пили чай, и у взрослых начиналась трудовая жизнь. А Оля и Володя придумывали какие-нибудь развлечения или уходили к речке. Там Володя бросал камни в воду и обычно говорил:

– Я левой рукой бросаю, а они дальше летят…

В раннем детстве он больше владел левой рукой, а когда подрос – одинаково правой и левой.

На берегу речки Оля и Володя брали серую глину и делали из нее на балконе разные фигурки. Когда глина высыхала, фигурки распадались.

Любили дети по вечерам сидеть с папой на ступеньках балкона и петь. Он их обнимал, и они хором пели русские песни: «Румяной зарею покрылся восток», «Как ныне сбирается вещий Олег», «По синим волнам океана», «Есть на Волге утес», «Укажи мне такую обитель», «Я видел березку», украинскую песню «Баламутэ, выйды з хаты», грузинскую «Сулико» и другие песни, которые знали дети.

Это была для него передышка – он начинал работать с шести часов утра и работал до двенадцати часов ночи.

В Багдади все жители были грузины, и только одна наша семья – русская. Дети играли с соседскими детьми и учились грузинскому языку. Оля подружилась с девочкой Наташей Шарашидзе. Они разговаривали по-грузински, и от них выучился грузинскому языку Володя. <…>

Володя и Оля любили ходить в горы, в лес, купаться в речке, особенно любили бывать на водяных мельницах. Там они смотрели, как крестьяне мелют кукурузное зерно, как водопадом, с шумом, спадает вода. Знакомились и разговаривали по-грузински с крестьянами и их детьми. <…> Для хранения вина кувшины зарывались в землю. Однажды в крепости копали яму для чури. Нашли старинную монету и решили, что в давние времена, вероятно, здесь были зарыты драгоценности. Володя и Оля заинтересовались этим рассказом, взяли ножи и долго копали ямки. Выкопали несколько ямок и убедились, что никаких кладов там нет. Но какую-то старинную монету они все-таки нашли и были горды и довольны.

**Людмила Владимировна Маяковская:**

Любимыми играми были путешествия, с лазаньем по деревьям, заборам, переходы по бурным рекам, карабканье по скалам. <…>

Одно из любимых занятий, придуманных Володей, было скатывание на камнях с горы к реке Ханис-Цхали. Он уговаривал сестру:

– Так хорошо лететь вниз, кругом все сыплется, трещит страшно, а все-таки остаешься целым. <…>

В те годы мы ездили большой компанией на Зекарские минеральные воды. Ездили на лошадях или на линейке. Володя и Оля любили садиться по ту сторону линейки, где были скалы. Они набирали в мешочки небольшие камешки и бросали в ящериц, бегавших по скалам, и считали свои попадания. Такая была у них игра. Не знаю, кто мог ее выиграть, принимая во внимание подвижность ящериц и движение линейки. Но они любили эту игру.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Володя любил участвовать в играх взрослых.

Помню, игра была такая: играющий начинал читать стихотворение, затем, не окончив, обрывал чтение и бросал платок кому-либо из играющих. Тот должен был закончить стихотворение. Володя принимал участие в игре наравне

со взрослыми. Или затевалась игра на придумывание возможно большего количества слов на какую-либо букву. Когда взрослым уже надоедала игра и они затруднялись называть слова, Володя все еще энергично продолжал придумывать. Эта игра его очень увлекала.

**Михаил Тихонович Киселев:**

Я помню его с малых лет. Я учился в третьем или в четвертом классе и приехал к ним в Багдади на каникулы. Жили они тогда в доме Шарашидзе. Володя сразу заставил меня читать. Потом говорит:

– Хочешь, посмотрим журналы?

Мы смотрели журналы, играли, а потом он попросил свою маму читать. И уже не отходил от нее, пристально смотрел, как она читает, внимательно слушал ее. <…>

Володя в то время увлекался Гоголем. Во время наших прогулок он многое из Гоголя читал мне наизусть. У него была богатая память. В то время он уже сам умел читать, а мне рассказывал по памяти. <…>

Читал он «Сорочинскую ярмарку», «Вия». У него было много небольших книжек с иллюстрациями. В Кутаиси на бульваре такие книжки продавались во множестве, и стоили они гроши; все дети увлекались ими.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *1-е ВОСПОМИНАНИЕ*

Понятия живописные. Место неизвестно. Зима. Отец выписал журнал «Родина». У «Родины» «юмористическое» приложение. О смешных говорят и ждут. Отец ходит и поет свое всегдашнее «алон занфан де ля по четыре». «Родина» пришла. Раскрываю и сразу (картинка) ору: «Как смешно! Дядя с тетей целуются». Смеялись. Позднее, когда пришло приложение и надо было действительно смеяться, выяснилось – раньше смеялись только надо мной. Так разошлись наши понятия о картинках и о юморе.

## *2-е ВОСПОМИНАНИЕ*

Понятия поэтические. Лето. Приезжает масса. Красивый длинный студент – Б. П. Глушковский. Рисует. Кожаная тетрадища. Блестящая бумага. На бумаге длинный человек без штанов (а может, в обтяжку) перед зеркалом. Человека зовут

«Евгенионегиным». И Боря был длинный, и нарисованный был длинный. Ясно. Борю я и считал этим самым «Евгенионегиным». Мнение держалось года три.

## *3-е ВОСПОМИНАНИЕ*

Практические понятия. Ночь. За стеной бесконечный шепот папы и мамы. О рояли. Всю ночь не спал. Свербила одна и та же фраза. Утром бросился бежать бегом: «Папа, что такое рассрочка платежа?» Объяснение очень понравилось.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Когда у нас собиралась учащаяся молодежь и начинались танцы, звали танцевать и Володю. Он всегда отказывался, уходил к товарищам в соседний двор и играл в городки. Он любил эту игру.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *УЧЕНИЕ*

Учила мама и всякоюродные сестры. Арифметика казалась неправдоподобной. Приходится рассчитывать яблоки и груши, раздаваемые мальчикам. Мне ж всегда давали, и я всегда давал без счета. На Кавказе фруктов сколько угодно. Читать выучился с удовольствием.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Писал Володя еще плохо, арифметику тоже знал плохо. Нужно было серьезно начать подготовку в гимназию.

В Багдади учителей не было – мне пришлось переселиться с сыном в Кутаис. В Багдади остался Владимир Константинович и с ним моя мать, Володина бабушка.

Поселились мы у нашей хорошей знакомой, Юлии Феликсовны Глушковской. Она давала уроки и занималась с Володей.

Володя с удовольствием учился у нее. Она умело подходила к детям, ласково к нему относилась. Много с Володей читала и умела его заинтересовать занятиями.

**Нина Прокофьевна Махарадзе** *(урожд. Смольнякова; 1882–1951), учительница, впоследствии жена видного деятеля Советского государства Ф. И. Махарадзе:*

Выдающиеся способности Володи сочетались с большим интересом мальчика к занятиям. Он не просто механически усваивал уроки, а вдумчиво воспринимал все новое, что узнавал из книг, от окружающих и от меня.

Вспоминается мне еще одна удивительная черта Володи, которая меня поражала не столько во время наших занятий, сколько значительно позже, когда он стал широкоизвестным поэтом. Он отличался какой-то своеобразной застенчивостью, сковывающей его подчас настолько сильно, что трудно бывало ее преодолеть.

Уроки с Володей доставляли мне большое удовольствие. Он скоро привык ко мне, и его скованность прошла. Уроки проходили очень интересно Мы не замечали, как уходило время. Володя проявлял большой интерес ко всем предметам. Он с легкостью решал задачи. Нередко он комментировал эти задачи о купцах, продающих и покупающих тюбики чая, и о трубах, выливающих и вливающих такое-то количество воды, с таким юмором и остротой, что невозможно было удержаться от смеха. Я его знакомила с животным и растительным миром, мы совершали прогулки по живописным окрестностям города.

Он легко усваивал объясняемый материал, но иногда вдруг его взгляд становился особенно сосредоточенным, как будто появлялась какая-то напряженная работа мысли. Так оно и было. Несколько позже он мне объяснил, что не может дальше слушать, если чего-нибудь не понял до конца. Такая серьезность и вдумчивость восьмилетнего ребенка меня поражали.

По окончании каждого урока он просил меня что-нибудь почитать или рассказать. Я ему читала стихотворения Пушкина, Лермонтова, Некрасова, «Записки охотника» Тургенева, сказки Л. Толстого, рассказы Чехова. Я специально подбирала ему такие произведения, в которых описывалась свобода, описывалось тяжелое положение народа, заметив, что именно такие произведения его особенно интересовали.

Он очень любил слушать стихи, сказки, песни.

Сам читал выразительно, с большим вдохновением, но, видимо, еще больше любил слушать.

**Платон Георгиевич Цулукидзе**, *педагог, впоследствии заслуженный учитель школы Грузинской ССР:*

Будучи в гостях у своего родственника, я познакомился с отцом Маяковского. Как только он узнал, что я учитель приготовительного класса гимназии, он обратился ко мне с просьбой сообщить, какие документы нужны при определении сына в гимназию и какой объем знаний необходим для поступления. Я обо всем этом дал подробные сведения. После

этого он обратился ко мне с такой просьбой.

– Уважаемый Платон Георгиевич! Я хочу моего Володю определить в приготовительный класс. Я его готовил и думаю, что он вполне готов, но я желал бы, чтобы вы перед экзаменами проверили, насколько он готов. При этом должен вам сообщить, что он с посторонними очень застенчив, а после вашей предварительной проверки уже не будет вас стесняться и смелее будет отвечать. Если это вас не затруднит – буду очень благодарен.

Я согласился исполнить просьбу и предложил привезти мальчика в Кутаиси. <…>

Скоро они приехали. Началась проверка. Читал он довольно бегло. Стихи и басни декламировал с замечательным чувством и интонацией. Прочитанный маленький рассказ пересказал хорошо. При разборе предложений часто ошибался, но, задумавшись, свою ошибку поправлял. Если допускал ошибки, то эти ошибки были, если можно так выразиться, «разумные», то есть видно было, что он внимательно обдумывал вопрос, но не осилил. Не было ни одного необдуманного ответа. Молитвы знал, но в длинных молитвах, как «Десять заповедей» и «Верую во единого Бога» и т. д., ошибался. Читал молитвы далеко не с таким чувством, как басни и стихотворения. Диктант писал торопливо. Ошибок грубых не было, но кое-какие были. По арифметике в устном счете был тверд. В нумерации чисел с нулями в середине ошибался, но, сосредоточив внимание, скоро поправлял ошибки. По окончании этой предварительной проверки отец, который слушал все его ответы, ждал моего заключения. Володя пожирал меня глазами, ожидая моей оценки его знаний, как будто этой моей оценкой решалась его судьба. Я сказал отцу:

– Мальчик вполне готов! Он знает больше того, что нужно для поступления.

Это заключение я вывел из того, что задавал примеры и вопросы гораздо труднее, чем могли быть на будущем экзамене.

Лицо Володи засияло, по его лицу пробежала легкая улыбка.

# Гимназия

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

Приготовительный, 1-й и 2-й. Иду первым. Весь в пятерках. Читаю Жюля Верна. Вообще фантастическое. Какой-то бородач стал во мне обнаруживать способности художника. Учит даром.

**Николай Николаевич Асеев.** *В записи Григория Израилевича Полякова:*

Дневники ученические: до 1905 г. шел в числе первых, после 1905 г. – двойки и тройки.

**Христофор Николаевич Ставраков:**

Володя был очень способный, с широким кругозором для своего возраста, чем всегда удивлял не только меня, но и моих братьев, Дмитрия и Михаила, которые тоже учились в Москве и бывали у Маяковских. Он во всем разбирался, все понимал, мы же, зная его возраст, никак не могли отказаться от представления, что он еще мальчик. Бывало так, что мы соберемся со студентами у Маяковских, Володя тоже с нами. Иногда мы старались выдворить его, как младшего, а смотрим, он выскажет такую мысль, что всех нас поразит своими знаниями.

В литературе я и другие студенты всегда от него отставали. У него размах был больше, он много читал, так что я не поспевал за ним. Он знакомил меня с новым направлением в искусстве, сам я не мог уделять много времени литературе. Способности были у него очень большие, и чувствовалась внутренняя сила. В то время я, студент историко-филологического факультета, не только изучал свой предмет, русскую литературу, но и читал марксистскую литературу – Ленина, Плеханова, Каутского. Читал я также Добролюбова, Чернышевского, Михайловского. В семье Маяковских тоже всем этим интересовались, всегда говорили на злободневные политические темы.

Я припоминаю разговор с Александрой Алексеевной, которая делилась со мной своими переживаниями после второго ареста Володи. Она не осуждала сына, но беспокоилась, что он не получил законченного образования.

– Я знаю, Володя способный мальчик, – говорила она, – но ему надо серьезно учиться.

Я, утешая ее, говорил, что Володя восполнит пробелы, так как всегда стремится к знаниям. И в самом деле, даже когда сидел в тюрьме, он прислал письмо сестре Люде, в котором просил ее достать книги и передать ему для занятий

по самообразованию. Помнится, Людмила Владимировна взяла тогда у меня для Володи книгу Челпанова по психологии и его «Введение в философию».

**Платон Георгиевич Цулукидзе:**

Из ученической жизни Маяковского помню следующий случай.

Раз в учительской ко мне и Джомарджидзе подошел законоучитель приготовительных классов (приготовительных классов было два – младший и старший) Шавладзе и сказал:

– Что за странный мальчик этот Маяковский.

– А что случилось? Напроказил? – спросили мы.

– Нет. Шалить-то он не шалит, но удивляет меня своими ответами и вопросами. Когда я спросил: «Хорошо ли было для Адама, когда бог после его грехопадения проклял его и сказал: „В поте лица своего будешь ты есть хлеб свой“? – Маяковский ответил: «Очень хорошо. В раю Адам ничего не делал, а теперь будет работать и есть. Каждый должен работать». Потом задал мне вопрос: «Скажите, батюшка, если змея после проклятия начала ползти на животе, то как она ходила до проклятия?» Все дети засмеялись, а я не знал, как ответить.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *ЯПОНСКАЯ ВОЙНА*

Увеличилось количество газет и журналов дома. «Русские ведомости», «Русское слово», «Русское богатство» и прочее. Читаю все. Безотчетно взвинчен. Восхищают открытки крейсеров. Увеличиваю и перерисовываю. Появилось слово «прокламация». Прокламации вешали грузины. Грузинов вешали казаки. Мои товарищи грузины. Я стал ненавидеть казаков.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Девятого января 1905 года началась первая русская революция. В Кутаисе, как и по всей стране, происходили волнения среди рабочих, солдат и учащихся.

Володя вместе с товарищами по гимназии разучивал на грузинском языке «Варшавянку», «Смело, товарищи, в ногу» и другие революционные песни.

Весной 1905 года на берегу бурной реки Рион собирались сходки революционно настроенной молодежи и солдат. Там произносились горячие речи. Володя бывал на этих сходках.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *905-й ГОД*

Не до учения. Пошли двойки. Перешел в четвертый только потому, что мне расшибли голову камнем (на Рионе подрался), – на переэкзаменовках пожалели. Для меня революция началась так: мой товарищ, повар священника – Исидор, от радости босой вскочил на плиту – убили генерала Алиханова. Усмиритель Грузии. Пошли демонстрации и митинги. Я тоже пошел. Хорошо. Воспринимаю живописно: в черном анархисты, в красном эсеры, в синем эсдеки, в остальных цветах федералисты.

**Платон Георгиевич Цулукидзе:**

Ученики, включая младшие классы, начали выходить на демонстрации. Первым из младших классов вышел третий класс, где учился Маяковский (архив гимназии за 1906 год). Ученики выносили из классов парты, доски, приносили целые мешки песку и строили баррикады. В гардеробе гимназии хранилось оружие. Молодым пропагандистам, не гимназистам, я давал ночлег в пансионе. Давал им чай, обед и платье. Среди младших везде фигурировал Маяковский.

**Ольга Владимировна Маяковская.** *Из письма Л. В. Маяковской, 14 февраля 1905 г.:*

Сегодня все гимназисты, реалисты и городисты срывали свои гербы с шапок. У Володи тоже кто-то сорвал герб. Ученики очень недовольны, что мы занимаемся, так как они на время распущены (хотя они всегда распущенны). У них такие довольные и веселые лица, точно Артурские герои. Гимназисты говорят, что они собрали все свои гербы, запечатали их в ящик и послали попечителю.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. В. Маяковской не позднее 2 ноября 1905 г.:*

Пока в Кутаисе ничего страшного не было, хотя гимназия и реальное забастовали, да и было зачем бастовать: на гимназию были направлены пушки, а в реальном сделали еще лучше. Пушки поставили во двор, сказав, что при первом возгласе камня не оставят на камне. Новая «блестящая победа» была совершена казаками в городе Тифлисе. Там шла процессия с портретами Николая и приказала гимназистам снять шапки. На несогласие гимназистов казаки ответили пулями. Два дня продолжалось это

избиение. Первая победа над царскими башибузуками была одержана в Гурии, этих собак там было убито около двухсот.

Кутаис тоже вооружается, по улицам только и слышны звуки Марсельезы. Здесь тоже пели «Вы жертвою пали», когда служили панихиду по Трубецком и по тифлисским рабочим.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Двенадцатилетний Володя весь отдался событиям, которые он переживал с исключительной активностью. Он ходил радостный и гордый. Часто повторял: «Хорошо!» Он настолько интересовался революционными событиями, что знал обо всем происходящем в городе.

Володя дружил со старшими товарищами – революционерами. На Гегутской улице, недалеко от нас помещался социал-демократический комитет. Володя отнес в комитет казенные ружья, которые полагалось отцу иметь для разъездов по лесничеству.

# Смерть отца. Переезд в Москву

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *906-й ГОД*

Умер отец. Уколол палец (сшивал бумаги). Заражение крови. С тех пор терпеть не могу булавок. Благополучие кончилось. После похорон отца – у нас 3 рубля. Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья. Двинулись в Москву. Зачем? Даже знакомых не было.

**Людмила Владимировна Маяковская:**

Как я потом узнала, уже в первых числах февраля отец получил назначение на должность кутаисского лесничего. Осуществлялась давняя мечта всей нашей семьи: жить вместе в городе. Но, приготовляя к сдаче дела Багдадского лесничества, сшивая бумаги, он уколол палец иголкой и, не обратив на это внимания, уехал в лесничество.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Распродав вещи и заняв у хороших знакомых двести рублей на дорогу, мы двинулись в Москву. Наша добрая знакомая при этом сказала: «Отдадите, когда дети закончат образование».

**Людмила Владимировна Маяковская:**

На что мы надеялись? Пенсия – 10 рублей в месяц, так как отец не дослужил до полной один год. Существенной помощи ждать не от кого. Родственники, знакомые, друзья – люди нашего социального круга, с трудом сводящие концы с концами; московские друзья – студенчество, ютящееся в бедных комнатах и углах. Все надежды только на молодость, упорство, энергию и перемену социальных условий жизни – на революцию.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Володю очень интересовала жизнь Москвы, о которой он знал по рассказам и книгам.

Тогда в центре города ходили трамваи, а на других улицах – конки. Было много извозчиков. Володя больше всего ходил пешком по Тверской, Садовой и другим улицам и переулкам, изучая достопримечательности Москвы, а главное – людей и их

жизнь в большом городе.

**Сергей Сергеевич Медведев:**

Володя поступил в четвертый класс Пятой гимназии. Учиться ему вначале было довольно трудно: по таким предметам, как математика, он подготовлен был слабо, приходилось подгонять, но интереса у него к этим наукам не было никакого. Гимназия его нисколько не увлекала и всегда оставалась как-то вне его интересов. Мы с ним почти никогда о ней не говорили. <…>

Володя всегда держался в стороне и от писания стихов, и от критики. Он относился ко всему этому очень неодобрительно, и наши стихи явно вызывали у него какую-то внутреннюю оппозицию и неприязнь. К разговорам, которые велись в его присутствии, он проявлял острый интерес только тогда, когда они касались общественно-политических тем и событий.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Как всегда, у нас собиралось большое общество молодежи. Володя был самым младшим.

Однажды у меня спросила знакомая: «Сколько лет Володе?» – и удивилась, что ему только четырнадцать лет. А когда она ушла, Володя обиженно сказал мне:

– Зачем говорить, сколько мне лет!

Он говорил, что ему семнадцать лет. Так он выглядел, и ему хотелось скорее быть взрослым.

# Первый опыт политической деятельности

**Иван Богданович Карахан:**

Володя знал, что я участвовал в декабрьском вооруженном восстании 1905 года в Москве. Он просил меня показать ему места баррикад, где сражались пресненские дружинники, обо всем расспрашивал.

Видел он у меня и читал нелегальную литературу того времени: листовки, брошюры, большевистскую «Искру», брошюру В. И. Ленина «Две тактики», книгу Ф. Энгельса «Анти-Дюринг», работу К. Маркса «К критике политической экономии».

**Сергей Сергеевич Медведев:**

Вскоре после исключения из гимназии я с одним товарищем до гимназии познакомились с некоей товарищем Наташей и через нее мы включились в партийную работу.

Мы использовались для связи между отдельными пропагандистскими ячейками и сами занимались пропагандистской работой среди рабочих…

Убедившись в серьезных намерениях Маяковского, я начал уже систематически заниматься с ним теорией марксизма. Он обладал большими способностями, быстро и хорошо усваивал прочитанное. Потом я стал давать ему поручения, которые он хорошо выполнял.

В то время я работал пропагандистом Московской организации большевиков. Маяковский бывал со мной на собраниях подпольных кружков, которыми я руководил, и участвовал в беседах. В Лефортовском районе, в частности на фабрике Ранталлера (теперь имени Балакирева), у меня и у него были тесные связи с рабочими.

Таким образом, еще до вступления в партию Маяковский фактически уже работал в ней. И не случайно, когда в 1908 году он вступил в партию, его направили на работу именно в Лефортовский район.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

В квартире у нас была явка: встречались партийные товарищи. Приходили порознь, по два-три человека, тайно от полиции, поговорить о революционных делах, получали или приносили нелегальную литературу – листовки, прокламации. Все это были старшие товарищи, профессиональные революционеры. Среди них Володя был как равный. <…>

Вступив в партию, Володя попросил меня взять документы из гимназии, так как в случае ареста, конечно, его исключили бы из гимназии без права поступления в другие учебные заведения.

**Владимир Ильич Вегер** *(партийная кличка Поволжец; 1888–1945), юрист, член РСДРП(б) с 1904 г.; в 1908 г. был членом Московского комитета РСДРП(б); в советские годы работал в Московской адвокатуре, вел научную и педагогическую работу в вузах:*

В 1906–1908 годах я был членом МК РСДРП(б). Когда Маяковский приходил ко мне, я был парторгом по студенческим делам, так как учился в Московском университете. Я ведал большевистской группой в Московском университете. Когда Маяковский пришел ко мне, он уже фактически работал в партии, выполнял различные поручения, и пришел ко мне, чтобы сказать, что желал бы сделать партийную работу своей главной, основной работой. Он ставил вопрос так, что он всецело хочет заниматься партийной работой, что на него можно смотреть как на профессионального работника. Связи у него уже были, он знал ряд большевиков и выполнял поручения партийной организации…

Все это показывало, что есть основания дослать его на более серьезную работу. Маяковский, хотя ему значилось по документам 15 лет, по своему виду ни в коей мере не подходил к этому возрасту. Это был рослый, сильный юноша, которому можно было дать лет 19. Он участвовал в революционном движении и, придя ко мне, сослался на двух видных в то время подпольщиков. Учитывая его участие в рабочем движении, опыт, который он уже приобрел, я сделал вывод, что его можно направить на более значительную и ответственную партийную работу.

Маяковский вращался среди студенческой молодежи. Университет тогда нередко использовался для митингов. В 1906 г. Маяковский там бывал и, вероятно, слышал меня как представителя большевиков. Придя ко мне, он заявил, что желает всецело посвятить себя подпольной работе.

Из отзывов, которые о нем были, и из его объяснений у меня создалось впечатление, что он подходит к организаторской работе, к тому же он не болтлив, может хранить секреты и соблюдать правила конспирации. Я его направил в Лефортовский район в качестве заместителя парторга. < … >

В тот период, когда Маяковский был парторгом Лефортовского района, был выпущен целый ряд листовок. Выпускались листовки и отдельными подрайонами. В период,

когда Маяковский работал в Лефортовском районе, листовки выпускались на фабрике Ронталера; это были листовки, выпущенные непосредственно от имени их партийного комитета.

**Сергей Сергеевич Медведев:**

Выполняя партийные поручения, Маяковский обнаруживал находчивость и быстроту «натиска», правильную ориентировку в создавшемся положении, внутреннее спокойствие в тяжелые моменты жизни (во время арестов, засад). Он хорошо усвоил технику заметания следов и никогда, по крайней мере при мне, не приводил за собой шпиков, наблюдателей.

Помнится такой эпизод. В одной квартире на Бронной нам была назначена явка. Оттуда мы почему-то вышли вместе с Володей, хотя обычно так не делали. Сразу за нами выросла фигура «наблюдателя». Мы пошли по бульварам, «хвост» следовал за нами. Надо было решать, как выйти из положения. Решили вскочить в разные трамваи и тем вызвать замешательство преследователя. Так и сделали. А затем Маяковский, как он мне потом рассказал, пересел в другой трамвай.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *АРЕСТ*

29 марта 1908 г. нарвался на засаду в Грузинах. Наша нелегальная типография. Ел блокнот. С адресами и в переплете. Пресненская часть. Охранка. Сущевская часть. Следователь Вольтановский (очевидно, считал себя хитрым) заставил писать под диктовку; меня обвиняли в писании прокламации. Я безнадежно перевирал диктант. Писал: «социяльдимокритическая». Возможно, провел.

**Александр Александрович Адрианов** *(1861–?), в 1908–июне 1915 гг. московский градоначальник:*

1908 года, марта 29 дня, я, московский градоначальник, генерал-майор Адрианов, получив сведения, дающие основания признать потомственного дворянина Владимира Владимирова Маяковского вредным для общественного порядка и спокойствия, руководствуясь § 21 высочайше утвержденного в 3-й день августа 1881 года Положения об усиленной охране, постановил: означенного Маяковского, впредь до выяснения обстоятельств дела, заключить под стражу при Сущевском полиц. доме с содержанием согласно ст. 1043 Уст. угол. судопроизводства. Настоящее постановление, на основании 431 ст. того же Устава,

объявить арестованному, а копию с постановления препроводить прокурору Московской судебной палаты и в место заключения задержанного»

**П. П. Лидов**, *адвокат Маяковского:*

29 марта 1908 года в Ново-Чухинском переулке, в квартире портного Лебедева был произведен обыск в комнате недавно поселившихся жильцов: молодого человека Сергея Иванова и мещанина Жигитова, оказавшегося Тимофеем Трифоновичем Трифоновым. Под кроватью был найден типографский шрифт, восемь гранок набора, рама, станок и валик для печатания, зеркало для растирания краски, большое количество прокламаций и рукописей, а также пять паспортов на имя разных лиц.

В записной книжке Иванова оказались заметки, указывающие на его связь с Московским Комитетом социал-демократической партии. Не было сомнений, что удалось захватить одну из подпольных типографий. За квартирой установлено было наблюдение. Вскоре удалось задержать на улице самого Трифонова, у которого найден был блокнот с заметками, свидетельствовавшими о близкой связи Трифонова с центральными парторганизациями. В кухне была устроена засада. Часа в два дня к квартире со свертком в руках подошел юноша, заявивший находившимся в засаде городовым, что он пришел к портному. Его доставили в участок, где, по удостоверению личности, он оказался дворянином Владимиром Маяковским, четырнадцати лет от роду.

Вместо материала для портного в свертке оказалось семьдесят шесть экземпляров подпольной газеты «Рабочее знамя», семьдесят экземпляров прокламаций «Новое наступление капитала», набранные гранки которой найдены были в комнате, и четыре номера «Солдатской газеты», органа Военной организации при Московском Комитете.

Трифонов от всяких объяснений отказался и разговаривать со следственными властями не пожелал. Он ограничился заявлением о том, что все найденное принадлежит ему. Иванов тоже не дал никакого материала.

Старания охранки сосредоточились на Маяковском. Казалось, что мальчика легко будет и запутать, и заставить дать подробные показания. Но «мальчик» оказался смышленый и не очень словоохотливый. Он утверждал, что не знал о содержимом свертка, который нес в эту квартиру по просьбе своего товарища Александра, мало ему знакомого, которого он встречал только на улице. Трифонова «он совсем не знал».

Видя, что юноша из молодых, но «ранних», следственные власти решили поставить дело на суд по всем правилам судебного процесса. Затруднение было в том, что и второй обвиняемый, Иванов, тоже не достиг семнадцати лет, а чтобы судить малолетних, надо было установить, что они «действовали с разумением», то есть сознавая и понимая все совершаемое.

Дело было предварительно передано в закрытое заседание окружного суда. Последний 23 сентября 1908 года признал обоих действовавшими «с разумением». После этого дело было передано для разбора в судебную палату с участием сословных представителей.

Обвинялся Маяковский в участии в «преступном сообществе – Московской организации социал-демократической рабочей партии, заведомо поставившей себе целью насильственное посягательство на ниспровержение образа правления путем организации вооруженного восстания», для чего была оборудована тайная типография и в ней печатались воззвания МК социал-демократической партии.

Для суда было ясно, что юноша не хочет говорить правды и что он укрывает хорошо известных ему лиц.

Оправдать было нельзя. Осудить у «особого присутствия» не хватило решимости… Прокурор все же был последователен и, опираясь на признание судом Маяковского ответственным за свои действия, доказывал, что речь идет о таких вещах, которых нельзя не «разуметь» и за которые, несмотря на молодой возраст, обвиняемые должны дать ответ.

Оскорбительные отзывы о царской власти, призывы к солдатам стать на сторону народа против царя-кровопийцы – этого было достаточно, чтобы «устранить» на значительный срок юношу, занимающегося распространением подобной литературы. Защите оставалось говорить только о молодости, о четырнадцати годах, об условиях жизни той эпохи, зовущих молодые жизни на арену борьбы.

По-видимому, у судей были большие разногласия. Раздался звонок, извещающий о выходе суда для оглашения приговора.

Маяковский внешне бравировал деланным безразличием и спокойствием… Прозвучали первые слова приговора, касавшиеся Трифонова… Юноша опустил голову, но тотчас глаза его широко открылись, и он, как говорят в школе, «уставился» на фигуру председателя.

И вдруг – неожиданно и противоречиво всему только что происходившему – прозвучало: «…признать действовавшим без разумения и отдать на попечение родителей».

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

Выпустили на поруки. В части с недоумением прочел «Санина». Он почему-то в каждой части имелся. Очевидно, душеспасителен. Вышел. С год – партийная работа. И опять кратковременная сидка.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Прошение, 7 октября 1909 г.:*

Его превосходительству г-ну московскому градоначальнику

Содержащегося при Центральной пересыльной тюрьме политического заключенного дворянина Владимира Владимировича Маяковского.

Имею честь покорнейше просить ваше превосходительство рассмотреть мое дело и исполнить нижеследующую просьбу. 2 июля сего года я пришел в квартиру Елены Алексеевны Тихомировой, дом Локтева, по Мещанской улице, кв. 9, для получения кое-какой работы по своей специальности, т. е. по рисовальной части, и был задержан чинами полиции, которые находились там по случаю ареста жильца, проживавшего в данной квартире. При допросе в Охранном отделении я указал на цель прихода в вышеупомянутую квартиру и на то, каким образом были проведены дни, предшествующие аресту. Все эти факты легко могут быть подтверждены и таким образом доказана моя полная неприкосновенность к предписываемому, но, несмотря на все это, я вот уже три месяца и пять дней нахожусь в заключении и этим поставлен в очень тяжелое положение, так как, во-первых, пропустил экзамены в училище и, таким образом, потерял целый год; во-вторых, каждый день дальнейшего пребывания в заключении ставит меня во все большую и большую необходимость совершенного ухода из училища, а значит, и потерю долгого и упорного труда предшествующих лет; в-третьих, мной потеряна вся работа, дававшая мне хоть какой-нибудь заработок, и, наконец, в-четвертых, мое здоровье начинает расшатываться и появившаяся неврастения и малокровие не позволяют мне вести никакой работы. Ввиду всего изложенного, т. е. моей полной невиновности и тех следствий заключения, которые становятся с каждым днем все тяжелее и тяжелее, покорнейше прошу ваше превосходительство разобрать мое дело и отпустить меня на свободу.

Владимир Владимирович Маяковский.

**Николай Иванович Хлестов:**

Володя сильно переменился в тюрьме, как-то окреп, возмужал. В то время среди сидевших политзаключенных были

люди намного старше Маяковского, сидевшие много раз в тюрьме, бывшие в ссылке. Тем не менее они выбрали его старостой, и он очень хорошо выполнял эту обязанность: был настойчив, требователен, когда нужно, гремел своим басом на весь тюремный коридор.

Однажды нам принесли испорченную пищу. Он настоял, чтобы ее переменили. Иногда остроумной шуткой смешил надзирателей и заставлял их делать то, что ему было нужно.

Как-то я спросил одного из надзирателей:

– Почему вы его так слушаетесь? Надзиратель усмехнулся:

– Парень уж очень занятный, а голосина-то какой – ему бы начальником быть или командиром.

Маяковский сумел объединить заключенных: все наши решения принимались единодушно. Благодаря его настойчивости нам продлили время прогулок. Он ухитрялся собирать политических в одну камеру, где я развлекал своих товарищей пением.

В тюрьме Володя любил читать вслух стихи Некрасова, Алексея Толстого, и читал их очень своеобразно, разбивая каждое слово, делая всевозможные комбинации. Например, стихи А. Толстого:

Да здравствуют тиуны – опричники мои,

он читал примерно так:

Да, да… д…а
да здра… да здра… да здравствуют…
да здравств… уют
уютт… уютт…

При этом был очень сосредоточен, внимательно слушал, как звучит каждый слог, каждый звук. Он настолько увлекался своим чтением, что не слышал, когда я его о чем-нибудь спрашивал. Меня удивляло такое чтение, и я говорил:

– Зачем ты так уродуешь слова?

Он сердился:

– Ты ничего не понимаешь, а мне это очень нужно. Вечерами Володя долго сидел за книгами, которые по его просьбе доставляла ему Людмила Владимировна.

Читал «Капитал» Маркса. Надзиратель разрешил передать эту книгу в камеру, определив по названию, что «книга полезная». Читал Фейербаха, Дицгена. Не желая ему мешать, я ложился

на койку, но не спал, а наблюдал его. Время от времени Володя отрывался от книги и устремлял взгляд куда-то, подолгу сидел в неподвижной позе, о чем-то размышляя.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Сидел в тюрьме, из тюрьмы видал только маленький кусок Москвы – дом и вывеску гробовщика.

Он долго рассматривал буквы вывесочного слова, не зная, куда эти буквы вставляются. Так как он был очень молод, почти мальчик, то его отпустили.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *ТРЕТИЙ АРЕСТ*

Живущие у нас (Коридзе (нелегальн. Морчадзе) Герулайтис и др.) ведут подкоп под Таганку. Освобождать женщин-каторжан. Удалось устроить побег из Новинской тюрьмы. Меня забрали. Сидеть не хотел. Скандалил. Переводили из части в часть – Басманная, Мещанская, Мясницкая и т. д. – и наконец – Бутырки. Одиночка № 103.

**Исидор Иванович Морчадзе** *(1887–1956), профессиональный революционер, после революции советский служащий. Был одним из основных организаторов побега тринадцати политкаторжанок из Новинской женской тюрьмы в 1909 г.:*

В то время я не жил у Маяковских из конспиративных соображений, но все они, Маяковские, были посвящены в мои планы, вся семья Маяковских, включая и Володю, помогала мне. Володя рвался мне на помощь, умоляя использовать его для этого дела. Я, конечно, использовал его и давал ему разные поручения, которые он добросовестно исполнял, но в ночь побега я его не мог использовать в качестве проводника бежавших каторжанок, ибо его слишком большой рост мог привлечь внимание и было рискованно и неконспиративно. Но и без этого вся семья Маяковских оказала мне незаменимую помощь. Они днем и ночью шили платья беглянкам, форменное гимназическое. <…> Побег прошел блестяще, и на другой день после побега, прочтя в газетах о совершившемся побеге и о том, что полиция объявила пять тысяч рублей награды за поимку каждой беглянки или указание квартиры с беглянкой, Володя, поняв серьезность положения, бросился ко мне на помощь, ибо он, как все Маяковские, сразу понял, откуда это все исходит. Он

из предосторожности и конспирации бросился на квартиру моей жены узнать от нее, как в дальнейшем обстоит дело. Володя великолепно знал, что я на квартире жены не живу и не прописан, но через нее он хотел узнать, не нужна ли помощь. Но он все-таки принял на всякий случай меры предосторожности и явился туда со всеми художественными принадлежностями. Звонок. Входит Володя, сразу поняв, что попал в засаду полиции. Ведет себя вызывающе, издевательски, зло смеется и подтрунивает над полицией. Сам московский полицеймейстер Золотарев руководит засадой полиции. Попавшие в засаду сидят за столом, в числе их сижу и я. Полиция приглашает Володю к столу. Начинается его допрос. Вдруг он быстро встает, вытягивается во весь рост и издевательски шутливым тоном говорит приставу, который пишет протокол дознания: «Пишите, пишите, пожалуйста: я – Владимир Владимирович Маяковский, пришел сюда по рисовальной части (при этом он кладет на стол все рисовальные принадлежности, как то: краски, кисти и т. д.), а я, пристав Мещанской части, решил, что виноват Маяковский отчасти, а потому надо разорвать его на части». Этот каламбур, сказанный экспромтом Маяковским, вызывает у всех присутствующих взрыв хохота.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

Полиция хотела выслать его на три года в Нарымский край. После моих хлопот, ввиду его несовершеннолетия, он был освобожден и отдан под надзор полиции.

# В поисках своего пути

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ДИЛЕММА*

Вышел взбудораженный. Те, кого я прочел, – так называемые великие. Но до чего же нетрудно писать лучше их. У меня уже и сейчас правильное отношение к миру. Только нужен опыт в искусстве. Где взять? Я неуч. Я должен пройти серьезную школу. А я вышиблен даже из гимназии, даже и из Строгановского. Если остаться в партии – надо стать нелегальным. Нелегальным, казалось мне, не научишься. Перспектива – всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли, взятые из правильных, но не мной придуманных книг. Если из меня вытряхнуть прочитанное, что останется? Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие? Легко орудовать им, если имеешь дело только с мыслью своих. А что при встрече с врагами? Ведь вот лучше Белого я все-таки не могу написать. Он про свое весело – «в небеса запустил ананасом», а я про свое ною – «сотни томительных дней». Хорошо другим партийцам. У них еще и университет. (А высшую школу – я еще не знал, что это такое – я тогда уважал!)

Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьезной школы? Я зашел к тогда еще товарищу по партии – Медведеву. Хочу делать социалистическое искусство. Сережа долго смеялся: кишка тонка.

Думаю все-таки, что он недооценил мои кишки.

Я прервал партийную работу. Я сел учиться.

## *НАЧАЛО МАСТЕРСТВА*

Думалось – стихов писать не могу. Опыты плачевные. Взялся за живопись. Учился у Жуковского. Вместе с какими-то дамочками писал серебренькие сервизики.

Через год догадался – учусь рукоделию. Пошел к Келину. Реалист. Хороший рисовальщик. Лучший учитель. Твердый. Меняющийся.

Требование – мастерство, Гольбейн. Терпеть не могущий красивенькое.

Поэт почитаемый – Саша Черный. Радовал его антиэстетизм.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Владимир Маяковский учился живописи у Жуковского. У Жуковского писал натюрморты, составленные из уже красивых вещей: серебро с шелком или с бархатом. Скоро он догадался, что учится рукоделию, а не искусству. Пошел к художнику Келину.

Келина Владимир Владимирович потом очень уважал и оговаривал отдельно свое уважение.

**Петр Иванович Келин** *(1877–1946), художник, в его студии Маяковский занимался в 1910–1911 гг., когда готовился к поступлению в Училище живописи, ваяния и зодчества:*

Хорошо помню, как в 1910–1911 годах Маяковский учился у меня в студии. Большинство учащихся были москвичи, но были и из провинции. Я подготавливал их в Школу живописи, ваяния и зодчества и в Академию художеств.

Работали утром с девяти до двенадцати часов и вечером с пяти до семи. Часть учеников рисовала с гипсов и с натурщика – по пояс. Более подготовленные рисовали обнаженную фигуру. Раз в неделю я им читал перспективу.

Постановка учебы в студии была очень серьезная, отношение к учащимся строгое. <…>

Учащиеся принимались в студию по способностям. <…>

И вот пришел юноша. Высокого роста, басистый. Я пошутил даже:

– Вам бы Шаляпиным быть!

– Нет, меня тянет больше к живописи. Вот принес вам рисунки, посмотрите – как. Я уже занимался в студии Жуковского, да не нравится мне там. Там все больше дамочки занимаются. Вот мне и посоветовали пойти к вам.

Он мне очень понравился. Я даже не предложил ему две недели заниматься «на пробу». Подготовлен он был слабо, но очень понравился мне своим свободным, открытым лицом, скромностью, застенчивостью. А самое главное – сразу было видно, что он не кулачок, рассчитывающий на искусстве нажить деньгу. Он даже не спросил: а выйдет из меня что-нибудь или не выйдет?

В первое время рисунок у него был немного шаблонным. А у меня была строгая программа. <…>

Это был удивительно трудоспособный ученик и работал очень старательно: раньше всех приходил и уходил последним. За весь год пропустил дня три только. Он говорил:

– Знаете, Петр Иванович, если я не приду работать в студию,

мне будет казаться, что я сильно болен – мне тогда и день не в день.

Первый год он в студии рисовал гипсы и натурщиков – голову и до пояса. <…>

На второй год он рисовал натурщика (обнаженную фигуру) и немного писал маслом. Я знал, что дома он пишет маслом, но эти работы он стеснялся мне показывать. Способности у него были большие.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Так прошел 1910-й год. В 11-м году он был принят в число действительных учеников школы живописи, ваяния и зодчества. Он не любил эту школу. <…>

Рисовали не голову и не натуру, а полунатуру.

Женщину или мужчину, наполовину одетых.

Хотели людей научить рисовать мало-помалу. Сперва голову, потом до пояса, потом пририсовать к этому живот и ноги. Предполагалось, что ученик соберет потом свое умение и научится рисовать человека.

Маяковский очень хорошо работал в школе Келина, а здесь, в большой мастерской школы живописи, ваяния и зодчества, работал хуже.

**Николай Иванович Харджиев** *(1903–1996), прозаик, искусствовед, стиховед:*

Поступив в Училище живописи, Бурлюк и Маяковский не стремились создавать там свои «теории», а наоборот – занимались даже очень усердно. Бурлюк занимался в натурном классе, под наблюдением проф. Пастернака и проф. Архипова. Маяковский работал в фигурном классе под руководством профессоров Касаткина и Милорадовича. Преподаватели Училища в общем ими были довольны. О Маяковском преподаватели, например, говорят: «Человек не без дарования. Рисует недурно». В фигурном классе Маяковский «сидел» третий год. Это «сидение» было допущено с согласия преподавателей.

**Михаил Михайлович Черемных** *(1890–1962), художник. В 1919–1921 гг. заведовал художественным отделом РОСТА (Российского телеграфного агентства):*

Писал Маяковский как все. Ничего футуристического в его этюдах не было.

**Владимир Владимирович Маяковский:**

В Москве нет академии художеств.

Есть только худосочная маленькая школка, называющаяся

Училище живописи, ваяния и зодчества.

Найти это затерянное на Мясницкой учреждение было б даже немыслимо, если б его не спасло одно незначительное обстоятельство: училище против известного всем почтамта. Поэтому-то только и не потерялось. Говоришь извозчику: «Мясницкая, против почтамта», он и находит.

Чем же в этом таинственном училище занимаются? На этот вопрос ответить очень легко… но лучше сначала узнайте, чем в нем не занимаются.

Прежде всего в нем никто и никогда не писал картин, да и не мог писать. Писание картин – это знание о том, как расположить на холсте красочные пятна, какую дать этим пятнам форму и как их отнести друг к другу. Это первая, главная наука, называющаяся композицией, – так вот классов, посвященных ей, нет совершенно. Даже домашние эскизы сделали обязательными только какой-то месяц назад.

Отсюда (пройдите по ежегодным отчетным выставкам училища или по ученической, открывающейся 25-го) потрясающая одинаковость: не изучая основ чужого стиля, нельзя найти и своего лица.

Далее: нет классов, изучающих движение как анатомическое (отсюда безграмотность), так и движение взгляда на задачи искусства вообще (отсюда мертвость идей красоты и неспособность найти, наконец, искусство, характеризующее Россию).

Нет работы по изучению материалов, т. е. того, что, бальзамируя картины, делает художника бессмертным.

В то время как Веласкеца можно видеть всего, до последнего кокетливого рубина, у Врубеля за несколько лет «Демон» из лилового сереет вследствие полного изменения краски.

Нет… Одним словом, нет ничего, чему *можно* учить. Нет науки искусства.

Чему же учат?

Как раз тому, чему нельзя учить:

Вкусу искусства.

Копируют, копируют, без конца копируют натуру, но так как нет ученой подготовки, то на это списывание приходится смотреть не с точки зрения школы, а как на искусство. Прилагая же критерий «красиво» вместо «верно», преподаватели вкладывают в еще беззубый рот ученику свой пережеванный вкус, совершенно не заботясь о том, не покажется ли после этого несчастному даже радостная вкусная весна коричневой и горькой, как пастернак?

**Василий Васильевич Каменский:**

В феврале 1914 года <…> Маяковского и Бурлюка выгнали из школы живописи и ваяния.

Маяковский радовался:

– Это все равно что выгнать человека из отхожего места на чистый воздух.

# Маяковский начинается

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *ДАВИД БУРЛЮК*

В училище появился Бурлюк. Вид наглый. Лорнетка. Сюртук. Ходит напевая. Я стал задирать. Почти задрались.

**Давид Давидович Бурлюк:**

Я был для Маяковского счастливой встречей, «толчком» к развитию цветка его Поэзии. Маяковскому нужен был пример, среда, аудитория, доброжелательная критика и соратник. Все это он нашел во мне.

**Лили Юрьевна Брик:**

До знакомства с ним Маяковский был мало образован в искусстве. Бурлюк рассказывал ему о различных течениях в живописи и литературе, о том, что представляют собой эти течения. Читал ему в подлинниках, попутно переводя, таких поэтов, как Рембо, Рильке.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *ПАМЯТНЕЙШАЯ НОЧЬ*

Разговор. От скуки рахманиновской перешли на училищную, от училищной – на всю классическую скуку. У Давида – гнев обогнавшего современников мастера. У меня – пафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья. Родился российский футуризм.

**Давид Давидович Бурлюк:**

Футуризм не школа, это новое мироощущение. Футуристы – новые люди. Если были чеховские – безвременцы, нытики-интеллигенты, – то пришли – бодрые, не унывающие. <…> И новое поколение не могло почувствовать себя творцом, пока не отвергло, не насмеялось над поколением «учителей», символистов.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *СЛЕДУЮЩАЯ*

Днем у меня вышло стихотворение. Вернее – куски. Плохие. Нигде не напечатаны. Ночь. Сретенский бульвар. Читаю строки Бурлюку. Прибавляю – это один мой знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рявкнул: «Да это же ж вы сами написали! Да вы же ж гениальный поэт!» Применение ко мне такого грандиозного и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я весь ушел в стихи. В этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом.

**Давид Давидович Бурлюк:**

Маяковский до 18 лет не писал стихов; в моем воображении, первые месяцы нашего знакомства он был только любителем «чужой» поэзии.

Осенним вечером по бульвару Страстного монастыря мы шли асфальтовой панелью под серым туманным небом, панель была мокрая, ее не было – было серое мокредное небо, первые вспыхнувшие фонари отекали светом книзу, и опыт подсказывал, что там, где падают светлые мечи их, могут шагнуть и наши человеческие ноги: там панель, а над огнями – мокрое поле осеннего неба, куда завела нас предвечерняя прогулка.

Маяковский прочитал мне стихотворение:

Зеленый, лиловый отброшен и скомкан,
А в черный, играя, бросали дукаты,
И жадным ладоням сбежавшихся окон
Раздали горящие желтые карты.

Это было его первое стихотворение.

Я задумался над вопросом: почему Маяковский до встречи со мной не писал или, вернее, стыдился своего творчества.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *БУРЛЮЧЬЕ ЧУДАЧЕСТВО*

Уже утром Бурлюк, знакомя меня с кем-то, басил: «Не знаете? Мой гениальный друг. Знаменитый поэт Маяковский». Толкаю. Но Бурлюк непреклонен. Еще и рычал на меня, отойдя: «Теперь пишите. А то вы меня ставите в глупейшее положение».

## *ТАК ЕЖЕДНЕВНО*

Пришлось писать. Я и написал первое (первое профессиональное, печатаемое) «Багровый и белый» и другие.

**Мария Никифоровна Бурлюк:**

Прогулки наши в сверкающих фонарях бульваров Москвы, то затененных линиями дождя, то пушистыми ресницами снега, были долгими. Маяковский вслушивался в веселые восклицания и разговоры об искусстве, коими изобиловал Бурлюк. <…>

С любовью старшего брата удивлялся Бурлюк одаренности безмерной, без берегов возможностям; хлопал дружески Маяковского после чтения по молодой, костлявой от недоедания, опять сутулившейся спине.

Володя Маяковский и во вторую осень нашего знакомства был плохо одет. А между тем начались холода. Увидев Маяковского без пальто, Бурлюк в конце сентября 1912 года, в той же Романовке, в темноте осенней, на Маяковского, собиравшегося уже шагать домой (на Большую Пресню), надел зимнее ватное пальто своего отца.

– Гляди, впору? – Оправляя по бокам, обошел кругом Маяковского и застегнул заботливо крючок у ворота и все пуговицы… – Ты прости за мохнатые петли, но зато тепло и в грудь не будет дуть…

Маяковский улыбался.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *ПРЕКРАСНЫЙ БУРЛЮК*

Всегдашней любовью думаю о Давиде. Прекрасный друг. Мой действительный учитель. Бурлюк сделал меня поэтом. Читал мне французов и немцев. Всовывал книги. Ходил и говорил без конца. Не отпускал ни на шаг. Выдавал ежедневно 50 копеек. Чтоб писать не голодая.

На Рождество завез к себе в Новую Маячку. Привез «Порт» и другое.

**Давид Давидович Бурлюк.** *Из письма В. В. Каменскому, 1912 г.:*

Дорогой друг и храбрый авиатор Вася! Приезжай скорей в Москву, чтобы ударить с новой силой «Сарынь на кичку!» Пора. Прибыли и записались новые борцы – Володя Маяковский

и А. Крученых. Эти два очень надежные. Особливо Маяковский, который учится в школе живописи вместе со мной… Он жаждет с тобой встретиться и побеседовать об авиации, стихах и прочем футуризме. Находится Маяковский при мне постоянно и начинает писать хорошие стихи. Дикий самородок горит самоуверенностью. Я внушил ему, что он – молодой Джек Лондон. Очень доволен. Приручил вполне, стал послушным: рвется на пьедестал борьбы за футуризм. Необходимо скорей действовать.

**Василий Васильевич Каменский:**

Бурлюк не мог наглядеться на своего сверх всякой меры одаренного ученика, за каждым шагом которого он следил с ревностью Отелло.

**Давид Давидович Бурлюк:**

Осенью 1912 года мы поселились в Романовке.

Ход в Романовку с Малой Бронной. Комнаты наши – на четвертом этаже, Маруся живет в 104 номере. Я поселился в том же коридоре. Все собрания молодых поэтов и художников происходили в номере Маруси, так как эта комната была более обширной и нарядной. Здесь обильно сервировались «чаи», варенья и бландово-чичкинские сыры[7] и колбасы. Владимир Владимирович приходил каждый вечер после Училища живописи, ваяния и зодчества.

Романовка – глаголем протянувшийся старый корпус, грязно-зеленого цвета…

В Романовке, в ее полутемных номерах, декорированных купеческим красным, засаленным дочерна штофом, состоялись и первые выступления Володи Маяковского, свидетелями и слушателями которых пришлось быть его ближайшим друзьям. Эти выступления были репетицией к первым публичным шумно-овационным выступлениям будущего великого поэта. Маяковский первые свои стихи: «Ночь», «Вывескам», «Уличное», «А вы могли бы?», два стихотворения о Петербурге читал на вечеринках в Училище живописи, но на этих вечеринках мне быть не пришлось. Мне довелось лишь слышать о них от группы восторженной молодежи. Сила его воздействия на слушателей была всегда несравнимо яркая. <…>

Маяковский не имел записных книжек, читал по памяти. Когда его просили читать, он поднимался с дивана, отходил на середину комнаты и становился с таким расчетом, чтобы видеть себя в хмуром, неясном, узком зеркале. Маяковский выпрямлялся, лицо его оставалось спокойным; опуская руку

с горящей папиросой вдоль своего высокого тела, другую, левую, он закладывал в карман бархатной блузы. Не откидывая головы назад, пристально смотря глазами в другие, зеркальные, поэт начинал читать свои юные стихи, декламировать, скандировать без поправок или остановок, не поддаваясь нахлынувшему вдохновению и не изменяясь в лице.

**Мария Никифоровна Бурлюк:**

В начале ноября 1912 года Бурлюк собрался ехать читать лекцию в Петербург на тему «Что такое кубизм?» и, узнав, что Маяковский там никогда не был, решил взять его с собой. Маяковский был очень рад этой поездке. Он вез на выставку «Союза молодежи» портрет, писанный им с Р. П. Каган. По прибытии в Петербург, с вокзала, кутаясь в живописный старый плед (так похож на молодого цыгана), Маяковский поехал проведать своих знакомых. Бурлюк встретился с ним уже только вечером в Тенишевском училище. Маяковский познакомился здесь с В. Хлебниковым, до этого учившимся в Санкт-Петербургском университете.

**Давид Давидович Бурлюк:**

Владимир Маяковский никогда особенно не любил и не понимал Хлебникова как поэта. К Хлебникову-человеку относился с большой теплотой, всегда называя его нежнейшими именами. Он пользовался некоторыми стихами Хлебникова, как полемическим оружием, в защиту новой формы. Одно, два, не больше.

**Мария Никифоровна Бурлюк:**

К Хлебникову, схимнику, молчальнику, – полный энергии, силы животной, Владимир Маяковский никогда не питал особой длительной склонности. Хлебников был чужд Маяковскому. Периодами, будучи в центре нового, под воздействием всеобщих восторгов, которые творчество Велимира Владимировича вызывало, Маяковский – хлопал Витю дружески по плечу и… восхищался. Но проходило несколько недель, и снова Владимир Владимирович подходил к Бурлюку близко, и ревниво (слегка боясь сам своего вопроса) спрашивал: «Ну, Додя, ты все понимаешь – скажи – ведь правда, стихи Хлебникова в конце концов пустяки…» Спрашивал, а сам, видимо, трусил – а вдруг работоспособность, культурность, глубочайшая одаренность великого.

**Алексей Елисеевич Крученых:**

Резвые стычки с Виктором Хлебниковым (имя Велимир –

позднейшего происхождения) бывали тогда и у Маяковского. Вспыхивали они и за работой. Помню, при создании «Пощечины» Маяковский упорно сопротивлялся попыткам Велимира отяготить манифест сложными и вычурными образами, вроде: «Мы будем тащить Пушкина за обледенелые усы». Маяковский боролся за краткость и ударность.

Но часто перепалки возникали между поэтами просто благодаря задорной и неисчерпаемой говорливости Владимира Владимировича. Хлебников забавно огрызался.

Помню, Маяковский как-то съязвил в его сторону:

– Каждый Виктор мечтает быть Гюго.

– А каждый Вальтер – Скоттом! – моментально нашелся Хлебников, парализуя атаку.

Такие столкновения не мешали их поэтической дружбе.

**Василий Васильевич Каменский:**

Володя Маяковский носился с <…> хлебниковской книгой стихов в десять раз больше, чем со своей, и всюду, как жемчуг, рассыпал наизусть цитаты:

Волю видеть огнезарную –
Стаю легких жарирей, –
Дабы радугой стожарною
Вспыхнул морок наших дней.

Маяковский мог неустанно повторять везде и всюду все эти хлебниковские алмазные россыпи:

Я воин, отданный мечу,
Я кровью край врагов мочу.
Я любровы темной ясень,
Я глазами в бровях ясен.
Я – любавец! Я – красавец!
Я пью скорей плясавец
Ночи, неба и зари –
Так велели кобзари.

# Желтая кофта

**Василий Васильевич Каменский:**

Вдруг Бурлюк зычно закричал:

– Идея! Идея! Стойте, идея! Мы должны выступить как новые, первые русские поэты-футуристы! Три кита, и ни одного символического окуня!

– Да, да! Но нам не дадут помещения, и полиция не разрешит. Никто не знает, что мы – гении.

– Чорт с ним! Пускай не дают помещения. Не надо. Мы пойдем на улицы Москвы, в гущу народа, и станем втроем читать стихи. Наше дело – не лазить по канцеляриям редакций протухших журналов, которые все равно никто не читает. Время требует своих трибунов-поэтов, и мы ими будем, будем! Нас признает улица, площадь, народ, девушки, юноши, ученики, дворовые дети. Все – кто на улице.

– А не примут ли нас за пьяную компанию или случайно разгулявшихся молодчиков?

– Нет, не примут: мы наденем специальные пестрые одежды, разрисуем лица, а в петлицы, вместо роз, вденем крестьянские деревянные ложки. Пусть наши глотки будут противны обывателям. Больше издевательства над мещанской, буржуазной сволочью. Нашим наслаждением должно быть отныне – эпатирование буржуазии. Мы, революционеры искусства, обязаны втесаться в жизнь улицы и сборищ. Мы обязаны выступить с проповедью нового искусства по всем крупным городам России.

Однако я тут же понял, что вся эта программа была уже заранее продумана Бурлюком и Маяковским и, очевидно, они не знали только, как ее осуществить, особенно в отношении выступлений по провинциальным городам.

Володя, заранее уверенный, что не получит отказа, просил меня:

– Вы такой замечательный, знаменитый авиатор, великий человек современности, вы одеты в несравненный парижский костюм и в настоящие английские ботинки, вы вращались во Франции, в Англии. И разве такому может какой-нибудь городничий отказать, если попросите его разрешить афишу под заглавием: «Аэропланы и поэзия футуристов». А раз будет такое разрешение – нам дадут и зал, и кассу.

Бурлюк тоже настойчиво усовещивал меня.

Отказать Маяковскому было невозможно. Он читал стихи Бурлюка, читал моего «Разина» и произведения множества других поэтов, как бы играя своей феноменальной памятью, острил,

дурачился, ставил бутылки на цилиндр, изображал, будто ходит по проволоке в цирке.

И при всем этом продолжал агитировать «в пользу общего великого дела искусства современности», призывал меня быть организатором и «мамой» всего российского футуристического движения.

– Как будет замечательно: Бурлюк – отец. Каменский – мама. Я – сын. Остальные – родственники. <…>

Маяковский, ероша гриву густых темных волос, шагал, курил, нервно закусив папиросу в углу большого рта и бросая отрывистые фразы:

– Дело не в том – летать нам или не летать. Ломать наши слоновые кости или не ломать… Чорт его знает… Джек Лондон… Братья Райт… Сумасшедший игрок Германн… Лиза… Любовь… «Туча ли, гром…» «Что наша жизнь…» Главное – мы должны и можем делать феноменальные явления и в искусстве, и в жизни. Возьмем мир за бороду и будем трясти… Облапим весь земной шар и повернем в обратную сторону, на страх всем астрономам, и самому Саваофу, и самому дьяволу. Все человечество наше – и никаких разговоров. Издадим манифест с приказом любить нас и славить. И будут! Обожремся в богатстве бриллиантовых россыпей наших душ… Пожалуйста…

Перья линяющих ангелов
Бросим любимым на шляпы,
Будем хвосты на боа
Обрубать у комет.

И все это обязательно будет! Сделаем! А пока необходимо выйти на улицу со стихами и разговорами.

– Брависсимо! Немедленно все запишем! – провозгласил Бурлюк, достав бумагу. И начал записывать, скандируя каждое слово:

– *Первое.* Ровно через три дня в полдень всем трем поэтам – Маяковскому, Каменскому, Бурлюку в пестрых одеждах, в цилиндрах, с разрисованными лицами выйти на Кузнецкий и, гуляя, читать во все горло по очереди свои стихи самым строгим голосом.

*Второе.* Не обращать внимания на возможные насмешки дураков и на мещанское издевательство.

*Третье.* На вопросы – кто вы? – отвечать серьезно: гении современности – Маяковский, Бурлюк, Каменский.

*Четвертое.* На все остальные: так живут футуристы. Не мешайте нам работать. Слушайте.

*Пятое.* Сшить Маяковскому желтую кофту

*Шестое.* Авиатору В. В. Каменскому пойти к московскому губернатору, чтобы он разрешил прочитать нам лекцию об аэропланах и о поэзии футуристов под его, Каменского, ответственность, как известного пилота-авиатора.

*Седьмое.* Уважаемый В. В. Каменский должен снять помещение для выступления в Политехническом музее и внести задаток. И вообще взять на себя все расходы по организации.

*Восьмое.* При полном благополучии В. В. Каменскому возместить расходы, а всю прибыль разделить поровну.

*Девятое.* Афиша должна быть желтого цвета, а все буквы крупных слов разного шрифта.

*Десятое*. На столе сцены во время выступления поставить сотню стаканов чая, чтобы пить самим и угощать почтенную публику. В момент возникновения возможного скандала – чай убрать, чтобы не потерпеть убытки за разбитую посуду.

*Одиннадцатое.* На всякий случай во время выступления присутствовать на сцене всем трем с начала до конца.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *ЖЕЛТАЯ КОФТА*

Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы – гнуснейшего вида. Испытанный способ – украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке – галстук. Очевидно – увеличишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстуков ограничены, я пошел на хитрость: сделал галстуковую рубашку и рубашковый галстук.

Впечатление неотразимое.

**Василий Васильевич Каменский:**

Маяковский примерял новую апельсиновую кофту, сшитую его матерью Александрой Алексеевной и двумя сестрами – Людой и Олей.

Бурлюк был в сюртуке, с воротником, обшитым разноцветными лоскутами, в желтом жилете с серебряными пуговками и в цилиндре.

Мой парижский костюм цвета какао был обшит золотой парчой. На голове – тоже цилиндр.

А на моем лбу Маяковский нарисовал гримировальным карандашом аэроплан. На щеке Бурлюка Володя изобразил

собачку с поднятым хвостом.

Вид у нас был маскарадный и необычайно живописный.

Думали ли мы, что нас могут встретить скандалом? Думали.

Знали ли мы, что за нарушение общественного спокойствия и порядка (да еще на улицах) нас могут схватить полицейские, отвести в участок и даже выслать из Москвы? Знали.

Предполагали ли мы, что может произойти драка, схватка, свалка и чорт его знает какое безобразие на Кузнецком? Предполагали. <…>

Маяковский от разрисовки своего лица в последний момент отказался, предлагая, однако, загримироваться негром, на что нашего согласия не получил.

Наш чрезвычайный подъем объяснялся тем, что накануне я получил разрешение от губернатора на публичное выступление.

Ровно в двенадцать часов дня, вдев в петлицы деревянные ложки, мы появились наверху Кузнецкого.

Сразу начали по очереди читать стихи, медленно и важно шагая вниз.

Шли серьезно, строго. Без улыбки.

Я только заметил, что все встречавшиеся повертывали немедленно за нами, а иные забегали вперед и тревожно спрашивали:

– Кто это? Сумасшедшие? С диких островов? Жокеи из цирка? Укротители? Факиры? Чемпионы французской борьбы? Индейцы? Йоги? Американцы? Почему собака у этого толстяка на щеке? Почему аэроплан у этого блондина на лбу? Почему у этого верзилы желтая кофта? Тише – они читают стихи, тише! Это поэты? Не может быть! Говорят по-русски, но ничего не понятно. Тише. Все понятно. Они предсказывают! Идиоты! Это вы – идиоты, а они – наоборот! Урра! Три Евгения Онегина!

Какая-то встречная барынька с дочкой так нас испугалась, что даже перекрестилась:

– Господи помилуй!

Дочка бросилась к нам:

– Какая красота!

Барынька рванула дочь за рукав:

– Таня, уйди, уйди. Тебя могут изуродовать. Надо позвать полицию. <…>

Толпа росла. Началась давка.

Мостовая заполнилась. Извозчики не могли проехать. У Неглинной образовалась плотная людская стена.

Мы почувствовали, что с минуты на минуту разразится «происшествие».

Бурлюк рявкнул:

– Перед вами гениальные поэты, новаторы, футуристы: Маяковский, Каменский, Бурлюк. Мы открываем Америку нового искусства. Поздравляю!

Толпа аплодировала, свистела, кричала, возмущалась.

И вдруг послышался продолжительный полицейский свисток.

Мы повернули обратно кверху.

Городовые, продолжая свистеть, разгоняли толпу.

– Рразойдитесь!

Какая-то девочка поднесла Маяковскому апельсин.

Он поблагодарил и скушал.

– Ест! Ест! – шептались на всю улицу провожающие.

А мы важно шагали, читая стихи, хотя и понимали, что из-за шума и суматохи нас было трудно расслышать…

Однако часть молодежи и особенно студенты охраняли нас и храбро отшибали наступающих драчунов, хрипло кричавших:

– Их тут целая банда! Живодеры! <…>

Вдев в петлицы пальто по большому пучку редиски, мы отправились из гостиницы на главную <…> улицу. <…>

В ресторане испугались:

– Кто это? Кто?

Маяковский громко заявил:

– Три Шаляпина!

Нас попросили в отдельный кабинет:

– Там будет спокойнее.

Мы вышли. <…>

Мы <…> ходили со стихами по улицам, всех взбудораживая своим появлением.

И всех приглашали на вечер – «на чай футуристов».

**Бенедикт Константинович Лившиц:**

Не помню, куда мы заехали с вокзала, где остановились, да и остановились ли где-нибудь. Память сохранила мне только картину сложного плутания по улицам и Кузнецкий мост в солнечный, не по-петербургскому теплый полдень.

Купив две шикарные маниллы в соломенных чехлах, Володя предложил мне закурить. Сопровождаемые толпою любопытных, пораженных оранжевой кофтой и комбинацией цилиндра с голой шеей, мы стали прогуливаться.

Маяковский чувствовал себя как рыба в воде.

Я восхищался невозмутимостью, с которой он встречал устремленные на него взоры

Ни тени улыбки.

Напротив, мрачная серьезность человека, которому

неизвестно почему докучают беззаконным вниманием.

Это было до того похоже на правду, что я не знал, как мне с ним держаться. <…>

Вокруг нас разрасталась толпа зевак.

Во избежание вмешательства полиции пришлось свернуть в одну из боковых, менее людных улиц.

Заглянули к каким-то Володиным знакомым, потом к другим, еще и еще, заходили всюду, куда Маяковский считал нужным показаться в своем футуристическом великолепии. В Училище живописи, ваяния и зодчества, где он еще числился учеником, его ждал триумф: оранжевая кофта на фоне казенных стен была неслыханным вызовом казарменному режиму школы. Маяковского встретили и проводили овациями.

Ему этого было мало.

# Апостолы футуризма

**Виктор Борисович Шкловский:**

О том, чтобы печататься, не было и разговора, но можно было и выступать. А для выступления нужна была вывеска. Тезисы научил делать Николай Кульбин, такие тезисы, как будто турки заняли город и оповещают об этом, под барабан.

**Алексей Елисеевич Крученых:**

Помню наше первое совместное выступление, «первый бой» в начале 1912 г. на диспуте «Бубнового валета», где Маяковский прочел целую лекцию о том, что искусство соответствует духу времени, что, сравнивая искусство различных эпох, можно заметить: искусства вечного нет – оно многообразно, диалектично. Он выступал серьезно, почти академически.

Во время скучного вступительного доклада, кажется, Рождественского, при гробовом, унылом молчании всего зала, я стал совершенно по-звериному зевать. Затем в прениях Маяковский, указав, что «бубнововалетчики» пригласили докладчиком аполлонщика Макса Волошина, заявил, перефразируя Козьму Пруткова:

> Коль червь сомнения заполз тебе за шею,
> Дави его сама, а не давай лакею.

В публике поднялся содом, я взбежал на эстраду и стал рвать прицепленные к кафедре афиши и программы.

Кончаловский, здоровый мужчина с бычьей шеей, кричал, звенел председательским звонком, призывал к порядку, но его не слышали. Зал бушевал, как море в осень.

Тогда заревел Маяковский – и сразу заглушил аудиторию. Он перекрыл своим голосом всех. Тут я впервые и «воочию» убедился в необычайной голосовой мощи разъяренного Маяковского. <…>

Публика слышала следующие и вовсе не так уж малодоступные мысли:

– Еще египтяне и древние греки, – говорил он, – гладили сухих и черных кошек, извлекая из их шерсти электрические искры. Но не они нашли приложение этой силы. Поэтому не им поется слава, но тем, кто поставил электричество на службу человечеству, тем, кто послал гигантскую мощь по проводам, двинул глазастые трамваи, завертел стосильные моторы.

Так Маяковский опровергал и старушечью мудрость уверявших: «ничего нового под луной!».

Не из Египта выводил Маяковский футуризм, – наоборот!

– Какие-то жалкие искорки были и в старину, – кричал он, – но это только искорки, обрывки, намеки. Какие-то случайные находки были и в искусстве римлян, но только мы, футуристы, собрали эти искорки воедино и включили их в созданные нами новые литературные приемы.

**Владимир Владимирович Маяковский:**

## *«ПОЩЕЧИНА»*

Из Маячки вернулись если с неотчетливыми взглядами, то с отточенными темпераментами. В Москве Хлебников. Его тихая гениальность тогда была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом. Здесь же вился футуристический иезуит слова – Крученых.

После нескольких ночей лирики родили совместный манифест. Давид собирал, переписывал, вдвоем дали имя и выпустили «Пощечину общественному вкусу».

**Алексей Елисеевич Крученых:**

Я помню только один случай, когда В. Хлебников, В. Маяковский, Д. Бурлюк и я писали вместе одну вещь – этот самый манифест к «Пощечине общественному вкусу».

Москва, декабрь 1912 г. Собрались, кажется, у Бурлюка на квартире, писали долго, спорили из-за каждой фразы, слова, буквы.

Помню, я предложил: «Выбросить Толстого, Достоевского, Пушкина».

Маяковский добавил: «С парохода современности».

Кто-то: «*сбросить* с парохода».

Маяковский: «Сбросить – это как будто они там были, нет, надо *бросить* с парохода…»

Помню мою фразу: «Парфюмерный блуд Бальмонта».

Исправление В. Хлебникова: «*Душистый* блуд Бальмонта» – не прошло.

Еще мое: «Кто не забудет своей первой любви – не узнает последней».

Это вставлено в пику Тютчеву, который сказал о Пушкине: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет».

Строчки Хлебникова: «Стоим на глыбе слова *мы*».

«С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество» (Л. Андреева, Куприна, Кузмина и пр.).

Хлебников по выработке манифеста заявил: «Я не подпишу это… Надо вычеркнуть Кузмина – он нежный». Сошлись на том, что Хлебников пока подпишет, а потом отправит письмо в редакцию о своем особом мнении. Такого письма мир, конечно, не увидел!

Не давая опомниться публике, мы одновременно с книгой «Пощечина общественному вкусу» выпустили листовку под тем же названием. <…>

На обороте листовки были помещены для наглядности и сравнения «в нашу пользу» произведения: против текста Пушкина – текст Хлебникова, против Лермонтова – Маяковского, против Надсона – Бурлюка, против Гоголя – мой.

## *ПОЩЕЧИНА ОБЩЕСТВЕННОМУ ВКУСУ*

Читающим наше Новое Первое Неожиданное.

Только *мы – лицо нашего* Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.

Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее гиероглифов.

Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода современности.

Кто не забудет своей *первой* любви, не узнает последней.

Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня?

Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот?

Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми.

Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, Аверченкам, Черным, Кузьминым, Буниным и проч. и проч. нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным.

С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!..

Мы *приказываем* чтить *права* поэтов:

1. На увеличение словаря в *его объеме* произвольными и производными словами (Слово-новшество).

2. На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.

3. С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный вами Венок грошовой славы.

4. Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.

И если *пока* еще и в наших строках остались грязные клейма ваших «здравого смысла» и «хорошего вкуса», то все же на них уже трепещут *впервые* Зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова.

Д. Бурлюк, Александр Крученых, В. Маяковский, Виктор Хлебников.

*Москва, 1912, декабрь.*

**Виктор Борисович Шкловский:**

Поэты Хлебников, Маяковский, Василий Каменский в противоположность символистам выдвигали иную поэтику.

Они требовали от вещи не столько многозначности, сколько ощутимости. Они создавали неожиданные образы, неожиданную звуковую сторону вещи. Они поэтически овладевали тем, что прежде называлось «неблагозвучием». Маяковский писал:

«Есть еще хорошие буквы: эр, ша, ща».

Это было расширение восприятия мира. Маяковский до этого писал о таких словах, как «сволочь» и «борщ», как о последних оставшихся у улицы.

**Бенедикт Константинович Лившиц:**

Октябрь и ноябрь тринадцатого года отмечены в будетлянском календаре целой серией выступлений, среди которых не последнее место занимали лекции Корнея Чуковского о футуризме, прочитанные им в Петербурге и в Москве. Это была вода на нашу мельницу. Приличия ради мы валили Чуковского в общую кучу бесновавшихся вокруг нас Измайловых, Львовых-Рогачевских, Неведомских, Осоргиных, Накатовых, Адамовых, Философовых, Берендеевых и пр., пригвождали к позорному столбу, обзывали и паяцем, и копрофагом, и еще бог весть как, но все это было не очень серьезно, не более серьезно, чем его собственное отношение к футуризму.

Чуковский разбирался в футуризме лишь немного лучше других наших критиков, подходил даже к тому, что в его глазах имело цену, довольно поверхностно и легкомысленно, но все же он был и добросовестней, и несравненно талантливей своих товарищей по профессии, а главное – по-своему как-то любил и Маяковского, и Хлебникова, и Северянина. Любовь – первая ступень к пониманию, и за эту любовь мы прощали Чуковскому все его промахи.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Мы поехали в Бестужевский институт. Доклад читал Корней Иванович. Он закончил возгласами о науке и демократии.

– Ничего не выйдет у футуристов! Хоть бы голову они себе откусили, – выпевал он голосом, похожим на звук какого-то драгоценно-гнусавого старинного виоль-де-гамбистого инструмента.

Маяковский читал стихи. Крученых говорил и сперва прочел пародийные стихи, не очень хорошие, совсем не заумные. Помню строку:

Цветисты, речисты
сидят футуристы.

Он имел успех. Выступали акмеисты, потом кто-то из футуристов сказал про Короленко, что он пишет серо.

Аудитория решила нас бить.

Маяковский прошел сквозь толпу, как раскаленный утюг сквозь снег. Крученых шел, взвизгивая и отбиваясь галошами.

Наука и демократия его щипала.

Я шел, упираясь прямо в головы руками налево и направо, был сильным – прошел.

А Корней Иванович повез свой доклад дальше.

**Из отчета газеты «День».** *8 ноября 1913 г.:*

Первым говорит футурист в желтой кофте г. Маяковский, поставивший К. И. Чуковскому вопрос «ребром»: «Да понимаете ли вы, г. Чуковский, что такое поэзия, что такое искусство и демократия? Поэзия – это то, – в тоне гордого презрения возвещает г. Маяковский, – что разрушает вековые ценности, которыми гордится старая культура. И только та поэзия демократична, которая разрушает старую психологию плоских лиц и душ».

– Вашу старую парфюмерную любовь мы разбили, я люблю грязную поэзию Алексея Крученых, – восклицает г. Маяковский и заканчивает так: – Чуковский не может понять поэзии футуризма, ибо не знает ее основ. Поэты – мы.

А затем, пытаясь заглушить свист и шум аплодисментов, появляется на эстраде г. Крученых.

Вначале московский футурист говорит что-то бессвязное о демократии и демократизме, а затем неожиданно, но к приятному удивлению аудитории вспоминает, что на предыдущей лекции К. И. Чуковского полицейский пристав

запретил декламацию футуристических стихов. Поэтому г. Крученых превращает в пристава К. И. Чуковского и по адресу декламирует «пародию». <…>

Переполненный зал встречает эту «поэзию» добродушным смехом и аплодисментами, но дальнейшее течение диспута превращается в бесконечные и нудные пререкания между противниками и сторонниками футуристов.

Г<-н> Галкин решился заявить в лицо гг. футуристам, что русская литература – это Евангелие русской интеллигенции, это вечная краса и гордость русского народа. И те, кто пришел в литературу со скандалом и кривлянием, должны умерить свой пыл.

Весь зал разразился долгими аплодисментами, а г. Маяковский крикнул:

– Господа, я не скандалист, но я не могу слушать.

В такой атмосфере «скандализированного успеха» выступили еще два-три адепта футуризма от учащейся молодежи.

**Бенедикт Константинович Лившиц:**

В наших нескончаемых перебранках было больше веселья, чем злобы. Однажды сцепившись с ним, мы, казалось, уже не могли расцепиться и собачьей свадьбой носились с эстрады на эстраду, из одной аудитории в другую, из Тенишевки в Соляной Городок, из Соляного Городка в психоневрологический институт, из Петербурга в Москву, из Москвы в Петербург и даже наезжали доругиваться в Куоккалу, где он жил отшельником круглый год.

**Вадим Габриэлевич Шершеневич:**

Помню я в первые годы футуризма столкновение в Литературно-художественном кружке Маяковского с Виленкиным. <…> В боях против футуризма Виленкин занимал всегда первое место, и, надо отдать ему справедливость, это был противник трудный и корректный, чем выгодно отличался от яблоновских и прочих профессиональных ругателей, включая и истерического, как кликуша, Корнея Чуковского. Цитаты и логика, летевшая из-под поблескивания монокля, были убедительны. Аудитория его любила, и от него нельзя было отделаться смешком или остротой.

Как-то Маяковский попробовал взять Виленкина «нахрапом» и сильно надерзил ему. Виленкин двинулся на Маяковского, сжав кулаки, с явно «не логическими» доказательствами. И Маяковский сразу извинился.

Тогда еще ореол «нахала, которому лучше прощать», не сиял

над Маяковским.

**Бенедикт Константинович Лившиц:**

«Первый вечер речетворцев», состоявшийся 13 октября (1913. – Сост.) в помещении Общества любителей художеств на Большой Дмитровке (в Москве. – Сост.), привлек множество публики. Билеты расхватали в какой-нибудь час.

Аншлаги, конные городовые, свалка у входа, толчея в зрительном зале давно уже из элементов случайных сделались постоянными атрибутами наших выступлений. Программа же этого вечера была составлена широковещательнее, чем обычно. Три доклада: Маяковского – «Перчатка», Давида Бурлюка – «Доители изнуренных жаб» и Крученых – «Слово» – обещали развернуть перед москвичами тройной свиток ошеломительных истин.

Особенно хороши были «тезисы» Маяковского, походившие на перечень цирковых аттракционов:

1. Ходячий вкус и рычаги речи.
2. Лики городов в зрачках речетворцев.
3. Berceuse оркестром водосточных труб.
4. Египтяне и греки, гладящие черных сухих кошек.
5. Складки жира в креслах.
6. Пестрые лохмотья наших душ.

В этой шестипалой перчатке, которую он, еще не изжив до конца романтической фразеологии, собирался швырнуть зрительному залу, наивно отразилась вся несложная эстетика тогдашнего Маяковского.

Однако для публики и этого было поверх головы. <…>

Успех вечера был в сущности успехом Маяковского. Непринужденность, с которой он держался на подмостках, замечательный голос, выразительность интонаций и жеста сразу выделили его из среды остальных участников. <…>

Хотела или не хотела того публика, между нею и высоким, извивающимся на эстраде юношей не прекращался взаимный ток, непрерывный обмен репликами, уже тогда обнаруживший в Маяковском блестящего полемиста и мастера конферанса.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Маяковский вошел на трибуну, как ледокол на торосы, и пошел, подминая под себя льдины рядов: они затрещали аплодисментами.

**Алексей Елисеевич Крученых:**

Скандалы мы устраивали, но только для того, чтобы сорвать чужой диспут, как это было с «Бубновым валетом».

Нам же никто ни разу не срывал вечера. Мы уверенно *делали новое искусство и новую литературу,* никогда не затевали скандалов для скандалов и решительно отвергали литературное хулиганство (термин не из удачных, но не мой).

**Василий Васильевич Каменский:**

Вообще наши выступления носили характер митингов, где на первом плане горела возбужденность собравшихся.

# Трагедия «Владимир Маяковский»

**Алексей Елисеевич Крученых:**

Одно дело – писать книги, другое – читать доклады и доводить до ушей публики стихи, а совсем иное – создать театральное зрелище, мятеж красок и звуков, «будетлянский зерцог», где разгораются страсти и зритель сам готов лезть в драку!

Показать новое *зрелище* – об этом мечтали я и мои товарищи.

**Владимир Владимирович Маяковский:**

Великая ломка, начатая нами во всех областях красоты во имя искусства будущего – искусства футуристов, не остановится, да и не может остановиться, перед дверью театра.

Ненависть к искусству вчерашнего дня, к неврастении, культивированной краской, стихом, рампой, ничем не доказанной необходимостью выявления крошечных переживаний уходящих от жизни людей, заставляет меня выдвигать в доказательство неизбежности признания наших идей не лирический пафос, а точную науку, исследование взаимоотношений искусства и жизни.

**Алексей Елисеевич Крученых:**

Общество «Союз Молодежи», видя засилье театральных старичков и учитывая необычайный эффект наших вечеров, решило поставить дело на широкую ногу, показать миру «первый футуристический театр». Летом 1913 г. мне и Маяковскому были заказаны пьесы. Надо было их сдать к осени. <…>

В Кунцеве Маяковский обхватывал буфера железнодорожного поезда. Так рождалась его «футуристическая драма».

Он первоначально хотел ее назвать «Железная дорога», потом еще как-то. Но не успел придумать названия, и мы послали ее в цензуру, которая заведовала зрелищами.

…В цензуру его рукопись пошла под заголовком: «Владимир Маяковский. Трагедия». Когда выпускалась афиша, то полицмейстер никакого нового названия уже не разрешал, а Маяковский даже обрадовался:

– Ну, пусть трагедия так и называется: «Владимир Маяковский»!

**Василий Васильевич Каменский:**

Декорации и костюмы к «Трагедии» делали художники Филонов и Школьник. Маяковский сам взялся за режиссирование своей трагедии и решил выступить в роли «поэта двадцати – двадцати пяти лет».

Роль свою Маяковский репетировал где попало: дома, на улицах, в кафе, в ресторанах, в гостях.

**Левкий Иванович Жевержеев:**

Для спектакля «Владимир Маяковский» раздобыть помещение было трудно. В конце концов удалось уговорить антрепренера, державшего оперетту в помещении театра на Офицерской улице (ныне улица Декабристов). Этот театр назывался тогда «Луна-парк». Плохие сборы этого опереточного театра помогли нам получить помещение на четыре дня – 2–5 декабря. < … >

Спектакли, аннонсированные афишами и газетными объявлениями, привлекали к себе большое внимание.

**Бенедикт Константинович Лившиц:**

В конце ноября во всех петербургских газетах появились анонсы, что 2, 3, 4 и 5 декабря в Луна-парке состоятся «Первые в мире четыре постановки футуристов театра»: в четные дни – трагедия «Владимир Маяковский», в нечетные – опера Матюшина «Победа над Солнцем».

Финансировал предприятие «Союз Молодежи», во главе которого стоял Л. Жевержеев. Цены назначили чрезвычайно высокие, тем не менее уже через день на все спектакли места амфитеатра и балкона были проданы. Газеты закопошились, запестрели заметками, якобы имевшими целью оградить публику от очередного посягательства футуристов на ее карманы, в действительности же только разжигавшими общее любопытство. Масла в огонь подлило напечатанное не то в «Дне», не то в «Речи» дня за два до первого представления письмо кающегося студента: «Исповедь актера-футуриста».

Дело в том, что никакой труппы, ни драматической, ни оперной, у футуристов не было и, разумеется, быть не могло. Приходилось набирать исполнителей среди студенческой молодежи, для которой этот неожиданный заработок был манной небесной. Платили хорошо, и от претендентов на любые роли не было отбоя. Но вот в одном из будущих участников спектакля внезапно заговорила совесть: он счел несовместимым с достоинством честного интеллигента повторять со сцены «такой бессмысленный вздор, как стихи Маяковского», и решил публично покаяться, обстоятельно поведав обо всех приготовлениях к спектаклю. Эффект, как и можно было предположить,

получился обратный: публика, заинтригованная подробностями, расхватала последние билеты.

**Левкий Иванович Жевержеев:**

«Игольное ушко» царской цензуры трагедия прошла довольно благополучно. Если мне память не изменяет, Маяковскому пришлось лишь заменить несколько стихов, упоминавших не совсем почтительно о «боге», однако на генеральную репетицию, помимо цензора и местного полицейского пристава, пожаловал сам полицмейстер (их всего на Петербург полагалось четыре). В перерывах между актами и по окончании репетиции он приставал ко мне с вопросами: «Ну, ради бога, скажите по совести, действительно все это лишь футуристское озорство и ерунда? Я, честное слово, ничего не понимаю. А нет ли за этим чего-нибудь такого?.. Понимаете?.. Нет? Ну… крамольного? Придраться, собственно, не к чему, сознаюсь, но… чувствую, что что-то не так».

**Ольга Константиновна Матюшина:**

Однажды к Михаилу Васильевичу Матюшину страшно взволнованный влетел Маяковский. Он метался по комнатам и ничего не говорил.

Мы испуганно глядели на него.

– Что с тобой, Володя? – спросил Матюшин. Маяковский дико посмотрел на него и заорал:

– Все пропало! Постановки не будет!

Через два дня должна была состояться <…> постановка «Трагедии» Маяковского.

– Почему не будет?

Носившийся вихрем по комнате Маяковский остановился.

– Актеры отказались!

– Актеры отказались? Что с ними случилось?

– Какие-то мерзавцы распустили по городу слух, что на спектакле футуристов будут бить актеров и забросают их падалью, селедками и вообще всякой дрянью.

– Ерунда какая! – сказал Михаил Васильевич.

– Как вы узнали об их отказе?

– Я пришел к ним на репетицию. Они набросились на меня с таким криком, руганью, визгом, что я долго не мог понять, в чем дело. Когда понял, послал их к чорту и ушел. Михаил Васильевич, что делать?

– Постановка должна состояться, Володя, во что бы то ни стало!

– Да. Но как? В такой короткий срок…

– Все актеры отказались?

– Женщины все, а мужчин можно кой-кого уговорить.

– Надо набрать знакомых и в два дня обучить их. Роли у тебя маленькие. Давай посмотрим трагедию и подумаем, кого пригласить.

Они уселись к столу, начали просматривать роли. Я хотела уйти. Михаил Васильевич остановил:

– Оля, сыграй женщину со слезой!

– Что вы! Я в жизни никогда не играла!

– Не играли, так будете играть! – властно сказал Маяковский.

– Не играла и не буду играть, – в тон ему ответила я.

– Ну, будет вам! Как щенки вечно кусаются. Оля, ты должна нам помочь. Согласна?

– Я же не умею…

– Научим. Ты хорошо исполнишь эту роль. Она маленькая.

Я колебалась.

– Соглашаетесь? – уже ласково сказал Маяковский.

– Я боюсь. Ведь вы говорите, там будут бить и бросать всякую дрянь. Я очень боюсь дохлых крыс…

– Дохлых крыс я попрошу в меня бросать, ведь я буду около вас. А если попадут тухлым яйцом, так не взыщите. Зато весело будет. Можно будет в них обратно кидать, да выбирать еще самые ядовитые физии. Согласны?

– Согласна, только за качество не отвечаю. Какая роль?

– За качество отвечаем мы! – сказал Маяковский, дал мне роль и попросил ее переписать, пока они будут решать, кого еще позвать.

**Левкий Иванович Жевержеев:**

Первоначально задуманное Школьником трехмерное (с многочисленными лестницами, мостами и переходами) оформление оказалось по тем временам неосуществимым, и художник ударился в другую крайность – он ограничился лишь двумя живописными «задниками», на которых блестяще написал два «городских» пейзажа, и по форме и по содержанию весьма мало связанных с текстом трагедии.

Чрезвычайно сложные по композиции «плоскостные» костюмы Филонова, написанные без предварительных эскизов им самолично прямо на холсте, затем были натянуты на фигурные, по контуру рисунка, рамки, которые передвигали перед собою актеры. Эти костюмы также мало были связаны со словом Маяковского.

**Бенедикт Константинович Лившиц:**

Так называемое «художественное оформление» принадлежало

Школьнику и было ниже самого спектакля. Все, что в тексте неприятно поражало поверхностным импрессионизмом, рыхлостью ткани, отсутствием крепкого стержня, как будто нарочно было выпячено художником, подчеркнуто с какой-то необъяснимой старательностью. Один Маяковский, кажется, не замечал этого, хотя вмешивался во все детали постановки.

Двухсаженная кукла из папье-маше, с румянцем во всю щеку, облаченная в какие-то лохмотья и, несмотря на женское платье, смахивавшая на елочного деда-мороза, искренно нравилась ему, так же как и все эти сверкавшие фольгой, похожие на огромные рыбьи пузыри, слезинки, слезы и слезищи.

Он, словно ребенок, тешился несуразными игрушками, и, когда я попытался иронически отнестись к нелепой, на мой взгляд, бутафории, его лицо омрачилось.

**Александр Авельевич Мгебров** *(1884–1966), драматический актер, мемуарист:*

Место действия – совсем небольшое пространство. Участвующие – их было немного – уже в костюмах. Это – молодежь, ничего общего с театром не имеющая. Настроение подавленное. Все немного сконфужены: сами не знают, что делают. Однако их полуосвещенные фигуры странно занимают меня. Какие-то картонные куклы. Лиц нет – маски. Вот тысячелетний старик, высокий, с лицом, облепленным пухом; впереди на нем разрисован во весь рост картон; по этому картону ярко выступают черные кошки. Дальше мимо меня мелькают человек без уха, человек без головы, человек без ноги. Все они – коленкор и картон. Это – по нему нарисовано. А лица закрыты. <…>

На задней стене сцены и на грандиозной железной двери большими буквами надпись: «Фу-дуристы»… Это написали рабочие сцены – футуристы не стерли ее. Не все ли равно им, в конце концов? Но где же они? Вот Владимир Маяковский, в пальто и мягкой шляпе. Величественный и самоуверенный и, как всегда, красивый. Однако я замечаю, что на этот раз Маяковский волнуется. Вот другие. Но все они скромны и тихи. Все это совсем не похоже на скандал. Как-то мучительно за них… Маяковский делает последнее распоряжение. Он один сосредоточен.

**Ольга Константиновна Матюшина:**

Время приближалось к началу спектакля. За кулисами Маяковский уже ждал выхода. Его плотно сжатые губы, горящие глаза, напряженная фигура говорили об огромном волнении

и о желании усилием воли побороть его.

Но вот его выход. Он весь как-то метнулся, на мгновение остановился, сжав руки, и вдруг пошел ровно и, казалось, спокойно на сцену.

Вам ли понять,
почему я
спокойный
насмешек грозою
душу на блюде несу
к обеду идущих лет.
С небритой щеки площадей
стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт… –

услышала я громкий, но срывающийся голос Маяковского. В зале зашумели, засмеялись. Видимо, этот шум сразу заставил Маяковского забыть, что он актер на сцене, и вспомнить свои выступления.

Начиналось второе действие. Маяковский, в тоге и лавровом венке, стоял близко у входа на сцену. От страха я лязгала зубами, меня всю трясло. Маяковский, заметив мой испуг, весело сказал, улыбаясь:

– Холодно?

– Нет, страшно.

– Это только первый момент, скоро будет очень просто и весело.

**Александр Авельевич Мгебров:**

Из-за кулис медленно дефилировали, одни за другими, действующие лица: картонные живые куклы. Публика пробовала смеяться, но смех обрывался. Почему? Да потому, что это вовсе не было смешно, – это было жутко. Мало кто из сидящих в зале мог бы осознать и объяснить это… <…> Хотелось смеяться: ведь для этого все пришли сюда. И зал ждал, зал жадно глядел на сцену.

Вышел Маяковский. Он взошел на трибуну без грима, в своем собственном костюме. Он был как бы над толпой, над городом. <…>

…Потом он сел на картон, изображающий полено. Потом стал говорить тысячелетний старик: все картонные куклы – это его сны, сны человеческой души, одинокой, забытой,

затравленной в хаосе движений.

**Бенедикт Константинович Лившиц:**

Центром драматического спектакля был, конечно, автор пьесы, превративший свою вещь в монодраму. К этому приводила не только литературная концепция трагедии, но и форма ее воплощения на сцене: единственным подлинно действующим лицом следовало признать самого Маяковского. Остальные персонажи – старик с кошками, человек без глаза и ноги, человек без уха, человек с двумя поцелуями – были вполне картонны: не потому, что укрывались за картонажными аксессуарами и казались существами двух измерений, а потому, что, по замыслу автора, являлись только облеченными в зрительные образы интонациями его собственного голоса. Маяковский дробился, плодился и множился в демиургическом исступлении,

Себя собою составляя,
Собою из себя сияя.

При таком подходе, естественно, ни о какой коллизии не могло быть и речи. Это был сплошной монолог, искусственно разбитый на отдельные части, еле отличавшиеся друг от друга интонационными оттенками. Прояви Маяковский большее понимание сущности драматического спектакля или больший режиссерский талант, он как-нибудь постарался бы индивидуализировать своих картонажных партнеров, безликие порождения собственной фантазии. Но наивный эгоцентризм становился поперек его поэтического замысла. На сцене двигался, танцевал, декламировал только сам Маяковский, не желавший поступиться ни одним выигрышным жестом, затушевать хотя бы одну ноту в своем роскошной голосе: он, как Кронос, поглощал свои малокровные детища.

Впрочем, именно в этом заключалась «футуристичность» спектакля, стиравшего – пускай бессознательно – грань между двумя жанрами, между лирикой и драмой, оставлявшего далеко позади робкое новаторство «Балаганчика» и «Незнакомки». Играя самого себя, вешая на гвоздь гороховое пальто, оправляя на себе полосатую кофту, закуривая папиросу, читая свои стихи, Маяковский перебрасывал незримый мост от одного вида искусства к другому и делал это в единственно мыслимой форме, на глазах у публики, не догадывавшейся ни о чем.

**Александр Авельевич Мгебров:**

Маяковский был в своей собственной желтой кофте;

Маяковский ходил и курил, как ходят и курят все люди. А вокруг двигались куклы, и в их причудливых движениях, в их странных словах было много и непонятного и жуткого оттого, что вся жизнь непонятна и в ней много жути. И зал, вслушивавшийся в трагедию Маяковского, зал со своим смехом и дешевыми остротами, был также непонятен. И было непонятно и жутко, когда со сцены неслись слова, подобные тем, как <ие> говорил Маяковский. Он же действительно говорил так: «Вы крысы…» И в ответ люди хохотали, их хохот напоминал тогда боязливое царапанье крыс в открытые двери.

– Не уходите, Маяковский! – кричала насмешливо публика, когда он, растерянный, взволнованно, собирал в большой мешок и слезы, и газетные листочки, и свои картонные игрушки, и насмешки зала – в большой холщовый мешок…

**Алексей Елисеевич Крученых:**

В его «трагедии» изображены поэт-футурист, с одной стороны, и всяческие обыватели, «бедные крысы», напутанные бурными городскими темпами – «восстанием вещей», с другой.

Вместе с восстанием вещей близится и иной, более грозный, социальный мятеж – изменение всего лица земли, любви и быта.

Испуганные людишки несут свои слезы, слезинки поэту, взывая о помощи. Тот собирает их и укладывает в мешок.

До этого момента публика, пораженная ярчайшими декорациями (по краскам – Гоген и Матисс), изображавшими город в смятении, необыкновенными костюмами и по-новому гремевшими словами, – сидела сравнительно спокойно.

Когда же Маяковский стал укладывать слезки и немного растянул здесь паузу (чтобы удлинить спектакль!), – в зрительном зале раздались единичные протестующие возгласы. Вот и весь «страшный скандал» на спектакле Маяковского. Правда, когда уже был опущен занавес, раздавались среди аплодисментов и свистки, и всевозможные крики, как то обычно бывает на премьерах, новых, идущих вразрез с привычными постановками.

**Бенедикт Константинович Лившиц:**

Театр был полон: в ложах, в проходах, за кулисами набилось множество народа. Литераторы, художники, актеры, журналисты, адвокаты, члены Государственной думы – все постарались попасть на премьеру. Помню сосредоточенное лицо Блока, неотрывно смотревшего на сцену и потом, в антракте, оживленно беседовавшего с Кульбиным. Ждали скандала, пытались даже искусственно вызвать его, но ничего не вышло: оскорбительные

выкрики, раздававшиеся в разных концах зала, повисали в воздухе без ответа.

«Просвистели до дырок», – отмечал впоследствии Маяковский в своей лаконической автобиографии. Это – преувеличение, подсказанное, быть может, не столько скромностью, сколько изменившейся точкой зрения самого Маяковского на сущность и внешние признаки успеха: по тому времени прием, встреченный у публики первой футуристической пьесой, не давал никаких оснований говорить о провале.

**Левкий Иванович Жевержеев:**

Огромный успех спектаклей трагедии «Владимир Маяковский» в значительной степени вызван был и впечатлением, какое автор производил на сцене. Даже свистевшие первые ряды партера в моменты монологов Маяковского затихали.

# Веселый год

**Василий Васильевич Каменский:**

Нам хотелось скорее двинуться по городам России в качестве «провозвестников будущего».

Кстати, до этой поры Маяковский провинциальной России не знал и не видел.

И теперь он с откровенным нетерпением стремился «людей посмотреть и себя показать», предвкушая шумные успехи и бурные скандалы.

**Давид Давидович Бурлюк:**

Поздней осенью[8] 1913 года в Херсоне совершенно неожиданно получаю от Володи Маяковского телеграмму, чтобы я немедленно выезжал в Симферополь читать лекции.

Маяковский и Игорь Северянин были приглашены крымским пиитом Вадимом Баяном (Сидоровым) для совместных выступлений. (Это был тот краткий момент, когда «эгофутуристы» и наш кубофутуризм сблизились и выступали вместе.) Намечены были вечера в Симферополе, Севастополе, Феодосии и Керчи. Сидоров отвел поэтам два номера в лучшей гостинице города. Он возил Маяковского и Северянина по побережью Крыма; везде завтраки, обеды… Родственники Сидорова, его мамаша начали уже роптать – «сколько это стоит!» Однако Сидоров, радуясь, что может иметь Маяковского своим гостем, открыл ему счета в лучших магазинах губернского города Таврии.

Маяковский оделся с иголочки. Он привел себя в порядок для выступлений в провинции. Заказал трость с набалдашником. Хотя и на короткое время, он мог забыть нужду, забыть проклятый вопрос каждодня.

Первое выступление в Крыму состоялось, при лидерствующем участии Маяковского, в Симферополе. Театр большой, поместительный.

Маяковский любил говорить на наших вечерах последним или (редко) в середине вечера. На этот раз, выступая с И. Северяниным, он уступил петербуржцу возможность «заканчивать вечер» и «срывать последние хлопки».

Маяковский уступал любезно Северянину затем и в Севастополе, в Феодосии и в Керчи. <…>

В январе месяце, будучи в Херсоне, я вдруг получил телеграмму от Маяковского из Симферополя. Маяковский сообщал мне о крымском турне и предлагал немедленно принять

в нем участие.

Я поспешил в Симферополь.

В Херсоне был снежок, ночной же поезд в Симферополе вверг меня в полную каких-то трепетно-весенних предчувствий теплую ночь. Близился рассвет. Я вошел в залу дома помещика Сидорова. Лакей сказал, что «все» уехали встречать меня на вокзал… В доме была абсолютная тишина, те, кто остался, были объяты оцепенением, которое знают только перенесшие или длительный восторг, или упоение безумств ночи.

Ни одна салфетка не шевелилась.

Я сел у края стола и взял бутылку светлого легкого крымского рассветного вина, стал утешаться. <…>

Я лишь на несколько часов опоздал на пышный банкет, устроенный в честь Северянина и Маяковского помещиком, меценатом и любителем поэзии Сидоровым.

Сидорову пришла в голову мысль читать свои стихи перед публикой крымских городов в компании поэтов, начавших «делать славу».

Северянин и Маяковский жили уже около 2-х недель «в гостях» у Сидорова.

«Поэты» приехали к «поэту». Два лучших номера в гостинице, открытые счета всех магазинов, автомобильный пробег по южному берегу Крыма, с остановкой в наиболее блестящих шантанах и отелях тогда шикарного южного побережья, сделали свое дело: кошелек «поэта» Сидорова стал испытывать волнение, – около 15 тысяч жалобно посвистывали из уст ближайших родственников и мамаши «поэта». Восторги, встречи симферопольским «поэтом» своих петроградских братьев по Аполлону должны же, наконец, были уступить место «деловой работе».

Я сидел в зале, где звучал последний аккорд праздника. Я был вызван, чтобы начать лекции, пропаганду, чтобы пустить в ход блестящую компанию гениев.

Среди тишины и безмолвия раздался стук подъехавших экипажей, хлопанье открываемых дверей, впустивших голубоватые волны рассвета и дымчатые в высоких цилиндрах статные фигуры Маяковского и Северянина, окруженные почитателями. Сидоров бегал и суетился около.

**Вадим Габриэлевич Шершеневич:**

Сначала их «поэзоконцерты» проходили дружно, но скоро они поссорились.

Северянин рассказывал, что ссора произошла на почве того, что он, Северянин, «прозрел» и понял всю неталантливость

Маяковского.

Маяковский рассказывал проще и, вероятно, правдивее. Северянин своей напыщенной самовлюбленностью мог действовать на нервы кому угодно. Тогда Маяковский начал его поддразнивать, тем более что Маяковский на язык был очень остер, а у Северянина самым красноречивым было его молчание.

Наконец Маяковский нашел верный способ. У Северянина есть строки, которые он читал на каждом «поэзовечере»:

Олазорим, легко олазорим
Пароход, моноплан, экипаж!

Как только Северянин доходил до этих строк, Маяковский рядом на эстраде внушительным баском начинал гудеть:

Опозорим, легко опозорим…

Северянин немедленно сбивался. Он упрашивал Маяковского прекратить издевки; последний давал обещания, но как только за день Северянин нахамит Маяковскому, а Маяковский был довольно обидчив, на вечере повторяется прежняя история. Северянин не выдержал, и они разошлись.

**Игорь-Северянин** *(Игорь Васильевич Лотарев; 1887–1941), поэт, мемуарист, лидер эгофутуризма:*

В Керчи… Маяковский облачился в оранжевую кофту, а Бурлюк в вишневый фрак при зеленой бархатной жилетке. Это явилось для меня полной неожиданностью. Я вспылил, меня с трудом уговорили выступить, но зато сразу же после вечера я укатил в Питер.

**Алексей Елисеевич Крученых:**

У Северянина есть стихотворение

Где-то в Керчи
Я увидел, что слон-то
Был из гуттаперчи,
А следовательно – не слон.

Это он поссорился с Маяковским. Я говорю Маяковскому: «Зачем ссориться?», а Маяковский отвечает: «А зачем он нам теперь? Его стихи я и Каменский читали не хуже его самого.

Зачем нам Северянин?» Он подписался, потом рассорился с Маяковским; он сделал свое дело.

**Василий Васильевич Каменский:**

Из Москвы Маяковский и Бурлюк отправились в Крым, где они выступали несколько раз с Северяниным, а я проехал прямо в Одессу. <…>

Дня через два я встречал на вокзале Маяковского и Бурлюка.

Стоял январь, а приморское южное солнце грело так, что можно было гулять в одном костюме.

Голубое высокое небо, соленый бодрящий ветер, масса света и солнечных бликов. Мы дышали полной грудью.

Взяли трех извозчиков. Ехали гуськом.

Впереди Маяковский, я за ним, за мной Бурлюк.

Все в черных пальто, в цилиндрах.

Этой картины было достаточно, чтобы сразу же услышать экспансивных, жизнерадостных одесситов:

– Футуристы едут! Едут! Браво!..

<…> Через несколько дней мы уже выступали в Самаре.

Как обычно, с вокзала ехали на трех извозчиках, друг за другом, в черных пальто, в цилиндрах, в черных перчатках.

Маяковский ехал первым и на людных улицах со многими незнакомыми галантно раскланивался, приподнимая цилиндр.

И все с изумлением отвечали.

***Типовая афиша 1914–1915 гг.:***

ГОРОДСКОЙ 2-й ТЕАТР
Вторник 28 января Поэзо-концерт
Единственная гастроль Московских
ФУТУРИСТОВ
Василий КАМЕНСКИЙ
Владимир МАЯКОВСКИЙ
Давид БУРЛЮК

Программа:

1. Василий Каменский – Смехачам *наш ответ*: 1) Что такое разные Чуковские, Брюсовы, Измайловы? 2) Умышленная клевета на футуристов – критиков литературного хвоста. 3) Невежественное толкование газет о наших выступлениях. 4) Отсюда – предубежденное отношение большинства публики к исканиям футуристов. 5) Причины непонимания задач искусства. 6) Слово утешения к тем, кто свистит нам – возвестникам будущего. 7) Наше достижение в творчестве. 8)

Напрасные обвинения в скандалах – мы только поэты.

2. Давид Бурлюк – КУБИЗМ и ФУТУРИЗМ. 1) Причина непонимания зрителем современной живописи. Критика. 2) Что такое (искусство) живопись? 3) Европа. Краткий обзор живописи XIX в. Ложноклассицизм. Барбизонцы. Курбе. 4) Россия. Образцы. Брюллов, Репин, Врубель. 5) Импрессионизм. 6) Ван-Гог, Сезанн, Монтичелли. 7) Линия. Поверхность в красках. 8) Понятие о «фактуре». 9) Кубизм как учение о поверхности. 19) Рондизм. (Искусство последних дней.) Футуристы. 11) «Бубновый Валет», «Союз молодежи», «Ослиный хвост».

3. Владимир МАЯКОВСКИЙ – ДОСТИЖЕНИЯ ФУТУРИЗМА. 1) Квазимодо. Критика. Вульгарность. 2) Мы – в микроскопах науки. 3) Взаимоотношение сил жизни. 4) Город-дирижер. 5) Группировка художественных сект. 6) Задача завтрашнего дня. 7) Достижения футуризма сегодня. 8) Русские футуристы: Д. Бурлюк, Н. Бурлюк, Игорь Северянин, Хлебников, Василий Каменский, Крученых, Лившиц. 9) Различия в достижениях, позволяющие говорить о силе каждого. 10) Идея футуризма как ценный вклад в идущую историю человечества.

ВСЕ ВМЕСТЕ СВОИ СТИХИ
Начало в 8½ час. вечера.
Только одна гастроль.

**Из отчета газеты «Саратовский вестник».** *21 марта 1914 г.:*

Первым говорил Маяковский.

На эстраду вышел очень молодой человек в красном пиджаке, с бутоньеркой. Походка несколько развинченная, манера говорить намеренно небрежная – хотя, впрочем, только вначале. Вот и все экстравагантности, допущенные гастролерами. Во всем остальном все шло как на обыкновенных лекциях – с тою только разницей, что оба лектора, особенно г. Маяковский, оказались прекрасными ораторами, быстро овладевшими вниманием аудитории. И то, что говорили они об эволюции искусства и задачах футуризма, – надо сознаться, оказалось очень далеким от того, что принято думать о них среди широкой публики.

– Милостивые государыни и милостивые государи! – начал шаблонно г. Маяковский. – Вы пришли сюда, привлеченные слухами о наших скандалах. Вы слышали, что мы скандалисты, хулиганы, вандалы, явившиеся что-то разрушить. Успокойтесь: этого вы не увидите. Да, я люблю «скандал», но скандал искусства, дерзкий вызов во имя будущего.

«Как есть талантливые творцы, так есть и талантливые

слушатели», – жалит он публику, – только последние и могут понять искания футуризма. Очень задорным тоном говорил Маяковский о старом искусстве и его заплесневелых формах, о ненужности старой красоты, которая, как у Пушкина или Чайковского и им подобных художников, является то в образе мирного лона природы, то в виде грустных чувств со слезами и тоской.

Искусство футуризма, как порождение сегодняшнего человека, отметает всю эту слезливую «ветошь» и хочет быть сильным и злым, как вся жизнь сегодняшнего дня, сосредоточенная в огромном, злом, нервозном городе с его трамваями, автомобилями, небоскребами. Мы люди города, люди завтрашней поэзии, мы – гаеры в искусстве! – восклицает Маяковский.

**Давид Давидович Бурлюк:**

Начинал Володя свою речь часто с заявления, что он очень умный человек.

– Я – очень умный человек!.. – Взрыв хохота, удар гордого красноречия шпаги в бок… Заявление катилось по залу.

Мещанской красоте, полированной строчке «поэтов из гостиной» Маяковский противопоставлял «голос улицы».

Красоте, – розовой девушке, в белом кисейном платье, под музыку Чайковского, глядящей из-за белой колонны в тихий парк дворянской усадьбы, оратор противопоставлял красоту Квазимодо, красоту, энергию и величие современного фабричного города.

Он читал свои стихи, отрывки трагедии. А затем снова и снова перед обывателем, перед тихим провинциалом разворачивал картину новой городской красоты. Даже теперь, когда многое стало нам привычным, эти стихи берут за живое, ранят воображение, увлекают свежестью, новизной!

**Василий Васильевич Каменский:**

Третий продолжительный звонок.

Мы вышли в полном параде, как ходили по улицам.

Я и Бурлюк с цилиндрами в руках, а Маяковский в цилиндре на затылке. Позже на эстраду вышел Коля Бурлюк и приехавший со мной из Петербурга Витя Хлебников.

Нас встретили грохотом аплодисментов, неясными криками и отчаянным свистом.

За нами сторож принес большущий поднос со стаканами чаю с лимоном.

Сторожу тоже аплодировали, и он раскланялся под общий

смех.

Под шумок я спросил его:

– А почему же так мало – я ведь просил сто стаканов?

Сторож заявил:

– Не дают. Им, говорят, и этого много. Хватит.

Я расставил стаканы по всему столу, и мы сели пить чай, как у себя дома.

Аудитория гремела, орала, шумела, свистала, вскакивала, садилась, стучала ногами, хлопала в ладоши, веселилась, ругалась.

Дежурная полиция растерянно смотрела на весь этот взбаламученный ад, не зная, что делать, как тут наводить порядок без конных.

Какая-то девица крикнула:

– Тоже хочу чаю.

Я любезно предложил ей и всем желающим.

Аудитория продолжала будоражь.

А в это время мы пили чай и вели тихую застольную беседу, как на даче, поглядывая на беспокойных зрителей.

Наконец Маяковский встал и пропел:

– «Начнем пожалуй». *(Хохот.)* Красота! А вы знаете – что такое красота? Вы думаете – это розовая девушка прижалась к белой колонне и смотрит в пустой парк? Так изображают красоту на картинах старики-«передвижники».

Крики из первых рядов:

– Не учите! Довольно!

Голоса с галерки:

– Браво! Продолжайте!

Из середины:

– Почему вы одеты в желтую кофту?

Маяковский спокойно пьет чай:

– Чтобы не походить на вас. *(Аплодисменты.)* Всеми средствами мы, футуристы, боремся против вульгарности и мещанских шаблонов, берем за глотку газетных критиков и прочих профессоров дрянной литературы. *(Кто-то одиноко свистнул.)* Вы разве профессор? *(Хохот.)* Что такое красота? По-нашему, это живая жизнь городской массы, это улицы, по которым бегут трамваи, автомобили, грузовики, отражаясь в зеркальных окнах и вывесках громадных магазинов. Красота – это не воспоминания старушек и старичков, утирающих слезы платочками, а это – современный город-дирижер, растущий в небоскребы, курящий фабричными трубами, лезущий по лифтам на восьмые этажи. Красота – это микроскоп в руках науки, где миллионные точки бацилл изображают мещан

и кретинов. Крик:

– А вы кого изображаете в микроскопах?

Маяковский:

– Мы ни в какие микроскопы не влазим.

Публика хлопала, хохотала:

– А куда вы влазите?

Маяковский указал стаканом чая на аудиторию, где были забиты проходы и люди сидели на ступеньках партера:

– Да вот едва влезли сюда к вам.

Дальше Маяковский, вынув руки из карманов, начал разделывать, как хирург, «туши разных Яблоновских», всяких газетных, журнальных «кретинических критиков», занимающихся специально гонением и травлей всего нового, молодого и гениального. Всех этих «мопсообразных, клыкастых, слюноточивых» критиков поэт сравнивал с дворовыми шавками, до хрипоты лающими из подворотни хозяйской «газетины», или толстого, «как брюхо банкира», журнала, со скучнейшими, бездарнейшими «вербицкими» рассказами о какой-то гнусавой «Тете Кате» вроде зубной боли, или со стихами вроде:

Чижик, чижик, где ты был?
На Варварке тетю бил.

– Ничего подобного! – ревели знатоки.

Маяковский:

– Ну, вам лучше знать всю эту классическую дребедень. Ведь это же не стихи, а икота.

– Что вы привязались к каким-то тетям?

– Подождите – я доберусь и до дядей. *(Смех.)*

– А как насчет племянниц?

– К ним отнесусь снисходительно. *(Смех.)*

И дальше Маяковский заговорил о группировках «художественных» обособленных сект, вроде символистов, акмеистов, декадентов, мистиков, которые давят друг друга своей туберкулезной безнадежностью.

Сквозь общий гул началось цыкание, разнесся пронзительный свист и топот ног и настойчивые крики:

– Долой футуристов! Долой! Нахалы!

Я, признаться, слегка взволновался, увидев, как несколько человек из нашей охраны подбежали к каким-то субъектам, собиравшимся что-то бросить на сцену. Это «что-то» было завернуто в газетную бумагу.

Наши молодчики выхватили сверток, а хулиганов утащили в боковые двери со словами:

– Успокойтесь, это пьяные.

Маяковский, улыбаясь, выпил чаю:

– Как приятно, что остались только трезвые.

Публика снова захохотала, и мне стало легче: ну, мол, прошло.

Володя стал утверждать, что в борьбе с буржуазно-мещанскими взглядами на жизнь и искусство футуристы останутся победителями, реальными пророками, признанными Колумбами современности, что прежние писатели до сих пор никакого серьезного влияния на общество не оказывали, что декадентские стихи разных бальмонтов со словами:

Любите, любите, любите, любите,
Вечно любите любовь –

просто идиотство и тупость.

Послышался снова свист. Орали:

– А вы лучше? Лучше? Докажите!

Маяковский:

– Докажу, и очень быстро. Я понимаю ваше нетерпение – вам нестерпимо хочется скорей услышать наши стихи. *(Горячие аплодисменты и одинокий свист.)* Не обращайте внимания – это у него зуб со свистом. *(Хохот. Прибавилось десяток свистков.)* Если вы свистите перед стихами, то что же будет после – паровозное депо. *(Хохот. Крики: «Будет!»)* Вы, значит, работаете заодно с критиками *(смех)*, но имейте в виду, что от неумного свиста мы только выигрываем, так как все видят ваше озорство и наше деликатное достоинство. *(Аплодисменты.)* А поэтому перехожу к характеристике нескольких русских поэтов-футуристов и укажу на различие в достижениях, позволяющее говорить о силе каждого. Вот перед вами чугунолитейная фигура поэта-художника Давида Бурлюка.

Грохот аплодисментов с пересвистом по адресу Бурлюка.

Бурлюк с лицом невероятной строгости встает и гордо кивает головой.

Несутся недоумевающие возгласы:

– А почему у вас на лице собачка?

Бурлюк:

– Это знак поэтического чутья. *(Смех.)*

Маяковский:

– В своем выступлении Бурлюк это блестяще докажет. А пока я могу лишь сказать, что в этой глыбе мудрости таится не только крупнейший мастер живописи, не только подлинный учитель искусства, но и поэт исключительного темперамента, поэт

бурлючащей, клокочущей, кипящей юности. Вот его установка:

Каждый молод, молод, молод,
В животе чертовский голод.
Так идите же за мной,
За моей спиной.
Я бросаю гордый клич –
Этот краткий спич!
Будем кушать камни, травы,
Сладость, горечь и отравы.
Будем лопать пустоту,
Глубину и высоту,
Птиц, зверей, чудовищ, рыб,
Ветер, глину, соль и зыбь!

*(Рукоплескания. Смех. Свист.)* Дальше Маяковский перешел ко мне:

– Вот перед вами – поэт и знаменитый пилот-авиатор Василий Каменский. *(Бурные рукоплескания, свист, крики: «Как он к вам попал?»)* Прямо с небес. И непосредственно в наши тигровые лапки. *(Хохот. Крики: «Нечаянно!»)* Верно! Он и сам не ожидал, что очутится в такой гениальной ватаге. *(Смех. Шум: «Бросьте воображать!»)* Не могу. Вы ведь и сами видите, – что это факт, счастливая действительность. И вам от нас тоже не уйти. *(Аплодисменты. Свист.)* И вот этот нежный и кудрявый гений *(смех)* пишет, например, такие вещи:

Сарынь на кичку!
Ядреный лапоть
Пошел шататься
По берегам…

Хохот публики не дает Маяковскому продолжать. Всех смешит «ядреный лапоть». Некоторые кричат:

– Ну и поэзия пошла!

Маяковский:

– Это вам не розы – грезы – туберозы, а ядреный лапоть.

Снова гогот. Оратор продолжает:

– <…> И вот вам третий гениальный поэт – Хлебников. Математик. Филолог. Ученый. Это целый арсенал словесного производства, громадная поэтическая фабрика самовитой речи. Четырьмя строчками можно убедить вас, что он великий мастер поэзии:

У колодца расколоться
Так хотела бы вода,
Чтоб в болотце с позолотцей
Отразились повода.

*(Гром аплодисментов. Свист.)* Или вот вам только шесть строк:

На острове Эзели
Мы вместе грезили.
Я был на Камчатке,
Ты теребила перчатки.
С вершины Алтая
Я сказал: «Дорогая».

При этом слово «дорогая» поэт произнес с таким артистическим чувством, что это вызвало бурный трепет восторгов.

Было ясно, что блестящее, неслыханное дарование чтеца, неотразимое остроумие оратора, вся великолепная внешность поэта просто покоряли аудиторию.

Маяковский чувствовал это и широко, как корабль, плавал в море успеха, не обращая внимания на завывающие порывы противного ветра. <…>

– И вот перед вами четвертый поэт, Крученых, творит на заумном языке:

Дыр-бул-щыл
Убещур
Скум.

Гогот, шум, свист, крики:

– Обалдели! Издевательство! Давайте деньги обратно! Довольно дурачить! Шаманы! Мыльные пузыри! Балаган! Бред! Поэзия ослиного хвоста!

Маяковский невозмутимо выпивает стакан чаю, за ним второй, улыбается:

Хорошо чаек варить,
С другом милым говорить.

Все хохочут, хлопают.

Бурлюк с откровенным наслаждением разглядывает Володю в лорнет: вот, мол, каков у нас красавец Маяковский.

Публика окончательно в раже:

– Браво! Ура! Молодцы ребята! Гении! Ничего подобного! Желтый дом! Маяковский – прелесть! Маяковский великолепен! Маяковский – ломовой извозчик! Долой! Браво! Бис! Ура! Долго это будет продолжаться?..

Маяковский:

– Всю жизнь! *(Хохот.)* <…> Итак перед вами, наконец, шестой поэт – я, Владимир Маяковский. *(Рукоплескания возрастают после каждого свистка.)*

Я сошью себе черные штаны
из бархата голоса моего.
Желтую кофту из трех аршинов заката.
По Невскому мира, по лощеным полосам его
Профланирую шагом Дон-Жуана и фата.

Продолжение этих замечательных стихов, как и всех остальных, вроде:

…Послушайте!
Ведь если звезды зажигают,
Значит – это кому-нибудь нужно? –

прочту в третьем отделении нашего незабываемого вечера, а сейчас объявляем перерыв на четырнадцать минут, после чего выступит Давид Бурлюк.

Из публики кричали:

– Почему на четырнадцать?

– Чтобы отучить вас от дурных привычек к ровненькому, к установленному, к старенькому.

Маяковский сел под грохот рукоплесканий, криков, свистков, топота ног, яростных приветствий, свирепой ругани. <…>

Володя сказал:

– Прошло тринадцать минут. Продолжаем.

Раздался третий звонок.

В этот момент ко мне подошли трое из друзей-охранителей и по секрету сообщили:

– Уж семь дураков выставили на улицу – у них в карманах были соленые огурцы, картошка и какие-то пузырьки с жидкостью.

Я поблагодарил и попросил усилить надзор за хулиганами.

Сторож подал на сцену поднос с полсотней стаканов чаю.

Под сплошной шум мы снова засели за чай, угощая желающих.

Теперь уж публика привыкла, что мы сначала пьем чай и разговариваем.

И послышалось:

– А нам можно разговаривать с вами? Или опасно?

Маяковский, сняв цилиндр, улыбался:

– Именно поговорим по душам – мы ведь не на какой-нибудь там лекции.

Все захохотали:

– А у вас что?

– У нас чай с разговорами и деликатнейшими стихами. <…>

Рекорд успеха остался за Маяковским, который читал изумительно сочно, нажимая на нижние регистры, широко плавая желтыми рукавами, будто гипнотизируя окончательно наэлектризованную, но далекую от признания публику. <…>

Когда же взбешенные нашими выступлениями самодовольные пошляки и желчные мещане начинали слишком усердно свистеть, Маяковский зычно кричал им:

– Я испытываю наслаждение быть освистанным идиотами!

**Из отчета газеты «Тифлисский листок»:**

Три «пророка» в шутовских нарядах при поднятии занавеса сидели за длинным столом. В середине – Маяковский в желтой кофте, по одну сторону – Каменский в черном плаще с блестящими звездами, по другую – Бурлюк в грязно-розовом сюртуке.

На столе перед футуристами стояли стаканы чая, средней крепости, с лимоном и колокол. <…> Позвонив в означенный колокол, каковой приподнял с немалым трудом <…> Маяковский вошел на возвышение в правом углу сцены и заявил: «Я – человек умный». Публике сие понравилось. Потом г. Маяковский объяснил, почему они красят себе физиономии и так странно одеваются. Оказалось, что раскраска физиономий ими производится для того, чтобы выразить протест <…> против старого искусства, запертого в музеях. <…> Разноцветные же костюмы одеваются ими опять в виду протеста, на этот раз – против фраков и смокингов.

**Григорий Филиппович Котляров:**

Что удивительно – не могу вспомнить, чтобы Маяковский улыбался перед аудиторией. Лицо его запомнилось мне не то

чтобы только серьезным, но всегда спокойным. Даже парируя реплики в свой адрес, он не изменял этому своему поразительному спокойствию. <…>

Стекла в окнах дребезжали от дружного свиста. (Вместе с билетами касса продавала в обязательном порядке и свистки. И болельщики не отказывали себе в удовольствии воспользоваться ими.) Но и в этой обстановке Владимир умудрялся сохранять олимпийское спокойствие, которое доводило его противников буквально до исступления.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

***Веселый год***

Ездили Россией. Вечера. Лекции. Губернаторство настораживалось. В Николаеве нам предложили не касаться ни начальства, ни Пушкина. Часто обрывались полицией на полуслове доклада.

**Мария Никифоровна Бурлюк:**

В апреле 1914 года Маяковский получил свой первый литературный гонорар за трагедию «Владимир Маяковский», выпущенную Бурлюком в издании «Первого журнала русских футуристов».

**Вадим Габриэлевич Шершеневич:**

Мы, вожди отдельных групп, в сущности еще «вожди без войска», ибо войско состояло из нас, вождей, собрались в моей квартире. Мы решили объединиться. Была составлена редакционная пятерка: Большаков, Бурлюк, Каменский, Маяковский и я. Постановлено было ликвидировать все издательства и организовать общий толстый журнал. Мы решили винтовки заменить пушкой.

Фракционность еще чувствовалась. И довольно сильно. Решено было стихи печатать в порядке жребия. Помню, как каждому хотелось открыть своими стихами «Первый журнал».

Слепа не только богиня правосудия. Жребий и случай тоже подслеповаты. Первое место досталось невзрачному Бенедикту Лившицу. В сущности, все были и довольны и недовольны. За Лившицем мы раскидались пестро. Маяковский оказался самым последним.

Он нахмурился, но возражать было нельзя; он сам тащил бумажки с фамилиями. <…>

Каменский и я сдали номер в печать. Набор был уже

в машине, когда мы вышли. Через несколько минут в типографию прибежал Маяковский и дал еще одно свое стихотворение для набора. Расчет был правилен: так как не стоило из-за одного стихотворения переверстывать весь номер, то типография напечатала эти стихи впереди всех. Маяковский появился в первом номере дважды: он закрывал отдел стихов, но зато он и открывал его.

**Василий Васильевич Каменский:**

Вскоре же после выхода «Первого журнала русских футуристов» появилась в свет книжка молодого, но уже всем известного поэта, трагедия в стихах «Владимир Маяковский», хорошо изданная Бурлюком, с его же рисунками.

Надо было видеть взволнованного автора, когда он бережно держал в своих здоровенных руках книжку в желтой обложке, будто пойманную золотистую птичку.

Стараясь скрыть свою радость, он говорил:

– Ну, теперь все пойдет замечательно!

Именины выхода книжки Маяковского мы пошли справлять на Тверскую, в филипповское кафе.

Володя захватил с собой двадцать экземпляров трагедии и разложил их на столике в кафе.

– Сам буду продавать по рублю, как указано на обложке, и вас, и всех желающих стану угощать. И полагаю, что таким образом мое издание разойдется вполне.

Он, конечно, так и сделал.

Через полчаса уж ни одной книжки не было – все сам продал, а за столиком образовалась густая компания молодых читателей. Сдвинули еще два столика.

Маяковский угощал всех:

– Пожалуйста, друзья, не стесняйтесь: ешьте, пейте, курите. Дирекция нашего издательства перед затратами никогда не останавливается. Приходите завтра сюда же и приводите знакомых и родственников – я буду и завтра продавать свои книжки. И тоже с угощением. Пожалуйста.

Все хохотали, веселились, ели и пили. И все читали стихи.

# Знакомство с Бриками

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *Радостнейшая дата*

Июль 915-го года. Знакомлюсь с Л. Ю. и О. М. Бриками.

**Николай Николаевич Асеев:**

Чем они особенно отличались от других знакомств и сближений? Во-первых, широтой образованности как в искусстве, так и в общественных науках. Новое и неизвестное в поэзии для них было так же дорого, как новое и неизвестное в науке, в жизни. И это было не только стремлением открыть новую звезду или узнать о ней, а главным образом стремлением строить свой путь сообразно этому открытию. Для них искусство было законом жизни, законом духовным и материальным. И если для Бриков «взаимоотношения искусства и действительности» были теорией, то в Маяковском воплотилось для них реальное качество этих отношений. Его стихи оказались неоткрытым материком после потопа проливных сумеречных дождей «искусства для искусства».

**Виктор Борисович Шкловский:**

Брики очень любили литературу. У них был даже экслибрис. Дело прошлое: тогда экслибрисов было больше, чем библиотек. Но экслибрис у Бриков был особенный.

Изображалась итальянка, которую целует итальянец, и цитата из «Ада». «И в этот день мы больше не читали».

Такой экслибрис уже сам по себе заменял библиотеку.

**Лили Юрьевна Брик:**

Маяковский стал знакомить нас со своими. Начинали поговаривать об издании журнала. <…>

Маяковский не задумываясь дал ему имя «Взял». Он давно жаждал назвать так кого-нибудь или что-нибудь. В журнал вошли – Маяковский, Хлебников, Брик, Бурлюк, Пастернак, Асеев, Шкловский, Кушнер. До знакомства с Маяковским Брик книг не издавал и к футуризму не имел никакого отношения. Но ему так нравилось «Облако», что он издал поэму отдельной книжкой и предложил напечатать ее в журнале. Каким будет журнал, определил Маяковский. В единственном номере этого журнала были напечатаны его друзья и единомышленники, поэтому

журнал назвали «Барабан футуристов». <…>

Брик напечатал во «Взяле» небольшую рецензию на «Облако» под заглавием «Хлеба!»: «Бережней разрезайте страницы, чтобы, как голодный не теряет ни одной крошки, вы ни одной буквы не потеряли бы из этой книги – хлеба!»

Это было первое выступление Брика в печати. <…>

Обложку журнала сделали из грубой оберточной бумаги, а слово «Взял» набрали афишным шрифтом. При печатании деревянные буквы царапались о кусочки дерева в грубой бумаге, и чуть не на сотом уже экземпляре они стали получаться бледные, пестрые. Пришлось от руки, кисточкой подправлять весь тираж.

Маяковский напечатал во «Взяле» первое стихотворение «Флейты-позвоночник». Писалась «Флейта» медленно, каждое стихотворение сопровождалось торжественным чтением вслух. Сначала оно читалось мне, потом Осипу Максимовичу и мне, а потом уже остальным. Так было всю жизнь почти со всем, что писал Маяковский.

Каждое стихотворение «Флейты» Маяковский приглашал меня слушать к себе. К чаю гиперболическое угощение, на столе цветы, на Маяковском самый красивый галстук.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Маяковского ведь никто не издавал.

Первыми издали Бурлюки, но эти книги продавались как курьез.

**Лили Юрьевна Брик:**

Володя в первые дни отнесся к Осе как к меценату. Даже обманул его, назвал большую сумму за печатание «Облака» и прикарманил оставшиеся деньги. Но это только в первые дни знакомства. Володя был в отчаянии, когда через много лет выяснил, что мы знаем об этом обмане и хотя он был давным-давно позади, хотя между нами была уже полная близость и рассказала я ему об этом как о смешном случае и оттого, что к слову пришлось, а могла бы и не рассказывать, так как это было давно забыто.

Да и тогда, когда это произошло и мы с Осей узнали про это, мы отнеслись к этому весело, и нас это со стороны тогдашнего Володи нисколько не удивило. Слегка обжулить мецената считалось тогда в порядке вещей.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

Один Брик радует. Покупает все мои стихи по 50 копеек строку. Напечатал «Флейту позвоночника» и «Облако». Облако вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных

точек.

С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже.

**Лили Юрьевна Брик:**

Смешно сказал лингвист, филолог И. Б. Румер, двоюродный брат О. М.: «Я сначала удивился, куда же девались знаки препинания, но потом понял – они, оказывается, все собраны в конце книги». Вместо последней части, запрещенной цензурой, были сплошные точки.

# «Кафе поэтов»

**Василий Васильевич Каменский:**

Осенью (1917 г. – Сост.) я вернулся в Москву. Вскоре, вместе с Гольцшмидтом, отыскал на Тверской, в Настасьинском переулке, помещение бывшей прачечной. Решили организовать здесь «Кафе поэтов» – такой клуб-эстраду, где могли бы постоянно встречаться и демонстрировать свои произведения в обстановке товарищеского сборища.

Энергично взялись за генеральную переделку. Стены и потолок выкрасили в черный, бархатный цвет. И по этому фону пошла роспись.

Маяковский, когда приехал, нарисовал на стене красного слона с закрученным хоботом и на животе надпись: Маяковский. А над входной дверью вывел цветными буквами:

Широким шествием излейтесь в двери.

Я вывел кистью цитату из «Разина»:

И сегодня
В полете волнений
Вспоминая Степана привычку,
Станем праздновать
Тризну гонений,
Распевая – Сарынь на кичку.

Бурлюк над дверью женской уборной изобразил ощипывающихся голубей и надписал:

Голубицы, оправляйте перышки.

На стенах кафе он начертал краткие лозунги: «К чорту вас, комолые и утюги!», «Доите изнуренных жаб!».

Даже Хлебников (теперь перебравшийся на жительство в Москву) взялся за кисть <…>.

В течение пяти дней бывшая прачечная превратилась в «Кафе поэтов», расписанное лучшими художниками и поэтами. <…>

Мы любили свою «хижину ковбоев», как называл кафе Маяковский.

Бывало так, что Володя выступал здесь в течение вечера

по десяти раз: то читал стихи, то вступал в спор по вопросам политики, то «разговаривал» с публикой.

«Разговаривать» он очень любил.

– Ну, что ж, давайте разговаривать на тему – кому чего надо? Кто что желает? Или, например, кто какие стихи пишет? Вот тут сидит особая планета поэзии – Витя Хлебников. Это ведь совершенно замечательный, просто гениальный поэт, а вот вы его не понимаете. Вам больше нравятся Северянины, Вертинские. Дешевая галантерея: брошки из олова, розовые чулочки, галстучки с крапинками, цветочки из бумаги. Вся эта лавочка свидетельствует о том, что у вас нет вкуса, нет культуры, нет художественного чутья. Почему же все это происходит? Где взять вкус и культуру? Вот давайте поговорим.

И начинается острый разговор.

Защитников Северянина и Вертинского находится много.

Маяковский знает об этом и потому хлеще и резче нападает на любителей поэтической парфюмерии, противопоставляя ей поэзию революционного, общественного значения, поэзию огромной художественной деятельности.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, середина декабря 1917 г.:*

Главное место обрывания «Кафэ Поэтов».

Кафэ пока очень милое и веселое учреждение. («Собака» первых времен по веселью!) Народу битком. На полу опилки. На эстраде мы (теперь «я», Додя и Вася до Рожд<ества> уехали. Хужее). Публику шлем к чертовой матери. Деньги делим в двенадцать часов ночи. Вот и все.

**Сергей Дмитриевич Спасский:**

Между тем в кафе было тихо. Небольшая группа в углу. <…>

Я уселся за длинным столом. Комната упиралась в эстраду. Грубо сколоченные дощатые подмостки. В потолок ввинчена лампочка. Сбоку маленькое пианино. Сзади – фон оранжевой стены.

Уже столики окружились людьми, когда резко вошел Маяковский. Перекинулся словами с кассиршей и быстро направился внутрь. Белая рубашка, серый пиджак, на затылок оттянута кепка. Короткими кивками он здоровался с присутствующими. Двигался решительно и упруго. Едва успел я окликнуть его, как он подхватил меня на руки. Донес меня до эстрады и швырнул на некрашеный пол. И тотчас объявил фамилию и что я прочитаю стихи. <…>

Кафе поначалу субсидировалось московским булочником Филипповым. Этого булочника приручал Бурлюк, воспитывая из него мецената. Булочник оказался податлив. <…>

Публика съезжалась поздно. Главным образом после окончания спектаклей. Программа сохранялась постоянная. Два три романса певицы и Климова. От меня требовалось два стихотворения. Маяковский – глава из только что написанного «Человека», «Ода Революции» и отдельные стихотворения, Каменский демонстрировал «Стеньку Разина», Бурлюк – «Утверждения бодрости» и «Мне нравится беременный мужчина…».

Такова схема каждого вечера. Схема достаточно скудная. Что же заставляло разноплеменную публику протискиваться в узкую дверцу кафе? Буржуи, дотрачивающие средства, анархисты, актеры, работники цирка, художники, интеллигенты всех мастей и профессий. Многие появлялись тут каждый вечер, образуя твердый кадр «болельщиков». С добросовестным, неослабевающим упорством просиживали от открытия до конца.

Дело в том, что ни одно собрание не походило на предыдущие и последующие.

Маяковский и Бурлюк появлялись, когда публики накопилось немало. Уже выполнены романсы певцами. Прочел загадочные стихи Климов. Кое-кто из молодых поэтов, поощренный лозунгом «эстрада всем», поделился рифмованными чувствами. Но вечер не вошел в колею. Публика скучает и топчется, загнанная в это аляповатое стойло. Пожалуй, пора расходиться.

Но вот вошел Маяковский, не снимая кепки. На шее большой красный бант. Маяковский пересекает кафе. Он забрел сюда просто поужинать. Выбирает свободное место. Если места ему не находится, он садится за стол на эстраду. Ему подано дежурное блюдо. Он зашел отдохнуть.

Иногда с ним рядом Бурлюк. Подчас Бурлюк и Каменский отдельно. Маяковский не замечает посетителей. Тут нет ни малейшей игры. Он действительно себя чувствует так. Он явился провести здесь вечер. Если кому угодно глазеть, что ж, это его не смущает. Папироса ездит в углу рта. Маяковский осматривается и потягивается. Где бы он ни был, он всюду дома. Внимание всех направляется к нему.

Но Маяковский ни с кем не считается. Что-нибудь скажет через головы всех Бурлюку. Бурлюк, подхватив его фразу, подаст уже умышленно рассчитанный на прислушивающуюся публику ответ. Они перекидываются словами. Бурлюк своими репликами будто шлифует нарастающий вокруг интерес. Люди, как бы через невидимый барьер, заглядывают на эту происходящую рядом

беседу. Сама беседа является зрелищем. Но внутрь барьера не допущен никто.

И это для многих обидно. Многим хочется выказать остроумие. По столикам перебегают замечания. Бурлюк взвешивает, дать им ход или нет.

Особенно обидно тому, кто чувствует свое право на внимание. Кто сам, например, артист. Маяковскому следует его знать. Такое безразличие унизительно…

И вдруг Маяковский обернулся.

Он даже поздоровался с артистом, и тот польщенно закивал головой. Закивали головами другие, ловя благорасположенность Маяковского. А тут поднялся Бурлюк и самыми нежнейшими трепетными нотами, с самым обрадованным видом делится с публикой вестью:

– Среди нас находится артист такой-то. Предлагаю его приветствовать. Он, конечно, не откажется выступить.

Публика дружно рукоплещет.

Артист всходит на трехаршинные подмостки, словно приглашенный на лучшую сцену.

Отказов не бывало никогда. < … >

Маяковский читал в заключение. Наспорившаяся, разгоряченная публика подтягивалась, становилась серьезной. Каждый сжимался, как бы вбирая в себя свои растрепавшиеся переживания. Еще слышались смешки по углам. Но Маяковский оглядывал комнату.

– Чтоб было тихо, – разглаживал он голосом воздух. – Чтоб тихо сидели. Как лютики.

На фоне оранжевой стены он вытягивался, погрузив руки в карманы. Кепка, сдвинутая назад, козырек резко выдвинут над лбом. Папироса шевелилась в зубах, он об нее прикуривал следующую. Он покачивался, проверяя публику поблескивающими прохладными глазами.

– Тише, котики, – дрессировал он собравшихся.

Он говорил угрожающе-вкрадчиво.

Начиналась глава из «Человека», сцена вознесения на небо.

Слова ложились негромко, но удивительно раздельно и внятно. Это была разговорная речь, незаметно стянутая ритмом, скрепленная гвоздями безошибочных рифм. Маяковский улыбался и пожимал плечами, пошучивая с воображаемыми собеседниками:

«Посмотрим, посмотрим.
Важно живут ангелы, важно».

Один отделился
и так любезно
дремотную немоту расторг:
«Ну, как вам, Владимир Владимирович,
нравится бездна?»
И я отвечаю так же любезно:
«Прелестная бездна.
Бездна – восторг!»

И публика улыбается, ободренная шутками. Какой молодец Маяковский, какой простой и общительный человек. Как с ним удобно и спокойно пройтись запросто по бутафорскому «зализанному» небу.

Но вдруг повеяло серьезностью. Рука Маяковского выдернута из кармана. Маяковский водит ею перед лицом, как бы оглаживая невидимый шар. Голос словно вытягивается в длину, становясь протяженным и непрерывным. Крутое набегание ритма усиливает, округляет его. Накаты голоса выше и выше, они вбирают в себя всех слушателей. Это значительно, даже страшновато, пожалуй. Тут присутствуешь при напряженной работе. При чем-то, напоминающем по своей откровенности и простоте процессы природы. Тут присутствуешь при явлении откровенного, ничем не заслоненного искусства. Слова шествуют в их незаменимой звучности:

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. Брик, первая половина января 1918 г.:*

Живу как цыганский романс: днем валяюсь, ночью ласкаю ухо. Кафэ омерзело мне. Мелкий клоповничек.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из письма Л. Ю. и О. М. Брикам, первая половина января 1918 г.:*

Я развыступался. Была Елка Футуристов в политехническом. Народище было как на Советской демонстрации. К началу вечера выяснилось, что из 4-х объявленных на афише не будет Бурлюка, Каменского, а Гольцшмит отказывается. Вертел ручку сам. Жутко вспомнить. Читал в Цирке. Странно. Освистали Хенкина с его анекдотами, а меня слушали и как!

**Сергей Дмитриевич Спасский:**

Маяковскому не приходилось нащупывать аудиторию. Он знал, куда обращаться после революции. И знал, какими словами о ней говорить. Стихотворная его «хроника» о событиях

раздавалась на петроградских митингах.

# Революцией мобилизованный…

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *26 ФЕВРАЛЯ, 17-й ГОД*

Пошел с автомобилями к Думе. Влез в кабинет Родзянки. Осмотрел Милюкова. Молчит. Но мне почему-то кажется, что он заикается. Через час надоели. Ушел. Принял на несколько дней команду Автошколой. Гучковеет. Старое офицерье по-старому расхаживает в Думе. Для меня ясно – за этим неизбежно сейчас же социалисты. Большевики. Пишу в первые же дни революции Поэтохронику «Революция». Читаю лекции – «Большевики искусства».

**Василий Алексеевич Десницкий** *(псевд. Строев; 1878–1958), литературовед, общественный деятель:*

В мартовские дни Маяковский неоднократно заходил к нам, заходил просто, не по делу. Был очень оживлен. Улица его пьянила, и в сообщениях о своих уличных впечатлениях он забывал о всякой сдержанности и настороженности. С увлечением рассказывал об аресте генерала Секретева, начальника той школы, в которой Маяковский обучался по призыву, рассказывал о своем активном участии в этом веселом деле. Чувствовалось, что его целиком захватил пафос ожившей улицы, что атмосфера революции – это тот здоровый воздух, который нужен ему как поэту.

**Михаил Васильевич Бабенчиков** *(1891–1957), театровед, искусствовед:*

Едва я вошел в радаковскую мастерскую, как раздался нетерпеливый, заставивший невольно насторожиться стук. «Это я, отворите», – послышался за дверью зычный голос Маяковского.

Не здороваясь ни с кем, когда ему открыли, он одним махом перешагнул порог и, не снимая кожанки и головного убора, возбужденно спросил: «Слышите? Шарик-то вертится? Да еще как, в ту сторону, куда надо». Было ясно, что он говорит о событиях последних дней, да и самый вид его подтверждал это.

Лицо Маяковского выглядело помятым и донельзя утомленным.

Он был небрит. Но карие его глаза весело улыбались, а сам он буквально ликовал. «Зашел мимоходом. Забыл записную

книжку, а в ней адреса. Да вот она! Закурить есть? Два дня не курил. А курить хочется до одури. Даже не думал, что так бывает», – скороговоркой сказал он, обращаясь к Радакову. Говорил Маяковский осипшим голосом человека, которому пришлось много выступать на воздухе, а в тоне его речи и порывистости движений чувствовалось, что нервы его напряжены до последнего предела.

Походив беспокойно по комнате, Маяковский на минуту присел на край стола, устало вытянув длинные ноги. И, жадно вдыхая папиросный дым, не без некоторого, как мне показалось, задора добавил: «У нас в автошколе основное ядро большевиков. Н-да. А вы думали…»

При последних словах он со всей силой своих тяжелых ладоней озорно нажал на мои плечи, шумно спрыгнул со стола и, не прощаясь, быстро исчез, уже в дверях весело крикнув: «Буржуям крышка!»

Это внезапное, всполошившее всех вторжение Маяковского произвело на нас впечатление буйного ветра, ворвавшегося в комнату.

Было ясно, что Владимир Владимирович не только захвачен происходящими событиями, но что он сам «сеет бурю».

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *ОКТЯБРЬ*

Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня (и для других москвичей-футуристов) не было. Моя революция. Пошел в Смольный. Работал. Все, что приходилось. Начинают заседать.

**Александр Николаевич Тихонов** *(псевд. Н. Серебров; 1880–1956), прозаик, мемуарист. Редактор журнала «Летописи» (1915–1917), заведовал издательствами «Парус» (1908–1917), «Всемирная литература» (1918–1924). Соратник М. Горького:*

В «Копейке», обставившись пулеметами и заложив окна мешками, набитыми обрезками бумаги, уже сидел с отрядом солдат В. Д. Бонч-Бруевич. С его помощью газета к утру была отпечатана на шестикрасочной машине: у других машин не оказалось рабочих.

На рассвете, с кипой сырых оттисков, я вышел на улицу.

Город трясло в лихорадке.

Невзирая на ранний час, на улицах было много народа.

Около Невского на меня налетел Маяковский в расстегнутой шинели и без шапки. Он поднял меня и все лицо залепил поцелуями, он что-то кричал, кого-то звал, махал руками:

– Сюда! Сюда! Газеты!

Я стоял перед ним, как дерево под ураганом.

Около вокзала послышалась перестрелка. Маяковский бросился в ту сторону.

– Куда вы?

– Там же стреляют! – закричал он в упоении.

– У вас нет оружия!

– Я всю ночь бегаю туда, где стреляют.

– Зачем?

– Не знаю! Бежим!

Он выхватил у меня пачку газет и, размахивая ими, как знаменем, убежал туда, где стреляли.

**Василий Васильевич Каменский:**

Еще не успели смолкнуть на окраинах пулеметы, как мы появились уже на эстраде «Кафе поэтов», приветствуя победу рабочего класса…

Приехавший из Питера Маяковский почти не сходил с эстрады кафе, произнося горячие речи, читая замечательные стихи о революции.

Он во весь голос распевал сочиненную им на мотив «ухаря-купца» частушку:

Ешь ананасы,
рябчики жуй, –
День твой последний
приходит, буржуй.

Володя пел под гармонию, на которой играл я, и все гости пели это же хором.

Интересно, что именно в эти дни появилось большое количество никому не известных поэтов и поэтесс, которые тоже выступали со стихами.

Маяковский с эстрады открыто говорил:

– Ну, чорт возьми, поэты пошли косяком, руном, как вобла ходит. А где же осетры? Белуги? Киты? Рабочая революция требует осетров! Надо давать громадные вещи и с такой хваткой, чтобы буржуев и генералов брало за горло. Истинная поэзия обязана служить делу пролетарской революции. Есенинские «березки» хоть и хороши, но с ними на белых бандитов не пойдешь. С изящными изделиями Северянина тоже в бой

не сунешься. А между тем большинство выступающих здесь новеньких поэтов подражают с легкостью балерины Северянину и Есенину. И получается альбомная забава, а ничуть не поэзия общественного значения. Ну, что это, например, такое:

Мимо ходят «котики»,
Смотрят мне на ботики.
Я стыжусь немножко –
Ведь дальше идет ножка.

Поэтесса, которая сейчас всерьез читала эти стишочки, на вид милая, славная девушка. И она знает, что происходит сейчас кругом в России. А вот пишет и читает перед нами такое «мороженое из сирени». Ах, девушки, образумьтесь, пока не поздно! Ведь вы живете в величайшие исторические дни.

– Не всем же быть Маяковскими! – воскликнула поэтесса.

– А почему же не всем? – улыбнулся Володя.

– Это не плохо, а трудно, – созналась поэтесса, нервно мешая ложечкой в стакане, – и мне не очень понятно, что такое происходит – какая история…

Маяковский помогал:

– Какая? Не знаете? К счастью, вы сидите рядом с большевиками. Это замечательные соседи. Пожалуйста, познакомьтесь, побеседуйте. Они объяснят вам все с большим удовольствием.

**Сергей Дмитриевич Спасский:**

Весною (1918 г. – Сост.) Маяковский устроил прощальное выступление. Оно происходило в кафе «Питтореск» на Кузнецком, в этом последнем предприятии Филиппова. Продолговатый зал с высокой вогнутой крышей имел вид вокзального перрона. Якулов расписал его ускользающими желто-зелеными плоскостями и завитками. Плоскости кое-где сдвигались в фигуры. Раскрашенными тенями распластывались они по стенам. Над большой округлой эстрадой парила якуловская же, фанерная, условно разложенная модель аэроплана. <…>

Маяковский вышел на эстраду сильный, раздавшийся в плечах. Он будто вырос за эту зиму, проникся уверенной зрелостью. Он был в свежем светло-коричневом френче, открывающем белую рубашку.

Он объявил, что недавно читал на заводе, и рабочие понимают его. Он преподнес это нарядной публике как лучшее свое достижение. Его обвиняли всегда в непонятности. И вот оно – опровержение. Он читал твердо и весело, расхаживая

по широкой эстраде. Это были много раз слышанные стихи, часто знакомые до последней интонации. И многое из прочтенного тогда я слышал от него в последний раз. Маяковский держался как человек, знающий свое место, своевременно живущий, правильно помещенный в сегодняшнем дне.

В нем ощущался мускулистый оптимизм, которому, казалось, не обо что разбиться.

**Василий Васильевич Каменский:**

26 марта (1918 г. – Сост.) в Москве, в театре «Эрмитаж», мы организовали «Первый республиканский вечер искусств», где, кроме меня (я говорил вступительную речь), говорили: Маяковский, Н. Асеев, Бурлюк, Василиск Гнедов, Аристарх Лентулов, Г. Якулов, Илья Машков, П. Кузнецов, А. Осьмеркин, А. Таиров, Валентина Ходасевич. <…>

В этот вечер Маяковский впервые выступил перед нами как политический оратор.

Он начал речь так:

– Сегодня я выступаю с революционным словом не как поэт, а как мобилизованный в шестнадцатом году в военно-автомобильную школу.

Он говорил об исторической роли пролетариата, о партии большевиков. И всех нас называл «большевиками искусства», призывая всех собравшихся мастеров бороться за великое дело рабочего класса.

Разгоряченная аудитория требовала от оратора стихов, и Маяковский с огромным подъемом прочитал отрывки из поэмы «Война и мир».

Голос звучал торжествующей мощью <…>.

Прежнего Володю, юношу-бунтаря, проповедника футуризма, носителя желтой кофты, задирающего озорника, «дразнителя публики», теперь трудно было узнать: он возмужал, окреп, был одет в обыкновенный костюм, говорил языком политического оратора, а стихи его стали еще ярче, еще устремленнее:

Славься, человек,
во веки веков живи и славься!
Всякому живущему на земле
слава,
слава,
слава!

Таким мужественным, волевым энтузиастом-трибуном он выглядел теперь со сцены, а в жизни был тот же веселый,

остроумный, беспредельно обаятельный Володя.

Иногда Маяковский приходил в кафе поздно и устало вздыхал:

– Сегодня с утра не жрал – выступал одиннадцать раз. Поэтому заказываю одиннадцать конских порций.

Однако, поужинав, он выступал двенадцатый раз, – так горячо его просили. И в этот двенадцатый раз по-прежнему мощно звучал его голос.

Само появление громадной фигуры Маяковского на эстраде производило на всех волнующее впечатление.

**Корнелий Люцианович Зелинский:**

Запомнилось <…> выступление Маяковского через несколько дней (тоже в декабре 1918 г.) на митинге или диспуте на тему: «Старое и новое искусство», в Доме имени Лассаля, в зале, который носил торжественное название «Зал вождей пролетарской революции». Диспут был платный, с афишами. На диспут были приглашены знаменитые писатели, актеры. Помнится, там должны были быть Бальмонт, Куприн и даже Шаляпин.

Известные имена привлекли в зал много, как выражался мой матросский приятель, «чистой публики». Кроме того, ожидался и скандал, так как прежние выступления футуристов, как известно, не обходились без таких публичных дивертисментов. Теперь обстановка крайне обострялась политическими разногласиями. В «чистой публике» с возмущением передавали друг другу, что футурист Маяковский «продался большевикам». Ожидали, кроме того, символистов, акмеистов, актеров из Александринки. Диспут был задуман, по-видимому, в надежде действительно столкнуть мнения. Одним из главных ораторов коммунистического лагеря был резервирован В. Полянский. Но «акстарье» (академическое старье) не явилось – ни представители академических театров, ни видные поэты, ни тем более объявленный в афише Шаляпин. Не приехал и ожидавшийся Горький.

Диспут долго не начинался. По рядам прошел ропот и шум; некоторые уже потянулись к кассе с классическим возгласом: «Деньги обратно!» Стало известно, что две трети из объявленных участников диспута не явились и не приедут.

В этой обстановке Маяковский неожиданно для всех овладел положением. Он вышел на эстраду и громко, как всегда подавляя все звуки мощью своего баса, закричал в зал: «Наши противники просто скрылись в зале. Они отступились и замаскировались. Они, вероятно, здесь, среди вас. Диспут начинается. Кто хочет получить деньги обратно, может получить. Но я заявляю, что

деньги пойдут не нам, приехавшим, в карман. Они пойдут на подарки красноармейцам, которые сейчас дерутся на фронтах против англичан. Новое искусство существует, и мы пришли сюда драться за него так же, как те, которые на фронте дерутся за Республику».

Сказано это было молодо, весьма задиристо, убежденно. Понравилась и сама фигура Маяковского, его тон – не оскорбительный, не высмеивающий, но полный зажигательной энергии.

– Давайте выберем председателя митинга! – загромыхал Маяковский. – Начнем работать.

Раздались шумные, довольно дружные аплодисменты. Значительная часть публики осталась. Раздались крики из зала:

– Маяковского! Маяковского!

И поэт был выбран председателем митинга.

Запомнилось интересное выступление самого Маяковского, в котором он заявил, что он уже не тот футурист Маяковский, который выступал на вечерах «бубновых валетов». И футуризм теперь не тот.

– Главная наша точка – Октябрь, революция. Мы выбрасываем за борт все, что мешает служению Октябрю. И неправда, что мы против Пушкина. Я лично готов возложить хризантемы на его могилу.

При этом Маяковский вынул носовой платок и сложил из него нечто вроде цветка. Кто-то в зале засмеялся.

– Не смейтесь! – громыхнул Маяковский. – На вашу могилу я высыплю вот это. – И он вывернул пустой карман, из которого посыпались какие-то соринки.

Маяковский вышел навстречу народу – веселый, энергический, напоенный страстной жаждой быть понятым народом, быть ему полезным, слить с небывалой эпохой искусство, которое тоже должно стать небывалым.

**Василий Васильевич Каменский:**

Маяковский задумал писать «Мистерию Буфф» и мечтал поставить в театре.

Об этом узнали друзья и убедили Маяковского сделать эту вещь специально к первой годовщине Октябрьской революции.

**Владимир Владимирович Маяковский:**

«Мистерию-буфф» я написал за месяц до первой Октябрьской годовщины.

В числе других на первом чтении были и Луначарский и Мейерхольд.

Отзывались роскошно.

Окончательно утвердил хорошее мнение шофер Анатолия Васильевича, который слушал тоже и подтвердил, что ему понятно и до масс дойдет.

Чего же еще?

А еще вот чего:

«Мистерия» была прочитана в комиссии праздников и, конечно, немедленно подтверждена к постановке. Еще бы! При всех ее недостатках она достаточно революционна, отличалась от всех репертуаров.

**Владимир Николаевич Соловьев** *(1887–1941), режиссер, театральный критик, педагог:*

Ему <…> очень хотелось, чтобы его пьеса была поставлена в настоящем, большом театре и сыграна настоящими актерами «с именами».

**Владимир Владимирович Маяковский:**

Но пьесе нужен театр. <…>

Дали Музыкальную драму.

Актеров, конечно, взяли сборных.

Аппарат театра мешал во всем, в чем и можно и нельзя. Закрывал входы и запирал гвозди.

Даже отпечатанный экземпляр «Мистерии-буфф» запретили выставить на своем, овеянном искусством и традициями, прилавке.

Только в самый день спектакля принесли афиши – и то нераскрашенный контур – и тут же заявили, что клеить никому не велено.

Я раскрасил афишу от руки.

Наша прислуга Тоня шла с афишами и с обойными гвоздочками по Невскому и – где влезал гвоздь – приколачивала тотчас же срываемую ветром афишу.

И наконец в самый вечер один за другим стали пропадать актеры.

Пришлось мне самому на скорую руку играть и «Человека просто», и «Мафусаила», и кого-то из чертей.

А через день «Мистерию» разобрали. <…>

По предложению О. Д. Каменевой, я перекинулся с «Мистерией» в Москву.

Читал в каком-то театральном ареопаге для самого Комиссаржевского.

Сам послушал, сказал, что превосходно, и через несколько дней… сбежал в Париж.

Тогда за «Мистерию» вступился театральный отдел, во главе которого встал Мейерхольд.

Мейерхольд решил ставить «Мистерию» снова.

Я осовременил текст.

В нетопленных коридорах и фойе Первого театра РСФСР шли бесконечные репетиции.

В конце всех репетиций пришла бумага – «ввиду огромных затрат и вредоносности пьесы, таковую прекратить».

Я вывесил афишу, в которой созывал в холодный театр товарищей из ЦК и МК, из Рабкрина.

Я читал «Мистерию» с подъемом, с которым обязан читать тот, кому надо не только разогреть аудиторию, но и разогреться самому, чтобы не замерзнуть.

Дошло.

Под конец чтения один из присутствующих работников Моссовета (почему-то он сидел со скрипкой) заиграл «Интернационал» – и замерзший театр пел без всякого праздника.

Результат «закрытия» был самый неожиданный – собрание приняло резолюцию, требующую постановки «Мистерии» в Большом театре.

Словом – репетиции продолжались.

Парадный спектакль, опять приуроченный к годовщине, был готов.

**Владимир Николаевич Соловьев:**

Старательно растолковав законы стихосложения собравшимся актерам, Маяковский учил их читать ритмически сложные стихи. Сидя на стуле, слегка покачивая головой и постукивая по столу карандашом, Маяковский постепенно увлекался, вставал, срывался с места, вскакивал на стул и начинал дирижировать, как опытный хормейстер, заражая актеров своим темпераментом. По-видимому, совместная работа с актерами дала Маяковскому что-то новое в понимании театра и драматургии. Все чаще и чаще он стал приходить на репетиции, принося с собой небольшие записочки с отпечатанными на машинке новыми вариантами отдельных стихов, а иногда и целых кусков. В практической работе поэта с актерами текст «Мистерии» приобретал новые, специфически театральные качества.

Разучиванием хоровых партий не ограничивалась работа Маяковского с исполнительским коллективом. К нему часто обращались актеры за советами, с просьбой прочесть ту или иную роль. Чтение Маяковского много давало актерам. В разговоре с актерами, в отдельных замечаниях по поводу характера

исполняемых ролей Маяковский как будто в своей трактовке придерживался формулы романтического театра с ее четким разделением всех действующих лиц на два сценических плана: на величественный и уродливо-смешной. От исполнителей «семи пар нечистых» он требовал твердое волевое начало, героический пафос и пластическую монументальность. В трактовке же «семи пар чистых» он охотно допускал манеру преувеличенной пародии с ее грубоватыми приемами сатирической буффонады и народного фарса.

В трудных условиях спешного выпуска спектакля «Мистерия-буфф» Маяковскому приходилось много уделять времени и сил на организационную работу. Он по-хозяйски налаживал и согласовывал работу отдельных театральных цехов, одинаково интересуясь париком какого-нибудь «святого» и сложной выпиской театральному осветителю. В перерывах между репетициями он посещал финансовые комиссии, добиваясь своевременной выдачи денежных ассигнований. Нередко ему случалось принимать на себя роль посредника в конфликтах, ежеминутно возникавших между отдельными театральными работниками.

Ежедневно сталкиваясь в работе с участниками спектакля, решая на ходу многочисленные и разнообразные вопросы, Маяковский не отказывал в совете никому. Особое внимание Маяковский уделял работе монтировочной части. Там положение было трудное и требовало «хозяйского» глаза. Художником спектакля был приглашен К. С. Малевич, кажется, впервые тогда работавший в театре. Вместе с молодым театральным художником Лаппо-Данилевским Маяковский оказал существенную помощь Малевичу, уточняя, разъясняя и расширяя все то, что скрывалось в его лаконических авторских ремарках к тексту «Мистерии-буфф».

**Николай Александрович Голубенцев** *(1900–1978), актер театра Вс. Мейерхольда:*

Настали дни Октябрьской годовщины.

Помню первый спектакль. Переполненный темный зал, и в литерной ложе нарком Луначарский. Играли мы все же, по-видимому, плохо, голоса звучали жидко; декорации были неудобны и, кажется, сделаны наспех. Публика недоумевающе слушала совсем ново звучащий текст и смотрела фантастически раскрашенные полотна. Но мы, участники спектакля, – я думаю, что могу сказать от лица всех, – были удовлетворены необыкновенно. Дерзость и новизна всей этой работы восхищали нас, и вот с тех пор мы чувствовали себя приобщенными к новому

революционному искусству, сосредоточием которого утвердился и остался навсегда образ Владимира Маяковского.

**Владимир Николаевич Соловьев:**

Маяковскому пришлось принять участие в спектакле «Мистерия-буфф» и в качестве актера. Во все время репетиционной работы за столом и на сценической площадке одна роль оставалась не замещенной. Это была роль «просто человека», который в конце второго действия появляется перед нечистыми и произносит «новую проповедь нагорную» с призывом к революционным действиям. Роль состояла из небольшого монолога, но требовала от исполнителя большого темперамента и трагического пафоса. Поиски исполнителя не увенчались успехом. Некоторые из намеченных кандидатов сами отказывались от роли, другие же явно не подходили по своим данным. Заключительная сцена второго действия оставалась не срепетированной, а скоро должны были начаться генеральные репетиции. Случилось само собой, что роль «просто человека» стал читать Маяковский. Всем стало ясно, что лучшего исполнителя не найти. Маяковский согласился и очень ревниво относился к своим актерским обязанностям.

Неожиданно на премьере «Мистерии-буфф» Маяковскому пришлось сыграть еще «святого» в картине «рая». Один из актеров, совмещая участие в спектакле с концертными выступлениями на эстраде, опоздал к выходу. За несколько минут до поднятия занавеса Маяковскому пришлось быстро загримироваться и экспромтом выйти на сцену. Этот случай развеселил Маяковского, и он долго смеялся над отношением к своему делу любителей «чистого искусства».

**Мария Федоровна Суханова** *(1898 –?), актриса театра Вс. Мейерхольда:*

Как был оформлен спектакль?

Сценическая коробка была сломана. Действие было вынесено в зрительный зал, для чего вынули несколько рядов стульев партера. Впереди, на первом плане, был построен земной шар, или, вернее, кусок земного шара. Все кулисы были убраны. «Рай» громоздился на конструкции под потолком, в самой глубине сцены. Мы в «Раю» (я была ангелом) стояли, воздев вверх руки, а за спинами у вас при каждом движении трепетно вздрагивали белые крылышки, сделанные из тонкой проволоки, обтянутой марлей. Место чертям отведено было у подножия земного шара. Вещи, машины размещались в ложах. «Человек будущего» появлялся в правом портале сцены (если смотреть из зрительного

зала), в самом верху у потолка, на специально сооруженной для этого площадке.

Помню, как Владимир Владимирович, когда рабочие начали раскрашивать щиты, снял с себя полушубок, поднял воротник пиджака (театр не отапливался, работали в холоде) и, вооружившись кистью, тоже принялся за раскраску. В перерыве он вместе с нами ел черный хлеб, намазанный селедочной икрой. С едой тогда вообще было туго, и все мы подголадывали. Мейерхольд репетировал спектакль больной фурункулезом. Одетый в стеганую куртку, обвязанный теплым шарфом, с красной феской на голове, он вбегал из зала на сцену, выверяя монтировку и делая различные замечания.

И вот, несмотря на невероятно трудные условия работы и всяческие осложнения (Маяковскому пришлось отстаивать свою пьесу от разных недоброжелателей, пытавшихся сорвать ее постановку), спектакль был готов к майским торжествам. Как будто бомба разорвалась. Столько было толков, шума, самых разноречивых мнений по поводу спектакля. И все же он имел колоссальный успех – это был подлинно новый, революционный, народный спектакль.

**Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич** *(1873–1955), политический деятель, доктор исторических наук. В передаче А. Мариенгофа:*

В 1919 г. в Кремле красноармейцами был устроен литературно-музыкально-вокальный вечер, на котором, между прочим, должна была выступить артистка Гзовская. Ленин решил пойти послушать и пригласил меня пойти вместе с ним. Мы сели в первый ряд.

Гзовская задорно объявила «Наш марш» Владимира Маяковского.

Артистка начала читать. То плавно ходя, то бросаясь по сцене, она произносила слова этого необыкновенного марша:

Бейте в площади бунтов топот!
Выше, гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
Перемоем миров города.

– Что за чепуха! – воскликнул Владимир Ильич. – Что это, «мартобря» какое-то?..

И он насупился.

А та, не подозревая, какое впечатление стихи производят на Владимира Ильича, которому она так тщательно и так изящно

раскланивалась при всех вызовах, искусно выводила:

Видите, скушно звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица! требуй,
чтоб на небо нас взяли живьем.

И после опять под марш:

Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша – медь литавр.

И остановилась. Все захлопали. Владимир Ильич закачал головой, явно показывая отрицательное отношение. Он прямо смотрел на Гзовскую и не шевелил пальцем.

– Ведь это же черт знает что такое! Требует, чтобы нас на небо взяли живьем. Ведь надо же договориться до такой чепухи! Мы бьемся со всякими предрассудками, а тут, подите пожалуйста, со сцены Кремлевского красноармейского клуба нам читают такую ерунду.

И он поднялся.

– Незнаком я с этим поэтом, – отрывисто сказал Владимир Ильич, – и если он все так пишет, его писания нам не по пути. И читать такие вещи на красноармейских вечерах – это просто преступление. Надо всегда спрашивать артистов, что они будут читать на бис. Она под такт прекрасно читает такую сверхъестественную чепуху, что стыдно слушать! Ведь словечка понять нельзя, тарарабумбия какая-то!

Все это он сказал вслух отчетливо, ясно и стал прощаться с устроителями вечера, окружившими его плотным кольцом. Наступила неожиданная тишина, и он, торопясь, прошел сплошной стеной красноармейцев к себе наверх в кабинет.

Владимир Ильич долго помнил этот вечер, и, когда его звали на тот или другой концерт, он часто спрашивал: «А не будут ли там читать нам „Их марш“?..» Его задевало, что словом «наш» Владимир Маяковский как бы навязывал слушателям такое произведение, которое им не нужно.

Его отрицательное отношение к Маяковскому с тех пор осталось непоколебимым на всю жизнь. Я помню, как кто-то упомянул при нем о Маяковском. Он только кинул один вопрос: «Это автор „Их марша“?..» – и тотчас же прервал разговор, как бы

совсем не желая ничего больше знать об этом глубоко не удовлетворявшем его поэте».

# …и призванный

**Виктор Борисович Шкловский:**

Нужно было, чтоб улица не молчала. Окна магазинов были слепы и пусты. В них надо было вытаращить мысль. Первое Окно сатиры было вывешено на Кузнецком мосту в августе 1919 года. Через месяц работать начал Маяковский.

**Владимир Владимирович Маяковский:**

Моя работа в РОСТА началась так: я увидел на углу Кузнецкого и Петровки, где теперь Моссельпром, первый вывешенный двухметровый плакат. Немедленно обратился к заву РОСТОЙ, тов. Керженцеву, который свел меня с М. М. Черемных – одним из лучших работников этого дела.

**Михаил Михайлович Черемных:**

Сразу же Маяковский сделал свое первое «Окно» (все знают, это «Окно сатиры РОСТА № 5») два рисунка и стихи:

Рабочий!
Глупость беспартийную выкинь!

Было это в начале октября 1919 года. Шла партийная неделя. На фронте наступал Деникин.

**Владимир Владимирович Маяковский:**

Второе окно мы делали вместе. Дальше пришел и Малютин, а потом художники: Лавинский, Левин, Брик, Моор, Нюренберг и другие, трафаретчики: Шиман, Михайлов, Кушнер и многие еще, фотограф Никитин.

Первое время над текстом работал тов. Грамен, дальше почти все темы и тексты мои; работали еще над текстом О. Брик, Р. Райт, Вольпин.

**Виктор Борисович Шкловский:**

До Маяковского Окно делалось как собрание рисунков с подписями. Каждый рисунок был сам по себе. Маяковский начал делать сюжеты – целый ряд рисунков, соединенных переходящим от кадра к кадру стихотворным текстом.

Рисунок имеет текстовое значение. Текст соединяет рисунки. Если Окна напечатаны без рисунков, то текст надо изменять, иначе получится непонятно.

**Михаил Михайлович Черемных:**

Темы «Окон» были очень разнообразны. Материал для них давали сводки телеграмм, получавшихся РОСТА, постановления партии и правительства, календарные даты революционных годовщин или праздников.

Заданий ни от кого не получали: мы были так увлечены работой, что сами понимали, что нужно было делать. Готовые «Окна» всегда показывали Керженцеву, но я не помню случая, чтобы он забраковал хотя бы одно из них.

**Александр Вильямович Февральский:**

Художественный отдел РОСТА, выпускавший плакаты и «окна сатиры РОСТА», занимал несколько комнат, окна которых выходили на Малую Лубянку и на Сретенский переулок.

Открыв дверь в одну из этих комнат, посетитель обычно попадал в клубы табачного дыма. Сквозь дым вырисовывались фигуры трех дядей огромного роста, с папиросами в зубах; все трое рявкали здоровенным басом. Иной раз эти молодцы лежали на полу, рисуя плакаты, и приходилось шагать через плакаты и через них самих. Троица эта была «коллегией художественного отдела»: Владимир Владимирович Маяковский, Михаил Михайлович Черемных и Иван Андреевич Малютин.

**Владимир Владимирович Маяковский:**

Сейчас (в 1930 г. – Сост.), просматривая фотоальбом, я нашел около четырехсот одних своих окон. В окне от четырех до двенадцати отдельных плакатов, значит, в среднем этих самых плакатов не менее трех тысяч двухсот.

Подписей – второе собрание сочинений.

Как можно было столько сделать?

Вспоминаю – отдыхов не было. Работали в огромной нетопленной, сводящей морозом (впоследствии – выедающая глаза дымом буржуйка) мастерской РОСТА.

Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься и, поспав ровно столько, сколько необходимо, вскочишь работать снова.

**Лили Юрьевна Брик:**

Утром Маяковский ездил (из Пушкино. – Сост.) в Москву, на работу в РОСТА. В поезде он стоял у окна с записной книжкой в руке или с листом бумаги; бормотал и записывал заданный себе урок – столько-то стихотворных строк для плакатов РОСТА.

**Амшей Маркович Нюренберг** *(1887–1979), художник,*

*в 1920–1921 гг. входил в основное ядро коллектива художников РОСТА:*

Ежедневно в десять часов утра работники РОСТА собирались вокруг Маяковского: грузный, молчаливый и трудолюбивый Черемных, веселый балагур, темпераментный Малютин и я. Иногда приходили Левин и Лавинский.

Маяковский принимал нашу работу на ходу. Мнение свое высказывал резко и откровенно, смягчая свои слова только тогда, когда перед ним были плакаты Черемныха. Поэт очень высоко ставил все то, что делал этот мастер карикатуры. Я не преувеличу, если скажу, что Маяковский многому научился у него. Малютин и я часто наблюдали, как Маяковский, заимствуя у Черемныха те или другие образы, стремился их по-своему передать. Маяковский и не скрывал этого.

**Михаил Михайлович Черемных:**

Работали все с колоссальным увлечением. Работоспособность была неимоверная. Если бы кто-нибудь мне рассказал, что он делал пятьдесят плакатов за ночь, я не поверил бы, но я сам делал столько. Работали весело и бодро. Уставали мы при таком количестве плакатов, конечно, дико и выдумывали разные способы, помогавшие заставить себя быстрее сделать срочные плакаты (впрочем, «несрочных» плакатов у нас почти не бывало).

Например, устраивались «бега». Из окна мастерской были видны часы на Сухаревой башне. Приготавливали листы бумаги и по чьему-либо сигналу все одновременно бросались рисовать, не теряя ни одной секунды: кто скорее сделает. Маяковский часто одерживал победы надо мной, над Малютиным, над Нюренбергом.

После прихода Маяковского стихи для «Окон» стал писать только он один: им написаны почти все тексты «Окон». Были случаи, что он писал до восьмидесяти тем в день. Пока наша группа делала плакаты на первые темы, он успевал написать остальные и сам начинал рисовать.

Работать ему помогала Л. Ю. Брик. Он рисовал, а она раскрашивала. У нас были свои названия красок (например, та, которой красились руки и лица, называлась «мордовая»), и на том, что следовало раскрасить, писались первые буквы таких названий. Руководствуясь ими, велась раскраска.

В мастерской дымила буржуйка. Было холодно, руки пухли от холода, работали в шапках и валенках. Маяковский работал в бекеше, в маленькой шапочке, в каких-то галошах, – кажется, в валенках он никогда не ходил – и в перчатках.

**Лили Юрьевна Брик:**

Работали весело. Керженцев любил нас и радовался каждому удачному «окну».

Для рисования нам давали рулоны бракованной газетной бумаги. Обрезали и подклеивали ободранные края. Удобно! Ошибешься – и заклеишь, вместо того чтобы стирать.

Техника такая: Маяковский делал рисунок углем, я раскрашивала его, а он заканчивал – наводил глянец. В большой комнате было холодно. Топили буржуйку старыми газетами и разогревали поминутно застывающие краски и клей. Маяковский писал десятки стихотворных тем в день. Отдыхали мало, и один раз ночью он даже подложил полено под голову, чтобы не разоспаться. Черемных рисовал до 50-ти плакатов в сутки. Иногда от усталости он засыпал над рисунком и утверждал, что, когда просыпался, плакат оказывался дорисованным по инерции. Днем Маяковский и Черемных устраивали «бега». Нарезали каждый 12 листов бумаги, и по данному мной знаку бросались на них с углем, наперегонки, по часам на Сухаревой башне. Они были видны в окно.

Количество рисунков на плакате одного «окна РОСТА» было от двух до шестнадцати.

**Михаил Михайлович Черемных:**

Если работы было так много, что нашей группы не хватало, мы засаживали за дело других художников. Их всегда толкалось у нас много, как на бирже. С тех пор как мы перешли на трафареты, работников прибавилось. Коллектив разросся до ста человек. Приходили трафаретчики, приходили художники, желающие получить работу. Я и Маяковский со всем этим управлялись.

Работали мы очень дружно, и стиль «Окон РОСТА» – это, конечно, стиль коллективный. Часто просто невозможно припомнить, кому именно принадлежит «изобретение» той или другой подробности: это мог быть Малютин, а мог быть Маяковский или я, мог быть и Нюренберг. Бросавшиеся в глаза приемы мы друг у друга заимствовали, и нам тогда показалось бы диким, если кто-нибудь увидел в этом что-то зазорное. Один из нас первым решал новую задачу, а остальные потом пользовались этим решением.

**Владимир Владимирович Маяковский:**

С течением времени мы до того изощрили руку, что могли рисовать сложный рабочий силуэт от пятки с закрытыми глазами, и линия, обрисовав, сливалась с линией.

По часам Сухаревки, видневшимся из окна, мы вдруг втроем бросались на бумагу, состязались в быстроте наброска, вызывая удивление Джона Рида, Голичера и других заезжих, осматривающих нас иностранных товарищей и путешественников. От нас требовалась машинная быстрота: бывало, телеграфное известие о фронтовой победе через сорок минут – час уже висело по улице красочным плакатом.

«Красочным» – сказано чересчур шикарно, красок почти не было, брали любую, чуть размешивая на слюне. Этого темпа, этой быстроты требовал характер работы, и от этой быстроты вывешивания вестей об опасности или о победе зависело количество новых бойцов. И эта часть общей агитации поднимала на фронт.

**Амшей Маркович Нюренберг:**

Тексты «Окон» Маяковский писал с непостижимой быстротой: за час бывал готов десяток сложных рифмованных тем. Мне это казалось чудом. Написав, он их раздавал вам, учитывая, что кому следует дать. <…> Сам Маяковский работал над «Окнами» с виртуозностью, только ему одному присущей.

**Виктор Андроникович Мануйлов:**

Владимир Владимирович, с расстегнутым воротом, в белой рубашке и в летних серых брюках, лежал на громадном листе бумаги прямо на полу поперек всей комнаты. Два стола, заваленные бумагами и банками с красками, стояли у приоткрытых окон. Около Маяковского на разостланном листе газеты кисти и несколько банок с краской.

На миг привстав на колени, Владимир Владимирович оторвался от работы: «Простите, очень спешу, надо сегодня же сдать». И он указал на лежащий под ним плакат, на котором только начинал раскрашивать намеченные контуры фигуры. Плакат разоблачал происки Малой Антанты и призывал к бдительности: «Товарищи, подходите и гляньте! Мелочь объединяется в Малой Антанте». <…> Е. А. Львов представил меня, сказал, что я не попал в университет и теперь буду посещать лекции Валерия Брюсова в ЛИТО на Поварской, спросил что-то про Черемных и стал прощаться. Я собрался уходить вместе с Львовым. Но Владимир Владимирович удержал меня: «Не спешите, мы еще побеседуем, а тем временем вы поможете мне. Вот видите, эти места надо закрасить».

Львов ушел. Я неуверенно взялся за кисть. Маяковский поднялся с плаката и уступил мне место.

– Вот тут покройте суриком, – сказал, закуривая,

Маяковский, – а вот эти штаны жженой умброй.

К своему стыду, я не знал названий красок. Маяковский заметил мою растерянность и указал на красную с желтоватым оттенком: «Для начала вот эту». Я набрал на кисть слишком много краски, не дал ей стечь обратно в банку и начал с того, что, не донеся кисти до нужного места, разбрызгал громадную кляксу.

– Так, так, очень хорошо, – подбадривал меня Владимир Владимирович. – Вы внесли существенную творческую поправку. Пожалуй, так будет значительно лучше. Не робейте, размазывайте, размазывайте, только не переходите за эту черту. Мы просто поменяем цвета. Ведь иногда и в живописи от перемены слагаемых сумма не меняется. Пусть штаны на этот раз будут красными.

**Лили Юрьевна Брик:**

Была в нашем отделе и ревизия. Постановили, что Черемных – футурист и надо его немедленно уволить. Маяковского в этом не заподозрили! Он горячо отстаивал Черемных и отстоял.

Количество художников все прибывало, хотя отбор был строгий, и не только по признакам художественности. Один, например, принес очень недурно нарисованного красноармейца с четырехконечной звездой на шапке. Маяковский возмутился, заиздевался, и художник этот был изгнан с позором.

**Михаил Михайлович Черемных:**

Очень скоро появилась потребность размножения «Окон» для московских витрин и провинциальных отделений РОСТА. Не зная, есть ли там способные художники, мы решили посылать туда по одному экземпляру «Окон». Размножали сначала ручным способом, перерисовкой. Сразу сильно возросло количество работников художественного отдела. Копировали художники и студенты Вхутемаса, стремившиеся подработать, так как время было довольно голодное.

**Лили Юрьевна Брик:**

Размножались «окна» трафаретным способом, от руки. В первую очередь трафареты посылались в самые отдаленные пункты страны. Следующие – в более близкие. Оригинал висел в Москве на следующий день после события, к которому относилась тема. Через две недели «окна» висели по всему Союзу. Быстрота, тогда неслыханная даже для литографии.

**Владимир Владимирович Маяковский:**

Окна РОСТА – фантастическая вещь. Это обслуживание

горстью художников, вручную, стопятидесятимиллионного народища.

**Лили Юрьевна Брик:**

Умирание наше началось, когда отдел перевели в Главполитпросвет и заработали лито-, цинко– и типографии. Дали сначала две недели ликвидационные, потом еще две недели, а вскоре и совсем прикрыли.

# За новое искусство

**Владимир Владимирович Маяковский.** *«Я сам»:*

## *23-й ГОД*

Организуем «Леф». «Леф» – это охват большой социальной темы всеми орудиями футуризма. Этим определением, конечно, вопрос не исчерпывается, – интересующихся отсылаю к №№. Сплотились тесно: Брик, Асеев, Кушнер, Арватов, Третьяков, Родченко, Лавинский. <…>

Один из лозунгов, одно из больших завоеваний «Лефа» – деэстетизация производственных искусств, конструктивизм. Поэтическое приложение: агитка и агитка хозяйственная – реклама. Несмотря на поэтическое улюлюканье, считаю «Нигде кроме как в Моссельпроме» поэзией самой высокой квалификации.

**Николай Николаевич Асеев:**

Важно то, что Маяковский хотел собрать воедино «хороших и разных», заботясь о строительстве молодой советской культуры.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из статьи «За что борется Леф?», 1923 г.:*

В работе над укреплением завоеваний Октябрьской революции, укрепляя левое искусство, **Леф будет агитировать искусство идеями коммуны**, открывая искусству дорогу в завтра.

**Леф будет агитировать нашим искусством массы**, приобретая в них организованную силу.

**Леф будет подтверждать наши теории действенным искусством**, подняв его до высшей трудовой квалификации.

**Леф будет бороться за искусство-строение жизни**.

Мы не претендуем на монополизацию революционности в искусстве. Выясним соревнованием.

Мы верим – правильностью нашей агитации, силой делаемых вещей **мы докажем: мы на верном пути в грядуще**е.

**Из программной статьи ЛЕФ:**

Мы развеяли старую словесную пыль, используя лишь железный лом старья.

Мы не хотим знать различья между поэзией, прозой

и практическим языком.

Мы знаем единый матерьял слова и пускаем его в сегодняшнюю обработку.

Мы работаем над организацией звуков языка, над полифонией ритма, над упрощением словесных построений, над уточненьем языковой выразительности, над выделкой новых тематических приемов.

Вся эта работа для нас – не эстетическая самоцель, а лаборатория для наилучшего выраженья фактов современности.

Мы не жрецы-творцы, а мастера-исполнители социального заказа.

**Елена Владимировна Семенова:**

При непосредственном участии Маяковского возникла новая отрасль искусства – «производственного». Долго эта отрасль ходила под ярлыком «формализма». В 1960-х годах и у нас, и за рубежом уже существуют специалисты, художники-дизайнеры, оформляющие все – от моделей автомашин, от интерьеров цехов, клубов и т. п. до конфетных или спичечных коробок; оформляющие по тем же, провозглашенным в 1920-х годах, принципам: простота, яркость, доходчивость. Никто не считает это искусство «зазорным», у него уже есть и свои традиции. В 1920-х годах художники, выступавшие в этой области «с открытым забралом», были наперечет…

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из статьи «Кого предостерегает Леф?»:*

Товарищи по Лефу!

Мы знаем: мы, левые мастера, мы – лучшие работники искусства современности.

До революции мы накопили вернейшие чертежи, искуснейшие теоремы, хитроумнейшие формулы – форм нового искусства.

Ясно: скользкое, кругосветное брюхо буржуазии было плохим местом для стройки.

В революцию мы накопили множество правд, мы учились жизни, мы получили задания на реальнейшую стройку в века.

Земля, шатаемая гулом войны и революции, – трудная почва для грандиозных построек.

Мы временно спрятали в папки формулы, помогая крепиться дням революции.

Теперь глобуса буржуазного пуза нет.

Сметя старье революцией, мы и для строек искусства расчистили поля.

Землетрясения нет.

Кровью сцементенная, прочно стоит СССР.

Время взяться **за большое**.

**Серьезность нашего отношения к себе – единственный крепкий фундамент для нашей работы.**

**Футуристы!**

Ваши заслуги в искусстве велики; но не думайте прожить на проценты вчерашней революционности. Работой в сегодня покажите, что ваш взрыв не отчаянный вопль ущемленной интеллигенции, а борьба – работа плечом к плечу со всеми, с рвущимися к победе коммуны.

**Конструктивисты!**

Бойтесь стать очередной эстетической школкой. Конструктивизм только искусства – ноль. Стоит вопрос о самом существовании искусства. Конструктивизм должен стать высшей формальной инженерией всей жизни. Конструктивизм в разыгрывании пастушеских пасторалей – вздор.

Наши идеи должны развиваться на сегодняшних вещах.

**Производственники!**

Бойтесь стать прикладниками-кустарями.

Уча рабочих, учитесь у рабочего. Диктуя из комнат эстетические приказы фабрике, вы становитесь просто заказчиками.

Ваша школа – завод.

**Опоязовцы!**

Формальный метод – ключ к изучению искусства. Каждая блоха-рифма должна стать на учет. Но бойтесь ловли блох в безвоздушном пространстве. Только рядом с социологическим изучением искусства ваша работа будет не только интересной, но и нужной.

**Ученики!**

Бойтесь выдавать случайные искривы недоучек за новаторство, за последний крик искусства. Новаторство дилетантов – паровоз на курьих ножках.

Только в мастерстве – право откинуть старье.

**Все вместе!**

Переходя от теории к практике, помните о мастерстве, о квалификации.

Халтура молодых, имеющих силы на громадное, еще отвратительнее халтуры слабосильных академичков.

Мастера и ученики Лефа!

Решается вопрос о нашем существовании.

Величайшая идея умрет, если мы не оформим ее искусно.

**Александр Михайлович Родченко:**

Работали мы так. Утром Маяковский обходил учреждения и принимал заказы. Возвращался он домой с портфелем, туго набитым всякими справочниками, ведомственными отчетами и прочим. Весь материал он добросовестно изучал, выписывал на бумажку интересные факты, цифры и после этого обдумывал темы. Вечером, часов в семь-восемь, я приходил к Володе за темами и текстом. <…>

После обмена мнений о том, как лучше решить в рисунке тему рекламы, я шел домой и тотчас же садился за эскизы. Приходили товарищи – студенты Вхутемаса – и, расположившись с кистями у меня в мастерской, принимались за работу. Я же делал новые эскизы, следил за исполнением, выполнял сам ответственные куски, намечал пропорции. Работали иногда до рассвета. Утром, часов в одиннадцать, я уже нес готовые плакаты Володе или он сам заходил за ними (мы жили тогда близко друг от друга).

Сдавал работу обычно сам Володя, я был с ним вместе у заказчиков только два раза.

**Василий Абгарович Катанян:**

Маяковский написал в своей жизни несколько десятков лозунгов для санитарных плакатов. Он напоминал стихом об элементарных вещах, объяснял, агитировал, убеждал, наконец, почти сердился:

Товарищ, да приучись ты
держать жилище опрятным и чистым!

Не надо стирать в комнате, не надо пользоваться чужим полотенцем, валяться одетому на кровати, надо открывать перед сном форточку, плевать в урны, беречь бак с кипяченой водой.

Раз в неделю, никак не реже,
белье постельное меняй на свежее.

Мой руки, бросай сор в ящик, следи сам за чистотой.

Никогда
не берите в рот
того, что в рот
и другой берет.

Есть и о том, чтобы чистить зубы:

Зубы
чисть
дважды:
каждое утро
и вечер каждый.

Все это более или менее известно. Мы говорим – более или менее, потому что сам Маяковский включил в свое собрание сочинений только четыре текста. И сегодня еще собрано далеко не все.

Но вот совсем неизвестный шутливый лозунг, которым поэт «агитировал» сам себя, с которым он сам ходил чистить зубы:

Поэтом можешь ты не быть,
Но зубы чистить ты обязан!

**А. Мочкин:**

Помню, у Маяковского появилась в руках бумажка. Он прочел ее, недоуменно пожал плечами и, обращаясь к слушателям, сказал:

– Спрашивают, почему я пишу для Моссельпрома. Да кто вам сказал, что я пишу для него? Я для вас пишу. Разве вы не хотите, чтобы советская промышленность и торговля развивались? Ну, кто не хочет?

Мы в один голос закричали, что среди нас таких нет.

– Вот то-то же, – продолжал Владимир Владимирович. – Я тоже хочу, чтобы они быстрее развивались, поэтому и пишу, как могу, подталкиваю это развитие, а кому не нравится – не читайте. Ищите другое. <…>

Помнится, кто-то <…> упрекнул поэта в том, что он слишком много пишет стихов по заказам редакций и что это, дескать, не делает ему чести как поэту. Маяковский с гневом отверг это обвинение.

– То, что мне велят писать, – это хорошо. Очень хорошо, товарищи! И я хочу так, чтобы мне больше велели. Это самое трудное, но и самое важное для поэта: писать о наших сегодняшних буднях, исправить все негодное, что мешает нам с вами строить новое…

– Немузыкально, грубо, очень грубо звучат ваши стихи, – извиняющимся тоном, нежным голоском говорила бывшая гимназистка.

– Да, грубо, но зато зримо, а главное – то, что нужно сегодня, сейчас. А вот насчет того, что немузыкально, – не согласен. – И в подтверждение Маяковский прочитал несколько отрывков из поэмы «Хорошо!». – Разве это немузыкально? – спрашивал он. – А то, что я пишу не о цветочках и закатах над речкой, а о жизни будничной, считаю правильным. Вот у вас в городе водопровод и канализацию строят, все улицы изрыты траншеями. Вздумай я, например, написать об этом – опять, скажете, грубо? А ведь город двести лет жил без канализации. А теперь будет водопровод и канализация. Хорошо! Очень хорошо, хотя и грубо – поэзия и канализация.

**Елена Владимировна Семенова:**

В Лефе поэты не втискивались никак в отвлеченные построения теоретиков. «Про это», «Черный принц», «Хорошо!» и, наконец, величественная и глубоко лирическая поэма «Владимир Ильич Ленин» создавались вопреки теориям.

А художники запутались в теориях, было сделано много и хорошо для «оформления жизни», зато и упущено многое из того, что в искусстве «для души». Мы близоруко не поняли – в Маяковском все было «от души» и «для души».

**Елизавета Александровна Лавинская:**

Иногда мне кажется, что он романтизировал своих товарищей, чтоб только иметь возможность сказать «мы», хотя в Лефе были люди, с которыми он бывал вежлив, когда здоровался, а то просто не замечал.

# За границей

**Василий Абгарович Катанян:**

Когда Маяковскому на вечерах задавали вопрос: «Почему вы так много путешествуете?» – он отвечал строчками из Лермонтова:

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой,
А он, мятежный, ищет бури,
Как будто в бурях есть покой.

Это, конечно, в шутку. В действительности он скорее не любил путешествовать, чем любил.

И все же начиная с 1922 года он почти каждый год выезжал за границу; к тому же за пять лет он объездил пятьдесят четыре города советской страны.

Девять раз Маяковский переезжал границу Страны Советов, направляясь на Запад.

Дважды Маяковский собирался совершить кругосветное путешествие.

Один раз он побывал в Америке – в Мексике и Соединенных штатах.

Один раз – проездом – в Испании.

Один раз – в Чехословакии.

Один раз – в Польше.

Один раз – в Латвии.

Шесть раз – в Германии и шесть раз – во Франции.

Он хотел еще побывать в Англии – ему не дали визу. Собирался в Италию – не получилось. Замышляя кругосветное путешествие, он хотел посмотреть Южную Америку, Турцию, Японию.

Его тянула ездить не любовь к путешествиям, не любопытство туриста и совсем не природная непоседливость.

Он был прав и совершенно точен, когда говорил, что ему «необходимо ездить». Эта необходимость была творческая. Это были безусловно рабочие побуждения, осознаваемые, может быть, наполовину интуитивно.

Поэту с таким живым и непосредственным творческим восприятием, с такой острой и активной реакцией на явления внешнего мира эти поездки давали очень много.

Помимо «перемены места», о которой Маяковский говорил

как об одном из творческих «ухищрений», заменяющих поэту необходимую дистанцию пространства и времени между описываемым событием, предметом и собой; помимо выключения из привычной обстановки московских улиц, редакций, своей рабочей комнаты, – такое периодическое выключение тоже помогало работе, – помимо всего этого, его путешествия по городам СССР и за границей давали очень много нового материала, новых впечатлений, новых тем, которые обращались в стихи.

**Владимир Владимирович Маяковский:**

Мне необходимо ездить. Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг. Я жил чересчур мало, чтобы выписать правильно и подробно частности.

Я жил достаточно мало, чтобы верно дать общее.

**Александр Михайлович Родченко:**

Володя очень часто ездил за границу. Он не любил пышных проводов, встреч. Его отсутствие не бросалось в глаза: он продолжал печататься в газетах, вдали от родины он жил ее интересами.

Володя привозил с собой туго набитые чемоданы. Чего тут только не было! Книги и журналы по искусству, плакаты, театральные афиши, каталоги выставок, проспекты, фотографии. Маяковский в узком кругу обычно мало рассказывал о том, что видел. Зато в публичных выступлениях, в стихах, он выкладывал все, что накопилось у него там, на чужбине; заграничные впечатления часто облекались у него в форму блестящего памфлета. Мне казалось тогда, что дома он потому ничего не рассказывал, что не хотел повторяться перед слушателями, перед читателями.

Маяковский терпеть не мог коллекционирования – в буквальном и переносном смысле этого слова. Поэтому одновременно с тем, как в публичных докладах, стихах опустошались запасы его заграничных впечатлений, так таяло содержимое чемоданов. Там, на Западе, Маяковский горячо интересовался левым, революционным искусством живописи, театра, кино, скульптуры, архитектуры. Вместе с монографиями, проспектами, каталогами он привозил нам дыхание искусства современного Запада, показывал нам его таким, каким оно было в действительности.

**Соломон Самуилович Кэмрад:**

– Зачем вы ездите за границу? – спросили у поэта на вечере в Доме Комсомола Красной Пресни 25 марта 1930 года.

– Я там делаю то же, что и здесь, – отвечал поэт. – Там я писал стихи и выступал на собраниях, говорил о коммунистической партии.

– Я путешествую для того, чтобы взглянуть глазами советского человека на культурные достижения Запада, – объяснял Маяковский в другом случае. – Я стремлюсь услышать новые ритмы, увидеть новые факты и потом передать их моему читателю и слушателю. Путешествую я, стало быть, не только для собственного удовольствия, но и в интересах всей нашей страны.

**Василий Абгарович Катанян:**

Единственный (кроме русского) язык, на котором Маяковский свободно объяснялся, это был язык его детства – грузинский. Но он меньше всего мог ему пригодиться в его поездках по Западной Европе и Америке.

Когда кто-то в разговоре высказал предположение, что Маяковский, разъезжая столько по заграницам, должен хорошо владеть языками, он очень удивился:

– Почему вы так думаете?

– А как же – гимназическое образование плюс заграничные поездки…

– К сожалению, нет, – возразил Маяковский, – заграничные поездки минус гимназическое образование. <…>

Маяковский путешествовал с маленькими словариками, с несколькими готовыми фразами в записной книжке, с брошюрками <…> которые могли помочь заказать номер в гостинице, выбрать завтрак, купить папиросы.

Он ходил в полпредства и торгпредства «отводить советскую душу», просил товарищей погулять с ним; а когда оставался один, тогда было особенно «плохо без языка». Тогда иной раз весь вечер с прогулкой и сиденьем в кафе наполнялся одной фразой, несколько раз повторяемой официанту на разные интонации:

– Коктейль шампань, силь ву пле!

А если, бывало, кельнер или шофер такси вдруг обратится к нему с чем-нибудь, из нескольких фраз запоминалось одно или два слова, и потом в гостинице они отыскивались в словаре и по ним восстанавливался смысл сказанного.

Все это, конечно, не украшало его жизнь за границей.

И даже когда встречались в поездках друзья, с которыми можно было не расставаться, – как это было, например, в Нью-Йорке, где жил старый друг Маяковского Давид Бурлюк, – и тогда незнание языка мешало, раздражало, утомляло.

**Соломон Самуилович Кэмрад:**

В Париж из Берлина Маяковский выехал 17 или 18 ноября (1922 г. – Сост.). Сохранилась его открытка из Берлина к Рите Райт, с которой он занимался до отъезда немецким языком: «Эх, Рита, Рита! Учили Вы меня немецкому языку, а мне по-французски разговаривать». В Берлине Маяковский был вместе с друзьями и не очень нуждался в познаниях немецкого языка. В Париж же он ехал один. Был составлен и занесен в записную книжку кратчайший словарик необходимых французских глаголов и выражений: идти, хотеть, мочь, знать, брать, чистить, вчера, прямо, спички, все равно, дорого, скорей, силь ву пле, здесь живет мсье Х? Какая комната? Faites repasser mon costume (прогладьте мой костюм), Coupez moi des cheveux tout cour! (постригите мне волосы совсем коротко!) и т. д. и т. д.

С этим запасом слов Маяковский отбыл в Париж.

Он осмотрел все, что только можно было осмотреть в Париже за такой короткий срок: от Палаты депутатов до «Осеннего салона». Он познакомился с работами десятка художников, побывав в их мастерских, – Пикассо, Делонэ, Брак, Леже, Гончарова, Ларионов, Барт и др.; он видел купцов, которые торгуют картинами; он ездил на фабрику пианол; слушал композитора Стравинского; пытался познакомиться с Анатолем Франсом и Барбюсом, виделся с Кокто, присутствовал на похоронах Марселя Пруста; побывал в нескольких театрах и съездил за город посмотреть знаменитый парижский аэродром.

**Владимир Владимирович Маяковский:**

Париж видит сейчас первых советских русских. Красная паспортная книжечка РСФСР – достопримечательность, с которой можно прожить недели две, не иметь никаких иных достоинств и все же оставаться душой общества, вечно показывая только эту книжечку.

Всюду появление живого советского производит фурор с явными оттенками удивления, восхищения и интереса (в полицейской префектуре тоже производит фурор, но без оттенков). Главное – интерес: на меня даже установилась некоторая очередь. По нескольку часов расспрашивали, начиная с вида Ильича и кончая весьма распространенной версией о «национализации женщин» в Саратове.

Компания художников (казалось бы, что им!) 4 часа слушала с непрерываемым вниманием о семенной помощи Поволжью. Так как я незадолго перед этим проводил агитхудожественную кампанию по этому вопросу, у меня остались в голове все цифры.

Этот интерес у всех, начиная с метельщика в Галле,

с уборщика номера, кончая журналистом и депутатом.

**Лев Вениаминович Никулин:**

Он был признанным послом Москвы, московским полпредом поэзии, поэтом Интернационала в городе-памятнике трем революциям. Среди парижской старомодности, пятиэтажных буржуазных домов, газовых фонарей, железных ставней, среди французского консерватизма, устойчивого удобного быта он ходил бездомный и непримиримый, потому что его домом были улица и трибуна. Но он очень хорошо понимал очарование этого города, сочетающего бюрократическую старомодность Третьей республики с чиновным цезаризмом Наполеона и трехсотметровым прыжком в будущее башни Эйфеля.

Он любил женщин этого города с их врожденным вкусом и врожденной нескромностью, он понимал парижских художников с их чувством плоскости формы, чувственной любовью к краске и утонченностью, доходящей до бесстыдства и самолюбования.

Он понимал и любил сумеречный парижский пейзаж – лиловые, оранжевые и синие огоньки на Сене и пламя дымного зимнего заката над Триумфальной аркой. Такое небо было и в те парижские зимы, когда на площади Согласия стояло деревянное «П» гильотины. Ее тонкие сухие деревянные ноги стоят в истории не менее крепко, чем слоновые кубообразные ноги Триумфальной арки на площади Звезды.

Он многое любил и все понимал в этом городе, где хотел бы умереть «если б не было такой земли – Москва».

**Валентина Михайловна Ходасевич:**

На площади Concorde (Согласия) Владимир Владимирович остановил такси и сказал:

– Я влюблен в эту площадь и хотел бы на ней жениться. Пока хоть постоим и полюбуемся.

**Эльза Триоле:**

Гостиница «Истрия» (в Париже. – Сост.), где останавливался Маяковский, изнутри похожа на башню: узкая лестничная клетка с узкой лестницей, пятью лестничными площадками без коридоров; вокруг каждой площадки – пять одностворчатых дверей, за ними – по маленькой комнате. Все комнаты в резко-полосатых, как матрацы, обоях, в каждой – двуспальная железная кровать, ночной столик, столик у окна, два стула, зеркальный шкаф, умывальник с горячей водой, на полу потертый желтый бобрик с разводами. Из людей известных там в то время жили:

художник-дадаист Пикабия с женой, художник Марсель Дюшан, сюрреалист-фотограф американец Ман Рей со знаменитой в Париже девушкой, бывшей моделью, по имени Кики и т. д. <…>

В 24-м году он был особенно мрачен. Пробыл в Париже около двух месяцев, ни на шаг не отпуская меня от себя, будто без меня ему грозят неведомые опасности. Сильно сердился на незнание языка, на невозможность с блеском показать французам советского поэта. Часто я заставала его за писанием писем в Москву, причем он сидел на полу, а бумагу клал на кровать – столик был обычно чем-нибудь завален. Тосковал. Это не мешало нам бродить по Парижу, ходить в магазин «Олд Ингланд» за покупками… Впрочем, в отношении покупок раз от раза не отличался: в «Олд Ингланд» покупались рубашки, галстуки, носки, пижамы, кожаный кушак, резиновый складной таз для душа, в магазине «Инновасион» – особенные чемоданы с застежками, позволяющими регулировать глубину чемодана, дорожные принадлежности – несессеры, стакан, нож, вилка, ложка в кожаном футляре – вещи, нужные Маяковскому для его лекционных поездок по России.

**Валентина Михайловна Ходасевич:**

Маяковский и Эльза мрачные. Мрак оттого, что сразу по приезде Маяковский получил из главной префектуры (полиции) предложение покинуть Францию в двадцать четыре часа, несмотря на то, что у него была виза на месяц. Они с Эльзой отправились в префектуру узнать, в чем дело. Попали в кабинет к важному чиновнику. Маяковский не говорит по-французски, и Эльза выясняет обстоятельства дела. Чиновник заявляет:

– Мы не хотим, чтобы к нам приезжали люди, которые, покинув Францию, грубо нас критикуют, издеваются над избранниками народа и все это опубликовывают у себя на родине.

Эльза переводит сказанное Маяковскому – он утверждает, что это недоразумение.

– Значит, вы не писали?

– Нет.

Чиновник нажимает кнопку на столе, и в комнате возникает молодой человек, которому он что-то тихо говорит. Молодой человек удаляется и вскоре возвращается – в руках у него газета «Известия».

– Вы, вероятно, узнаете это? – спрашивает чиновник. Не узнать напечатанного в «Известиях» стихотворения «Телеграмма мусье Пуанкаре и Мильерану» было невозможно…

Деваться некуда. Маяковский говорит, что ведь французы, очевидно, согласились с его мнением: сняли Пуанкаре с его высокого поста и заменили другим. Эльза пытается убедить чиновника, что Маяковский не представляет опасности для Франции – он не говорит ни слова по-французски. Вдруг Маяковский, узнав, что она сказала, произносит: «Jambon»[9]. Чиновник мрачно повторяет, что Маяковский должен быть через двадцать четыре часа за пределами Франции.

Но литературная общественность Парижа, особенно молодые поэты, узнав, что Маяковского лишили визы, стали срочно собирать подписи протеста. На следующий день я с утра примчалась к Эльзе узнать, как дела Маяковского. Угроза выселения еще оставалась в силе. Кто-то из поэтов по телефону просил Эльзу и Маяковского быть в двенадцать часов дня в кафе – там должны собраться поэты и привезти петицию с подписями, которых было уже более трехсот. За Маяковским должен заехать один из поэтов. Владимир Владимирович сказал мне: «Едем с нашими – может, будет интересно». Мы подъехали на такси и вошли. Это кафе, где часто собирались рабочие. Внутри стояли большие столы из толстых досок, скамьи и табуреты. В одном из отсеков помещения, у окна на улицу, за столом и вокруг собрались желавшие помочь Маяковскому – их было много. Раздались аплодисменты, кричали: «Маяковский!» Он приветствовал всех поднятой рукой. Сел. Все шумели и толпились вокруг. Эльза была переводческой инстанцией между Маяковским и собравшимися. Продолжали входить опоздавшие. Кто-то сказал: «Может, лучше не делать много шума?..» – «Нет, наоборот!» Выяснилось, что собрались для демонстрации преданности Маяковскому и возмущения префектурой. Кто-то подошел и показал большие листы с подписями. «Мы добьемся, вы останетесь в Париже! Выбраны делегаты, поедут разговаривать с полицией…» Маяковский был растроган, нежно улыбался и вдруг опять мрачнел. Его очень раздражало незнание языка. Кто-то предложил читать стихи. Желторотый поэт влез на стол и читал с руладами очень благозвучные стихи. Маяковский достал из кармана монетку – вопрошал и проверял судьбу: выходило «решка». Он раздражился, встал, оперся на палку, поднял руку – все затихли, и он, прочитав стихи, быстро направился на улицу.

Поэтам удалось получить небольшую отсрочку отъезда Маяковского из Франции.

**Лидия Николаевна Сейфуллина** *(1889–1954), писательница:*
Для выступления корифеев нашей литературы тогда

помещений за границей не предоставляли. Для поэта Маяковского было его почитателями откуплено на один вечер большое кафе Вольтера. Где находится оно в Париже, я точно не вспомню. Но ясно помню, одним рядом окон оно выходит на площадь. Задолго до начала вечера на этой площадке встал на дежурство отряд конной полиции. Но не мог помешать скопиться на площади плотной людской толпе, не имеющей возможности проникнуть в кафе, еще днем заполненное людьми, желающими слышать Маяковского.

В открытые окна на площадь и прилегающую к другой стороне здания улицу достаточно ясно доносилось каждое слово поэта, благодаря замечательной его дикции и сильному голосу. Среди собравшихся были и злостные эмигранты, ненавистники Советской России. Ярыми выкриками они требовали, чтобы Маяковский читал свои дореволюционные стихи. Но поэт упрямо читал свои произведения, созданные уже после Октябрьской революции. Тогда усилились враждебные выкрики. За всю мою жизнь я знала только одного человека, который под яростные крики враждебной толпы, под натиском множества таких криков, внешне сохранял полное достоинства спокойствие.

**Эльза Триоле:**

Бывали мы ежедневно, как Ромул и Рем, в кафе на Монпарнасе. Там сразу Маяковского окружали русские, и свои, и эмигранты, и полуэмигранты; а также и французы, которым он меня немедленно просил объяснить, что он говорит только на «триоле». Русских появление Маяковского чрезвычайно возбуждало, и они о нем плели невероятную и часто гнуснейшую ерунду. <…>

В 1924 году Маяковский в Париже американской визы так и не дождался. Уехал в Москву, но через полгода опять вернулся за тем же, рассчитывая отправиться в кругосветное путешествие. Из Москвы он на этот раз летел и с восторгом рассказывал мне, как на границах летчик, из вежливого озорства, «приседал на хвост».

**Давид Давидович Бурлюк:**

Тщетно Маяковский добивался разрешения на въезд в «страну свобод». По этому поводу автор этих строк имел беседу с юрисконсультом по делам СССР Чарльзом Рехтом.

Адвокат на мой вопрос, могут ли Маяковского впустить в Америку, ответил, покачав головой:

– Не думаю. Очень уж выражены в нем стихийная революционность и наклонность к широчайшей агитации.

**Соломон Самуилович Кэмрад:**

«В Америку попасть трудно. А советскому человеку тем более. Начнут слишком пристально рассматривать паспорт, и придется, быть может, поплакать на «Острове слез».

«Вот почему, – продолжает корреспондент, – поэту пришлось обходным маневром заехать в Америку, с тылу пробраться в США».

В воспоминаниях Л. Я. Хайкиса, отрывок из которых был напечатан в газетах, говорится: «Маяковскому удалось получить визу, только убедив американское консульство в Мексике, что он просто рекламный работник Моссельпрома и Резинотреста». <… > «Для первого знакомства» Маяковского, как известно, на границе арестовали.

**Владимир Владимирович Маяковский:**

Полицейский всунул меня и вещи в автомобиль. Мы подъехали, мы вошли в дом, в котором под звездным знаменем сидел человек без пиджака и жилета.

За человеком были другие комнаты с решетками. В одной поместили меня и вещи.

Я попробовал выйти, меня предупредительными лапками загнали обратно.

Невдалеке засвистывал мой нью-йоркский поезд.

Сижу четыре часа.

Пришли и справились, на каком языке буду изъясняться.

Из застенчивости (неловко не знать ни одного языка) я назвал французский.

Меня ввели в комнату.

Четыре грозных дяди и француз-переводчик.

Мне ведомы простые французские разговоры о чае и булках, но из фразы, сказанной мне французом, я не понял ни черта и только судорожно ухватился за последнее слово, стараясь вникнуть интуитивно в скрытый смысл.

Пока я вникал, француз догадался, что я ничего не понимаю, американцы замахали руками и увели меня обратно.

Сидя еще два часа, я нашел в словаре последнее слово француза.

Оно оказалось:

– Клятва.

Клясться по-французски я не умел и поэтому ждал, пока найдут русского.

Через два часа пришел француз и возбужденно утешал меня:

– Русского нашли. Бон гарсон.

Те же дяди. Переводчик – худощавый флегматичный еврей, владелец мебельного магазина.

– Мне надо клясться, – робко заикнулся я, чтобы начать разговор.

Переводчик равнодушно махнул рукой:

– Вы же скажете правду, если не хотите врать, а если же вы захотите врать, так вы же все равно не скажете правду.

Взгляд резонный.

Я начал отвечать на сотни анкетных вопросов: девичья фамилия матери, происхождение дедушки, адрес гимназии и т. п. Совершенно позабытые вещи!

Переводчик оказался влиятельным человеком, а, дорвавшись до русского языка, я, разумеется, понравился переводчику.

Короче: меня впустили в страну на 6 месяцев как туриста под залог в 500 долларов.

Уже через полчаса вся русская колония сбежалась смотреть меня, вперебой поражая гостеприимством.

**Из отчета газеты «Фрайгайт» (Нью-Йорк):**

Маяковский заявил:

– Я – только первый «мизинец» своей страны. Америка отделена от России 9000 миль и огромным океаном. Океан можно переплыть за 5 дней. Но то море лжи и клеветы, которое вырыли белогвардейцы, в короткий срок преодолеть нельзя. Нужно работать много и упорно, чтобы могучая рука новой России могла пожать без помех могучую руку новой Америки.

**Давид Давидович Бурлюк:**

Маяковский не любил сниматься и никогда не давал на это разрешения. Но однажды, стоя на Бруклинском мосту, со светящимися башнями подле, он позволил себя снять, надписав на фото: «Маяковский и Бруклинский мост – из родственных чувств к нему».

**Элизабет Джонс.** *Из бесед с Патрицией Дж. Томпсон:*

Он был действительно в настоящем восторге от Бруклинского моста. Мне было знакомо это чувство по московским инженерам и студентам инженерного института. Один американский журналист, которого я познакомила с ними, сказал: «Боже мой, да они знают каждый болт в Бруклинском мосту». Это действительно было достижением того времени. И Маяковский ходил по нему, была лунная ночь. Это было здорово. Он был так счастлив погулять по Бруклинскому мосту!

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Из беседы с журналистом нью-йоркской газеты «Фрайгайт»:*

– Вот мы – «отсталый», «варварский» народ. Мы только начинаем. Каждый новый трактор для нас – целое событие. Еще одна молотилка – очень важная вещь. Что касается вновь открытой электростанции – то это уже совсем замечательное дело. За всем этим мы пока еще приезжаем сюда. И все же – здесь скучно, а у нас – весело, здесь все пахнет тленом, умирает, гниет, а у нас вовсю бурлит жизнь, у нас будущее.

До чего тут только не додумались?! До искусственной грозы. Тем не менее прислушайтесь, и вы услышите мертвую тишину. Столько электричества, такая масса энергии и света, что даже солнце не может с ним конкурировать, – и все же темно. Такая огромная страна, с тысячами всевозможнейших газет и журналов – и такое удивительное косноязычие, никакого тебе красноречия. Рокфеллеры, Морганы, Форды – вся Европа у них в долгу, тресты над трестами – и такая бедность.

Вот я иду с вами по одной из богатейших улиц мира, с небоскребами, дворцами, отелями, магазинами и толпами людей, и мне кажется, что я брожу по развалинам, меня гнетет тоска. Почему я не чувствую этого в Москве, где мостовые действительно разрушены и до сих пор еще не починены, многие дома сломаны, а трамваи переполнены и изношены донельзя? Ответ простой: потому что там бурлит жизнь, кипит, переливается через край энергия всего освобожденного народа – коллектива; каждый новый камень, каждый новый кирпич на стройке есть результат целеустремленной, творческой инициативы самих масс.

А здесь? Здесь нет энергии, одна сутолока бесформенной, сбитой с толку толпы одураченных людей, которую кто-то гонит, как стадо, то в подземку, то из подземки, то в «эл», то с «эл».

Все грандиозно, головокружительно, вся жизнь – «Луна-парк». Карусели, аэроплан, привязанный зачем-то железной цепью к столбу, любовная аллея, которая вот-вот должна привести в рай, бассейн, мгновенно наполняемый водой при помощи пожарной кишки, – все это грандиозно, головокружительно, но все это только для того, чтобы еще больше заморочить людям голову, выпотрошить их карман, лишить их инициативы, не дать им возможности думать, размышлять. Так и дома, и на фабрике, и в местах для развлечений. Радость отмерена аршином, печаль отмерена аршином. Даже деторождение – профессия… И это свобода? <…>

Предвечерний шум на Пятой авеню разбудил в Маяковском потребность вернуться к разговору, происходившему два дня

назад. Он беспрерывно курит свои длинные русские папиросы, ходит из угла в угол, наконец останавливается и бурчит:

– Поди возись тут с индивидуумом. Это пока не стоит труда. Какое значение он имеет по сравнению с миллионами? Он ничего не может поделать, абсолютно ничего. Америка лишний раз убедила меня в этом и все больше и больше убеждает. Ах, черт возьми! Такая гигантская техника, настоящая мистерия индустриализма, и такая духовная отсталость, просто дрожь берет. Эх, да ведь если бы наши русские рабочие и крестьяне достигли хоть одной трети такой индустриализации, какие чудеса они бы показали. Они бы не одну новую Америку открыли.

**Василий Абгарович Катанян:**

Но, несмотря на весь интерес к путешествиям, к новым странам и людям, – несмотря на то, что организовать такое путешествие стоило ему подчас больших трудов, возни и беготни: добыть визы, паспорта, деньги и т. д., Маяковский, едва начав поездку, едва переехав советскую границу, начинал уже скучать по Москве, тосковать и рваться назад.

**Эльза Триоле:**

И с кем бы Маяковский ни говорил, он всегда и всех уговаривал ехать в Россию, он всегда хотел увезти все и вся с собой, в Россию. Звать в Россию было у Володи чем-то вроде навязчивой идеи. Стихи «Разговорчики с Эйфелевой башней» были написаны им еще в 1923 году, после его первой поездки в Париж:

Идемте, башня!
К нам!

# Авто

**Василий Васильевич Катанян:**

Сохранилась записная книжка поэта, с которой он ездил в Берлин и Париж. Лиля Юрьевна еще в Москве записала поручения, которые обычно пишут жены мужьям, когда те едут за границу. И среди инструкций – какого цвета должны быть туфли и какого фасона костюм – обращают внимание записи: «Машина лучше закрытая. Со всеми запасными частями». «Сзади чемодан. Не забудь авто-перчатки».

История этого «Рено» такова: в 1927 году Лев Кулешов, знаменитый тогда кинорежиссер, приехал на дачу в Пушкино, где жили Маяковский и Брики. Приехал он на новом «Форде», это был чуть ли не единственный «Форд» в Москве, и все с интересом рассматривали машину. Вечером с ним на «Форде» возвратились в город Маяковский и Лиля.

С этого и началось. Маяковский очень хвалил автомобиль, он вообще восторгался техникой, видя в ней залог будущего прогресса, хотя сам в ней понимал мало и управляться с нею не умел. Ему импонировали механические новинки XX века, и в одном стихотворении он предсказал, что «вечное перо», пишущая машинка и автомобиль станут рабочими инструментами писателя. <…> Он говорил, что «Пастернак любит молнию в небе, а я в электрическом утюге», образно, конечно, ибо никакая молния в утюге не сверкала – и с того дня идея автомобиля запала, и особенно она запала в душу Лили Юрьевны.

Кулешов заезжал за нею, и они совершали прогулки по городу. В те идиллические времена было интересно просто кататься по Москве, авто были редкостью, процветали извозчики, которые шарахались при виде машины, и ни о каких заторах никто не имел представления.

Автомобиль стал темой разговоров Маяковского и Лили, было решено накопить денег, и Маяковский обещал подарить Лиле машину. Она стала учиться вождению, успешно сдала экзамен и получила права. Это было легче, чем купить авто, ибо денег было немного, копить было не в их характерах и приходилось рассчитывать лишь на гонорары за границей. Самым дешевым был «Рено». Лиля очень загорелась, она любила все новое, модное, передовое и удобное, она представляла себя за рулем. «Это будет очень современно», – записала она в дневнике. А Маяковский очень хотел ее порадовать, он всегда стремился выполнить любое ее желание, любой каприз – тем

более теперь, когда любовь ее к нему охладевала.

**Лили Юрьевна Брик.** *Из письма В. В. Маяковскому, 25 апреля 1927 г.:*

Очень хочется автомобильчик. Привези пожалуйста! Мы много думали о том – какой. И решили – лучше всех Фордик. 1) Он для наших дорог лучше всего, 2) для него легче всего доставать запасные части, 3) он не шикарный, а рабочий, 4) им легче всего управлять, а я хочу управлять обязательно сама. Только купить надо непременно Форд последнего выпуска, на усиленных покрышках-баллонах; с полным комплектом: всех инструментов и возможно большим количеством запасных частей?

Кроме того мы с Булькой очень просим, если можно купить для мотоциклетки все, что я тебе записала, тк кк мы очень много на ней ездим.

**Василий Васильевич Катанян:**

«Про машину не забудь, – писала Лиля в Париж Маяковскому 14.10.28. – 1) предохранители спереди и сзади, 2) добавочный прожектор сбоку, 3) электрическую прочищалку для переднего стекла, 4) фонарик сзади с надписью „стоп“, 5) обязательно стрелки электрические, показывающие, куда поворачивает машина, 6) теплую попонку, чтобы не замерзала вода, 7) не забудь про два добавочных колеса сзади. Про часы с недельным заводом…»

Маяковский отвечает, что с гонорарами пока плохо. «Ввиду сего на машины пока только облизываюсь – смотрел специально автосалон… Веду сценарные переговоры с Рене Клером. Если доведу, машина, надеюсь, будет. Целую, твой Счен».

**Лили Юрьевна Брик.** *Из письма В. В. Маяковскому, 22 ноября 1928 г.:*

Волосит! Не рисуй мне, пожалуйста, какой формы радиатор! Это я и так знаю!! А напишите мне какой она длины, ширины, цвет, украшения – часы, фонари, полоска и т. д. А то я умираю от нетерпения и неизвестности!

**Василий Васильевич Катанян:**

И вот все-таки машина прибыла в Москву. Это был четырехместный красавец, снизу светло-серый до пояса, а верхняя часть и крылья – черные. Маяковский машину не водил, а Лиля Юрьевна управляла машиной сама. «Я, кажется, была единственной москвичкой за рулем. Кроме меня управляла

машиной только жена французского посла. Мостовые были в ужасающем состоянии, но ездить было легко, т. к. машин было мало. И тем не менее, я ухитрилась сбить на дороге восьмилетнюю девочку. Они с матерью переходили мостовую в неположенном месте, испугались, застыли, как вкопанные, заметались, словно куры, и разбежались в разные стороны. Я резко затормозила, но все же слегка толкнула девочку, и она упала. Она даже не ушиблась, но все мы страшно перепугались, а ее мать заголосила, как по покойнице. Вызвали милицию».

Был суд, и ЛЮ оправдали. Она подружилась с девочкой, «которую я задавила», звала ее в гости, угощала мороженым и купила ей теплый пуловер.

Лиля Юрьевна увлеклась «Реношкой» со всем категоризмом, свойственным ее натуре. Она сшила специальное платье и костюм для езды, выписала из Парижа шапочку и перчатки. Стала читать автожурнал и завела знакомых автолюбителей.

# «Клоп»

**Александр Вильямович Февральский:**

В марте 1926 года Маяковский заключил с Театром имени Вс. Мейерхольда договор – он должен был написать и передать театру для постановки пьесу «Комедия с убийством». Но, занявшись множеством других работ, он, несмотря на напоминания Мейерхольда, пьесу не написал (как известно, от нее остались лишь черновые наброски плана и несколько сцен).

Прошло два года. Государственный театр имени Вс. Мейерхольда переживал тяжелый репертуарный кризис. Пьес советских драматургов, отвечавших высоким требованиям Мейерхольда, в распоряжении театра не было. И строить репертуар лишь на произведениях классиков тоже было нельзя.

В этих условиях В. Э. Мейерхольд решил еще раз напомнить Маяковскому о его обещании. 4 мая 1928 года, находясь в Свердловске, где тогда гастролировал коллектив театра, он отправил мне (я в то время был ученым секретарем театра) телеграмму для Маяковского:

«Москва, Гостеатр Мейерхольда, Февральскому, передать Маяковскому.

Последний раз обращаюсь твоему благоразумию. Театр погибает.

Нет пьес. От классиков принуждают отказаться. Репертуар снижать не хочу. Прошу серьезного ответа: можем ли мы рассчитывать получить твою пьесу в течение лета. Телеграфь срочно Свердловск, Центральная гостиница. Мейерхольд».

Я позвонил Маяковскому и прочитал текст телеграммы. Маяковский сказал мне, что подумает. И вскоре он отправил телеграфный ответ такого содержания:

«Свердловск, Центральная гостиница, Мейерхольду. Если договориться, обсудить тобой предварительно, думаю, хорошая пьеса выйдет. Привет.

Маяковский».

<…> Через полгода с небольшим, возвратившись из двухмесячной заграничной поездки, поэт привез с собой пьесу, которой было суждено вывести театр из репертуарного кризиса.

28 декабря 1928 года в репетиционном зале верхнего этажа

театрального здания на площади, носящей теперь имя Маяковского, собрался коллектив Государственного театра имени Вс. Мейерхольда во главе с Мейерхольдом, чтобы слушать чтение новой, только что написанной пьесы Маяковского. Нового драматического произведения Маяковского с нетерпением ожидали и зрители, и деятели литературы, и особенно актеры, горячо любившие Маяковского и жаждавшие играть в его пьесе.

Поэт вышел вперед с небольшой тетрадкой в руке и произнес заголовок комедии: «Клоп». <…>

Очень скоро начались репетиции. Маяковский бывал почти на всех репетициях и очень внимательно прислушивался к предложениям Мейерхольда и к пожеланиям актеров. На репетиции второй картины («Молодняцкое общежитие») Мейерхольд посоветовал разбить одну из реплик Слесаря на четыре тремя одинаковыми восклицаниями Босого («Врешь!»). Поэт так и сделал; диалог оживился. Часто Маяковский приходил на репетицию с новым текстом какой-нибудь реплики, с дополнением к сцене.

**Мария Федоровна Суханова:**

Он постоянно бывал на репетициях, делал замечания, поправки, а иногда и сам появлялся на сцене, показывал роль. Так однажды на очередной репетиции третьей картины – «Свадьба» он поднялся на сцену, схватил со свадебного стола вилку и сыграл роль парикмахера со словами: «Шиньон гоффре делается так: берутся щипцы, нагреваются на слабом огне а-ля этуаль и взбивается на макушке этакое волосяное суфле». Мы так и покатились со смеху! Надо было видеть, как нагнулся большой Маяковский в позе парикмахерской слащавой услужливости, как оттопырил мизинец левой руки и, поворачивая голову посаженой матери, заходя то справа, то слева, орудовал вилкой как щипцами и наконец разрушил ей прическу.

**Игорь Владимирович Ильинский** *(1901–1987), советский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР (1949):*

Надо сказать, что работа над спектаклем «Клоп» протекала очень быстро. Спектакль был поставлен немногим более чем за месячный срок. Я же работал около месяца. Несмотря на спешку и несколько нервную из-за этого обстоятельства обстановку, Маяковский был чрезвычайно спокоен и выдержан. Многое не выходило у актеров и у меня в их числе. Подчас сердился Мейерхольд, но Маяковский был ангельски терпелив и вел себя как истый джентльмен. Этот, казалось бы, резкий и грубый в своих выступлениях человек в творческом общении

был удивительно мягок и терпелив. Он никогда не шпынял актеров, никогда, как бы они плохо ни играли, не раздражался на них.

**Александр Вильямович Февральский:**

Кроме того, он вообще активно участвовал в работе над постановкой. Именно по его предложению Мейерхольдом были привлечены к оформлению первой части спектакля Кукрыниксы – тогда еще начинающие художники-карикатуристы, а второй части – сотрудник и друг Маяковского художник-конструктивист А. М. Родченко. Помню, как в начале работы над постановкой Маяковский, участвуя в совещании по декоративному оформлению спектакля, вносил конкретные предложения. И далее он просматривал эскизы художников и давал ценные указания по костюму, по гриму – его опыт и вкус художника принесли немалую пользу.

**Дмитрий Дмитриевич Шостакович** *(1906–1975), композитор:*

В начале 1929 года Всеволод Эмильевич Мейерхольд, ставивший «Клопа», предложил мне написать музыку к спектаклю. Я с удовольствием принялся за работу. < … >

У меня состоялось несколько бесед с Маяковским по поводу моей музыки к «Клопу». Первая из них произвела на меня довольно странное впечатление. Маяковский спросил меня: «Вы любите пожарные оркестры?» Я сказал, что иногда люблю, иногда нет. А Маяковский ответил, что он больше любит музыку пожарных и что следует написать к «Клопу» такую музыку, которую играет оркестр пожарников.

Это задание меня вначале изрядно огорошило, но потом я понял, что за ним скрыта более сложная мысль. В последующем разговоре выяснилось, что Маяковский любит музыку, что он с большим удовольствием слушает Шопена, Листа, Скрябина. Ему просто казалось, что музыка пожарного оркестра будет наибольшим образом соответствовать содержанию первой части комедии, и, для того чтобы долго не распространяться о желаемом характере музыки, Маяковский просто воспользовался кратким термином «пожарный оркестр». Я его понял.

Ко второй части «Клопа» Маяковский хотел, чтобы музыка была в другом роде.

Мне нравилось в Маяковском, что он не любил пышных фраз. Говоря о моей музыке к «Клопу» во второй части пьесы, он просил, чтобы она была простой, «простой, как мычание», чтобы

не было никаких особенных эмоций, как он выразился. Мы говорили не о музыке будущего вообще, а о музыке к определенному месту спектакля, например: открывается зоосад – оркестр играет торжественный марш.

Не берусь судить, понравилась Маяковскому моя музыка или нет, он ее прослушал и кратко сказал: «В общем, подходит!» Эти слова я воспринял как одобрение, ибо Маяковский был человеком очень прямым и лицемерных комплиментов не делал.

**Игорь Владимирович Ильинский:**

Премьера «Клопа» прошла с большим успехом. Маяковский был вполне удовлетворен приемом пьесы публикой и не пропускал на первых порах ни одного спектакля. Его вызывали неистово, и он выходил раскланиваться вместе с Мейерхольдом всякий раз, когда бывал на спектаклях.

# «Баня»

**Софья Сергеевна Шамардина:**

Помню вечера у Бриков и Маяковского, когда читал что-нибудь новое. Помню чтение «Бани». Всегда постоянный узкий круг друзей его. <…> Вот «Баню» читает. Мы немножко опоздали с Иосифом. В передней, как полагается, приветливо встречает Булька. Тихонечко входим в маленькую столовую, до отказа заселенную друзьями Маяковского. И Мейерхольд здесь с Зинаидой Райх. Вижу и привычный в этом доме профиль Катаняна. Любил Маяковский свою «Баню», с таким удовольствием читал ее. Еще после этого раза два-три слушала ее в его чтении. Один раз у Мейерхольда дома читал отрывки. Я шутя сказала: «Боже, опять „Баня“!» – «Ничего. И еще будешь слушать. Я ее еще долго читать буду».

**Валентин Петрович Катаев:**

Сняв, по своему обыкновению, пиджак и повесив его на спинку стула, Маяковский развернул свою рукопись – как Мейерхольд любил говорить: манускрипт, – хлопнул по ней ладонью и, не теряя золотого времени на предисловие, торжествующе прорычал:

– «Баня», драма в шести действиях! – причем метнул взгляд в нашу сторону, в сторону писателей; кажется, он при этом даже задорно подмигнул.

Он читал отлично, удивив всех тонким знанием украинского языка, изображая Оптимистенко, причем сам с трудом удерживался от смеха, с усилием переводя его в однобокую улыбку толстой, подковообразной морщиной, огибающей край его крупного рта с прилипшим окурком толстой папиросы «госбанк».

После чтения, как водится, начались дебаты, которые, с чьей-то легкой руки, свелись, в общем, к тому, что, слава Богу, среди нас наконец появился новый Мольер.

Как говорится, читка прошла «на ура», и по дороге домой Маяковский был в прекрасном настроении и все время допытывался: не кажется ли нам, что в шестом действии чего-то не хватает?

– Чего же?

– Не знаю. Вам, как автору всемирно популярной «Вишневой квадратуры», должно быть виднее. Нет, нет, не сердитесь, это я любя.

– Любя вставили мой водевильчик в свою высокую комедию?

– Зато какая реклама! Так все-таки чего же не хватает у меня в шестом действии?

– Не знаю.

– А я знаю, – подумав, сказал Маяковский. – Еще должен быть какой-то вставной номер о пафосе наших дней. Без того нет равновесия. Я его завтра утром напишу.

Однако вскоре на пути «Бани», к общему удивлению, появилось множество препятствий – нечто весьма похожее на хорошо организованную травлю Маяковского по всем правилам искусства, начиная с псевдомарксистских статей одного из самых беспринципных рапповских критиков, кончая замалчиванием «Бани» в газетах и чудовищными требованиями Главреперткома, который почти каждый день устраивал обсуждение «Бани» в различных художественных советах, коллективах, на секциях, пленумах, президиумах, общих собраниях и где заранее подготовленные ораторы от имени советской общественности и рабочего класса подвергали Маяковского обвинениям во всех смертных литературных грехах – чуть ли даже не в халтуре.

Дело дошло до того, что на одном из обсуждений кто-то позволил себе обвинить Маяковского в великодержавном шовинизме и издевательстве над украинским народом и его языком.

Никогда еще не видел я Маяковского таким растерянным, подавленным. Куда девались его эстрадная хватка, убийственный юмор, осанка полубога, поражающего своих врагов одного за другим неотразимыми остротами, рождающимися мгновенно.

Он, первый поэт Революции, как бы в один миг был сведен со своего пьедестала и превращен в рядового, дюжинного, ничем не выдающегося литератора, «протаскивающего свою сомнительную пьеску на сцену».

Маяковский не хотел сдаться и со все убывающей энергией дрался за свою драму в шести действиях, которая сейчас, когда я пишу эти строки, уже давно и по праву считается классической.

– Слушайте, Катаич, что они от меня хотят? – спрашивал он почти жалобно. – Вот вы тоже пишете пьесы. Вас тоже так режут? Это обычное явление?

– Ого!

Я вспомнил экземпляр одной из своих пьес, настолько изуродованный красными чернилами, что Станиславский несколько дней не решался мне его показать, опасаясь, что я умру от разрыва сердца.

Маяковский брал меня с собой почти на все читки. По дороге обыкновенно советовался:

– А может быть, читать Оптимистенко без украинского акцента? Как вы думаете?

– Не поможет.

– Все-таки попробую. Чтобы не быть великодержавным шовинистом.

И он пробовал.

Помню, как ему было трудно читать текст своего Оптимистенко «без украинского акцента». Маяковский всю свою энергию тратил на то, чтобы Оптимистенко получился без национальности, «никакой», бесцветный персонаж с бесцветным языком. В таком виде «Баня», конечно, теряла половину своей силы, оригинальности, яркости, юмора.

Но что было делать? Маяковский, как мог, всеми способами спасал свое детище. Все равно не помогло. К великодержавному шовинизму на этот раз, правда, не придирались, но театр обвинили в «барски пренебрежительном отношении к рабочему классу».

– Что это за Велосипедкин! Что это за Фоскин, Двойкин, Тройкин! Издевательство над рабочей молодежью, над комсомолом. Да и образ Победоносикова подозрителен. На кого намекает автор? И прав товарищ Мартышкин, когда отмечает, что характеры, собранные Маяковским, далеко не отвечают требованиям единственно правильной марксистской теории живого человека. Так что учтите это, товарищ Маяковский, пока еще не поздно, пока вы еще не скатились в мелкобуржуазное болото.

– Запрещаете?

– Нет, не запрещаем.

– Значит, разрешаете?

– Не разрешаем.

– А что же?

– А то, что сделайте для себя надлежащие выводы, если не хотите из левого попутчика превратиться в попутчика правого, а то еще и похуже…

Маяковский метался по фанерному закутку среди приказов и пожелтевших плакатов, как бы с трудом пробиваясь сквозь слоеные облака табачного дыма, висевшего над столом с блюдечками, наполненными окурками, с исписанными листами газетного срыва, с обкусанными карандашами и чернильницами-непроливайками с лиловыми чернилами, отливающими сухим металлическим блеском. И за его острыми, угловатыми движениями с каменным равнодушием следили разнообразные глаза распаренных многочасовым заседанием членов этого адского художественного совета образца тысяча девятьсот

двадцать девятого года, как бы беззвучно, но зловеще повторяющих в такт его крупных шагов: «Очернительство… очернительство… очернительство…»

**Александр Вильямович Февральский:**

«Клоп» получил много одобрительных отзывов в печати и завоевал прочный успех у зрителей. Путь «Бани» был более трудным.

За полтора месяца до мейерхольдовской постановки – 30 января 1930 года – «Баню» показал зрителям Драматический театр Государственного народного дома в Ленинграде. Увлекшись подзаголовком пьесы «драма с цирком и фейерверком», этот театр так насытил свое представление цирковыми приемами, что они часто приобретали самодовлеющее значение. И это помешало театру донести содержание пьесы до зрителей.

Критики, писавшие о «Бане», не смогли или не захотели разобраться в спектакле и увидеть ценность пьесы Маяковского, понять ее идейную направленность, которую театр Нардома не сумел воплотить на сцене. В ленинградской печати появились огульно отрицательные отзывы и о спектакле и о пьесе.

Ленинградские рецензии на «Баню» были началом натиска на это произведение Маяковского, предпринятого его противниками на страницах печати.

Выступления в газетах против «Бани» были в целом организованы группировкой, задававшей тон в верхушке РАПП и пытавшейся командовать советской литературой. Заправилы РАПП ненавидели Маяковского, потому что по самому своему существу творчество этого гиганта опрокидывало их убогие догматические схемы и подчеркивало полную беспочвенность их претензий на руководство литературной жизнью. И хотя Маяковский вступил в РАПП, они продолжали разными способами травить его.

В феврале 1930 года, незадолго до премьеры «Бани», в журнале «На литературном посту» (а 9 марта и в «Правде») появилась статья В. В. Ермилова «О настроениях мелкобуржуазной „левизны“ в художественной литературе». Автор был знаком с «Баней», как он сам признавался, лишь «по опубликованному отрывку». Это не помешало ему опорочить идейное содержание пьесы Маяковского. Критик обвинял Маяковского в преувеличении «победоносиковщины».

Мейерхольд ответил Ермилову статьей «О „Бане“ В. Маяковского» в «Вечерней Москве» от 13 марта 1930 года, а Маяковский ответил стихами. Во время спектаклей «Бани»

на сцене и по зрительному залу были развешены лозунги, написанные Маяковским и подчеркивавшие политическую направленность пьесы и эстетические принципы ее автора и театра. На одном из полотнищ можно было прочитать:

А еще
бюрократам
помогает перо
критиков
вроде Ермилова…

Лозунг этот вызвал озлобление в руководстве РАПП и под его давлением был снят со стены зрительного зала. Много лет спустя бывшая сотрудница МАПП (Московской ассоциации пролетарских писателей) рассказала мне, что однажды Маяковский, придя к одному из секретарей МАПП, вышел из его кабинета явно не в духе, тут же позвонил по телефону в театр и попросил снять лозунг. Но, как известно, в предсмертном письме он сожалел об этом: «Ермилову скажите, что жаль – снял лозунг, надо бы доругаться».

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Перед премьерой «Бани» он совсем извелся. Все время проводил в театре. Писал стихи, надписи для зрительного зала к постановке «Бани». Сам следил за их развешиванием. Потом острил, что нанялся в Театр Мейерхольда не только автором и режиссером (он много работал с актерами над текстом), а и маляром и плотником, так как он сам что-то подрисовывал и приколачивал. Как очень редкий автор, он так горел и болел спектаклем, что участвовал в малейших деталях постановки, что совсем, конечно, не входило в его авторские функции.

**Мария Федоровна Суханова:**

16 марта 1930 года состоялась премьера «Бани». Пресса о спектакле была отрицательная. Принимался спектакль очень странно: часть зрителей сидела как каменная, другая часть принимала спектакль хорошо.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

На премьере «Бани» Владимир Владимирович держал себя крайне вызывающе. В антрактах очень резко отвечал на критические замечания по поводу «Бани». Похвалы выслушивал рассеянно и небрежно. Впрочем, к нему подходило мало народу, многие как бы сторонились его, и он больше

проводил время за кулисами или со мной. Был молчалив, задумчив. Очень вызывающе кланялся, после конца поговорил со зрителями.

**Михаил Михайлович Зощенко** *(1894–1958), писатель-сатирик:*

Публика встречала пьесу с убийственной холодностью. Я не помню ни одного взрыва смеха. Не было даже ни одного хлопка после двух первых актов. Более тяжелого провала мне не приходилось видеть.

**Игорь Владимирович Ильинский:**

После спектакля, который был не очень тепло принят публикой (и этот прием, во всяком случае, болезненно почувствовал Маяковский), он стоял в тамбуре вестибюля один и пропустил мимо себя всю публику, прямо смотря в глаза каждому выходящему из театра.

**Владимир Владимирович Маяковский:**

Товарищи, я существую 35 лет физическим своим существованием и 20 лет – так называемым творческим, и все время своего существования я утверждаю свои взгляды силами собственных легких, мощностью, бодростью голоса. И не беспокоюсь, что вещь моя будет аннулирована. В последнее время стало складываться мнение, что я общепризнанный талант, и я рад, что «Баня» это мнение разбивает. Выходя из театра, я вытираю, говоря, конечно, в переносном смысле, плевки со своего могучего чела.

**Анатолий Борисович Мариенгоф:**

Еще драматичнее было после премьеры «Бани» у Мейерхольда. Жидкие аплодисменты. Актеры разбежались по уборным, чтобы спрятаться от Маяковского. Шныряли взглядами те, кто попадался ему на глаза. Напряженные, кисло-сладкие улыбки. От них и со стороны тошнило.

Словом, раскрылась обычная картина неуспеха.

А у Маяковского дома уже был накрыт длинный стол «на сорок персон», как говорят лакеи.

Явилось же пять человек.

Среди них случайно оказалась актриса Художественного театра Ангелина Осиповна Степанова.

Ее увидал Маяковский в вестибюле и пригласил:

– Поедем ко мне выпить коньячку. Отказаться было неловко.

За ужином он сидел во главе пустынного стола. Сидел

и мрачно острил. Старался острить.

Непригодившиеся тридцать пять приборов были, как покойники.

Встретив на другой день Николая Эрдмана, Ангелина Осиповна сказала ему:

– Это было очень страшно.

– Да. Вероятно. Не хотел бы я очутиться на вашем месте. И на его тоже. На его и подавно.

**Александр Вильямович Февральский:**

В те же дни Маяковский беседовал с группой актеров, игравших в спектакле. Молодая актриса Надя Березовская спросила его, какую пьесу он бы теперь написал. Поэт, не задумываясь, ответил: «Еще раз „Баню“».

# «20 лет работы»

**Осип Максимович Брик:**

В конце 1929 года Володя завел разговор о том, что он хочет сделать свою выставку – хочет собрать свои книжки, плакаты, материалы – и как бы отчитаться за 20 лет работы. Говорил он об этой выставке спокойно, деловито – как об очередной форме выступления. Когда-то он устраивал «Дювлам», всякие отчетные вечера, а теперь «20 лет работы». Нам не могло прийти в голову, что Володя придает этой отчетной выставке особое значение.

Володя захотел признания. Он хотел, чтобы мы, рефовцы, взяли на себя организацию его выставки и чтобы на выставку пришли представители партии и правительства и сказали, что он, Маяковский, хороший поэт. Володя устал от борьбы, от драк, от полемики. Ему захотелось немножко покоя и чуточку творческого комфорта.

Володя видел, что всякие «рвачи и выжиги» писательские живут гораздо лучше, чем он, спокойней и богаче. Он не завидовал им, но он считал, что имеет больше них право на некоторые удобства жизни, а главное, на признание.

Вот с целью получить это признание Володя и затеял свою выставку.

Ничего этого мы тогда не сообразили и никак не могли понять, чего это Володя нервничает, сердится на нас и не то чтобы прямо, а как-то намеками, полусловами попрекает нас, что мы ничего не делаем для его выставки. Он сделался ворчлив, капризен, груб и в конце концов со всеми рефовцами поссорился. Мне он сказал: «Если бы нас с тобой связывал только РЕФ, я бы и с тобой поссорился, но нас с тобой еще другое связывает».

Я видел, что Володя в отвратительном состоянии духа, что у него расшатались нервы, но подлинной причины его состояния я не подозревал. Слишком непохоже и непривычно было для Володи это желание быть официально признанным – слишком привык я видеть Володю в боевом азарте, в драке, в полемике…

**Лили Юрьевна Брик.** *Из дневника:*

*8.12.1929.* Володя собирает матерьялы для своей выставки и в ажиотаже от того, сколько он наработал.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Семейное празднование <…> двадцатилетнего юбилея решено было устроить под Новый год в Гендриковом. 30 декабря

и состоялось это празднование.

Маяковский был изгнан на весь день из дому, и в квартире шло приготовление к вечеру. Комнаты украшены плакатами, раздвинута мебель, устроена выставка книг и фотографий. Так как квартира была очень маленькая и стен для развески афиш не хватило, афиши и плакаты были прикреплены к потолку столовой.

**Павел Ильич Лавут:**

На квартиру в Гендриков переулок принесли афиши, плакаты, книги, альбомы. Приглашая гостей, Владимир Владимирович предупреждал:

– Каждый должен захватить бутылку шампанского. Ничего больше не требую. Ведь это не встреча Нового года.

Когда я уходил от него накануне после делового свидания и спускался по лестнице, он порывисто открыл дверь и весело крикнул вслед:

– Не забудьте шампанское! Многие думают, что на мужа и жену можно ограничиться одной. Предупреждаю всех: бутылку на каждого человека!

Столовый стол вынесли – иначе гости не уместились бы в комнате. Сидели на диванчиках с матерчатыми спинками, прибитыми к стенам, на подушках, набросанных на полу.

До прихода гостей явился артист М. М. Яншин, чтобы помочь разложить и развесить экспонаты. Мы с ним прикнопывали афиши даже к потолку. Наискосок красовалась длинная лента: М-А-Я-К-О-В-С-К-И-Й.

**Галина Дмитриевна Катанян:**

Пришли Штеренберги, Денисовский, Асеевы, Кирсановы, Жемчужные, Незнамов, Каменский, Степанова и Родченко, Яншин с Полонской, Наташа, Горожанин, Назым Хикмет, Гринкруг, Кассиль…

Народу человек сорок, просто непонятно, как мы все помещаемся в маленьких комнатках.

**Павел Ильич Лавут:**

От В. Э. Мейерхольда привезли корзины с театральными костюмами. Вначале гости сами рылись и выбирали подходящие. Позже приехал Мейерхольд. Он активно помогал в подборе костюмов и масок. <…>

Юбиляр сел верхом на стул, нацепил маску козла и серьезным блеянием отвечал на все «приветствия».

**Галина Дмитриевна Катанян:**

Хор исполняет кантату с припевом:

Владимир Маяковский,
Тебя воспеть пора,
От всех друзей московских
Ура! Ура! Ура!

Произносится несколько торжественно-шутливых речей. Под аккомпанемент баяна, на котором играет Вася Каменский, я пою специально сочиненные Кирсановым частушки:

Кантаты нашей строен крик,
Кантаты нашей строен крик.
Наш запевала Ося Брик,
Наш запевала Ося Брик!

Рефрен:

Владимир Маяковский,
Тебя воспеть пора,
От всех друзей московских
Ура! Ура! Ура!

**Лев Абрамович Кассиль:**

Маяковского чествуют «от подрастающего поколения». Дочь одного из художников, одетая маленькой девочкой, волнуясь, подносит перевязанный розовой ленточкой свиток стихов:

И все теперь твои мы дети,
В том смысле, что ученики.

Маяковский нежно блеет из-под своей маски.

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Вся программа вечера была посвящена Маяковскому. Были показаны шарады и инсценировки на тексты стихов Маяковского. Я придумала взять строчку из стихотворения «О том, как некоторые втирают очки товарищам, имеющим циковские значки»:

…ботики снял
и пылинки с ботиков.

Я вошла в ботиках, потом сняла их и стала сдувать невидимую пыль. Это было не очень вразумительно. Маяковский не смог отгадать, что это значит, а Лиля сказала:

– Ну, это, по-видимому, что-то очень личное…

<…> Мы изо всех сил старались, чтоб вечер был пышный и веселый. Василий Каменский играл на баяне. Потом все мы переодевались, надевали на себя какие-то парики, бороды и маски и в таком виде фотографировались. Я была в новом черном шелковом платье с зубчиками на подоле.

Но Маяковский в этот вечер был невеселый.

**Галина Дмитриевна Катанян:**

Веселятся все, кроме самого юбиляра. Маяковский мрачен, очень мрачен. Лиля говорит вполголоса:

– У Володи сегодня le vin triste[10].

Лицо его мрачно, даже когда он танцует с ослепительной Полонской в красном платье, с Наташей, со мною… Видно, что ему не по себе…

**Лев Абрамович Кассиль:**

Поздно ночью Маяковского упрашивают прочесть какие-нибудь прежние его стихи. Он долго отнекивается, жалуется, что глотка сдала, что все давно им сделанное сейчас уже неинтересно.

**Галина Дмитриевна Катанян:**

Кто-то просит его прочесть стихи, мы все присоединяемся к этой просьбе. Он встает нехотя, задумывается. Читает «Хорошее отношение к лошадям». Потом начинает «Историю про бублики», но на половине стихотворения бросает.

И больше ничего не хочет читать.

**Лев Абрамович Кассиль:**

В январе 1930 года Маяковский готовит выставку «Двадцать лет работы». Не словесного, а делового, серьезного признания хочет он добиться этой выставкой. Он готовит армию своих стихов к новому наступлению. Он хочет показать, как он вооружен. <…>

Не все даже близкие друзья понимают его.

Некоторые из старых товарищей Маяковского полагают, что надо делать общую выставку левого искусства, устроить какой-то юбилей футуризма. Маяковский не соглашается с этим. Футуризм

как таковой давно уже умер. Речь идет о боевой работе советского поэта. Ее хочет показать Маяковский, за нее хочет он агитировать своей выставкой. Не любоваться своим прошлым, а, показав сегодняшнюю работу, тащить литературу в будущее – вот чего добивается Маяковский.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

На выставке он возился <…> сам.

Я зашла к нему как-то в Клуб писателей.

Владимир Владимирович стоял на стремянке, вооружившись молотком, и сам прибивал плакаты. (Помогал ему только Лавут, но у Лавута было много дел в связи с организацией выставки, так что Владимир Владимирович устраивал все почти один.)

**Павел Ильич Лавут:**

Владимир Владимирович вникал во все и активно во всем участвовал. Он, например, указал на то, что «Окна РОСТА» можно получить в Музее Революции и в Третьяковской галерее; материал, связанный с его подпольной работой, – в Центроархиве. Книги и фото имеются у сестер, у Родченко и у других. Афиши находились у него самого, у меня, у Каменского – дореволюционные и первых лет революции. Недостающие я надеялся достать в Книжной палате. Но их там не оказалось. Журналы и газеты собирались по редакциям. В «Известиях», помню, нашелся весьма боевой мужчина, который в ответ на скромную просьбу резко выпалил: «Маяковскому – отказать». С трудом удалось приобрести несколько экземпляров газет из старых комплектов, уплатив за них… по номиналу.

Связались с редакциями провинциальных газет. Список, далеко не полный, составил Маяковский по вырезкам, которые получал. Просили отвечать по адресу художника А. М. Родченко. Мало кто удостоил ответом.

Наряду с перечисленными уже мной выставочными разделами был один весьма своеобразный: тысячи записок. Их сортировали по темам и городам знакомые Владимира Владимировича в его рабочем кабинете на Лубянке. Записки перепечатывались затем на машинке с большими интервалами, отделявшими одну от другой.

Маяковский предложил такой метод печатания, имея в виду свою будущую книгу «Универсальный ответ записочникам». В интервалы он хотел вписать свои ответы – расширить, углубить их, обобщить.

**Артемий Григорьевич Бромберг** *(1903–1966), литератор,*

*музейный работник; один из создателей «Бригады Маяковского», помогал в устройстве выставки «20 лет работы»:*

Страницы из записных книжек с черновиками были прикреплены к стенду кнопками.

– Надо бы выбросить их в корзинку. Что я, академик? Вот Брик все говорит: «Надо показать, надо показать! Интересно!» А чего интересного? Пусть видно будет, что я еще не заакадемичился и не берегу их!

**Павел Ильич Лавут:**

Владимир Владимирович просил, кроме «Окон РОСТА», достать и другие плакаты с его текстами, сделанные за последние годы на бытовые, противопожарные, санитарные и другие темы. Я раздобыл: «Гигиена труда», «Трудовая дисциплина», «За санкультуру», рекламные и прочие. <…>

И вот – выставка открыта.

**Афиша выставки:**

***ВЫСТАВКА «20 ЛЕТ РАБОТЫ МАЯКОВСКОГО»***

Показываем:
Книги. Детское. Журналы. Газеты Москвы.
Газеты СССР. Плакаты. «Окна сатиры».
Рекламы. Выступления. Театр. Записки.
Критика. Кино. Радио. Биография.
На выставке (в аудитории) объяснения работников Рефа.
Выступления Маяковского.

**Павел Ильич Лавут:**

При входе лежала тетрадь, в которой расписывались посетители. В ней было две графы: имя и профессия. За первые часы (потом, в толкотне, расписывались немногие) отметились 44 вузовца, 36 учащихся (привожу профессии так, как их обозначали сами посетители), 18 рабочих и работниц (в их числе: 2 слесаря, кочегар, чернорабочий), 8 журналистов, 3 поэта (один из них Сулейман Рустам), 2 литератора, художник (А. Редькин), научный работник Бромберг, литературовед (А. Цинговатов), работник МХАТа (П. Марков), Б. Малкин – близкий знакомый Маяковского (без указания профессии), переводчица, репортер, 3 библиотекаря, библиограф, востоковед, юрист, 4 экономиста.

2 февраля в тетради появились подписи: Б. Ливанов (актер),

3-го – Бесо Жгенти (писатель), 4-го – Вадим Баян (литератор), С. Кац (пианист), С. Сутоцкий (книго-уч) и т. д. Расписался один служащий ФОСПа (то есть того учреждения, в помещении которого находилась выставка).

Затем в тетради возникли подписи посетителей, по-разному трактующих простое слово «профессия».

Например, в графе «профессия» кто-то подмахнул: «Нету» и: «Случайно зашел не от любви к Маяковскому». <…>

Среди журналов, на отдельной большой витрине – «1-й журнал российских футуристов», «Взял», «Новый сатирикон», все советские журналы, в том числе «Изобретатель», «За рулем», «Женский журнал», «Трезвость и культура», «Радиослушатель», «Пионер», «Октябрьские всходы».

В разделе «Книги о Маяковском» были выставлены: «Ленин» Яхонтова, «Маяковский-футурист» В. Сперанского, «Диалог Есенина с Маяковским» И. В. Грузинова и ноты «Левого марша» С. Каца.

На стенде «Газеты Москвы» были выставлены: «Газета футуристов», «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Пионерская правда», «Электрозавод», «Кооперативная деревня». (Всего их было 16.)

Отдельно – «Газеты СССР» (35 названий): «Ойротский край», «Бурят-Монгольская правда», «Уральский рабочий», «Амурская правда», «Барабинская деревня», «Красноармеец», «Шуйский пролетарий», «Звезда Алтая», «Червоноармеец», «Красный Дагестан», «Средневолжская деревня», «Бакинский рабочий» и другие.

В левом углу щита с газетами висела крупная надпись: «Маяковский не понятен массам», причем слова «не понятен» были нарисованы гораздо мельче, чем остальные, так что издали казалось: «Маяковский… массам». <…>

В противоположном углу посетители знакомились с макетами постановок «Мистерии-буфф» и «Клопа», с картой поездок по Союзу и большой диаграммой «Маяковский на эстраде» (1926–1930) 150 850 слушателей, 54 города-кружка». Стены были увешаны сорока афишами, среди которых: «Футуристы» (дореволюционные выступления в Казани и Киеве), «Дирижер трех Америк» (московская), «Как писать стихи», афиши московских и ленинградских постановок «Клопа» и «Бани». Рядом – афиша совместного выступления с Асеевым – «Даешь изящную жизнь», афиши вечеров и диспутов с участием Маяковского – «Быт и религия», «Леф или блеф?», «Вечер 6 журналов». Наконец, плакаты, в том числе «Мистерия-буфф» (первая постановка пьесы), два плаката кинофильмов: «Не

для денег родившийся» и «Закованная фильмой», в которых в 1918 году играл Маяковский (он же, как известно, автор сценариев).

Последние две витрины были посвящены «Лаборатории» – рукописям Маяковского и его «Биографии», – тут висела фотография, снятая в московской охранке, и документы «Дела Маяковского».

На столе, кроме каталогов, лежали папки с записками, альбомы «Окон РОСТА», альбомы со статьями о книгах и выступлениях (отдельный альбом был посвящен статьям иностранной прессы), с карикатурами и фото.

Во второй и третьей комнатах: «Окна сатиры РОСТА», плакаты Помгола и остальные: «Вопросы труда» («Прогульщика-богомольца с завода вон», «Даешь пятилетку в четыре года» и т. д. – всего двадцать), «Охрана здоровья» («Мой руки», «Плюй в урну» и др.), «Техника безопасности», «Профсоюзные плакаты» и, наконец, «Реклама».

**Владимир Владимирович Маяковский:**

Чтоб эта выставка
стала полной –
надо перенести сюда
трамваи
и
поезда,
расписанные
боевыми
строками.
Атаки,
горланившие
частушки.
Заборы,
стены
и
флаги,
проходившие
под
Кремлем,
раскидывая
огонь
лозунгов.

**Лили Юрьевна Брик.** *Из дневника:*

*1.2.1930.* Выставка недоделанная, но все-таки очень интересная. Володя переутомлен, говорил страшно устало. Кое-кто выступил, потом он прочел вступление в новую поэму – впечатление произвело очень большое, хотя читал по бумажке и через силу.

**Александра Алексеевна Маяковская:**

В 1930 году, 1 февраля, Володя устроил в Москве выставку, на которой показал всю свою огромную работу – книги, стихи в журналах и газетах, рисунки.

Мы были на выставке. Володя показывал нам материал и говорил:

– Я сам не ожидал, что такое количество нарисовал и написал!

**Вероника Витольдовна Полонская:**

В день открытия выставки у меня был спектакль и репетиции. После спектакля я встретилась с Владимиром Владимировичем. Он был усталый и довольный. Говорил, что было много молодежи, которая очень интересовалась выставкой.

Задавали много вопросов. Маяковский отвечал как всегда сам и очень охотно. Посетители выставки не отпускали его, пока он не прочитал им несколько своих произведений. Потом он сказал:

– Но ты подумай, Нора, ни один писатель не пришел!.. Тоже, товарищи!

**Лили Юрьевна Брик:**

Помню, что Володя в этот день был не только усталый, но и мрачный. Он на всех обижался, не хотел разговаривать ни с кем из товарищей, поссорился с Асеевым и Кирсановым. Когда они звонили ему, не подходил к телефону. О Кассиле сказал: «Он должен за папиросами для меня на угол в лавочку бегать, а он гвоздя на выставке не вбил».

Эта мрачность запечатлена на фотографии, снятой в тот день, на фоне плаката РОСТА. Не понимаю, почему именно она получила такое широкое распространение!..

**Наталия Александровна Луначарская-Розенель:**

Анатолий Васильевич (Луначарский. – Сост.) приехал оттуда неразговорчивый и мрачноватый. Когда я стала расспрашивать его, он неохотно ответил:

– Да, безусловно, это интересно. Двадцать лет гигантского труда, стихи, театр, агитплакаты, турне по всему Союзу, по Европе, США, Латинской Америке… Двадцать лет

сверхактивной, творчески напряженной жизни – все это нашло отражение на этой выставке. Ты непременно там побывай. Но – я не могу даже точно определить, в чем дело, – чем-то эта выставка меня не удовлетворила.

Потом, через некоторое время, он добавил:

– Пожалуй, мне становится ясным, почему у меня остался неприятный осадок от сегодняшней выставки: виной этому, как ни странно, сам Маяковский. Он был как-то совсем непохож на самого себя, больной, с запавшими глазами, переутомленный, без голоса, какой-то потухший. Он был очень внимателен ко мне, показывал, давал объяснения, но все через силу. Трудно себе представить Маяковского таким безразличным и усталым. Мне приходилось наблюдать много раз, когда он бывал не в духе, раздражен чем-нибудь, когда он бушевал, негодовал, разил направо и налево, с размаху задевал иногда и «своих». Я предпочитаю его таким по сравнению с его нынешним настроением. На меня это подействовало угнетающе.

Я удивилась, что Анатолий Васильевич так сильно реагирует на это: ведь любому человеку случается быть не в духе, усталым или больным.

– Ну, любому, – ответил Луначарский, – но не Маяковскому. – А потом после паузы сказал: – Мне сегодня показалось, что он очень одинок.

# Последнее

**Александр Николаевич Тихонов:**

На эстраде и вообще на людях он держался плакатно, а кто знает, сколько ночей он провел без сна, мучаясь от тоски, уязвленного самолюбия и неуверенности в своих силах.

В одну из таких ночей я встретил его в Москве. По высохшему руслу Кузнецкого он накатился на меня сверху, от Лубянки, огромным черным валуном.

Столкнулись на Неглинной.

– Сто лет!.. Почему не заходите?

Пошли вместе шагать по Москве и прошагали до рассвета: то он провожал меня на Пречистенку, то я его на Лубянку.

Москва спала. Во всем городе только и разговаривали мы двое да паровозы на вокзалах.

– К черту! – гудел он, раздавливая американской подошвой Моховую улицу. – Довольно тыкать в меня Пушкиным… Надоело… Слава, как борода у покойника, вырастет у меня после смерти. При жизни я ее брею… У Пушкина – длинная. Уже столетие, как ее расчесывают… А где мой Белинский? Кто – Вяземский? Друзья?.. У меня нет друзей. А иногда такая тоска – хоть женись! Вот иду в РАПП!.. Посмотрим, кто кого! Смешно быть попутчиком, когда чувствуешь себя революцией… Я и без этих сосунков знаю все про «живого» человека… Знаю, что уже пора революцию петь гекзаметром, как Гомер «Илиаду»… Знаю! Вот только не умею…

– К черту! – гудел он, протыкая тростью Тверскую. – Легко сказать – плюнуть… Я уж не плюю, а харкаю кровью… Не помогает… Лезут… И мне кажется, я уже никому больше не нужен… Бросьте комплименты… Вы были на моей выставке? Вот видите, даже вы не пришли, а я нашу книжку положил на видное место… А на «Бане» небось свистели? Не умеете? Зачем же тогда ходите в Большой театр? Я вас там видел…

– К черту! – гремел он, стоя на Лубянской площади собственным памятником. – Стихи писать брошу. Давно обещал… Помните предисловие к моей книжке «Все»? Впрочем, это не вы издавали! Если не сдохну, – займусь прозой. Хочу писать роман… И тема уже есть подходящая… Вы чем теперь заправляете? Издательством «Федерация»? Ну вот, еще раз будете моим крестным отцом!..

**Николай Николаевич Асеев:**

В последнее время нам казалось, что Маяковский ведет себя

заносчиво, ни с кем из товарищей не советуется, действует деспотически. Ко всему этому положение между ним и целой группой его сотрудников было обостренное. С ним оставались только О. М. Брик, В. А. Катанян, П. В. Незнамов. Брики скоро уехали в Англию на два месяца, мне очень хотелось к Маяковскому, но было установлено не потакать его своеволию и не видеться с ним, покуда он сам не пойдет навстречу. Близкие люди не понимали его душевного состояния. Устройству его выставки никто из лефовцев не помог. Так создалось невыносимое положение разобщенности.

**Наталья Федоровна Рябова:**

После выставки Маяковский сильно изменился, нервничал, был мрачным. Бриков не было в Москве. Все чаще звонила по телефону какая-то одна женщина. Я понимала, что это одна и та же, так как разговоры были все время почти одинаковые. Мне трудно сейчас воспроизвести их, но впечатление у меня осталось, что это были все какие-то инструкции, даваемые Маяковскому, для сокрытия уже бывших встреч и организации будущих. Во время этих разговоров Маяковский всегда волновался, потом долго ходил по комнате молча. Я, конечно, понимала, что у Владимира Владимировича не все хорошо, но спросить что-нибудь не рисковала.

Иногда, правда, он бывал и веселым. Раз рассказывал мне, что вчера раздался телефонный звонок, в трубку сказали: «Слушайте капеллу „Жах“», – а потом начался какой-то писк.

– А вы что? – изумилась я.

– Послушал, потом сказал: «Ну, товарищ капелла, попела, и будет».

– А вы знаете, что такое «жах»? По-украински это значит – ужас. – Это показалось Маяковскому смешным.

**Елена Владимировна Семенова:**

Улыбка была веселой, глаза оставались мрачными. Потом, вдруг: – «Лена, кому можно верить? Можно ли кому-нибудь верить? Ну, Родченко, например?» – Я спросила, в каком смысле верить, – в плане лефовских установок или просто как человеку. – «А черт его знает, идеологически или просто! Где начинается одно и где кончается другое?» – И зашагал от двери к окну и от окна к двери.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Он начал читать мне все свои любовные стихи.

Потом заявил вдруг:

– Дураки! Маяковский исписался, Маяковский только

агитатор, только рекламник!.. Я же могу писать о луне, о женщине. Я хочу писать так. Мне трудно не писать об этом. Но не время же теперь еще. Теперь еще важны гвозди, займы. А скоро нужно будет писать о любви. Есенин талантлив в своем роде, но нам не нужна теперь есенинщина, и я не хочу ему уподобляться!

**Лев Абрамович Кассиль:**

Весной я застаю его случайно на одном литературном сборище. Он стоит, всем там чужой, очень большой, молчаливый, тяжеловесный, а около него вьется несколько говорунов. Развязно поглядывают они на него снизу вверх. Им кажется, что он уже ручной. Они уже не боятся… Расторопные «литературоведы» довольны, что забрел к ним могучий броненосец. И карабкаются на него со своими чернильными дротиками, юлят вокруг него на своих утлых пирогах, и какой-то развинченный молодой человек вскользь спрашивает Маяковского:

– Маяковский, из истории известно, что все хорошие поэты скверно кончали: или их убивали, или они сами… Когда же вы застрелитесь?

Маяковский, с отвращением вздрогнув, медленно говорит:

– Если дураки будут часто спрашивать об этом, то лучше уж застрелиться…

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Теперь постараюсь вспомнить подробнее последние дни его жизни, примерно с 8 апреля.

Утро, солнечный день. Я приезжаю к Владимиру Владимировичу в Гендриков. У него один из бесчисленных гриппов. Он уже поправляется, но решает высидеть день-два. Квартира залита солнцем, Маяковский сидит за завтраком и ссорится с домашней работницей.

Собака Булька мне страшно обрадовалась, скачет выше головы, потом прыгает на диван, пытается лизнуть меня в нос.

Владимир Владимирович говорит:

– Видите, Норкочка, как мы с Булечкой вам рады.

Приезжает Лев Александрович Гринкруг. Владимир Владимирович дает ему машину и просит исполнить ряд поручений. Одно из них: дает ключи от Лубянки, от письменного стола. Взять 2500 руб., внести 500 руб., взнос за квартиру в писательском доме. <…>

Мы идем в комнату к Владимиру Владимировичу, садимся с ногами на его кровать. Булька – посредине. Начинается обсуждение будущей квартиры на одной площадке (одна Брикам,

вторая – нам). Настроение у него замечательное.

Я уезжаю в театр. Приезжаю обедать с Яншиным и опаздываю на час.

Мрачность необыкновенная.

Владимир Владимирович ничего не ест, молчит (на что-то обиделся). Вдруг глаза наполняются слезами, и он уходит в другую комнату.

Помню, в эти дни мы где-то были втроем с Яншиным, возвращались домой, Владимир Владимирович довез нас домой, говорит:

– Норочка, Михаил Михайлович, я вас умоляю – не бросайте меня, проводите в Гендриков.

Проводили, зашли, посидели 15 минут, выпили вина. Он вышел вместе с нами гулять с Булькой. Пожал очень крепко руку Яншину, сказал:

– Михаил Михайлович, если бы вы знали, как я вам благодарен, что вы заехали ко мне сейчас. Если бы вы знали, от чего вы меня сейчас избавили.

Почему у него в тот день было такое настроение – не знаю.

У нас с ним в этот день ничего плохого не происходило. Еще были мы в эти дни в театральном клубе. Столиков не было, и мы сели за один стол с мхатовскими актерами, с которыми я его познакомила. Он все время нервничал, мрачнел: там был один человек, в которого я когда-то была влюблена.

Маяковский об этом знал и страшно вдруг заревновал к прошлому. Все хотел уходить, я его удерживала. <…>

Мне стало очень трудно с ним. Я начала избегать встреч с Маяковским. Однажды сказала, что у меня репетиция, а сама ушла с кем-то в кино.

Владимир Владимирович узнал об этом: он позвонил в театр и там сказали, что меня нет. Тогда он пришел к моему дому поздно вечером, ходил под окнами. Я позвала его домой, он сидел мрачный, молчал.

На другой день он пригласил нас с мужем в цирк: ночью репетировали его пантомиму о 1905 годе. Целый день мы не виделись и не смогли объясниться. Когда мы приехали в цирк, он уже был там. Сидели в ложе. Владимиру Владимировичу было очень не по себе. Вдруг он вскочил и сказал Яншину:

– Михаил Михайлович, мне нужно поговорить с Норой… Разрешите, мы немножко покатаемся на машине?

Яншин (к моему удивлению) принял это просто и остался смотреть репетицию, а мы уехали на Лубянку.

Там он сказал, что не выносит лжи, никогда не простит мне этого, что между нами все кончено.

Отдал мне мое кольцо, платочек, сказал, что утром один бокал разбился. Значит, так нужно. И разбил об стену второй бокал. Тут же он наговорил мне много грубостей. Я расплакалась, Владимир Владимирович подошел ко мне, и мы помирились.

Когда мы выехали обратно в цирк, оказалось, что уже светает. И тут мы вспомнили про Яншина, которого оставили в цирке.

Я с волнением подошла к ложе, но, к счастью, Яншин мирно спал, положив голову на барьер ложи. Когда его разбудили, не заметил, что мы так долго отсутствовали.

Возвращались из цирка уже утром. Было совсем светло, и мы были в чудесном, радостном настроении. Но примирение это оказалось недолгим: на другой же день были опять ссоры, мучения, обиды.

**Александр Вильямович Февральский:**

10 апреля, за четыре дня до трагического выстрела, я встретил Маяковского в коридоре Государственного театра имени Вс. Мейерхольда во время представления «Бани». В это время часть труппы находилась в гастрольной поездке, среди исполнителей было много дублеров, и спектакль шел плохо. «Владимир Владимирович, сегодня неудачный спектакль, не ходите смотреть», – сказал я. «Я и не пойду», – ответил Маяковский и замолчал. Очень мрачный, он стоял, опершись локтем о дверной косяк, и курил.

Желая ободрить его, я заговорил о том, что вот наконец появилась в «Правде» статья (В. Попова-Дубовского), дающая «Бане» справедливую оценку, что эта статья, написанная членом редакционной коллегии и руководителем отдела культуры, выражает мнение редакции и что травле «Бани», наверное, будет положен конец. Маяковский ответил: «Все равно, теперь уже поздно».

**Наталья Александровна Брюханенко:**

Редакция поручила мне съездить к Маяковскому, чтобы тут же, при мне, он сделал исправления и подписал рукопись к печати.

Я приехала к нему в Гендриков переулок. Маяковский рассеянно посмотрел рукопись, перепечатанную на машинке, подправил восклицательные знаки, но делать исправления отказался. Мы сидели в столовой, и он был очень мрачен.

– Делайте сами, – сказал он.

Я засмеялась:

– Ну как же это я вдруг буду исправлять ВАШУ пьесу?

– Вот возьмите чернила и переправляйте сами, как вам надо.

Я стала зачеркивать ненужное нам, заменять слова, каждый раз спрашивая:

– А можно здесь так?

Он отвечал односложно. Или – «все равно», или – «можно». Я не помню буквальных выражений, но его настроение, мрачность и безразличие я помню ясно.

Лиля и Ося были в отъезде. Даже домработница приходящая ушла домой.

– Вы можете не уходить, а остаться здесь? – спросил он.

Я сказала:

– Нет, не могу.

– Я хотел предложить вам даже остаться у нас ночевать, – попросил он.

Но я торопилась по своим делам. Мы попрощались, я уехала.

Он остался один в пустой квартире. <…>

Дата этого события – 10 апреля 1930 года.

**Николай Николаевич Асеев:**

Вдруг в четверг 10-го раздается звонок, и голос Маяковского зовет меня на Гендриков. Я вначале было стал спрашивать об остальных «отколовшихся». Но Маяковский не захотел говорить на эту тему, сказав только: «Будет вам вола вертеть, приходите завтра в карты играть!» Я пошел. <…>

В карты сели играть Маяковский, я, Яншин, Полонская; играли в покер. <…> В этот последний свой покер Маяковский был необычайно тих и безынициативен. Он играл вяло, посапывал недовольно и проигрывал без желания изменить невезенье. Наконец, проигравшись дотла, провожая нас в переднюю, сказал грустно: «Ну, кто мне теперь на базар трешку одолжит?» Ему не на базар, конечно, нужно было, а на быстроту ответа. Я оказался догадливей и, вынув какие-то рубли, протянул их Маяковскому. На следующий день с утра раздался звонок. Маяковский просил устроить у меня обязательно сегодня игру с теми же партнерами, только обязательно, непременно, это его настоятельная просьба. Я было начал отговариваться малым знакомством с остальными, но Маяковский таким тоном говорил, так это оказывалось для него важно, что я согласился позвонить Яншину и пригласить его к себе на покер. Однако Яншин был на репетиции, откуда его вызвать было нельзя, позже он уже ушел из театра, одним словом, дело не сладилось. Я позвонил Маяковскому, он воспринял это как-то тоже без возбуждения; обычно невыполнение его просьбы вызывало возмущение и гром в телефонной трубке. Правда, это чаще всего касалось работы.

**Павел Ильич Лавут:**

Одиннадцатого апреля я, как обычно, позвонил ему после десяти утра. Но, к моему удивлению, его не оказалось дома. К телефону подошла домработница Паша (два месяца Маяковский жил в квартире один – Л. Ю. и О. М. Брики были в отъезде) и на мой вопрос, помнит ли Владимир Владимирович о сегодняшнем своем выступлепни, ответила утвердительно. Я просил ее еще раз напомнить ему, когда вернется, и передал адрес 2-го МГУ.

Маяковский до того ни разу не сорвал своего выступления. А тут его прождали около часа. Народу собралось много. Послали за ним на машине товарища: сперва на Лубянский проезд, потом на Таганку, в Гендриков переулок. Светофоров тогда не было, а движение в тот вечерний час – незначительное. Товарищ заметил впереди автомобиль, похожий на «рено» Маяковского. Догнав его, он убедился, что не ошибся, и попросил шофера перерезать машине дорогу.

Произошел бурный диалог. Маяковский заявил, что ничего не знал о сегодняшнем выступлении. Он захлопнул дверцу машины, в которой сидела В. Полонская, и машина помчалась дальше.

Пришлось извиниться перед аудиторией и сослаться на болезнь Маяковского. Договорились, что о дне его выступления будет сообщено дополнительно.

Наутро я пришел к Владимиру Владимировичу, чтобы договориться о дате.

Маяковский лежал в постели. Рядом стул и на нем лист бумаги. Он что-то писал. Когда я, стоя в дверях, хотел приблизиться к нему, он меня мрачно остановил:

– Не подходите близко, а то можете заразиться. – При этом он перевернул лист и оторвался от письма.

Я удивился: сколько раз он заболевал при мне в дороге и никогда не говорил ничего подобного. Как я позже понял, тревожился он не о том: возле него лежало, вероятно, недописанное предсмертное письмо. И свидетель ему был ни к чему.

– Выступать не буду. Плохо себя чувствую, – сказал Маяковский. Потом: – Позвоните завтра.

Такой необычный прием меня ошарашил. В коридоре Паша еще раз подтвердила, что он помнил о вчерашнем выступлении.

Весь день я находился под впечатлением этого свидания.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

12 апреля у меня был дневной спектакль. В антракте меня

вызывают по телефону. Говорит Владимир Владимирович. Очень взволнованный, он сообщает, что сидит у себя на Лубянке, что ему очень плохо… и даже не сию минуту плохо, а вообще плохо в жизни…

Только я могу ему помочь, говорит он. Вот он сидит за столом, его окружают предметы – чернильница, лампа, карандаши, книги и прочее.

Есть я – нужна чернильница, нужна лампа, нужны книги…

Меня нет – и все исчезает, все становится ненужным.

Я успокаивала его, говорила, что я тоже не могу без него жить, что нужно встретиться, хочу его видеть, что я приду к нему после спектакля.

Владимир Владимирович сказал:

– Да, Нора, я упомянул вас в письме к правительству, так как считаю вас своей семьей. Вы не будете протестовать против этого?

Я ничего не поняла тогда, так как до этого он ничего не говорил мне о самоубийстве.

И на вопрос его о включении меня в семью ответила:

– Боже мой, Владимир Владимирович, я ничего не понимаю из того, о чем вы говорите! Упоминайте где хотите!..

<…> Я просила его дать мне слово, что он пойдет к доктору, так как, конечно, он был в эти дни в невменяемом болезненном состоянии. Просила его уехать, хотя бы на два дня куда-нибудь в дом отдыха.

Я помню, что отметила эти два дня у него в записной книжке. Эти дни были 13 и 14 апреля.

Владимир Владимирович и соглашался, и не соглашался. Был очень нежный, даже веселый.

За ним заехала машина, чтобы везти его в Гендриков. И я поехала домой обедать: он довез меня.

По дороге мы играли в американскую (английскую) игру, которой он меня научил: кто первый увидит человека с бородой, должен сказать – «Борода». В это время я увидела спину Льва Александровича Гринкруга, входящего в ворота своего дома, где он жил.

Я сказала:

– Вот Лева идет.

Владимир Владимирович стал спорить. Я говорю:

– Хорошо, если это Лева, то ты будешь отдыхать 13-го и 14-го. И мы не будем видеться.

Он согласился. Мы остановили машину и побежали, как безумные, за Левой. Оказалось – это он.

Лев Александрович был крайне удивлен тем, что мы так

взволнованно бежали за ним.

У дверей моего дома Владимир Владимирович сказал:

– Ну, хорошо. Даю вам слово, что не буду вас видеть два дня. Но звонить вам все же можно?

– Как хотите, – ответила я, – а лучше не надо.

Он обещал, что пойдет к доктору и будет отдыхать эти два дня.

Вечером я была дома. Владимир Владимирович позвонил, мы долго и очень хорошо разговаривали. Он сказал, что пишет, что у него хорошее настроение, что он понимает теперь: во многом он не прав и даже лучше, пожалуй, отдохнуть друг от друга дня два…

13 апреля днем мы не видались. Позвонил он в обеденное время и предложил 14-го утром ехать на бега.

Я сказала, что поеду на бега с Яншиным и с мхатовцами, потому что мы уже сговорились ехать, а его прошу, как мы условились, не видеть меня и не приезжать.

Он спросил, что я буду делать вечером. Я сказала, что меня звали к Катаеву, но что я не пойду к нему и, что буду делать, не знаю еще.

**Павел Ильич Лавут:**

Тринадцатого я позвонил по телефону, но Маяковского не было. Я оставил Паше телефон Дома Герцена, и днем Маяковский позвонил мне. Договорились, что приду к нему на следующий день, как обычно – в половине одиннадцатого утра.

**Валентина Михайловна Ходасевич:**

В январе 1930 года Центральное управление государственными цирками (ЦУГЦ) предложило мне быть художником цирковой пантомимы в Московском цирке. Автор – Владимир Маяковский, режиссер-постановщик – Сергей Радлов. 23 января Маяковский подписал договор с ЦУГЦ на сочинение сценария, а вскоре и мы с Радловым подписали тоже. Работой я была увлечена. Срок небольшой. Ездили с Радловым часто в Москву – разговаривать с Маяковским.

20 февраля 1930 года, точно по договору, Маяковский читал на заседании Художественно-политического совета ЦУГЦ сценарий «Героическая меломима – Москва горит (1905 год)». Он был одобрен, и 28 февраля Маяковский прочитал его на выездном заседании совета на фабрике «Трехгорная мануфактура» при участии рабочих и актива ВЛКСМ Красной Пресни.

Маяковский относился к работе очень взволнованно, многое

переделывал в результате начавшихся репетиций, а многое с яростью отстаивал. Дирекция, как ей и полагается, вставляла палки в колеса нашей фантазии, тянула нас на проверенный (главным образом кассово!) трафарет «трущиевских пантомим» и жадничала в деньгах на оформление. Я любила присутствовать при боях Маяковского с дирекцией – он издевался нещадно, но до начальства, забронированного чувством собственного величия, всепонимания и денежной власти, это не всегда доходило.

Помню сражение за текст афиши. Дирекция хотела печатать уже испытанную временем трафаретную афишу. Анонсы-листовки, извещавшие о «Грандиозной водяной пантомиме», уже были выпущены – Маяковский возмутился и сказал, что пантомимой называется действие без слов.

– Ну, а тогда зачем же мои стихи? То, что я сочинил, должно называться «героическая меломима». Водопада не будет. Я не водопровод, и «воды» в моих стихах тоже нет. (Впоследствии все же он сделал уступку, и водопад был, но обоснованный; в финале плотина и пуск гидроэлектростанции.) <…>

13 апреля. Четыре часа дня. Кончилась актерская репетиция. С арены все ушли. Теперь она в моем распоряжении до шести вечера, когда начнут готовить вечернее представление. Монтируем какие-то домики, впервые попадающие на арену, они еще не окрашены. Добиваемся точного выноса вещей на арену и их уборки. Некоторые вещи вижу впервые и огорчаюсь: ошибки в размерах, форме, окраске… Хожу по арене раздраженная. Время идет – толку мало.

Внезапно… в полном безмолвии пустого цирка раздается какой-то странный, резкий, неприятный, бьющий по взвинченным нервам сухой треск, быстро приближающийся к той стороне арены, где я переругиваюсь с главным плотником. Оборачиваюсь на звук… Вижу Маяковского, быстро идущего между первым рядом кресел и барьером арены с палкой в руке, вытянутой на высоту спинок кресел первого ряда. Палка дребезжит, перескакивая с одной деревянной спинки кресла на другую. Одет он в черное пальто, черная шляпа, лицо очень бледное и злое. Вижу, что направляется ко мне. Здороваюсь с арены. Издали, гулко и мрачно, говорит:

– Идите сюда!

Перелезаю через барьер, иду к нему навстречу. Здороваемся. На нем – ни тени улыбки. Мрак.

– Я заехал узнать, в котором часу завтра сводная репетиция, хочу быть, а в дирекции никого. Так и не узнал… Знаете что? Поедем покататься, я здесь с машиной, проедемся…

Я сразу же говорю:

– Нет, не могу – у меня монтировочная репетиция, и бросить ее нельзя.

– Нет?! Не можете?! Отказываетесь? – гремит голос Маяковского.

У него совершенно белое, перекошенное лицо, глаза какие-то воспаленные, горящие, белки коричневатые, как у великомучеников на иконах… Он опять невыносимо выстукивает какой-то ритм палкой о кресло, около которого стоим, опять спрашивает:

– Нет?

Я говорю:

– Нет.

И вдруг какой-то почти визг или всхлип…

– Нет? Все мне говорят «нет»!.. Только нет! Везде нет…

Он кричит это уже на ходу, вернее, на бегу вокруг арены к выходу из цирка. Палка опять визжит и дребезжит еще бешенее по спинкам кресел. Он выбегает. Его уже не видно…

Что-то почти сумасшедшее было во всем этом. Стою ошарашенная. Очень бьется сердце, дрожу, ничего не понимаю – что, почему? Что это – каприз? Ведь я работаю над его рождающимся произведением… Он ведь человек «бывалый» и в театре, и в цирке! «Как же быть? Как же быть?..» – бубнит у меня в голове. Слышу голос с арены:

– Товарищ Ходасевич, так что же, будете работать дальше?

Говорю:

– Да, сейчас, – а сама бегу к выходу, куда исчез Маяковский. Выскакиваю на улицу, настигаю его около автомобиля (он привез из-за границы маленькую машину «Рено») и говорю неожиданно для себя:

– Владимир Владимирович, успокойтесь! Подождите несколько минут, я поговорю с рабочими, я поеду с вами, но дайте договориться – пусть без меня докончат монтировочную.

Бегу обратно на арену, быстро договариваюсь, направляюсь к выходу. Вижу: Маяковский стоит прекрасный, тихий, бледный, но не злой, скорее мученик. Думаю: «Пусть каприз, но это же Маяковский! Правильно, что я согласилась!» Владимир Владимирович, ни слова не говоря, подсаживает меня в машину, садится рядом со мной и говорит шоферу:

– Через Столешников.

Мы едем. Сначала тягостное молчание. Потом он поворачивается, смотрит на меня и ласково, с какой-то виноватой полуулыбкой говорит (а я вижу, что глаза его думают о другом):

– Я буду ночевать у себя в Лубянском проезде – боюсь

проспать репетицию, прошу вас, позвоните мне туда по телефону часов в десять утра. – Говорит, а глаза отсутствуют.

Проехали Петровские линии, медленно сворачиваем в Столешников – народу в этот час много. Проехали не более трех домов. Вдруг голос Маяковского шоферу:

– Остановитесь!

Небольшой поворот руля, и мы у тротуара. Владимир Владимирович уже на ходу открывает дверцу и, как пружина, выскакивает на тротуар, дико мельницей крутит палку в воздухе, отчего люди отскакивают в стороны, и он почти кричит мне:

– Шофер довезет вас куда хотите! А я пройдусь!..

И быстро, не поворачиваясь в мою сторону, тяжелыми огромными шагами, как бы раздвигая переулок (люди расступаются, оглядываются, останавливаются) направляется к Дмитровке. <…>

Мы обогнали Владимира Владимировича. Он шел быстро, «сквозь людей», с высоко поднятой головой – смотрел поверх всех и был выше всех. Очень белое лицо, все остальное очень черное. Палка вертелась в воздухе, как хлыст, быстро-быстро, и казалось, что она мягкая, эластичная, вьется и сгибается в воздухе.

**Владимир Осипович Роскин** *(1896–1984), художник, работал в РОСТА:*

И вот настало 13 апреля.

Я пришел довольно рано, часов в восемь, к Катаевым на Сретенку, в Головин переулок. Вскоре пришел неожиданно Владимир Владимирович и, так как Катаева не было дома, стал недовольно и нервно ходить по квартире. Я подошел к нему и предложил, пока никого нет, сыграть в маджонг. Он согласился, и мы сели за стол, смотрю – он вынул папиросы, закурил. Я не удержался и сказал: «Владимир Владимирович, почему вы курите? Вам нельзя курить. Вы же только что написали стихотворение „Я счастлив“ и вдруг закурили». Он посмотрел на меня: «Ну, мне можно курить!» И тут я понял, что избежал словесной бани, что в другое время он уничтожил бы меня меткой остротой за эту иронию. Мы продолжали молча играть. Я выиграл 10 рублей. Он заплатил и заявил, что больше играть не хочет. Я обрадовался и сказал, что эти выигранные 10 рублей не истрачу, а сохраню на память о тех проигрышах, о тех унижениях, которые я испытал в игре с ним в течение многих лет. Он подошел ко мне, потрогал меня за щеку и сказал: «Мы с вами оба небриты» – и вышел в другую комнату, где раздавались его размашистые шаги. Меня это поразило. На него это совсем не было похоже. Он ведь никогда не оставлял партнера в покое,

если имел возможность отыграться и играл всегда до тех пор, пока партнер не отказывался сам играть, а когда у него не оставалось денег, он доставал бы их, спешно написал стихи, чтобы иметь возможность отыграться. Я понял, что он в очень плохом настроении. К этому времени, часам к девяти с половиной, пришли Олеша и Катаев. В столовой стали накрывать на стол. Валентин Петрович пошел за вином, за шампанским. Позвонив предварительно по телефону, приехали после бегов Полонская, Яншин и Ливанов.

**Валентин Петрович Катаев:**

Меня удивило, что он не на бегах, хотя был беговой день, 13 апреля. <…>

В этот день он острил скорее по привычке. Мне показалось, что нынче он что-то невесел, озабочен, будто все время прислушивается к чему-то. Наверное, подумал я тогда, замучил грипп. <…>

Отодвинув в сторону легковесный серебряный подсвечник, присел боком на угол стола, обтянутого зеленым сукном, и в такой позе – полусидя-полустоя – сказал, отвечая на мой вопросительный взгляд:

– Ни за чем. Пришел просто так. Вы удивлены? Напрасно. Посидеть с человеком. Как гость. Хотите – «будем болтать свободно и раскованно»?

И в ту же минуту надолго замолчал, ушел глубоко в себя. <…>

– Катаич, – сказал он, пряча в карман последний предмет, – вот вы южанин. Скажите, как вы переносите север? Часто простужаетесь?

– Беспрерывно.

– И я то же самое. До сих пор никак не могу привыкнуть к этому паршивому климату. Апрель называется!.. Разве это апрель? Гибну, как обезьяна, привезенная из тропиков.

Он снова высморкался и характерным жестом глубоко, обеими руками одновременно заправил сорочку под ремень своих просторных брюк – узких в бедрах, широких в шагу. <…> Что же было потом? Обычная московская вечеринка. «Завернули на огонек». Сидели в столовой. Чай, печенье. Бутылки три рислинга. Как большая редкость – коробка шоколадного набора: по краям бумажные кружевца, а в середине серебряная длинногорлая фляжечка ликерной конфеты. В виде экспромта, забавного курьеза остатки от обеда – миска вареников с мясом, которые еще больше подчеркивали случайный характер вечеринки, ее полную непреднамеренность.

Сидели тесно вокруг стола. Стульев, конечно, не хватило. Мы с Маяковским рядом на большой бельевой корзине, покрытой шкурой бурого медведя.

Маяковский опирался локтем на громадную тяжелую медвежью голову, изредка ее приподнимал за черное рыло и нежно заглядывал в стеклянные карие глазки и в узкую крашеную пасть с белыми зубками и желтыми клыками.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Вечером я все же поехала к Катаеву с Яншиным. Владимир Владимирович оказался уже там. Он был очень мрачный и пьяный. При виде меня он сказал:

– Я был уверен, что вы здесь будете!

Я разозлилась на него за то, что он приехал меня выслеживать. А Владимир Владимирович сердился, что я обманула его и приехала. Мы сидели вначале за столом рядом и все время объяснялись. Положение было очень глупое, так как объяснения наши вызывали большое любопытство среди присутствующих, а народу было довольно много.

Я помню: Катаева, его жену, Юрия Олешу, Ливанова, художника Роскина, Регинина, Маркова.

Яншин явно все видел и тоже готовился к скандалу.

**Владимир Осипович Роскин:**

Пока готовили ужин, Олеша и Катаев, заметив настроение Владимира Владимировича, все время подшучивали над ним, вспоминая положение из «Квадратуры круга» (переживет или не переживет?). Но Владимир Владимирович был молчалив, мрачен, лишен остроумия. Мы сели за стол. Маяковский сидел слева от меня, а Полонская справа, через одного гостя.

**Валентин Петрович Катаев:**

Он был совсем не такой как всегда, не эстрадный, не главарь. Притихший. Милый. Домашний.

– Владимир Владимирович, хотите вареников?

– Благодарю вас.

– Благодарю вас – да или благодарю вас – нет?

Можно себе представить, каким фейерверком острот, шуток, каламбуров взорвался бы в другое время Маяковский, не упускавший ни малейшего повода устроить блестящий словесный турнир и, разумеется, выйти из него победителем. В этой области у него не было соперников. И вдруг ему предлагают вареников – простых, обыкновенных, общечеловеческих вареников с мясом. Какой богатейший

матерьял для остроумия, для словесной игры!

Однако в этот вечер Маяковского как будто подменили. Он вежливо отвечает:

– Да, благодарю вас.

За столом в этот вечер острили все, кроме Маяковского. Молодые мхатовские актеры, львы, все время задирали знаменитого поэта и острослова, вызывая на турнир остроумия. Не без опаски пробовали свои силы. Но он либо отмалчивался, либо вяло отбивался. Можно было подумать, что он вдруг под действием какого-то странного волшебства потерял дар остроумия.

Но зато в нем в полную силу засияло другое качество – драгоценный дар душевного тепла, доброты, нежности, скромности, всего того, что он так застенчиво таил в своем большом жарком сердце. <…>

Память моя почти ничего не сохранила из важнейших подробностей этого вечера, кроме большой руки Маяковского, его нервно движущихся пальцев – они были все время у меня перед глазами, сбоку, рядом, – которые машинально погружались в медвежью шкуру и драли ее, сгибали, вырывая пучки сухих бурых волос, в то время как глаза были устремлены через стол на Нору Полонскую.

**Владимир Осипович Роскин:**

Начали пить шампанское. Маяковский ничего не пил, встал и вышел в другую комнату и снова мрачно начал шагать. Хозяйка дома забеспокоилась, что его нет. Катаев сказал: «Что ты беспокоишься, Маяковский не застрелится. Эти современные любовники не стреляются». Владимир Владимирович должен был это слышать. Я не знал о его романе с Полонской и не понял смысла сказанного, но все почувствовали неловкость. Вероятно, Катаев сказал это в защиту Маяковского, который стоит выше банальных положений. Может быть, это была просто ироническая фраза, но она прозвучала очень трагически в этот вечер: Маяковский вернулся в столовую, видно было, что он все слышал, сел за стол, вынул записную книжку в отличном переплете, в которую он записывал стихи, написал записку, вырвал лист, смял его и через меня передал Полонской. Она прочла, улыбнулась, но ничего не ответила. Владимир Владимирович написал другую, также вырвал листок, и я снова передал его.

Мне показалось странным, что человек, который так любит и ценит добротные вещи, прочные ботинки, хорошее перо, который становится на колени, чтобы ему вернули любимую авторучку, сейчас рвет не жалея из такой книжки листы. Видно

было – сильно нервничал.

**Валентин Петрович Катаев:**

С немного испуганной улыбкой она писала на картонках, выломанных из конфетной коробки, ответы на записки Маяковского, которые он жестом игрока в рулетку время от времени бросал ей через стол и, ожидая ответа, драл невычищенными ногтями пыльную шкуру медведя, «царапая логово в двадцать копей», как говорилось в его до сих пор еще кровоточащей поэме «Про это».

Картонные квадратики летали через стол над миской с варениками туда и обратно. Наконец конфетная коробка была уничтожена. Тогда Маяковский и Нора ушли в мою комнату. Отрывая клочки бумаги от чего попало, они продолжали стремительную переписку, похожую на смертельную молчаливую дуэль.

Он требовал. Она не соглашалась. Она требовала – он не соглашался. Вечная любовная дуэль.

Впервые я видел влюбленного Маяковского. Влюбленного явно, открыто, страстно. Во всяком случае, тогда мне казалось, что он влюблен. А может быть, он был просто болен и уже не владел своим сознанием. Всюду по квартире валялись картонные кусочки, клочки разорванных записок и яростно смятых бумажек. Особенно много их было в корзине под письменным столом.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Мы стали переписываться в записной книжке Владимира Владимировича. Много было написано обидного, много оскорбляли друг друга, оскорбляли глупо, досадно, ненужно.

Потом Владимир Владимирович ушел в другую комнату: сел у стола и все продолжал пить шампанское.

Я пошла за ним, села рядом с ним на кресло, погладила его по голове. Он сказал:

– Уберите ваши паршивые ноги.

Сказал, что сейчас в присутствии всех скажет Яншину о наших отношениях.

Был очень груб, всячески оскорблял меня. Меня же его грубость и оскорбления вдруг перестали унижать и обижать, я поняла, что передо мною несчастный, совсем больной человек, который может вот тут сейчас наделать страшных глупостей, что Маяковский может устроить ненужный скандал, вести себя недостойно самого себя, быть смешным в глазах этого случайного для него общества. <…>

Я уговаривала его, умоляла успокоиться, была ласкова, нежна. Но нежность моя раздражала его и приводила в неистовство, в исступление.

Он вынул револьвер. Заявил, что застрелится. Грозил, что убьет меня. Наводил на меня дуло. Я поняла, что мое присутствие только еще больше нервирует его.

Больше оставаться я не хотела и стала прощаться.

За мной потянулись все.

В передней Владимир Владимирович вдруг очень хорошо на меня посмотрел и попросил:

– Норкочка, погладьте меня по голове. Вы все же очень, очень хорошая…

Когда мы сидели еще за столом во время объяснений, у Владимира Владимировича вырвалось:

– О господи!

Я сказала:

– Невероятно, мир перевернулся! Маяковский призывает господа!.. Вы разве верующий?!

Он ответил:

– Ах, я сам ничего не понимаю теперь, во что я верю!..

<…> Домой шли пешком, он провожал нас до дому.

Опять стал мрачный, опять стал грозить, говорил, что скажет все Яншину сейчас же.

Шли мы вдвоем с Владимиром Владимировичем. Яншин же шел, по-моему, с Регининым. Мы то отставали, то убегали вперед. Я была почти в истерическом состоянии. Маяковский несколько раз обращался к Яншину:

– Михаил Михайлович!

Но на вопрос:

– Что?

Он отвечал:

– Нет, потом.

Я умоляла его не говорить, плакала. Тогда, сказал Владимир Владимирович, он желает меня видеть завтра утром.

**Елизавета Александровна Лавинская:**

Асеевы рассказали деталь последних дней жизни Вл<адимира> Вл<адимировича>, которая врезалась в память. 13 апреля приехала из Ленинграда какая-то женщина (кажется, первая жена Натана Альтмана), ей нужно было видеть Бриков, она не знала, что они за границей. На Гендриковом застала одного Маяковского, с которым, кажется, не была знакома. Она была потрясена его видом – казался совершенно больным. Он ее задержал около себя, прочел предсмертное письмо и, кажется,

сказал такую фразу: «Я самый счастливый человек в СССР и должен застрелиться». Уйдя от Маяковского, она хотела сразу же позвонить Асееву, рассказать, предупредить, но потом «застеснялась» – мало ли какие у поэта могут быть настроения! Но утром рано 14 апреля ей все же стало очень неспокойно на душе, она стала звонить Асееву – но никто не подошел. Оказывается, в течение ряда дней, также рано утром, Асееву кто-то звонил и заявлял, что не то веревка, на которой Асеева повесят, приготовлена, не то иное орудие убийства. Асеев в этот период вообще плохо себя чувствовал, и, чтоб его не нервировать такими хулиганскими выпадами, Оксана перестала подходить к телефону на ранние звонки. Так было и на этот раз, а когда эта женщина дозвонилась, было уже поздно.

**Вероника Витольдовна Полонская:**

Завтра в 10½ у меня был показ пьесы Немировичу-Данченко.

Мы условились, что Владимир Владимирович заедет за мной в 8 утра.

Потом он все-таки сказал Яншину, что ему необходимо с ним завтра говорить, и мы расстались.

Это было уже 14 апреля.

Утром Владимир Владимирович заехал в 8½, заехал на такси, так как у его шофера был выходной день. Выглядел Владимир Владимирович очень плохо.

Был яркий, солнечный, замечательный апрельский день. Совсем весна.

– Как хорошо, – сказала я. – Смотри, какое солнце. Неужели сегодня опять у тебя вчерашние глупые мысли. Давай бросим все это, забудем… Даешь слово?

Он ответил:

– Солнце я не замечаю, мне не до него сейчас. А глупости я бросил. Я понял, что не смогу этого сделать из-за матери. А больше до меня никому нет дела. Впрочем, обо всем поговорим дома.

Я сказала, что у меня в 10½ репетиция с Немировичем-Данченко, очень важная, что я не смогу опоздать ни на минуту. Приехали на Лубянку, и он велел такси ждать.

Его очень расстроило, что я опять тороплюсь. Он стал нервничать, сказал:

– Опять этот театр! Я ненавижу его, брось его к чертям! Я не могу так больше, я не пущу тебя на репетицию и вообще не выпущу из этой комнаты!

Он запер дверь и положил ключ в карман. Он был так взволнован, что не заметил, что не снял пальто и шляпу.

Я сидела на диване. Он сел около меня на пол и плакал. Я сняла с него пальто и шляпу, гладила его по голове, старалась всячески успокоить.

Раздался стук в дверь – это книгоноша принес Владимиру Владимировичу книги (собрание сочинений Ленина). Книгоноша, очевидно увидев, в какую минуту он пришел, свалил книги на тахту и убежал.

Владимир Владимирович быстро заходил по комнате. Почти бегал. Требовал, чтобы я с этой же минуты, без всяких объяснений с Яншиным, осталась с ним здесь, в этой комнате. Ждать квартиры – нелепость, говорил он. Я должна бросить театр немедленно же. Сегодня на репетицию мне идти не нужно. Он сам зайдет в театр и скажет, что я больше не приду. Театр не погибнет от моего отсутствия. И с Яншиным он объяснится сам, а меня больше к нему не пустит.

Вот он сейчас запрет меня в этой комнате, а сам отправится в театр, потом купит все, что мне нужно для жизни здесь. Я буду иметь все решительно, что имела дома. Я не должна пугаться ухода из театра. Он своим отношением заставит меня забыть театр. Вся моя жизнь, начиная от самых серьезных сторон ее и кончая складкой на чулке, будет для него предметом неустанного внимания.

Пусть меня не пугает разница лет: ведь может же он быть молодым, веселым. Он понимает – то, что было вчера, – отвратительно. Но больше это не повторится никогда. Вчера мы оба вели себя глупо, пошло, недостойно.

Он был безобразно груб и сегодня сам себе мерзок за это. Но об этом мы не будем вспоминать. Вот так, как будто ничего не было. Он уничтожил уже листки записной книжки, на которых шла вчерашняя переписка, наполненная взаимными оскорблениями.

Я ответила, что люблю его, буду с ним, но не могу остаться здесь сейчас, ничего не сказав Яншину. Я знаю, что Яншин меня любит и не перенесет моего ухода в такой форме: как уйти, ничего не сказав Яншину, и остаться у другого. Я по-человечески достаточно люблю и уважаю мужа и не могу поступить с ним так.

И театра я не брошу и никогда не смогла бы бросить. Неужели Владимир Владимирович сам не понимает, что если я уйду из театра, откажусь от работы, в жизни моей образуется такая пустота, которую заполнить будет невозможно. Это принесет большие трудности в первую очередь ему же. Познавши в жизни работу, и к тому же работу такую интересную, как в Художественном театре, невозможно сделаться только женой своего мужа, даже такого большого человека,

как Маяковский.

Вот и на репетицию я должна и обязана пойти, и я пойду на репетицию, потом домой, скажу все Яншину и вечером перееду к нему совсем.

Владимир Владимирович был не согласен с этим. Он продолжал настаивать на том, чтобы все было немедленно, или совсем ничего не надо.

Еще раз я ответила, что не могу так.

Он спросил:

– Значит, пойдешь на репетицию?

– Да, пойду.

– И с Яншиным увидишься?

– Да.

– Ах, так! Ну тогда уходи, уходи немедленно, сию же минуту.

Я сказала, что мне еще рано на репетицию. Я пойду через 20 минут.

– Нет, нет, уходи сейчас же.

Я спросила:

– Но увижу тебя сегодня?

– Не знаю.

– Но ты хотя бы позвонишь мне сегодня в пять?

– Да, да, да.

Он быстро забегал по комнате, подбежал к письменному столу. Я услышала шелест бумаги, но ничего не видела, так как он загораживал собой письменный стол.

Теперь мне кажется, что, вероятно, он оторвал 13 и 14 числа из календаря.

Потом Владимир Владимирович открыл ящик, захлопнул его и опять забегал по комнате.

Я сказала:

– Что же, вы не проводите меня даже?

Он подошел ко мне, поцеловал и сказал совершенно спокойно и очень ласково:

– Нет, девочка, иди одна… Будь за меня спокойна…

Улыбнулся и добавил:

– Я позвоню. У тебя есть деньги на такси?

– Нет.

Он дал мне 20 рублей.

– Так ты позвонишь?

– Да, да.

Я вышла, прошла несколько шагов до парадной двери. Раздался выстрел. У меня подкосились ноги, я закричала и металась по коридору: не могла заставить себя войти. Мне казалось, что прошло очень много времени, пока я решилась

войти. Но, очевидно, я вошла через мгновенье, в комнате еще стояло облачко дыма от выстрела.

**Владимир Владимирович Маяковский.** *Предсмертная записка:*

Всем

В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил.

Мама, сестры и товарищи, простите – это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет.

Лиля – люби меня.

Товарищ правительство, моя семья – это Лиля Брик, мама, сестры и Вероника Витольдовна Полонская.

Если ты устроишь им сносную жизнь – спасибо.

Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.

Как говорят –
«инцидент исперчен»,
любовная лодка
разбилась о быт.
Я с жизнью в расчете
и не к чему
перечень
взаимных болей,
бед
и обид.

Счастливо оставаться.

Владимир Маяковский.

*12/IV–30 г.*.

Товарищи Вапповцы, не считайте меня малодушным. Сериозно – ничего не поделаешь.

Привет.

Ермилову скажите, что жаль – снял лозунг, надо бы доругаться. В. М.

В столе у меня 2000 руб. – внесите в налог.

Остальное получите с Гиза.

**Корнелий Люцианович Зелинский:**

Странно, что после выстрела, который раздался, когда В. В. Полонская только что вышла из комнаты (это было в четверть одиннадцатого утра), глаза не закрылись. Маяковский смотрел вполне осмысленно, казалось, что он просто упал.

# Слава

**Василий Васильевич Каменский:**

Маяковский откровенно мечтал о всемирной славе. Эта мечта окрыляла его, заставляла его страстно работать. <…>

– Ведь это же будет гениально – мы возьмем штурмом всю Россию, – говорил Маяковский, громыхая грузными шагами, – мы взбудоражим всех вверх днищем, мы натворим такие дела, за которые благодарное потомство нам поставит памятники длиной в версту.

При этом он изображал, как этот памятник должен выглядеть.

**Виктор Борисович Шкловский:**

Маяковский, большой, тяжелый, ездил в узких московских пролетках.

Его извозчики знали.

Раз он спорил с издателем в пролетке, знаменитый ли он писатель. Извозчик повернулся и сказал издателю:

– Кто же Владимира Владимировича не знает?

Сказал он это, кажется, даже и не спрошенный, но знали Маяковского больше человеком, поступком.

**Лев Вениаминович Никулин:**

В 1918 году Маяковского знал не только сравнительно узкий круг людей, интересующихся поэзией, но и народ, трудовая Москва; это была известность поэта, с первого дня сказавшего: «Моя революция», читавшего стихи в казармах, на вокзалах красноармейцам, отправляющимся на Донской фронт, рабочим на заводских дворах. Народ его знал в лицо, запомнить его было легко: уж очень была запоминающаяся внешность. В доказательство хочется привести один характерный эпизод. Однажды мы возвращались, не помню откуда, и гурьбой шли по Тверской; был четвертый час ночи, стало совсем светло, в утренней дымке возникали силуэты вооруженных людей – ночных патрулей. Время было тревожное, лишь недавно был ликвидирован мятеж левых эсеров.

Маяковский шел немного впереди и слушал атлетически сложенного молодого человека, называвшего себя «футуристом жизни», – одно из тех странных явлений, которые возникали в то бурное время. «Футурист жизни» ездил по городам, произносил с эстрады слова о «солнечном быте», призывал чахлых юношей и девиц ликовать, чему-то радоваться и быть сильными, как он.

В доказательство солнечного бытия он почему-то ломал о голову не очень толстые доски. Довольно красивый, развязный молодой человек, он выступал перед публикой в шелковой розовой тунике и с золотым обручем на лбу.

Он шел рядом с Маяковским и рассуждал вслух о своих успехах:

– Вот я всего месяц в Москве, и меня уже знают. Выступаю – сплошные овации, сотни записок, от барышень нет отбою. Как хотите – слава…

Мы спускались по Тверской: навстречу в гору поднимался красногвардейский патруль – молодые и пожилые рабочие в косоворотках, пиджаках, подпоясанных пулеметными лентами, с винтовками через плечо.

Маяковский слегка отстранил «футуриста жизни», подошел к краю тротуара и сказал, обращаясь к красногвардейцам:

– Доброе утро, товарищи!

Из ряда красногвардейцев ответили дружно и весело:

– Доброе утро, товарищ Маяковский!

Поэт повернулся к «футуристу жизни» и, усмехаясь, сказал:

– Вот она, слава, вот известность… Ну, что ж! Кройте, молодой человек.

**Иван Богданович Карахан:**

В 1928 году мы встретились на пароходе, шедшем из Севастополя в Ялту. Прогуливаясь по палубе, я заметил какое-то волнение среди пассажиров. И вдруг вижу выходящего из каюты на палубу В. В. Маяковского. Он показался мне крайне утомленным, чем-то озабоченным. Когда он увидел меня, лицо его просияло. Он подошел ко мне с протянутыми руками.

Встреча была сердечной, теплой. На мой вопрос, что с ним, здоров ли он, чем озабочен, Маяковский с усмешкой сказал:

– Да, вот видишь, какая толпа. И что им надо? Точно в зверинце: им надо обязательно поближе рассмотреть меня.

**Юрий Карлович Олеша:**

Слава Маяковского была именно легендарной. Что я подразумеваю под этим определением? То и дело вспоминают о человеке, наперебой с другими хотят сказать и свое… Причем даже не о деятельности его – о нем самом!

– Я вчера видел Маяковского, и он…

– А знаете, Маяковский…

– Маяковский, говорят…

**Павел Ильич Лавут:**

Я расстался с Владимиром Владимировичем, и на обратном

пути забрел в парикмахерскую.

– Ты знаешь, кого я только что стриг? Самого Маяковского! – сказал мастер своего дела.

– Нашел чем хвастаться! Что тут особенного?

– Чудак! Это же большой человек! Стричь такую голову – это уже целая история! А главное – он уплатил мне столько, как никто и никогда. Вот это размах!

**Михаил Яковлевич Презент**, *издательский работник, секретарь Д. Бедного. Из дневника «О Маяковском»:*

Бедный звонит: «Беспризорные в Киеве и Одессе поют на мотив „Товарищ, товарищ, болят мои раны“ переделанные строки из предсмертного письма Маяковского:

„Товарищ правительство,
Корми мою Лилю,
Корми мою маму и сестру“…

и добавляет: „Если б М. знал, что его так переделают беспризорные, наверное не стрелялся бы“».

# Краткая летопись жизни и творчества В. В. Маяковского

*1893, 7(19 по новому стилю) июля.* В. В. Маяковский родился в семье лесничего Владимира Константиновича и Александры Алексеевны Маяковских (село Багдади, Грузия).

*1900.* В. В. Маяковский вместе с матерью переезжает в Кутаиси, чтобы поступить в гимназию.

*1902.* С осени приступает к занятиям в Кутаисской гимназии.

*1905.* Участвует в революционных выступлениях и забастовках гимназистов.

*1906, 19 февраля.* Смерть (от заражения крови) отца поэта – В. К. Маяковского.

*1906, июль.* Семья Маяковского переезжает в Москву.

*1906, август.* Поступает учиться в четвертый класс Пятой московской гимназии.

*1907.* Знакомится с революционерами. Появляются первые стихи.

*1908.* Вступает в члены РСДРП(б). Начинает деятельность пропагандиста.

*1908, 1 марта.* Прекращает обучение в гимназии.

*1908, 29 марта.* Арест В. В. Маяковского.

*1908, 9 апреля.* Выпущен из тюрьмы «под особый надзор полиции».

*1908, 30 августа.* Начинает учебу в подготовительном классе Строгановского художественно-промышленного училища.

*1909, 18 января.* Второй арест В. В. Маяковского и освобождение в конце февраля.

*1909, 2 июля.* Третий арест и заключение в одиночной камере Бутырской тюрьмы. В Бутырках начал писать стихи.

*1910, 9 января.* Освобожден как не достигший совершеннолетия.

*1911.* Принят в подготовительный класс Училища живописи, ваяния и зодчества.

*1911, август.* Знакомится с художником и поэтом Д. Бурлюком, а затем – с В. Хлебниковым, А. Крученых и другими футуристами. Вступление в их первую группу – «Гилея».

*1912, 25 февраля.* Выступает на публичном диспуте о современном искусстве.

*1912, 17 ноября.* Выступление в «Бродячей собаке» (в Петербурге).

*1912, 18 декабря.* Выходит программный альманах

футуристов «Пощечина общественному вкусу», в котором опубликованы стихотворения Маяковского «Ночь» и «Утро».

*1913, весна*. Знакомство с Н. Н. Асеевым.

*1913, май*. Появляется из печати первый поэтический сборник Маяковского «Я!» (тираж – 300 экземпляров).

*1913, лето*. Работа над трагедией «Владимир Маяковский».

*1913, август*. Публикации стихотворений в сборнике нового литературного направления «Дохлая луна».

*1913, ноябрь*. Выступления на литературных собраниях в Петербурге.

*1913, 2 декабря*. Публичное представление трагедии «Владимир Маяковский» в петербургском театре «Луна-парк».

*1913, 14 декабря*. Чтение стихов и диспут в зале Общественной библиотеки (Харьков). Начало футуристического вояжа вместе с Д. Бурлюком и В. Каменским по городам Российской империи.

*1914, 21 февраля*. Исключен из Училища живописи, ваяния и зодчества.

*1914, октябрь*. Маяковский подает заявление с просьбой принять его добровольцем в армию, но получает отказ из-за своих радикальных взглядов.

*1915, 25 февраля*. Знакомство с М. Горьким во время выступления в «Бродячей собаке».

*1915*. Сотрудничает в журнале «Новый сатирикон».

*1915, первая половина лета*. Живет в Куоккале (вблизи Петрограда).

*1915, июнь*. Знакомится с художником И. Е. Репиным.

*1915, июль*. Читает М. Горькому поэму «Облако в штанах».

*1915, начало сентября*. Призван на военную службу – в военно-автомобильную школу.

*1915, сентябрь*. Знакомство с Л. Ю. и О. М. Брик. Опубликована поэма «Облако в штанах».

*1915, осень*. Написана поэма «Флейта-позвоночник».

*1915, декабрь*. Сотрудничает с журналом М. Горького «Летопись».

*1916*. Пишет поэмы «Человек» и «Война и мир».

*1915, октябрь*. В издательстве «Парус» выходит поэтический сборник Маяковского «Простое как мычание».

*1917, февраль – март*. Выступления на митингах в поддержку февральской революции.

*1917, ноябрь*. Написано стихотворение «Наш марш» как гимн новой власти.

*1917, декабрь*. В издательстве «Парус» напечатана поэма «Война и мир».

*1918, 15 марта.* В «Газете футуристов» опубликованы стихотворения «Наш марш», «Революция (поэтохроника)».

*1918, март – май.* Работает над фильмами «Барышня и хулиган», «Не для денег родившийся», играет главные роли в этих картинах.

*1918, сентябрь.* Завершена «Мистерия-буфф».

*1918, 7 декабря.* В газете «Искусство коммуны» в качестве передовицы опубликовано стихотворение Маяковского «Приказ по армии искусства».

*1919, октябрь.* Как художник и поэт приступает к работе в Российском телеграфном агентстве (РОСТА).

*1920, март.* Написана поэма «150 000 000».

*1922, январь – февраль.* Последние «Окна сатиры РОСТА», выполненные Маяковским.

*1922, весна – осень.* Заграничные поездки Маяковского – через Ригу в Берлин и Париж – для пропаганды нового революционного искусства.

*1922, 13 декабря.* Возвращение в Москву.

*1922.* Создание объединения ЛЕФ (Левый фронт искусств).

*1923, 11 февраля.* Завершена поэма «Про это».

*1923, 29 марта.* Выход журнала «ЛЕФ», редактором которого становится Маяковский. Публикация поэмы «Про это», отдельное издание появилось в июне этого года

*1924, апрель.* Поездка в Берлин.

*1924, август.* Поездка по Югу (Крым, Черноморское побережье, Осетия, Грузия).

*1924, октябрь – декабрь.* Поездка в Париж и Берлин.

*1925, 9 января.* Выступление на I Всероссийском совещании пролетарских писателей.

*1925.* «ЛЕФ» прекращает издаваться.

*1925, май – июнь.* Поездка в Берлин, Париж. Выступления с чтением стихов.

*1925, июнь – июль.* Воплощение мечты обогнуть Землю. Поездка по Мексике и США.

*1925, 14 августа.* Первое выступление Маяковского в Нью-Йорке.

*1925, август – сентябрь.* Поездка по городам Америки. Начал писать книгу очерков «Мое открытие Америки». Роман с Элли Джонс.

*1925, 28 октября.* Переезд в Европу.

*1925, ноябрь.* Маяковский в Париже и Берлине.

*1925, 22 ноября.* Возвращение в Москву.

*1926, январь – ноябрь.* Бесчисленные выступления с докладами и чтение стихов в разных городах СССР.

*1926, конец апреля.* Переезд на новую квартиру в Гендриков переулок, дом 15, квартира 5.

*1927, январь – март.* Продолжение поэтического турне по волжским городам из Нижнего Новгорода в Саратов, затем переезд на Украину.

*1927, апрель.* Маяковский отправляется в Польшу, Чехословакию, Германию, Францию.

*1927, июль – август.* Выступления на Украине, в Крыму и на Кавказе.

*1927, середина октября.* Опубликована поэма «Хорошо!».

*1927, 17 июля.* Участие в открытии VI конгресса Коминтерна в Доме Союзов.

*1927, октябрь – ноябрь.* Поездка в Берлин и Париж, работа над пьесой «Клоп».

*1927–1928.* Поездки по Украине и Кавказу, чтение стихов в Казани, Свердловске, Перми, Вятке.

*1928, осень.* Поездка Маяковского в Париж. Знакомство с Татьяной Яковлевой.

*1929.* ЛЕФ прекращает свое существование. Маяковский пытается возродить объединение, создав Революционный фронт искусств (РЕФ).

*1929, 13 февраля.* Премьера пьесы «Клоп» в Театре Вс. Мейерхольда.

*1929, 14 февраля – 2 мая.* Новый заграничный вояж: Прага, Берлин, Париж, Ницца, Монте-Карло.

*1929, апрель.* Знакомство с В. Полонской.

*1929, лето.* Маяковский читает свои стихи на Кавказе и в Крыму.

*1929, середина октября.* Завершена пьеса «Баня».

*1929, 29 декабря.* Прием писателей в Совнаркоме РСФСР. Маяковский делает доклад.

*1930, январь.* Подготовка выставки «20 лет работы».

*1930, 1 февраля.* Открытие выставки «20 лет работы» в Клубе писателей.

*1930, 6 февраля.* Заявление о вступлении в РАПП («Российскую ассоциацию пролетарских писателей»).

*1930, 25 февраля.* Участие в диспуте «Пути советской литературы», который состоялся в Политехническом музее.

*1930, 16 марта.* Премьера пьесы «Баня» в Театре Вс. Мейерхольда.

*1930, 10 апреля.* Посещение спектакля «Баня» в Театре Вс. Мейерхольда.

*1930, 14 апреля.* В 10 часов 15 минут Маяковский покончил жизнь самоубийством в своей рабочей комнате, выстрелив в себя

из револьвера.

*1930, 17 апреля.* Траурный митинг в Клубе писателей. В 18 часов 30 минут совершена кремация тела Маяковского.

# Библиографическая справка

*Брик Л. Ю.* Пристрастные рассказы / Сост. Я. И. Гройсман, И. Ю. Генс. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2003.

*Брик Л. Ю., Триоле Э.* Неизданная переписка (1921–1970) / Сост., коммент., вступ. статья В. В. Катанян. М.: Эллис-ЛАК, 2000.

*Бурлюк Д. Д.* Интересные встречи / Сост., коммент., вступ. статья Л. А. Селезнев. М.: Русская деревня, 2005.

*Бурлюк Д. Д.* Фрагменты из воспоминаний футуриста. СПб.: Пушкинский фонд, 1994.

«В том, что умираю, не вините никого»?.. Следственное дело В. В. Маяковского. Документы. Воспоминания современников. М.: Эллис-ЛАК 2000, 2005.

*Зелинский К. Л.* Легенды о Маяковском // Зелинский К. Л. В изменяющемся мире. М.: Советский писатель, 1969.

*Зелинский К. Л.* На рубеже двух эпох. Литературные встречи 1917–1920. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1962.

*Каменский В. В.* Жизнь с Маяковским. М.: Художественная литература, 1940.

*Каменский В. В.* Юность Маяковского. Тифлис, 1931.

*Кассиль Л. А.* Маяковский – сам. М.: Детгиз, 1963.

*Катаев В. П.* Трава забвенья. М.: Вагриус, 1999.

*Катанян В.* Рассказы о Маяковском. М.: ГИХЛ, 1940.

*Катанян В. А., Катанян Г. Д.* Распечатанная бутылка. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 1999.

*Крусанов А. Е.* Русский авангард. Т. 1. СПб.: НЛО, 1996.

*Крученых А. Е.* К истории русского футуризма. Воспоминания и документы / Сост. «Гилея», подгот. текста, вступ. статья, коммент. Н. Гурьянова. М.: Гилея, 2006.

*Кэмрад С. С.* Маяковский в Америке. М.: Советский писатель, 1970.

*Лавут П. И.* Маяковский едет по Союзу. М.: Советская Россия, 1969.

*Лившиц Б. К.* Полутораглазый стрелец. Стихотворения, переводы, воспоминания / Сост. Е. К. Лившиц, П. М. Нерлер, вступит. ст. А. А. Урбан, примеч. П. Нерлер, А. Парнис, Е. Ковтун. Л.: Советский писатель, 1989.

Литературное наследство. Т. 65. Новое о Маяковском. М.: Издательство АН СССР, 1958.

Литературное наследство. Т. 93. Из истории советской литературы 1920–1930 гг. Новые материалы и исследования. М.: Наука, 1983.

Любовь это сердце всего. В. В. Маяковский, Л. Ю. Брик. Переписка 1915–1930 / Сост., коммент., вступит. ст. Б. Янгфельдт. М.: Книга, 1991.

В. Маяковский в воспоминаниях современников / Сост., коммент. Н. В. Реформатская, вступ. статья З. С. Паперный. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1963.

*Маяковский В. В.* Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 1. 1912–1917 / Подгот. текста, примеч. В. А. Катанян. М.: ГИХЛ, 1955.

*Маяковский В. В.* Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 4. 1922 – февраль 1923 / Подгот. текста, примеч. В. А. Арутчева и З. С. Паперный. М.: ГИХЛ, 1957.

*Маяковский В. В.* Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 7. Вторая половина 1925–1926 / Подгот. текста, примеч. В. В. Кожинов, И. Л. Робин, В. В. Тимофеева. М.: ГИХЛ, 1958.

*Маяковский В. В.* Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 8. 1927 / Подгот. текста, примеч. В. А. Катанян. М.: ГИХЛ, 1958.

*Маяковский В. В.* Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 12. Статьи, заметки и выступления. Ноябрь 1917–1930. М.: ГИХЛ, 1959.

*Маяковский В. В.* Полное собрание сочинений: в 13 т. Т. 13. Письма и другие материалы. М.: ГИХЛ, 1961.

Маяковский в воспоминаниях родных и друзей / Сост. Л. В. Маяковская, В. Воронцов, А. Колосков. М.: Московский рабочий, 1968.

Маяковский в современном мире. Л.: Лениздат, 1984.

Маяковскому. Л.: Художественная литература, 1940.

Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М.: Московский рабочий, 1990.

*Никулин Л. В.* Жизнь есть деяние. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1940.

*Сельвинский И. Л.* Я буду говорить о стихах. М.: Советский писатель, 1973.

Семья Маяковского в письмах. Переписка 1892–1906 гг. М.: Московский рабочий, 1978.

Современницы о Маяковском / Сост., коммент., вступит. ст. В. В. Катанян. М.: Дружба народов, 1993.

*Спасский С. Д.* Маяковский и его спутники. Л.: Советский писатель, 1940.

*Степанова В.* Человек не может жить без чуда. Письма, поэтические опыты, записки художницы / Сост. В. А. Родченко, А. Н. Лаврентьев, вступит. ст. А. Н. Лаврентьев. М.: Сфера, 1994.

ТАТБ (Татьяна Яковлева) / Сост. А. Аксенкин, вступит. ст. С. Стриженова. М., 2003.

Творчество В. В. Маяковского в начале XXI века: Новые задачи и пути исследования. М.: ИМЛИ РАН, 2008.

*Томпсон Патриция Дж.* (Маяковская Е. В.). Маяковский на Манхэттене. М.: ИМЛИ РАН, 2003.

*Февральский А. В.* Встречи с Маяковским. М.: Советская Россия, 1978.

*Харджиев Н. И.* От Маяковского до Крученых. Избранные работы о русском футуризме / Сост., вступит. ст., коммент. С. Кудрявцев. М.: Гилея, 2006.

*Шкловский В. Б.* Жили-были. М.: Советский писатель, 1964.

**notes**

# Сноски

# 1

См.: Лавут П. И. Маяковский едет по Союзу. М.: Советская Россия, 1969.

## 2

См.: Кассиль Л. А. Маяковский – сам. М.: Детгиз, 1963.

## 3

Орфография и пунктуация в письмах Маяковского сохранены в соответствии с источником публикации. Известно, что поэт не расставлял в своих письмах запятые и иные знаки препинания. – Сост.

## 4

Это транскрипция самого Маяковского. В статье «Как делать стихи» он писал об этих строчках: «Есть нравящийся мне разговор какой-то американской песенки, еще требующей изменения и русифицирования». – Примеч. Р. Райт.

# 5

Здесь и далее в цитатах из материалов следственного дела сохраняются орфография и пунктуация источника. – *Сост.*

# 6

Бабник *(англ.)*.

## 7

Речь идет о продукции молочных предприятий братьев Бландовых и Чичкина. – *Сост.*

# 8

Ошибка мемуариста, в декабре. – *Сост.*

# 9

Ветчина *(фр.)*.

# 10

Грустное вино *(фр.)*.